ЛЕОНИД ГРОССМАН

ПУШКИН

*

2390

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОК ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

697589

П У Ш К И Н

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА,
МИХ. ЛИФШИЦА,
АКАДЕМИКА Е. В. ТАРЛЕ,
АКАДЕМИКА А. Н. ТОЛСТОГО,
Ю. Н. ТЫНЯНОВА,
Е. Ф. УСИЕВИЧ, А. А. ФАДЕЕВА,
АКАДЕМИКА А. Е. ФЕРСМАНА,
ПРОФЕССОРА П. Ф. ЮДИНА.

*

ВЫПУСК

6–8

[150—152]

*

МОСКВА MCMXXXIX

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЛЕОНИД ГРОССМАН

ПУШКИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1939
МОСКВА

83
Г 887

697589
БИБЛИОТЕКА
ФГБОУ ВО «НГПУ»
г. Новосибирск
Ч/Ф

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУШКИНЫ

В начале XIII века могущественный представитель рыцарского рода Фолькунгов, правитель Швеции и зять короля Биргер, побуждаемый воинствующими буллами папы, двинулся крестовым походом на Северную Русь. Переправившись на парусных шнеках через Финский залив, скандинавские завоеватели доплыли по Неве до устья Ижоры. Отсюда именитый потомок викингов, угрожая Великому Новгороду, послал князю Александру Ярославичу надменную грамоту с объявлением войны: «Если можешь — сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою».

Но молодой новгородский князь с быстротой и решимостью выдающегося стратега, не дожидаясь подкреплений, стал во главе своих дружин и немедля повел их против вторгшихся иноземцев. Быстро совершив переход и зорко рассчитав все условия места и времени, он напал врасплох на шведский лагерь при самом впадении Ижоры в Неву 15 июля 1240 года. Сражаясь в первых рядах своих ратников, сам князь, по свидетельству

летописца, схватился с Биргером и «возложил острием меча печать на челе его...» Окончательная победа определилась подвигом витязя Гаврилы Олексича, который по пятам преследовал бегущего шведа до самого корабля и вместе с предводителем поразил его старших воевод и самого епископа.

Этот сподвижник Александра Невского был прямым потомком легендарного Радши и одним из древнейших зачинателей рода Пушкиных. Правнук этого участника Невской битвы носил имя Григория Пушки. Двое из его сыновей стали называться Пушкиными. В последующих поколениях фамилии мы не раз встретим освященные славой древнего подвига имена воителя Гаврилы и его победоносного военачальника в Невской битве — Александра.

Героическое начало этой родословной характерно для всей ее позднейшей истории. На протяжении нескольких столетий представители рода Пушкиных неизменно проявляли смелость, энергию, творческую одаренность в различных областях русской жизни. Они отличались в Куликовской битве, в сражениях Ивана Грозного с поляками, участвовали в походах на крымцев, шведов и турок, обороняли Москву от польского королевича, заседали в Земском соборе 1642 года, служили воеводами в передовых полках, наместниками, послами. Их выдающимися дипломатическими дарованиями объясняется поручение им переговоров с такими историческими фигурами, как Стефан Баторий, Антоний Поссевин или Густав-Адольф. Среди русских государственных деятелей XVII столетия особенно прославился знаменитый боярин Григорий Гаврилович Пушкин, блестяще разрешавший важнейшие международные вопросы в Швеции и Польше, где он полномочно представлял Москву. Ему в высокой степени было свойственно твердое умение отстаивать честь и достоинство своей страны. Именно он заста-

вил польского короля Яна-Казимира сжечь на площади все порочащие Россию книги и «постановил с ним договор» о суровом наказании сочинителей антирусских памфлетов.

Дипломатией далеко не исчерпывалась деятельность бояр Пушкиных. Другие представители рода отличались во внутреннем управлении страной и проявили свое умение хозяйствовать на пользу казны. Так, холмогорский воевода Никита Пушкин в начале XVII века успешно вел торговые сношения с иноземными купцами, а несколько позже, при Алексее Михайловиче, верхотурский воевода Иван Федорович Пушкин прославился доставкой в Москву из Сибири «мягкой рухляди» — мехов лисьих, куньих и беличьих, а также наилучших кречетов и челигов для старинного царского спорта — соколиной охоты.

Но, несмотря на свои заслуги перед государством, потомки Григория Пушки не принадлежали к высшей феодальной знати. Не обладавшие титулами и не возводившие своей генеалогии к Рюрику, они стояли ближе к сословию служилых людей, чем к горделивым «наследникам варяга». В рядах боярства Московской Руси они оставались обычно в стороне от именитой знати, сохраняя в силу этого некоторую демократичность и независимость. Во время опричнины Пушкины принадлежали к людям земским и были в опале у Грозного почти до конца его царствования. При Борисе Годунове они перешли на сторону недовольных, от имени которых обращался к московскому народу Гаврила Григорьевич Пушкин. Через триста лет гениальный потомок этого воина и дипломата увековечит его имя в исторической трагедии и сравнит в своих письмах фигуру этого властного политика с образами проконсулов древнего Рима.

В силу такой преемственной независимости Пушкины

на протяжении ряда поколений упорно противопоставляли свои фактические заслуги перед государством условному преимуществу древности происхождения. Они никогда не хотели признать над собой превосходство родовитых фамилий и страстно «местничались» с Бутурлиными, Пожарскими, Гагариными, Волконскими, Сицкими, отважно и непоколебимо считая свой род служилых людей не ниже самых знатных княжеских фамилий. Ни опала, ни тюрьма, ни даже «выдача головой» противнику не могли смирить этого повышенного чувства собственного достоинства и заслуженной гордости своим постоянным участием в трудной и почетной работе на пользу государству. Когда в 1660 году наместник алатырский, Матвей Пушкин, был назначен приставом к боярину Ордину-Нащокину, он дерзко и решительно отклонил царский приказ. «Отнюдь не бывать, хоть вели государь казнить смертью».

Несмотря на заключение в тюрьму и угрозу лишить вотчин и поместий, Матвей Пушкин настоял на своем.

Неудивительно, что этот властный боярин, не видя других способов борьбы с ущемлением своей фамильной чести, в 1682 году скрепил своей подписью «соборное деяние» об уничтожении местничества. Упорный сторонник «последней Руси», то-есть приверженец старины, он вызывает гнев Петра отказом послать детей своих на обучение в чужие края. Верные своему оппозиционному духу, Пушкины оказываются в эту критическую эпоху правительственных реформ в русле обратного и гибельного течения — «хованщины». Они втягиваются в орбиту стрелецких и староверческих кругов, объединившихся для борьбы с нестерпимыми для них новшествами. Но на этот раз споры с властью заканчиваются для представителей своенравной фамилии трагически. Сын боярина Матвея, Федор Пушкин, был казнен 4 марта 1697 года вместе с двумя другими заговорщи-

ками — стрелецким полковником Цыклером и старовером окольничим Алексеем Соковниным. Сам Матвей Пушкин был сослан с женой и внуком на вечную ссылку в Енисейск, где вскоре и скончался.

Можно было ожидать, что катастрофа эта повлечет за собой полный разгром рода. Но случилось иначе. Пушкины и в императорский период появляются на верхах служебной иерархии в высоких чинах и званиях — камергеров, сенаторов, чрезвычайных посланников, губернаторов, контрадмиралов.

Ни казни, ни почести не могли сломить их своеволья. 28 июня 1762 года — в день, когда Екатерине принесли присягу гвардейские полки, сенат, синод, петербургский гарнизон, все население столицы и даже морские силы Кронштадта, — офицер бомбардирской роты Лев Александрович Пушкин (дед поэта) пытался удержать преображенцев на стороне Петра III. Попытка оказалась безнадежной. Через несколько дней свергнутый император, охрана которого была поручена знаменитому кулачному бойцу Алексею Орлову, скоропостижно скончался «от прежестокой колики», а гвардейский артиллерист Лев Пушкин был признан государственным преступником и заключен в крепостной каземат.

Эта политическая кара явилась не только личным поражением в правах, но знаменовала и весьма тягостный удар по младшей ветви пушкинского рода. Разгневанной Екатерине суждено было царствовать до самого конца XVIII века, а семейству строптивого Льва Пушкина незаметно нисходить к обычному среднему состоянию, далекому от государственных дел и придворных отличий. В поколениях семьи преемственно сохранялась неприязнь к императрице-узурпаторше и установился некоторый культ героически верного своей присяге Льва Александровича; внук-поэт прославил его подвиг в торжественных стихах своей «Родословной» и отметил

чертами своего деда мужественных и стойких деятелей 1762 года в «Дубровском» и «Капитанской дочке».

Придворный переворот не сразу отразился на материальном благосостоянии Пушкиных. Льву Александровичу принадлежали крупные наследственные владения — ряд деревень и пустошей, большие участки земли в Москве и нижегородская вотчина — село Болдино — «под большим мордовским черным лесом». Это значительное родовое имущество Лев Пушкин сохранил и после постигшей его политической невзгоды.

Просидев несколько месяцев в крепости [1], он вскоре после освобождения вышел в отставку и жил обычно в Москве, наезжая по временам в свои обширные имения, разбросанные по средней полосе России. Крупное состояние, сосредоточенное в середине XVIII века в одних руках, оказалось впоследствии раздробленным между довольно многочисленными наследниками Льва Пушкина, который был женат дважды и от обеих жен имел потомство.

«Дед мой был человек пылкий и жестокий, — писал о Льве Александровиче в 1830 году его знаменитый внук. — Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды он велел ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете раз-

[1] Обычное указание на его двухгодичное заключение ошибочно. Лев Александрович был заключен в крепость не ранее конца июля 1762 года, а уже 5 мая 1763 года он был официально помолвлен с О. В. Чичериной.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПУШКИН (1717—1777),
прадед поэта.

Портрет маслом неизвестного художника XVIII века.

решилась чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах».

Эти семейные предания лишь отчасти подтверждаются сохранившимися документами. История с французом сводится, по старинному формуляру Льва Пушкина, лишь к «непорядочным побоям», нанесенным им «венецианину Харлампию Меркадию». Рассказ о мучительной смерти первой жены Льва Александровича не поддается проверке; нам известно лишь, что в молодости он действительно женился на Марии Матвеевне Воейковой, от которой имел трех сыновей. Скончалась она в пятидесятых годах, то-есть сравнительно незадолго до исторического перелома в жизни своего мужа.

Вскоре после освобождения из крепости Лев Александрович женился на дочери гвардейского полковника Ольге Васильевне Чичериной, род которой восходил к флорентинцу Афанасию Чичери, прибывшему в Москву в свите невесты Ивана III Софии Палеолог. Знатности соответствовало и состояние. Вместе с поместьями и крепостными Лев Александрович получил в приданое еще изрядное количество «серебра, бриллиантовых вещей, жемчугу, платья, белья и кружев». Неудивительно, что бабушка знаменитого поэта ездила в гости «вся разряженная и в бриллиантах» и даже в таком убранстве однажды родила. Произошло ли это в карете, как о том повествуют семейные предания, установить документами затруднительно, но совершенно точно известно, что Ольга Васильевна имела четверых детей: двух дочерей — Анну и Елизавету и двух сыновей — Василия Львовича и Сергея Львовича Пушкиных.

Новая семья создавалась в трудное время. В селе Болдине, где, по преданию, помещик «весьма феодально» вздернул на ворота усадьбы гувернера, появились в 1773 году передовые разъезды Пугачева, требовавшие

виселиц для самих феодалов. Движение, уже сдавленное с флангов, не могло здесь развернуться, и масса восставших вскоре отхлынула. Тогда-то по всей Нижегородской губернии появились виселицы, «колеса и глаголи» для устрашения недовольных и подавления новых вспышек. Орудия казни были поставлены местными властями и в Болдине «за преклонность крестьян к приехавшим злодеям и за просьбу тех злодеев, чтоб приказчика повесить».

Долгие годы сохранялись в семействе Пушкиных и передавались младшему поколению воспоминания о событиях и эпизодах кровавого прошлого. Вместе с фамильными портретами и родословными грамотами молодые Пушкины получали и первые сведения о своих мужественных предках, строивших в старину российскую державу и неизменно отличавшихся «в войске и совете». Сквозь образы семейной хроники юному поколению раскрывались великие события отечественной истории, а славные биографии «могучих пращуров», казалось, призывали внуков к новому служению их родине.

II

БРАТЬЯ-СТИХОТВОРЦЫ

Во второй половине XVIII века этот род воинов и наместников впервые обращается к искусству. Обеспеченные крупным наследственным состоянием, получившие изысканное европейское воспитание, сыновья Льва Пушкина представляли собой утонченный и изнеженный цвет на кряжистом древе своей старинной родословной. Некоторая фрондирующая оппозиция Екатерине и «новым» людям, пришедшим на смену Пушкиным служить государству после 1762 года, обращает энергию моло-

дых представителей фамилии к чисто культурным и творческим заданиям. Записанные с детства в гвардию, они не испытывают никакого желания служить и отличаться в походах и сражениях. Их привлекают иные битвы и победы — в литературных кружках, в светских гостиных, на любительских сценах. Это поэты, чтецы, импровизаторы, остроумные собеседники, актеры и режиссеры домашних спектаклей. Это прежде всего «любословы», как называли тогда таких вольных артистов речи, распространявших в отсталом и ленивом обществе новые формы европейской поэзии.

Стихотворное искусство очень рано стало излюбленным занятием молодых Пушкиных. Василий Львович понемногу превратился в настоящего литератора, неизменно причастного к виднейшим изданиям и знаменитым журнальным битвам своей эпохи. Младший брат, Сергей Львович, до глубокой старости писал стихи, всю жизнь сохраняя, однако, позицию бескорыстного служителя муз, равнодушного к печати и славе. Ни один из них не проявил высоких дарований, но оба создали вокруг себя ту атмосферу тонкой словесной культуры, в которой мог широко развернуться юный поэтический гений.

Но если молодых Пушкиных не привлекали почетные звания полномочных министров или генерал-аншефов (к чему их готовил отец), то они с успехом выполнили другое задание, намеченное родителями и педагогами,— они стали светскими людьми на манер современных им культурных парижан, и оба готовы были видеть в этом свое главное призвание. Репутация остроумного собеседника была им всего дороже. Дочь Сергея Львовича сообщала впоследствии, что многие из его французских каламбуров «передавались в обществе, как образчики необыкновенного остроумия», и что он всегда господствовал в салонных турнирах ума.

Такое искусство увлекательного диалога, основанное на анекдотах и афоризмах, метких цитатах и крылатых словах, требовало особой подготовки и обширной начитанности. Братья Пушкины получили основательное литературное воспитание и возросли на классицизме. Уже с ранних лет Гораций и Буало — их руководители в области словесных теорий; поэты Эллады, Рима и расиновской Франции — непререкаемые авторитеты для них в области оды, трагедии, сатиры.

Только на исходе своей юности молодые стихотворцы переживают некоторую революцию стиля:

Во вкусе час настал великих перемен:
Явились Карамзин и Дмитрев-Лафонтен!

Отношение братьев Пушкиных к представителям новой поэзии уже ни в чем не походило на их абстрактное поклонение Пиндару или Расину. Начинающие поэты сумели сблизиться с новейшими литературными корифеями и даже попытались войти в их плеяду.

Осенью 1790 года в Петербурге на Английскую набережную сошел с корабля молодой путешественник. Был он высокого роста, с блестящими черными глазами, узким и крупным носом, живыми, энергичными жестами. В петербургских гостиных он поражал собеседников не только своим заморским шиньоном и гребнем на голове, но еще больше независимостью и вольностью суждений.

Это был молодой литератор Николай Михайлович Карамзин. В Петербурге 1790 года он был, вероятно, единственным, который беседовал с Кантом и Лавуазье, видел Гёте, слышал Мирабо. Он знал европейские языки, изучил иностранную литературу, восхищался Шекспиром и Лессингом. Он верил, что и в России скоро начнут читать своих поэтов на родном языке, — для этого при-

дется только обнаружить присущие этой отвергнутой речи черты гибкости и выразительности, подавленные тяжеловесными доспехами парадной поэзии.

Карамзин уехал в Москву и немедленно же приступил к делу. С 1791 года начал выходить его журнал «Московский вестник», где печатались «Письма русского путешественника», а в 1792 году появилась «Бедная Лиза». Беспримерный успех мгновенно доставил Карамзину настоящую славу. Русской литературе был указан новый тип живого, лирического, разговорного языка, и русские читатели действительно обратились к родной словесности.

Новаторство Карамзина наряду с восхищением встретило и противодействие. На место вельмож и царедворцев он выдвигал нового героя — среднего дворянина, который в конце XVIII века (и несколько позже) в существности представлял собой нарождавшуюся русскую интеллигенцию. Несомненно прогрессивное начинание Карамзина стало предметом резких нападок. Но все живые силы литературы оказались на его стороне.

В возникших и разразившихся затем двадцатилетних литературных битвах за выразительную речь, за художественное слово, за новый стиль братья Пушкины остались непоколебимыми приверженцами реформы слога и верными сторонниками Карамзина. Их переезд в начале девяностых годов в Петербург на службу в гвардии облегчил им сближение с литературными кругами столицы.

Одним из первых знакомых Пушкиных в этой среде был друг и родственник Карамзина, ближайший его сотрудник в борьбе за новый слог, молодой семеновский офицер Дмитриев, баснописец и песенник. Так же, как автор «Писем русского путешественника» в прозе, он стремился в стихотворной речи достичь высшей чистоты, отчетливости и законченности: «Одну только плавность стиха и богатую рифму я считал красотой и со-

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН (1767 — 1830),
дядя поэта, автор поэмы «Опасный сосед».
С рисунка карандашом Жана Вивьена.

БИБЛИОТЕКА
ФГБОУ ВО «ИГПУ»
г. Иваново

вершенством поэзии». Особенным успехом пользовался его рассказ в стихах «Модная жена» — шутливая повесть в духе сказок Лафонтена.

При всей миниатюрности своих поэтических средств повесть свидетельствовала о новом литературном направлении: главное в поэзии не вдохновенное парение или восторженная беспорядочность, а точность выражения, чувство меры, изящество формы, художественный вкус. Эти начала и легли в основу поэтики братьев Пушкиных.

Через Дмитриева они познакомились с Державиным, Богдановичем, переводчиком Апулея и Оссиана Е. И. Костровым, замечательным знатоком искусств и древностей А. Н. Олениным. Опыты Василия Львовича печатались в изданиях Крылова и Карамзина. Но особенно ценным для начинающих стихотворцев было общение с первым поэтом эпохи — Державиным. Наряду с пышным и торжественным воспеванием празднеств в богатой поэзии Державина звучали мелодические мотивы, напоминавшие пасторали. Этот лирический, интимный, влюбленный Державин, несомненно, отвечал вкусам молодых Пушкиных.

Многие из этих литературных связей XVIII века впоследствии упрочились и надолго сохранились в их семье. Имена Державина, Дмитриева, Крылова, Карамзина, Оленина вошли, как известно, и в историю следующего поколения фамилии.

Литературная деятельность братьев Пушкиных начиналась в трудное время. Осенью 1790 года великий представитель русской революционной мысли Радищев, приговоренный к отсечению головы за свое «Путешествие из Петербурга в Москву», был сослан в Илимск, как «первый подвизатель» французской революции в России (согласно отзыву Екатерины). В мае 1792 года был брошен в Шлиссельбургскую крепость Новиков. Грозный следователь Екатерины Шешковский допрашивает поэта-сенатора Державина о его «якобинском» обраще-

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН (1770 — 1848),
отец поэта.

С портрета карандашом Сент-Обена.

нии к библейским царям: «И вы подобно нам падете, — Как с древ увядший лист падет...» Принимаются особые меры против «французской заразы», то-есть идеологии Просвещения, подвергаются разгрому издательства, закрываются типографии, конфискуются книги, усиливается надзор за «подозрительными» людьми.

Приходится удивляться, с какой неприкосновенностью пронесли Пушкины сквозь эти тревожные годы свою любовь к литературе, неизменно сохраняя связь с писательским миром[1].

В литературных кругах, в петербургской гвардии, в столичном обществе, в веселом содружестве «Галера» братья-москвичи встречались со своим отдаленным родственником — Алексеем Михайловичем Пушкиным. Это был вольнодумец и балагур, актер-любитель и страстный галломан. Он познакомил Сергея Львовича со своей теткой Марией Алексеевной Ганнибал и красавицей-кузиной Надеждой Осиповной.

Девушка отличалась своеобразной красотой — несколько удлиненный разрез глаз, орлиный профиль, легкая смугловатость кожи. Прозвище «прекрасная креолка» было присвоено Надежде Осиповне, как некий постоянный эпитет, хотя и без достаточного основания, — креолами назывались потомки европейцев, рожденные в колониях. Надежда Осиповна никогда не скрывала, что она внучка абиссинца, а ее утонченная внешность носила еле уловимые следы этого происхождения.

Сергей Львович был, видимо, увлечен с первого взгляда и вскоре предложил этой девушке с внешностью квартеронки и фамилией африканского завоевателя разделить с ним жизненный путь.

---

[1] Крылов и Клушин, в изданиях которых печатался Василий Пушкин, входили в кружок известного вольнодумца Рахманинова, близкого к Радищеву (см. *Г. А. Гуковский*, Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1938).

III

ИНЖЕНЕРЫ И МОРЕХОДЫ

Брак Сергея Львовича, с точки зрения его родных, был мало подходящим. Надежда Осиповна не была богата, над репутацией ее семьи тяготела память о скандальном процессе двоеженца-отца, род Ганнибалов не отличался ни древностью, ни знатностью. Питомцы петровской школы, деятели императорского периода русской истории, они были известны в России XVIII века как военные инженеры, руководители работ по обороне государства, артиллеристы и полководцы. Это были строители крепостей на дальних окраинах и водители флотов под южными широтами. Такой активностью определялись их тревожные и авантюрные биографии: когда Пушкины оказывались виновными перед правительством, их заключали в казематы; Ганнибалов в таких случаях сажали на военные корабли и отправляли воевать в Средиземное море. И они выполняли приказы и добывали трофеи, ибо были людьми напряженного и стремительного действия. Это были крупные и своеобразные личности, наделенные большой энергией и сильными страстями, умевшие строить свою жизнь, бороться с противными течениями и побеждать обстоятельства. Эти люди с властными характерами и героическими судьбами не оставили своих записок потомству, но они завещали свои исторические образы, как драгоценное достояние, будущему правнуку-поэту.

Дед Надежды Осиповны, абиссинец Ибрагим, ставший в России генерал-аншефом Абрамом Петровичем Ганнибалом, прожил жизнь беспримерную по фантастическим переломам и счастливой игре случайностей. Судьба бросала его с африканских плоскогорий в забайкальские степи, с побережий Босфора в Москву, из новорожден-

ного Петербурга во французские военные академии, из пышного Парижа Людовика XIV на театр войны за испанское наследство. Он успел проявить себя как царский секретарь, как активный участник действующих армий, как военный математик, придворный педагог, строитель крепостей и директор каналов. Его выдающийся ум, познания и общая одаренность не подлежат сомнению.

Начало его жизни окутано легендой. Из документов елизаветинской герольдии явствует, что Ибрагим родился в северной Абиссинии, где отец его владел двумя или тремя городами на правом берегу Мареба, на границе между Хамасеном и Сараэ, в Логоне.

В конце XVII века север Африки стал ареной усобиц с Турцией, которая вывозила в Константинополь военные трофеи, добычу, пленников, рабынь и заложников. Таким «аманатом» оказался и маленький африканец из Логона. С моментом его увоза связана поэтическая легенда о том, как старшая сестра Ибрагима, девочка Лагань, долго плыла за кораблем, увозившим ее любимого брата, и погибла в морской пучине.

Эпоха Возрождения возобновила античную моду на чернокожих слуг. Обычай этот из европейских дворов перешел в XVII веке в Россию. Арапы прислуживали обычно и Петру. На одном гравюрном портрете 1704 года он весьма декоративно изображен рядом с юным негром, охраняющим императорские регалии. Около 1706 года русский резидент при турецком «диване» получил приказ Петра выслать ему нескольких арапчат для украшения двора. Есть указания, что Ибрагим был выкраден из неприступного султанского сераля при содействии самого визиря.

В 1707 году маленький африканец был доставлен из Стамбула в северную столицу. Отныне он неотлучно состоит при царе и понемногу становится свидетелем крупнейших событий русской и европейской истории.

За обнаруженные им «в походах и баталиях» прекрасные способности Петр отправляет юношу во Францию для обучения инженерному делу.

Несмотря на нужду в Париже и тяжелое ранение в испанской войне, Ганнибал проходит курс артиллерийской школы в Меце и возвращается в Петербург профессором математики и фортификации. Он вывез из Парижа в Россию обширную французскую библиотеку в четыреста томов, составленную из книг не только по его специальности, но также по географии, истории, философии и литературе. В этом книжном собрании имелись сочинения Расина, Корнеля, Сирано де-Бержерака, письма Фонтенеля, «Князь» Макиавелли, мемуары Брантома, философские трактаты Мальбранша, «Всемирная история» Боссюэ. Особенно широко были представлены работы по математике и военному делу.

Сам Ганнибал написал книгу об инженерном искусстве и составил мемуары на французском языке. Умирая, он оставил не только поместья, крепостных и формуляр с высокими чинами, но и многотомное книгохранилище, ценное собрание физических и механических инструментов, а главное — благодарную память о своей научной деятельности: известный мемуарист XVIII века Болотов отметил в своих записках «прекрасную геометрию и фортификацию Ганнибала». Это имя, очевидно, приобрело авторитетную репутацию не только в правительственных и военных кругах, но и в среде молодого поколения, стремящегося к знанию.

Жестокая школа жизни, пройденная Ибрагимом, сообщила некоторую суровость его характеру. Это в полной мере сказалось в его семейном быту.

В конце 1730 года в Петербурге Ганнибал встретился с красавицей-девушкой, как полагают, гречанкой, дочерью капитана галерного флота Евдокией Андреевной Диопер. Ганнибал попросил ее руки и настоял на браке,

несмотря на протесты красавицы. Обвенчавшись в начале 1731 года, он увез жену в маленький порт Пернов (в бухте Рижского залива). Вскоре он обвинил молодую женщину в намерении отравить его и «смертельными побоями и пытками» принудил ее дать об этом официальное показание. Несчастную заключили в тюрьму, а Ганнибал сошелся с дочерью местного капитана Христиной-Региной Шеберг, от которой имел нескольких детей. Когда пришла пора отдавать их в учение, Ганнибал обвенчался с Христиной и, пользуясь своими связями, добился убийственного приговора для первой жены, все еще томившейся в заключении: «Гонять прелюбодеицу по городу лозами, а прогнавши отослать на прядильный двор [1] на работу вечно». Пожизненное заключение ее могло бы узаконить второй брак Ганнибала. Но Евдокии Андреевне каким-то чудом удается вырваться в Петербург и подать челобитную в синод. Ее освобождают на поруки, а дело поступает на новое рассмотрение. Затравленная женщина, живя в Петербурге, сходится с подмастерьем Академии наук и рождает дочь Агриппину; она послужила источником легенды о белом ребенке, рожденном женою Ибрагима, за что преступная мать была замучена в монастыре, — предание, волновавшее творческое воображение правнука. «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе», писал Пушкин в наброске предисловия к «Арапу Петра Великого».

Появление ребенка дает Ганнибалу основание ходатайствовать перед петербургской консисторией, чтобы «оная прелюбодеица долее не называлась его женой». 9 сентября 1753 года Евдокия Ганнибал была признана разведенной со своим мужем и осуждена на заточение в дальний монастырь, где и скончалась. Сам Ганнибал

---

[1] Прядильные дворы предназначались петровским законодательством «для непотребного и неистового женского пола».

отделался епитимией и денежным штрафом за двоеженство; брак его с Христиной Шеберг был утвержден.

Такой благоприятный для него исход процесса объясняется тем, что в царствование Елизаветы Петровны любимец ее отца вошел в силу, пользовался большим влиянием и был щедро обласкан императрицей. Он получил звание генерал-майора, должность ревельского коменданта, 500 душ в Псковской губернии Опочецкого уезда, в «Михайловской губе», где его потомство долгое время хранило родовые земли и память о «прадеде-арапе».

С окончанием бракоразводного процесса сыновья Ганнибала получили, наконец, возможность поступить в дворянские корпуса и служить в гвардии и флоте. Старший — Иван Абрамович — стал историческим героем и заслужил от своего внучатного племянника хвалебный стих: «Вот Наваринский Ганнибал!» В 1770 году, после большой десантной операции и пятнадцатидневной осады, Иван Ганнибал взял в Архипелаге крепость Наварин. Во время битвы в Хиосском заливе, 24 июня 1770 года, он командовал артиллерией эскадры и взорвал весь турецкий флот, укрывшийся в Чесменской бухте. Вскоре он доказал, что может не только истреблять фрегаты, но и сооружать цитадели. В 1778 году ему было поручено построить крепость Херсон на месте устаревшего небольшого укрепления Александр-Шанца. Через три года на месте глухой «фортеции» аннинского времени раскинулся большой город с военной гаванью, адмиралтейством, верфью и арсеналом.

Но далеко не всем Ганнибалам удалось проявить такую героическую активность. Младший брат победоносного «бригадира», получивший от отца имя Януария, а от матери — Иосифа, вошел в историю лишь в качестве родного деда знаменитого поэта.

Этот Иосиф-Януарий, или в просторечьи Осип Абрамович Ганнибал, отличался пылким и своенравным характером. Его считали «сорви-головой» и «ужасом семьи». В 1773 году в чине майора морской артиллерии он был послан в Липецк осмотреть чугунные заводы, устроенные Петром I для отливки пушек Черноморскому флоту. В двух десятках верст от Липецка находилось село Покровское, имение капитана в отставке Алексея Федоровича Пушкина и жены его Софьи Юрьевны, рожденной Ржевской. Осип Абрамович стал бывать у покровских помещиков, посватался к их восемнадцатилетней дочери Марии Алексеевне и вскоре женился на ней.

Ярославское имение новобрачной пошло целиком на уплату долгов мужа, после чего Марии Алексеевне пришлось добиваться примирения своего грозного свекра с его блудным сыном. Вскоре молодые поселились в поместье Абрама Петровича, на мызе Суйде, под Петербургом. В 1775 году у них родилась дочь Надежда. Осип Абрамович надолго уезжал из дома, нисколько не заботясь о семье; молодой матери приходилось всячески влиять на супруга. Он решил сразу положить конец докучным домогательствам и навсегда оставил Суйду, увезя с собой в виде меры воздействия крошечную Надю. Затея удалась: Мария Алексеевна пошла на все уступки, лишь бы возвратить ребенка.

Сохранилось ее письмо к мужу. Впоследствии поэт Дельвиг восхищался живым русским языком писем Марии Алексеевны; об этом свидетельствует и приводимое нами письмо. Но еще более волнует оно той глубокой драмой, которая с такой сдержанной простотой выражена в нем.

«Государь мой, Осип Абрамович!

Несчастливые как мои, так и ваши обстоятельства принудили меня сим с вами изъясниться: когда уже нелю-

И. А. ГАННИБАЛ (1730 — 1801),
двоюродный дед поэта.
С портрета неизвестного художника.

Пушкин не раз славил в стихах того Ганнибала,

Пред кем средь Чесменских пучин
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин. (1830)

бовь ваша ко мне так увеличилась, что вы жить со мною не желаете, то уже я решилась более вам своею особою тягости не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободна, только с тем, чтобы дочь наша мне отдана была, дабы воспитание сего младенца было под присмотром моим. Что же касается до содержания как для нашей дочери, так и для меня — от вас и от наследников ваших ничего никак требовать не буду, и с тем остаюсь с достойным для вас почтением ваша, государь мой, покорная услужница Мария Ганнибалова».

Получив нужную гарантию, Осип Абрамович с готовностью возвратил дочь при весьма колком письме, в котором желал жене пользоваться «златою вольностью»; «...а я, — заканчивал он свое послание, — в последние называюсь муж ваш Иосиф Ганнибал».

Действительно, к семье своей он больше не вернулся. Отношения с женой Осип Абрамович считал настолько конченными, что в 1779 году снова женился на вдове Устинье Толстой, представив духовным властям «своеручное» письмо, свидетельствующее о его вдовстве. Мария Алексеевна в это время благополучно здравствовала в Москве. Узнав о своей «смерти» и о новой женитьбе мужа, она направила в соответственные инстанции документы, изобличавшие «вдового» Ганнибала в двоеженстве. Незаконный брак был расторгнут, а двоеженец послан на кораблях в Северное море. Четвертая часть его недвижимого имущества назначалась «на содержание малолетней Осипа Ганнибала дочери». С этой целью у него была отобрана деревня Кобрино, Софийского уезда, Петербургской губернии, где Мария Алексеевна и поселилась с подрастающей дочерью. Шурин ее, владелец соседнего поместья Суйды, чесменский герой Иван Абрамович Ганнибал, оберегал интересы своей крестницы.

Горестный опыт неудачного брака со всеми его тяго-

НАДЕЖДА ОСИПОВНА ПУШКИНА (1775 — 1836),
рожденная Ганнибал, мать поэта.
С миниатюры Ксавье де-Местра (1810).

стными материальными последствиями развил в Марии Алексеевне предусмотрительность, осторожность, практическое чутье и хозяйственные способности. В управлении своим скромным поместьем она тщательно наблюдала, «чтобы ни одна сила не пропадала даром». Только такая неусыпная энергия дала возможность Марии Алексеевне собрать средства для приобретения собственного домика в Петербурге, в Преображенском полку, где с середины восьмидесятых годов она живет с дочерью.

Надежда Осиповна получает первоклассное, по воззрениям того времени, светское воспитание. Она овладела в совершенстве французским языком и приобрела репутацию достойной ученицы мадам де-Севинье в искусстве дружеского письма. Сохранившаяся корреспонденция Надежды Осиповны действительно свидетельствует о живости и литературности ее эпистолярного стиля.

Неудивительно, что молодой гвардейский офицер и поэт Сергей Пушкин, искушенный во всех очарованиях французской культуры, столь ценимой Надеждой Осиповной, произвел на нее наилучшее впечатление. Мать, души не чаявшая в своей единственной дочери, не могла ей противоречить. Оставалось получить согласие крестного отца красавицы — Ивана Абрамовича Ганнибала.

С материальной стороны брак не показался строителю Херсона особенно выгодным: екатерининские вельможи имели свои представления о богатстве, и состояние Сергея Львовича, получившего по семейному разделу часть родового Болдина и тысячу душ крестьян, могло показаться коменданту Наварина незначительным.

Но старый ветеран уже знал цену просвещению, светскости, европейской выправке. Гвардейский капитан Сергей Пушкин пришелся ему по вкусу. «Он не очень богат, но очень образован», заметил старик, выражая согласие на замужество своей крестницы с этим остроумным со-

беседником, знавшим наизусть всю французскую поэзию.

Летом 1796 года Сергей Львович уже был женихом. В гвардии как раз шли парады и празднества по случаю рождения сына Николая у наследника Павла Петровича.

Среди торжеств и развлечений особенно выделялся праздник, данный в августе 1796 года измайловскими офицерами, в составе которых находились оба брата Пушкины. На вечере присутствовал Державин. В письме к Дмитриеву от 5 августа 1796 года он расхваливал «бал, фейерверк, ужин», а под конец советовал адресату «написать поздравительные стихи Пушкину», очевидно, в связи с обручением Сергея Львовича. Действительно, в конце сентября составляется поручительство о браке «лейб-гвардии Измайловского полка поручика, отрока Сергея Львова сына Пушкина и девицы Надежды Осиповны Ганнибал».

IV

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА

Медовый месяц молодых Пушкиных оказался крайне тревожным. Венчание их почти совпало со смертью Екатерины II. Утром 5 ноября императрицу разбил апоплексический удар, а к концу следующего дня она скончалась. В ночь на 7 ноября Сергей Львович с братом, срочно вызванные в измайловские казармы, принесли присягу на верность новому царю.

Наутро Пушкины стояли на вахт-параде у своих частей в новом одеянии гатчинского «модельного войска», форма которого при Екатерине была строжайше запрещена к ношению. За одну ночь начальство переодело солдат и офицеров из просторных кафтанов и широких ботфорт в туго затянутые мундиры и узкие штиблеты. Пудреные

букли и косы завершали новое обмундирование. В перчатках с раструбами братья Пушкины салютовали новому императору. Маленький бледный человек, с лицом напоминавшим маску смерти, впервые гарцовал перед своими полками, пытаясь одеждой и посадкой изобразить пленившую его фигуру Фридриха II.

Гвардии пришлось участвовать в целом ряде нелепых демонстраций. Под почетной охраной гвардейских полков кости Петра III были извлечены из могилы и вторично погребены вместе с останками Екатерины; перед лицом всего гвардейского офицерства друг Пушкиных, поэт Дмитриев, был обвинен Павлом в «покушении на священную особу императора», а затем так же театрально прощен. Вскоре в присутствии гвардейских частей состоялась торжественная закладка Михайловского замка на том месте, где в момент воцарения Павла какому-то часовому явилось «чудесное видение».

Между тем новые уставы армии и флота входили в силу, вселяя панический ужас в офицерскую среду, из которой решено было во что бы то ни стало выбить «потемкинский дух». В гвардейские штабы посыпались прошения об отставке. В ряду других Василий Львович предпочел военной карьере смиренный чин отставного гвардии подпоручика. Он променял Петербург, где в десять часов вечера гасили все огни, на родную патриархальную Москву. Там он вскоре женился на знаменитой красавице Капитолине Михайловне Вышеславцевой. Сергей Львович, переведенный в новообразованный лейб-гвардии егерский батальон, остался пока в Петербурге.

Тревожное и сумасбродное царствование в полной мере сказалось на личной жизни молодых супругов. В течение целых пяти лет, до самой смерти Павла I, Пушкины никак не могут прочно где-либо обосноваться и не перестают переезжать из одной столицы в другую. Уже месяца через четыре после свадьбы Сергею Львовичу

приходится выехать в Москву на торжества по случаю коронации. Павел I занимает дворец в Немецкой слободе, построенный среди обширного парка. По соседству — в домах и переулках Немецкой улицы — расселяется двор и часть гвардии. Это предопределило и позднейший выбор московского местожительства Пушкиных.

В начале мая коронационные празднества закончились, и гвардия возвратилась в Петербург. Здесь 20 декабря 1797 года у Пушкиных родилась дочь Ольга. «Наваринский Ганнибал» согласился быть восприемником новорожденной.

Из крепостных Марии Алексеевны к девочке взяли няню. Она сразу обратила на себя внимание Пушкиных своим метким языком. Ее образные словечки навсегда остались в преданиях семьи, а ее замечательный дар народной сказочницы определил ей службу при детях. Крепостную няню звали Ариной Родионовной.

Ей пришлось вскоре сопровождать молодую семью на новое место. Год испытаний в павловской гвардии не оставлял никакого желания продолжать службу. В начале 1798 года Сергей Львович подает в отставку и вслед за старшим братом уезжает в родную Москву.

Пушкины поселяются в Немецкой слободе. По своему благоустройству Немецкая улица представляла в те времена европейский квартал города, главную артерию обширного района, заселенного иностранцами, вельможами, учеными. С середины XVIII века вся округа Лефортова украсилась дворцовыми постройками работы Кваренги, Казакова, Марио Фонтана и других замечательных зодчих. От Яузы до Елохова моста, через всю Немецкую слободу, развернулся первый большой московский карнавал, устроенный в 1763 году знаменитым русским актером Волковым с участием Хераскова и Сумарокова.

Здесь находился один из лучших императорских дворцов, помещалось здание сената. Когда поэт И. М. Долгорукий «переложил на русские нравы» комедию Пуансинэ «Модный вечер», он из Сен-Жерменского предместья (квартал парижской знати) перенес действие в московскую Немецкую слободу.

В этой именно части города — на берегах Яузы, у Разгуляя, по Басманной — жили в то время семьи знакомых и приятелей Пушкиных: известного библиофила Бутурлина, не менее видного ученого публикатора Мусина-Пушкина (издавшего «Русскую правду» и «Слово о полку Игореве»), Воронцовых, Разумовских, Булгаковых и других представителей московского общества, к которому с детства принадлежал Сергей Львович и с мнением которого он всемерно считался. Нам поэтому представляется сомнительным, чтобы в мае 1799 года, накануне родов Надежды Осиповны, семья Пушкиных перебралась в домишко с провалившейся крышей, ветхий и полуразрушенный, где, согласно довольно распространенной версии, родился великий поэт. Вопреки этой легенде, сохранившиеся документы не опровергают вполне естественного предположения, что хотя бы одно из трех жилых строений во дворе Рованда-Скворцова (если Пушкины действительно сюда перебрались в мае 1799 года) представляло собой достаточно благоустроенное помещение. Во всяком случае все, что мы можем утверждать здесь, сводится к очень немногим данным. На Немецкой улице (ныне Баумана), в части, примыкающей к Елоховой, в никому не известном, давно снесенном строении, в четверг, 26 мая 1799 года у Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных родился сын. Ему дали звучное историческое имя — Александр.

Он появился на свет в тяжелую и смутную эпоху. Маленькие листки столичных ведомостей не переставали сообщать о диверсиях «вероломного Буонапарте» на

полях Акры и победах фельдмаршала Суворова под стенами Феррары и Равенны. Это были крупные события текущей политической хроники, тонувшие в будничной сутолоке московской жизни. Но они оставляли свой след в памяти современников и надолго определяли дальнейший ход истории.

Вскоре после рождения сына Пушкины оставляют Москву. Прожив некоторое время в Михайловском у Осипа Абрамовича Ганнибала, они делают новую попытку обосноваться в Петербурге. Здесь они пробыли немногим больше года.

Павловский режим шел полным ходом к своей гибели. Петербург принял обличье прусской казармы. Полосатые будки, столбы и шлагбаумы пестрили улицы и площади. Гатчинцы с пудреными косами стыли на караулах. Михайловский замок был в основном закончен. Предстоял торжественный переезд Павла в новый дворец, воздвигнутый на месте его рождения, где, по словам императора, он хотел и умереть.

Неумолимый и мелочный распорядок совершенно сковал жизнь Петербурга. Считая, в полном согласии с эмигрантской аристократией, что Людовика XVI погубило «пренебрежение этикетом», Павел I решил подвергнуть своих подданных строжайшему режиму. Во дворце мужчины и женщины одинаково преклоняли перед ним колено и целовали ему руку. На улицах все проезжающие выходили из экипажей и отвешивали поклоны царю. Малейшее нарушение этих правил вызывало грозные гонения и взыскания. Вот почему появление Павла I на улице считалось сигналом к всеобщему исчезновению. Царя приветствовали паническим бегством.

Только таким уличным церемониалом можно объяснить курьезный эпизод ранней биографии Пушкина. Павел I

лично сделал выговор его няньке за то, что та не успела при приближении императора во-время снять головной убор с годовалого ребенка. Случай этот мог бы сойти за анекдот, но в атмосфере павловской регламентации уличных приветствий он становится понятным. Сам Пушкин, по рассказам старших, изложил впоследствии это странное происшествие в своих письмах, придавая ему значение некоторого предвестия своих будущих распрей с царями. Поклонами он действительно не баловал венценосцев до самого конца своей жизни.

V

У МЕНШИКОВОЙ БАШНИ

В начале 1801 года Сергей Львович возвращается в Москву и селится «на Чистом пруде» — между воротами Покровскими и Мясницкими, где Меншикова башня.

В «вербную пятницу», 15 марта, в яркий, солнечный день ранней весны семья узнает о новой смене царствования. Весть о смерти Павла I была встречена ликованием всей Москвы, и официальный траур принял характер народного празднества.

Через несколько дней, 26 марта 1801 года, у Пушкиных родился третий ребенок — Николай.

В ближайшие годы семья часто меняет квартиры — Пушкины живут в домах князя Юсупова, графа Санти, но остаются в том же участке старой Москвы. С этими кварталами связано раннее детство Пушкина. Он играл ребенком у Чистых прудов, любовался стриженными кущами юсуповской «Версали», наблюдал уличные сцены у Покровских и Мясницких ворот. Здесь разыгрывались подчас любопытные эпизоды народной жизни, привлекав-

шие внимание приезжих иностранцев. Многих путешественников поражал и трогал ежегодный весенний праздник освобождения птиц. Француз Арман Домерг, посетивший Россию в начале XIX века, описывает, как в этот день московский «серенький люд» — дворовые, крепостные, слуги, крестьяне — толпами устремляется на площади, где каждый покупает клетку с птичкой, чтобы дать пернатой узнице свободу при радостных возгласах окружающей толпы. Есть в этом обычае, замечает иностранец, нечто трогательное и одновременно грустное. Это символическое празднество кажется почти оскорблением, нанесенным этим несчастным людям, пребывающим в состоянии рабства. Пушкин с детства полюбил этот «святой обычай старины».

Вокруг расстилалась Москва — «большое село с барскими усадьбами», пестрый, разбросанный, людный город, с бревенчатыми и вовсе немощеными мостовыми, с питейными домами, харчевнями и «хлебными избами», нюренбергскими лавками и голландскими магазинами, с колымажными дворами, монастырями, «воксалами» и дворцами, — «ленивый, изнеженный, великолепный азиатский город», по отзывам иностранцев. Писатель, впоследствии восхищавший Пушкина, Анри Бейль-Стендаль, был очарован в 1812 году московскими дворцами, «каких не знает Париж», картинами, статуями, диванами и оттоманками этого «прекраснейшего храма наслаждений». Пушкин, как «родовой москвич» (так звал его впоследствии Вяземский), навсегда запомнил колоритный быт старой Москвы с ее знатными чудаками и богатыми проказниками, окруженными толпами дворовых, арапов, егерей и скороходов, сопровождавших торжественные выезды своих бар в каретах из кованого серебра.

Такие впечатления молчаливо и сосредоточенно вбирал в себя мальчик Александр, смущавший подчас свою мать некоторой неповоротливостью и задумчивостью. Так скла-

дывались скрытые внутренние процессы раннего поэтического мышления. «Страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятьями», свидетельствовал брат Пушкина. Сам поэт не раз отмечал такое раннее пробуждение своего творчества; таковы его стихи о музе: «В младенчестве моем она меня любила...», «И меж пелен оставила свирель...»

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила...

. . . . . .

И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью...

Пробуждению фантазии ребенка широко способствовало знакомство с увлекательным миром народной сказки.

«...Некоторый царь задумал жениться. Но не нашел по своему нраву никого; подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит тридцать три сына. Царь женился на меньшой...»

Так рассказывает Арина Родионовна.

Она неистощима в своих песнях, побасенках и сказаниях. В молодости крепостная самого арапа, теперь вольноотпущенная, она не пожелала воспользоваться вольной и осталась в семье няньчить маленьких Пушкиных. В родном селе Кобрино, в имениях Ганнибалов она наслушалась сказок о Султане Султановиче, о Марье-царевне, о работнике Балде, перехитрившем бесенка. Ее память подлинной сказительницы удержала во всех живописных подробностях песни, пословицы, присказки, поговорки. С глубокой музыкальностью, столь органически свойственной русскому народу, она протяжно поет щемящие и чарующие песни:

За морем синичка не пышно жила...

Вид Подновинского предместья Москвы в конце XVIII века.
Со старинной гравюры.

Заунывные напевы сменяются неожиданной веселой плясовой мелодией. В ней слышится неистребимая внутренняя сила многострадального крестьянства, которое пронесло сквозь невиданный гнет векового закрепощения свою неугасимую одаренность, ясность мысли, яркость слова, живость образа, чистоту ритма.

И в детской Пушкиных звенит и разливается веселый и задорный мотив о том, как по широкой столбовой дороге «шла девица за водой, за водою ключевой...»[1]

В доме есть еще одна рассказчица — бабушка Ганнибал. В 1801 году она вслед за дочерью переезжает в Москву, снимает помещение по соседству с Пушкиными, но вскоре селится с ними в одной квартире и берет на себя заботы по дому в качестве единственной опытной хозяйки во всей семье.

Мария Алексеевна происходила по матери из старинного рода Ржевских и, по свидетельству ее внучки, «дорожила этим родством и часто любила вспоминать былые времена». От нее маленький Пушкин услышал первые исторические анекдоты о XVIII веке, которые впоследствии так любил записывать. Она рассказывала детям о своем дедушке — любимце Петра I Юрии Алексеевиче Ржевском (имя его действительно упоминается среди деятелей эпохи). Немало старинных эпизодов и бытовых курьезов мог сообщить Марии Алексеевне ее отец — Алексей Федорович Пушкин, который состоял пажем при дворе царевны Прасковьи Ивановны, был кадетом Сухопутного шляхетного корпуса, служил в драгунах, брал Очаков, участвовал во всех турецких кампаниях. Она

---

[1] Об этом песенном репертуаре няни свидетельствует знаменитая строфа Пушкина:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

была близка и к обоим историческим Ганнибалам, пыталась даже смягчить суровый нрав Абрама Петровича и навсегда сохранила благодарную память о его старшем сыне — наваринском победителе, взявшем ее под свою защиту.

Русская история целого столетия, военные события, интимный быт царей, Петр и императрицы, искатели и сподвижники — все проходило в ее рассказах сквозь события семейной хроники и биографии ближайших родственников.

Наряду с русским прошлым беседы семьи оживлялись и жизнью современного Запада. Как это не раз бывало в роду Пушкиных, брак Василия Львовича оказался несчастливым. Красавица Капитолина Михайловна обвинила мужа в неверности и грозила ему бракоразводным процессом. Чтобы избежать докучного судопроизводства, Василий Львович решил исполнить давнишнюю свою мечту — повидать чужие края. Его путешествие в Германию, Францию и Англию в 1803 году оказалось некоторым событием в литературной жизни Москвы (достаточно известна шутливая поэма на эту тему И. И. Дмитриева).

Хотя приятели Василия Львовича много трунили над его путешествием, необходимо признать, что он осматривал европейские страны, как просвещенный турист, стремящийся изучить памятники прошлого и приобщиться к новейшим достижениям западной современности. В Германии он любуется оригиналами Ван-Эйка, посещает театры, увлекается знаменитым актером Иффландом, осматривает арсенал, фарфоровую фабрику, королевскую библиотеку. В Лондоне занимается английским языком и переводит Томсона. В Париже он знакомится с Бернарденом де-Сен-Пьером, госпожей Рекамье, «славной актрисой Дюшенуа», знаменитым трагиком Тальма, у которого берет уроки декламации; в музеях восхищается

группой Лаокоона и «прелестной Венерой Медицис». Ему удается попасть на прием к Первому консулу и испытать «величайшую любезность» Жозефины. Он переводит для «Французского Меркурия» несколько русских народных песен, которые и печатаются в журнале с лестным редакционным сообщением о переводчике — «выдающемся русском литераторе».

Вернувшись в Москву, путешественник живо рассказывал о своих заморских встречах и декламировал Шекспира по новейшим принципам самого Тальма. У Харитония в Огородниках неожиданно возникал в разговорах и стихах неведомый чудесный город: там кофейни шумят веселым говором нарядной толпы, на эстрадах парков оркестры играют «Марсельезу», веселые песенки звучат под каштанами бульваров, скромные академики в черных одеяниях всходят на кафедру сообщать о величайших открытиях человеческой мысли, и актеры публичных сцен учат пластическому жесту первых государственных деятелей.

Саше Пушкину шел шестой год. Многое из этих рассказов уже было ему понятно, привлекало внимание, будило мысль. Василий Львович показывал издания классиков, купленные у Дидота, толковал привезенные эстампы, рассказывал о кабинете редкостей, опере, Пале-Рояле.

Вечером Сергей Львович принимает своего литературного друга — Карамзина. Юноша, вернувшийся в 1790 году из чужих краев преисполненным восхищения перед образами Фиеско и Вильгельма Телля, успел преобразиться в писателя-консерватора. Карамзину под сорок, лицо его, обрамленное темными бакенбардами, стало суше и строже, жест сдержаннее и увереннее. Пронзительные, умные глаза попрежнему вспыхивают в момент воодушевленного рассказа, но уже нередко отсвечивают иронией.

Вольнолюбивость его ранних увлечений (он решался в последние годы Екатерины высказывать сочувствие Робеспьеру) сменилась преданностью всем освященным авторитетам. Недавно в своем «Вестнике Европы» он приветствовал Бонапарта за то, что тот «умертвил чудовище революции». С тех пор Первый консул успел стать французским императором и угрожал всем европейским монархиям.

Это закрепило новое направление карамзинской мысли и обратило ее к отечественным преданиям. Вчерашний культурный космополит, чтивший высшее общечеловеческое начало, занят теперь проблемой воинствующего патриотизма, выраженного в новой формуле «народной гордости». Безбрежным далям мировой поэзии, с ее соблазнами и бурями, он предпочитает четко отмежеванную национальными границами почву родного прошлого; от исторической беллетристики он переходит к осуществлению огромного замысла истории государства Российского. Он уже не поэт, не редактор, не новеллист — для друзей он «постригся в историки», для света носит старинный титул Расина и Буало — торжественное звание историографа.

Карамзин всегда любил оживленные литературные беседы, а с таким мастером разговора, каким по праву считался Сергей Львович, он мог просиживать целые вечера, с обычным для себя жаром и строгостью обсуждая текущие литературные явления. В то время только начинала по-настоящему разгораться борьба с противниками карамзинской реформы. Только в 1803 году вышло столь нашумевшее сочинение адмирала А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», в котором европейской литературной ориентации, якобы исходящей из симпатий к французской революции, противопоставлялась традиция церковно-славянского языка, выражающего идеи православной церкви и самодержавной власти. Филологическая

проблема принимала острый политический характер, а возникающая литературная борьба первых славянофилов и западников получала чрезвычайное напряжение. К последней группе безоговорочно примкнули Пушкины.

Таким образом, тем для беседы Карамзина с Сергеем Львовичем было не мало. Но о чем бы ни говорили собеседники, они долго и весьма оживленно обменивались мнениями. Легкий диалог уступал временами место обстоятельному рассказу. Поднимаясь с кресел, выпрямляясь во весь свой крупный рост, Карамзин ораторствовал.

С подъятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым уберроком
И в пыльных сапогах,
Казался он пророком... —

так описывал его Жуковский.

Это было необыкновенное зрелище, особенно для пятилетнего мальчика, безмолвно притаившегося в углу дивана, впившегося глазами в «живого писателя» и жадно вбиравшего в себя непонятные и чудесные речи. Быть может, взрослые уже успели шепнуть ему, что этот высокий человек с гулким голосом сложил певучую сказку об Илье Муромце, так затейливо развернувшую «чарования красных вымыслов»...

Мальчик слушал. Лился поток слов, раздавались странные чужеземные фамилии, звучали стихи. Раскрывался особый мир — уже не сказочных образов, не отроков с серебряными ножками и царевен со звездой во лбу, а замечательных живых людей, слагающих стихи и пишущих книги. Откуда-то возникало тревожное и смутное желание стать со временем таким же слагателем «красных вымыслов» и водителем поющих строк.

Об этом сообщил нам в драгоценной по своей точности записи Сергей Львович Пушкин: «В самом младенчестве он показал большое уважение к писателям. Не имея ше-

сти лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин — не то, что другие. Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго; во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год».

В конце 1804 года Мария Алексеевна Ганнибал приобрела под Москвой, в Звенигородском округе, сельцо Захарово. Оно находилось всего в двух верстах от большого поместья Вязёмы, богатого историческими воспоминаниями и культурными реликвиями. Это была вотчина Бориса Годунова, затем загородный дворец Лжедимитрия, где останавливалась Марина Мнишек. Здесь задерживались послы и путешественники-иностранцы, следовавшие большой дорогой из Смоленска в Москву, сюда приезжал к своему воспитателю Борису Голицыну Петр I. Это оставило свой след в местных преданиях и народных песнях. В последний раз Пушкин жил здесь, когда уже писал поэмы и проявлял творческий интерес к прошлому. Многое могло здесь привлечь его внимание и надолго запомниться.

Захарово расположено живописно. Березовая роща, пруд, еловый лес, речка Захаровка и прибрежные холмы, старинный господский дом с флигелями — все это создавало в летние месяцы прекрасную обстановку. Пушкин-ребенок полюбил клены, тополя, водную гладь и тенистую рощу Захарова. Впоследствии оно выступало перед ним, как некий приют сельского уединения в минуты поэтического влечения к природе, к мудрой идиллической жизни вдали от городского шума.

Но не все дышало идиллией в сельце Захарове. Здесь Пушкин впервые увидел крепостное крестьянство, которое навсегда осталось предметом его пристального наблюдения и творческого изображения.

Летом 1807 года в Захарове умер младший брат — пятилетний Николай. Это осталось в памяти, как печальное событие детских лет (в краткий конспект своей автобиографии Пушкин внес: «Смерть Николая»). Мальчик был похоронен в Вязёмах, у стен старинной церкви, выстроенной Борисом Годуновым. До сих пор сохранилась на Голицынском погосте небольшая колонка с полустертой надписью: «Под камнем... Николай Серг... Пушкин, родился 1801 г. марта 26, скончался 1807 г. июля 30 дня».

VI

«В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ...»

Настала пора подумать о серьезном обучении мальчика. Сергей Львович придавал несомненное значение проблеме воспитания, но разрешал ее несколько своеобразно. К новому поколению он применял принципы полученного им самим изысканного образования дворян екатерининского времени. К этому присоединялся, видимо, и личный опыт светской жизни и постоянных словесных развлечений. Началом и основой школы он считал знание европейских языков, особенно французского, которым владел мастерски и который так свободно подчинял игре своих каламбуров. Знание чужого языка считалось достигнутым лишь при усвоении литературных форм и даже поэтического стиля, почему изучение и строилось на чтении классических образцов — «Сида», «Андромахи», «Тартюфа», «Макбета», «Генриады». Отсюда убеждение, что высшим качеством преподавателя является его причастность к искусству — поэзии, музыке, красноречию, живописи. Достаточно известно, что сам Сергей Львович открыл такое литературное воспитание своих детей чтением им

вслух своего любимого Мольера. Эти принципы, во многом верные, ощущаются в системе воспитания его первенцев и в некоторых случаях вполне оправдывают себя.

К сожалению, практика оказалась ниже задания. Домашнее воспитание навсегда вселило в сознание Пушкина отвращение к французским вокабулам и арифметике, зато сообщило ему отличное знание двух языков, которые в детские годы он считал одинаково родными, а вместе с тем исключительную начитанность в поэзии. Этими знаниями он обязан своим родственникам в не меньшей степени, чем педагогам. Сергей Львович пошел, несомненно, правильным путем, приобщая детей с малолетства к литературе взрослых, широко раскрыв восьмилетнему мальчику свои книжные шкафы и разрешив ему постоянно присутствовать в кабинете и гостиной при беседах писателей. «Малый» поэт, каким был Сергей Львович, создал прекрасную умственную среду для воспитания великого поэта, каким оказался его сын.

Главную школу Пушкин проходил не в детской, а в приемных комнатах отца. Здесь он постоянно слушал стихи и с замечательной легкостью запоминал их. При такой системе воспитания роль педагогов значительно ослабляется. Разноязычные воспитательницы — немки, француженки, англичанки — особенного значения для его развития не имели. До нас дошли имена мисс Белли и фрау Лорж, преподававших языки маленьким Пушкиным. Ни английским, ни немецким Александр Сергеевич в детстве не овладел, но в конспекте своей автобиографии он впоследствии записал: «Первые неприятности — гувернантки».

Вскоре от этих докучных воспитательниц подросший Александр переходит на попечение учителя-француза. Первый гувернер Пушкина — граф Монфор, человек светского образования, музыкант и живописец. Его сменяет monsieur Руссло, который преподавал мальчику,

помимо своего родного языка, еще латынь и отличался, даже в семье Пушкиных, своими стихотворческими способностями [1]. Очевидно, педагоги, приглашенные Сергеем Львовичем, не принадлежали к разряду случайных учителей из тех ремесленников и разносчиков, которых нередко поставляла в помещичьи семьи французская эмиграция.

Родному языку Пушкин в раннем детстве учился у своей бабки Марии Алексеевны Ганнибал. Происходя из обедневшей дворянской семьи, не получив аристократического французского воспитания, она любила свой родной язык и научилась литературно владеть им. Она обучала своих внуков чтению, но едва ли письму, так как, подобно всем русским женщинам той эпохи, писала крайне неуверенно (в смысле орфографии).

Марию Алексеевну вскоре сменили педагоги-профессионалы — обрусевший немец Шиллер и священник Беликов. Это не был захудалый дьячок, обучавший грамоте недорослей XVIII века, но, в полном соответствии с общей культурой пушкинского дома, известный проповедник, даже писатель. Помимо отечественного языка, он преподавал детям арифметику и катехизис. Профессор двух институтов, он хорошо владел французским языком и издал в своем переводе проповеди Массилиона. Интересуясь вопросами новейшего безверия, он охотно вступал в споры с французами-эмигрантами, посещавшими Сергея Львовича. Диспуты о философии XVIII века, о

---

[1] Мы располагаем столь скудными сведениями о первых воспитателях Пушкина, что не будем пренебрегать ни одной подробностью о них. В списках членов французской колонии, которые в 1812 году взяли на себя различные обязанности по управлению Москвой, имеется и Шарль Руссло (Rousselot). Весьма возможно, что это и есть тот гувернер, который лишь два-три года тому назад жил в семье Пушкиных. Впоследствии в черновиках «Дубровского» Пушкин назвал француза-гувернера именем Руссло.

сущности «вольтерьянства», так неодолимо владевшего русскими умами екатерининской и павловской эпох, заметно оживляли беседы литературного салона. И своих воспитанников Беликов убеждал не увлекаться чтением «софистов прошлого века», этих подлинных «апостолов дьявола», столь широко представленных в библиотеке Сергея Львовича. «Гнусные и юродивые порождения так называемых энциклопедистов следует исторгать, как пагубные плевела, возрастающие между добрыми семенами», учил московский архиепископ Платон, в духе которого проповедывал и отец Беликов. Богослов Мариинского института даже поднес своей старшей питомице — Ольге Сергеевне — испанский трактат «Торжество евангелия и записки светского человека, обратившегося от заблуждений новой философии». В светской атмосфере семьи Пушкиных эти церковные доктрины не имели успеха, но сами споры, несомненно, заостряли мысль молодых слушателей, еще усиленнее обращая их к «соблазнительным» книгам отцовской библиотеки.

С кем же состязался красноречивый отец Беликов в гостиной Пушкиных? Обширные литературные связи Сергея Львовича сказались на составе общества, собиравшегося в его салоне. Это были иностранные и отечественные поэты, ученые, музыкальные знаменитости. Дети с малых лет допускались на эти собрания. По свидетельству одного из посетителей Сергея Львовича, маленький Александр «почти вечно сиживал как-то в уголочку, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор или басенный эпиграмматист».

Среди гостей-иностранцев выделялся Ксавье де-Местр, младший брат сардинского посланника и будущего автора «Петербургских вечеров». Родом из Савойи, Ксавье де-Местр после революции эмигрировал в Россию, где пытался применить свои знания офицера, художника и

писателя. Хорошо владея кистью, он написал портрет Надежды Осиповны в модном жанре миниатюры — акварелью на слоновой кости, передав с замечательной живостью ее тонкие черты и умные глаза.

Ксавье де-Местр преподавал живопись сестре Пушкина. Впоследствии Ольга Сергеевна приобрела репутацию прекрасной акварелистки и легко владела карикатурным жанром. Возможно, что и брат ее кое-что вынес из этих уроков, и вольность штриха в его позднейших рисунках отчасти восходит к блестящему мастерству художника-савойяра, учившего его сестру.

Среди русских литераторов, иногда мало известных, как А. Ю. Пушкин и М. Н. Сушков, здесь выделялись два первостепенных литературных имени — Карамзин и Дмитриев.

К этим именам Василий Львович прибавил теперь два новых — Жуковского и Батюшкова:

Жуковский, друг Светланы,
Харитами венчанный,
И милых лар своих
Певец замысловатый...

Жуковский в 1808 году принимает на себя редактирование «Вестника Европы» и становится в центре московской литературной жизни. Теперь он уже признанная сила. Еще в 1802 году в карамзинском «Вестнике Европы» было помещено «Сельское кладбище», сразу же поставившее Жуковского в первые ряды русских авторов. Поразительное благозвучие и прозрачная напевность стиха зачаровали читателей. В доме Сергея Львовича, у которого автор «Людмилы» бывал в 1808—1810 годах, он впервые увидел своего будущего ученика и «победителя».

В первой половине 1810 года в Москве появился Батюшков. Среди оживленных и нарядных гостей Сергея Львовича он представлял своеобразное исключение.

Это был невысокий человек болезненного вида, с впалой грудью и печальными голубыми глазами. Вьющиеся русые волосы еле оттеняли его бледное лицо. Одиноким был он и среди московских стихотворцев. Первым из русских лириков он пошел в школу итальянских поэтов, стремясь сообщить родному слову «музыкальные звуки авзонийского языка». В эти годы Батюшков в своем творчестве уже «дышал чистым воздухом Флоренции» и любил беседовать «с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарки». Предпринятый им труднейший опыт по приданию русскому поэтическому языку плавности и напевности начинал давать поразительные результаты. Слагался новый лирический стих с гибким и сильным ритмом, замечательно соответствующий богатому разнообразию элегических и вакхических мотивов Батюшкова:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной [1].

Тончайшая инструментовка стиха, чистота и грация образов, прелесть свободного движения обновленных ямбических ритмов — здесь все уже предвещало Пушкина. Вскоре начинающий поэт признает Батюшкова своим первым и главным учителем и отчетливо поставит себе задачей развивать великолепный лирический стих «Вакханки» и «Умирающего Тасса».

Верным представителем карамзинской плеяды был в этом обществе Василий Львович. Не обладая крупным дарованием, он был прилежным работником в области стиха и языка. («Грамматика тебя угодником считает», писал ему Жуковский.) Около 1810 года Василий Пуш-

---

[1] «Мой гений», 1815.

кин проявил подлинное дарование сатирика и бытописателя в своей шутливой поэме «Опасный сосед».

Долгое время русская журналистика не умела ценить талантливых «малых» поэтов, имеющих свое несомненное значение в развитии литературы, в распространении новых форм, в укреплении достигнутых преобразований. Это отразилось на литературной репутации Василия Львовича. В исторической перспективе необходимо признать положительное значение его тщательной разработки разнообразнейших поэтических жанров — посланий к друзьям, басен и сказок в духе Лафонтена, подражаний Горацию и Парни, сатирических поэм, эпиграмм, мадригалов, альбомных стихотворений, экспромтов, «буриме» (стихов на заданные рифмы), наконец, его плодотворную работу над поэтическим языком. В общем этот довольно обширный словесный труд прилежного стихотворца послужил некоторой начальной школой для его племянника. «Вовсе недюжинный стихотворец», — так отозвался впоследствии о Василии Пушкине строгий критик Вяземский.

Разнообразие этих лирических жанров позволяет отчасти судить и о характере творчества самого хозяина салона. Дошедшие до нас в очень небольшом количестве опыты Сергея Львовича представляют собой дружеские послания, альбомные стихотворения, любовные элегии. Создавал он их с большой легкостью, часто в порядке импровизации. По свидетельству современников, он обладал врожденной способностью писать и даже говорить стихами. Выдающаяся лингвистическая одаренность Сергея Львовича давала ему возможность с одинаковой непринужденностью рифмовать по-русски и по-французски. Он был большим мастером «стихов на случай» и охотно заполнял альбомы друзей и знакомых своими стансами.

Его подросток-сын, присутствуя на диспутах, знако-

мится с образцами поэзии, слушает эпиграммы и пародии. Он начинает понимать, что литература — не просто мирное сплетение рифм, но непрерывная борьба, столкновение мнений, нападение и защита. Сильные поэтические образы могут вооружать к битве, а меткий стих убивает противника. Об этом говорили друзья Карамзина, с насмешкой и презрением отзываясь о своих антагонистах — Шишкове, Хвостове, Шаховском. Жизнь литературы напоминает войну, и, чтобы победить, необходимо дружно итти в ногу с армией единомышленников, осыпая противника всеми стрелами сатирической полемики.

Из родного дома Пушкин вынес богатые речевые впечатления. Родители его в совершенстве владели французским языком; гувернеры и эмигранты придавали ему новый блеск бойкими интонациями парижского диалекта. Бабка Ганнибал славилась замечательным знанием русского языка, а по сложным обстоятельствам своей личной жизни могла обогащать свои рассказы о прошлом рядом терминов официального слога XVIII века, военного и морского лексикона, особыми словечками провинциального просторечия и вычурным «штилем» старинной приказной волокиты. Нянюшки, дядьки, дворовые, крепостные — все эти суйдинские, кобринские, болдинские, захаровские уроженцы — не переставали рассыпать в своих разговорах, песнях и сказках обильную и драгоценную руду живого народного слова. Проповедник Беликов приводил на своих уроках архаические славянские тексты. В устах гувернанток звучала немецкая речь, впрочем, нелюбимая в семье Пушкиных: даже замечательный языковед Василий Львович сознавался в своей малой склонности к слову Шиллера и Гёте. Зато мисс Белли читала с Оленькой «Макбета» и сообщала ее брату первые познания в языке, на котором писали любимцы русского читателя тех лет — Стерн, Грей, Том-

сон. Рядом с Шекспиром здесь раздавались стихи Расина и Мольера, Вольтера и Лафонтена, Жуковского и Батюшкова. Плавные монологи французских трагиков, вольные размеры басен, легкие строфы «мимолетной поэзии», прихотливые ритмы народных песен — все это постоянно звучало и пело в доме, где рос Александр Пушкин. В культурных, в собственно поэтических и чисто словесных впечатлениях у него не было недостатка.

И все же детские годы оставили у Пушкина мало отрадных воспоминаний. Недоставало душевного внимания к своеобразной внутренней жизни ребенка, даже самой обыкновенной нежности к нему. До сих пор не вполне выясненные обстоятельства рано вызвали непонятное охлаждение родителей к старшему сыну, столь контрастирующее с их обожанием младшего — Льва (родился в 1805 году). Впоследствии хорошо осведомленные о всех обстоятельствах жизни Пушкина его начальники по Коллегии иностранных дел сообщали в официальном документе: «Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно лишь страстное стремление к независимости...» Есть основание полагать, что этот отзыв был подсказан Карамзиным, пытавшимся в то время смягчить участь ссылаемого поэта. Немного позже знавший членов семьи и личных друзей поэта Анненков уверенно сообщал, что до самого 1815 года родные смотрели подозрительно на творческие занятия Александра: «Поэзия молодого Пушкина казалась шалостью в глазах близких ему людей и встречала постоянное осуждение».

Трудно объяснить причины такого неприязненного отношения культурной семьи к одаренному мальчику, который, по позднейшему свидетельству его отца, «оказывал большие успехи в науках и языках и, еще в ребяче-

стве, отличался пылким нравом, необыкновенной памятью и, в особенности, наблюдательным не по годам умом».

Тем не менее самый факт, установленный приведенными свидетельствами современников, не подлежит сомнению. Родители относились к Пушкину с непонятной сдержанностью. Внимание и оценку он встречал у посторонних, подмечавших в подростке черты необычайной одаренности. Замечательный педагог Реми Жиле как-то обратил внимание на сына Сергея Львовича, жадно слушавшего салонных поэтов и ораторов: «Чудное дитя! Как он рано все начал понимать».

Такая оценка свидетельствует о том теплом внимании к детской личности, которого Пушкин не встречал со стороны своих родителей. Детство его, как и вся последующая жизнь, несмотря на обилие культурных впечатлений и поэтических замыслов, было горестным и одиноким. Непонимание и неприязнь были его уделом уже в родительском доме.

VII

ПЕРВЫЕ СТРОФЫ

Кресла в гостиной расставлены рядами, а ширмы превращены в кулисы. Сергей Львович и дядя Василий, закутавшись наскоро в архалуки и шали, бойко ведут оживленную французскую беседу. Забавно и весело звучит диалог Мольера, насыщенный веселыми остротами сатирической комедии и сочными шутками народного фарса. В публике сдержанный смех и легкий шопот одобрения. Дети, словно завороженные, следят за потешным единоборством Сганареля с Панкрасом.

Блестящий драматургический текст глубоко западает в сознание подрастающего поэта. Неудивительно, что

один из первых жанров, прельстивших Пушкина, назван его сестрой «маленькими комедиями»; они импровизировались на французском языке и явно вдохновлялись Мольером. К этому именно виду одноактных веселых пьесок принадлежат такие образцы мольеровского театра, как «Смешные жеманницы», «Брак поневоле», «Мнимый рогоносец». Характерный признак этих коротеньких пьесок — анекдотичность сюжета, острота интриги, бойкая трактовка темы, радостная развязка. В центре обычно — забавный обман или комическое недоразумение, порождающее ряд игривых положений.

Дошедшее до нас заглавие одной из ранних пьес Пушкина свидетельствует о мольеровской традиции. «Escamoteur» собственно не похититель, а скорее плут, пройдоха. Известно, какую огромную роль в композиции мольеровских комедий играет момент ловкого обмана. Возможно, что в своем раннем опыте маленький автор вдохновлялся «Плутнями Скапена», где эта тема разработана наиболее изобретательно и остро.

Творец «Тартюфа» привлекал пока своими веселыми интригами и комическими типами. Вскоре он будет воспринят как «Мольер-исполин», как поэт и мыслитель, выражающий в легких комедийных формах свою приверженность природе, разуму, освободительным идеям эпохи. Ученик материалиста Гассенди и вольнодумца Скаррона, борец с «кабалой святош», воинствующий атеист в «Дон-Жуане», он незаметно формировал и оттачивал мысль будущего автора «Пира во время чумы». Мольер оказался для Пушкина одной из самых живых связей с бунтарским духом французского Возрождения.

С первой комедией Пушкина связано его обращение к другому жанру, характерному для французской поэзии XVIII века, — к эпиграмме. Как известно, сестра Ольга освистала пьеску «Escamoteur». Брат, по ее словам, «не обиделся и сам на себя написал эпиграмму»:

МОЛЬЕР (1622 — 1673).

С гравюры Боварле по портрету Бурдона.

«...камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными». (1844)

За что, скажи мне, «Ловкий вор»
Освистан зрителем партера?
Увы! За то, что стихотвор
Его похитил у Мольера [1].

«В то же время пробовал сочинять басни», продолжает сестра поэта свой рассказ о его первых творческих опытах. Лафонтен был чрезвычайно популярен в России и оказывал заметное воздействие на русских поэтов своими сказками и веселыми притчами. Пушкин рано полюбил «Ванюшу Лафонтена» и одновременно узнал двух видных русских баснописцев. Отмечая ранний интерес сына к поэзии, Сергей Львович сообщал: «С таким же любопытством внимал он чтению басен и других стихотворений Дмитриева и родного дяди своего Василия Львовича Пушкина, затвердил некоторые наизусть и радовал тем почтенного родственника, который советовал ему заниматься чтением наших поэтов, приятным для ума и сердца». Александр последовал этому совету.

С детства лучшими друзьями Пушкина становятся книги. Поэты старой Франции и «прозаики шутливы» — подлинное увлечение его ранних лет и первая его школа. Вот почему библиотека Сергея Львовича приобретает первостепенное значение для понимания умственного роста его сына.

Свидетельства ближайших родственников дают довольно отчетливое представление о составе этого старинного книгохранилища, питавшего раннюю любознательность Пушкина. Французские классики XVII и XVIII веков, сочинения Лафатера и Галля по френологии и физиогномистике, плеяда «малых» парижских стихотворцев — вот что в основном заполняло эти книжные шкафы. Имена Вольтера, Кондильяка, Руссо, Лафонтена,

---

[1] Позволяем себе передать этот первый блестящий опыт эпиграммы Пушкина русскими стихами.

Расина, Буало, Делиля, которые называет в своих посланиях Василий Львович, столь связанный с братом личной дружбой и общими вкусами, имеют несомненное значение и для суждения о ранней начитанности его гениального племянника. Стихи лицейского периода позволяют еще точнее судить о первых чтениях их автора. Имена Парни, Лафара, Шолье, Вержье, Грекура, мелькающие в этой ранней лирике, вполне подтверждают свидетельство Льва Сергеевича: «Пушкин был одарен памятью неимоверною и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу». Наконец, и в позднейших страницах поэта имеются сведения о его первых чтениях. (Полина в «Рославлеве» прочитывает всю отцовскую библиотеку, где представлена французская словесность от Монтескье до романов Кребильона.)

Пушкин рано узнал древних авторов. По сообщению Ольги Сергеевны, брат ее уже девяти лет «любил читать Плутарха». Следует отметить глубокий драматизм и подлинную героику этих исторических портретов, которыми так рано увлекся Пушкин. Биограф-моралист Плутарх стремился наиболее полно вскрыть великодушие и стойкость мужей Греции и Рима, чтобы возвести их в некий образцовый тип для будущих поколений. Эта богатая сокровищница преданий о подвигах античных политиков и поэтов оказалась неисчерпаемым источником тем и образов для трагиков позднейших столетий — Шекспира, Расина, Корнеля. Столь характерный для «Параллельных жизней» культ республиканской доблести, наряду с возмущением «тиранами», вызвал в Европе повышенный интерес к Плутарху в эпоху Просвещения и особенно в годы Революции. Им восхищается Руссо, им зачитывается юноша Бетховен. Примечательно, что и Пушкин уже в детстве черпает богатые запасы энергии из этих книг о героях древности. Ранний читатель Плутарха, он, вероятно, вынес из этих страниц свойственное

ему впоследствии ощущение жизни, как арены великой борьбы.

Тогда же, по свидетельству сестры, Пушкин зачитывался «Илиадой» и «Одиссеей» во французском переводе Битобе. Пушкин навсегда сохранил благоговение к «старцу великому», поведавшему ему бессмертные сказания о подвигах, борьбе и великой человечности античных героев.

Эпические поэмы привлекают его интерес и в новейшей литературе. «Лет десяти, — сообщает сестра поэта, — начитавшись «Генриады» Вольтера, написал он целую герои-комическую поэму в песнях шести под названием «Toliade», которой героем был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием война между карлами и карлицами».

Темой своей эпической поэмы Вольтер выбирает трагическую эпоху — время жестоких гражданских боев во Франции. Первоначально эта эпопея носила более точное заглавие — «Поэма о Лиге». Так назывался во Франции в XIV веке союз горожан-католиков, объединившихся против вооруженного движения кальвинистской реформы. Тема религиозных войн дает возможность Вольтеру выразить протест против церковной нетерпимости. Описания Варфоломеевской ночи, битв под Кутрасом и Иври, голода в Париже представляют собой исторические картины исключительной силы. Написанная несколько однообразными александрийскими стихами, поэма отличается чисто вольтеровской ясностью выражений, предельной прозрачностью слова, текучей легкостью версификации. Высокая социальная идейность «Генриады» — борьба с религиозным фанатизмом, захватывающий драматизм исторической темы, блеск и чистота стиля — все это обеспечило поэме широкое признание и рано возвело ее в ранг великих образцов литературной Франции.

Десятилетний Пушкин мог запомнить классическое об-

ращение Вольтера — не к Музе, а к Правде: истина должна сообщить силу и свет его писаниям, приучить к своему голосу уши королей, выражать его пером страдания народа и обличать ошибки властителей. Быть может, эта взволнованная и гордая страница дала первое направление поэтической мысли Пушкина: мы знаем по его позднейшему творчеству, что и его Музой стала Правда.

Но мальчик не ставил себе непосильной задачи создать творение в таком трудном жанре, как «Генриада». Сестра поэта совершенно правильно указывает, что он взялся за написание поэмы герои-комической, то-есть принялся за пародию на героический эпос. «Генриада» стала для него материалом для шутливой трактовки, а образцом явилось произведение предшественника Вольтера, давшего лучший образец поэмы-пародии на классическую героику: мы имеем в виду Буало и его шутливую поэму «Налой».

Это — тонкая сатира на нравы церковнослужителей, остроумно подменяющая воинственные события героического эпоса эпизодами ссор и дрязг между дьяконом и прелатом, который вопреки правилам поместил аналой на хорах часовни. Чрезвычайно характерны элементы чисто литературной пародии, введенной Буало в свою поэму: знаменитая жалоба Дидоны комически преломляется в речи парижской парикмахерши, покинутой ее кавалером. Буало, как мы знаем, высоко ценился Пушкиными: Василий Львович считал знаменитую поэтику XVII века «верным щитом» от всех кривотолков злобствующей критики; такое же уважение к «Поэтическому искусству» сохранял до конца и его племянник.

«Толиада», от которой сохранилось только четыре строчки с краткой справкой Ольги Сергеевны, представляет крупнейший интерес для истории поэтических замыслов ее брата: это первое зерно того жанра, который

через несколько лет начнет воплощаться в «Руслане и Людмиле».

Раннюю поэму Пушкина постигла печальная участь. Гувернантка детей, недовольная тем, что Александр, вместо уроков «занимается таким вздором», тайком завладела его тетрадкой и с соответствующей жалобой вручила ее гувернеру Шеделю. Прочитав первые стихи пародийной поэмы, француз бесцеремонно расхохотался.

Начинающий поэт почувствовал себя глубоко оскорбленным: рукопись его тайно похищена, над стихами грубо смеются. «Тогда, — рассказывает Ольга Сергеевна,— маленький автор расплакался и в пылу оскорбленного самолюбия бросил свою поэму в печку». Казалось бы, обычный случай из быта детской, и все же это первый удар в творческой биографии Пушкина: самовольное распоряжение его рукописью, глумление над ней и в результате — сожжение автором заветной тетради в виде протеста против возмутившего его непонимания и насилия.

Одним из многочисленных литературных течений, к которым приобщился в детстве Пушкин, была легкая французская поэзия. Не занимательные сюжеты и чувственные образы привлекали к этому жанру авторов, а обогащение с его помощью поэтического языка. Запретные темы требовали гибкости для своего выражения в искусстве слова. «В легком роде поэзии, — учил Батюшков, — читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности». Уже Ломоносов, по его словам, стремился обогатить русский язык «нежнейшими выражениями Анакреоновой Музы». «Легкая» поэзия представляла в тогдашней литературе весьма трудную стилистическую проблему.

С лучшими образцами этого жанра «певец-ребенок» (как его называли друзья семьи) мог знакомиться и в одной редкой московской библиотеке. Когда Пушкины около 1810 года вновь поселились в Немецкой слободе, их соседями оказались Бутурлины, владевшие огромной усадьбой на самом берегу Яузы. За железной решеткой ворот с двумя каменными львами расстилался знаменитый парк с голландскими каналами, отмеченный в описаниях английских путешественников. Среди оранжерей с тропическими растениями высился прочный дом петровской эпохи. Маленький Пушкин любил резвиться в бутурлинском саду, прогуливаться по парадным комнатам, обитым штофом и увешанным старинными «баталиями». Портрет первого графа Бутурлина, фаворита Елизаветы, изображенного во весь рост с фельдмаршальским жезлом в руке, казалось, следил строгим взором за проходившим подростком.

Правнук этого знаменитого полководца, приятель Сергея Львовича, Дмитрий Петрович Бутурлин, был артистом-дилетантом. Он славился исполнением буффовых партий в операх Чимарозы и характерных ролей в комедиях Мольера и Гольдони. Он писал французские стихи, собирал редкие книги и рукописи. Двенадцатилетнего Пушкина уже влекло в это ценное книгохранилище. «Я нашел его, — рассказывает один из гостей Бутурлиных,— в огромной библиотеке: он разглядывал затылки сафьяновых фолиантов... Вошел граф Дмитрий Петрович с детьми, чтоб показать им картинки. Пушкин присоединился к ним...»

Библиотека Бутурлина пользовалась европейской известностью. В 1805 году в Париже вышел каталог этого собрания. Из описи видно, что знаменитое книгохранилище представляло собой систематическую коллекцию изданий по всем отраслям науки и искусства. Если в книжных шкафах Сергея Львовича имелись какие-либо

пробелы в старинной или новейшей поэзии, они несомненно, восполнялись бутурлинской библиотекой. Здесь были представлены полностью и в наилучших изданиях все поэтические имена, увлекавшие Пушкина-юношу. При тесной близости и ближайшем соседстве обоих семейств можно не сомневаться, что он хорошо изучил не только сафьяны корешков на этих книжных полках.

Пушкин поступал в школу страстным читателем, уже знакомым с лучшими образцами мировой поэзии и незаметно воспринявшим скептическую мысль европейского «вольнодумства». В доме отца он не встречал задержек свободному развитию своих воззрений. Поэтические интересы Сергея Львовича отвели его от официальной России его времени. Он не проявлял стремлений приблизиться к власти подобно другим представителям дворянства, а увлечение французской литературой XVIII века не могло способствовать особенно прочным связям с православной церковью. Он считал нужным сохранять в обоих направлениях спасительную лойяльность, обеспечивавшую ему спокойное существование, но перспективы большой карьеры нисколько не привлекали его. Двадцати восьми лет, в чине штабс-капитана, Сергей Львович оставляет гвардию и удаляется из Петербурга в Москву, где занимает совершенно незначительный пост в очень скромном ведомстве. Он, несомненно, разделял презрение своего брата Василия Львовича к тем бесчисленным российским душевладельцам, которые проводили свой век в курении табака, кормлении собак и сечении крестьян («Экспромт на помещика Перхурова»). Широко бытовавший в этой среде безудержный «картеж», доводивший нередко до преступлений, был ему чужд. Поклонник трезвой и насмешливой мысли Мольера, он был свободен от крепостнического самодурства, погони за чинами, придворного благочестия. Вот почему из отцовского дома Пушкин вышел совершенно свободным от

Акварельный портрет юного ПУШКИНА.
Работа неизвестного художника.

К. Н. БАТЮШКОВ (1787—1855).
Мраморный бюст работы П. П. Забелло (1887).

Певец Пенатов молодой
С венчанной розами главой... (1815)

какого-либо преклонения перед «алтарем» и «троном». Раннее чтение французских материалистов заметно сказалось на первоначальном формировании его воззрений. «Страстное чувство независимости» уже в детстве становится основной чертой характера Пушкина.

VIII

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕЯ

Вопрос об определении Пушкина в учебное заведение выяснился сравнительно поздно, когда будущему поэту шел уже тринадцатый год. Верный принципам французского воспитания, Сергей Львович первоначально остановил свое внимание на петербургском коллегиуме иезуитов. Стараясь придать своей педагогической практике светский характер, члены знаменитого братства избегали в преподавании католического или вообще церковного направления. Считаясь со вкусами русской аристократии, из рядов которой стремились завербовать своих пансионеров, они строили свою педагогическую систему на модном в начале XIX века классицизме. Преподавание почти сплошь велось на французском языке.

Такая программа отвечала вкусам Сергея Львовича. Намерение его отдать сына к иезуитам было бы, вероятно, приведено в исполнение, если бы в начале января 1811 года не было опубликовано правительственное постановление о новооткрывающемся учебном заведении — Царскосельском лицее.

Античный термин «ликейон» возродился во Франции в конце XVIII века для обозначения нового типа высших общественных школ. Древним наименованием философских академий был назван основанный в 1781 году в Париже первый университет «для светских людей». Здесь

Лагарп читал свой курс древней и новой литературы, вскоре признанный и в России кодексом вкуса: в своих стихотворных посланиях Василий Львович неоднократно ссылается на «Лагарпов курс». Само слово «лицей» должно было импонировать Пушкиным, вызывая представление о некотором литературном институте, обнимающем историю мировой поэзии.

Когда под влиянием идей Лагарпа Александр I задумал воспитывать своих младших братьев Николая и Михаила совместно с «детьми знатных фамилий», возник план создания в России учреждения по типу новейших европейских школ. Сперанский и Жозеф де-Местр приняли участие в обсуждении этого проекта. Обнародованное 11 января 1811 года постановление о Царскосельском лицее ставило его под особое покровительство царя, в непосредственное ведение министра народного просвещения; задачей его объявлялось — образование юношества, «особенно предназначенного к важным частям службы государственной». В него допускались «отличнейшие воспитанники дворянского происхождения», он уравнивался в правах с российскими университетами. В программах наряду с науками историческими и «нравственными» видное место уделялось изучению языков и «первоначальным основаниям изящных письмен».

Месяца через полтора после появления этой публикации Сергей Львович подает соответствующее прошение министру народного просвещения и вскоре получает извещение о разрешении его сыну подвергнуться вступительным испытаниям.

Как раз к этому моменту обострилась борьба литературных партий, и активные выступления Василия Львовича потребовали его поездки в Петербург.

В декабрьской книжке «Цветника» за 1810 год было напечатано его послание к Жуковскому, направленное против «славян». Глава осмеянной школы Шишков от-

ветил со своим обычным задором. Необходимо было отразить удар. Василий Львович написал второе послание, на этот раз адресованное к другому единомышленнику— Д. В. Дашкову. Одновременно он пишет небольшую полемическую поэму «Опасный сосед», заостренную главным образом против драматурга Шаховского, осмеявшего в одной из своих комедий Карамзина. Соль сатиры заключалась в том, что обитательницы низкопробного веселого дома восхищались «Новым Стерном» Шаховского. Этот лестный отзыв, прозвучавший из презренного притона, производил впечатление звонкой пощечины. Чтобы повысить ее действие, автор не пожалел красок на изображение московского вертепа, где дебоширит беспутный Буянов в компании дьячка, купца и сводни. Получилась не только убийственная сатира, но и замечательная жанровая зарисовка трущобных нравов, написанная к тому же очень выразительным, метким и точным стихом. Некоторая антиклерикальная тенденция ударяла по официальной церковности Шишкова, который только что выступил на годичном собрании Российской академии с «Рассуждением о красноречии священного писания».

Два свои послания — к Жуковскому и Дашкову — Василий Львович решил напечатать отдельной брошюрой в петербургской типографии Шнора, а неудобного к печати «Опасного соседа» обнародовать путем чтения и раздачи списков. Еще в конце мая Батюшков переслал Гнедичу «Опасного соседа» с весьма хвалебным отзывом: «Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение!» Необходимо было проверить впечатление и подготовить дальнейшие атаки в самом центре «шишковистов» — Петербурге. Предстоящая поездка попутно разрешала и вопрос о доставке на лицейский экзамен Александра. Дядя Василий Львович брал его с собой.

Со времени литературных дебютов Василия Пушкина

Петербург сильно изменился. Ушли Богданович и Костров, маленький Оленин из скромного художника стал статс-секретарем и видным археологом, Державин и Крылов примкнули к варяго россам и открыли холодную академическую «Беседу любителей русского слова». Автор шаловливой «Модной жены» возглавлял российское законодательство.

Но одновременно маститый министр юстиции стремился окружить себя молодыми дарованиями. В петербургском кружке Дмитриева большой интерес представляли фигуры «очистителей языка» — Блудова и Дашкова. Будущие николаевские министры в то время еще числились в александровских либералах и наряду с государственной деятельностью уделяли исключительное внимание текущей литературе и борьбе за новый слог. Независимо от их позднейших политических позиций, оба сни, несомненно, представляли собой выдающиеся русские умы и сыграли первостепенную роль в литературных битвах пушкинской молодости. Один из них готовился к разработке русского дипломатического языка, другой — к созданию юридической терминологии.

В их увлекательные дискуссии много знаний и метких наблюдений вносил третий завсегдатай Дмитриева — Александр Тургенев, тоже «пуританин» в области стиля, такой же противник шишковской славянщины. По своему служебному положению в министерстве народного просвещения этот старинный друг семейства Пушкиных много содействовал поступлению «племянника Василия Львовича» в новооткрывающийся лицей. Это был один из культурнейших русских людей, высоко ценивший научные открытия и поэтические шедевры, любивший меткое слово и веселую остроту. Несколько позже корифеи парижских салонов уверяли, что высшее наслаждение для них — быть остроумными перед Тургеневым, — так он умел слушать, оценивать и запоминать.

Этот «подпольный» центр западников Василий Львович посещал нередко в сопровождении своего юного племянника. Летние встречи 1811 года чрезвычайно обогатили московские впечатления подростка, непосредственно введя его в атмосферу острой словесной полемики, направленной против главарей реакционной «Беседы».

Пока Василий Львович осуществлял свои литературные планы, определялись и школьные дела его племянника.

12 августа Пушкина повезли на Фонтанку в обширный дом министра народного просвещения А. К. Разумовского. Это был напыщенный вельможа, считавший себя сыном Елизаветы и отличавшийся непомерной гордыней. Он вполне разделял общую репутацию выскочек Разумовских, «любезных при дворе и несносных вне его». Несмотря на свою раздражительность и желчность, он отнесся довольно снисходительно к познаниям «четырнадцатого» кандидата по списку экзаменующихся (номер этот остался за Пушкиным в лицее и навсегда сохранился за ним в отношениях с школьными товарищами). Пушкин отвечал по русской и французской грамматике, арифметике и физике, истории и географии, получив отметки «очень хорошо», «хорошо» и «имеет сведения»; высшего балла «весьма хорошо» он не удостоился, но зато и не получил отметки «преслабо», как некоторые другие кандидаты.

Открытие лицея состоялось в четверг, 19 октября 1811 года. Родители учеников не были допущены на торжества, зато прибыла почти вся царская семья во главе с Александром I, в сопровождении Аракчеева. Начальство всячески старалось подчеркнуть государственный характер новой школы и ее неразрывную связь с главой верховной власти.

Присутствуя на празднике, Пушкин впервые ощутил тот глубоко чуждый ему казенный штамп, к которому навсегда сохранил самую искреннюю и глубокую неприязнь.

Великолепный дворец Растрелли соединялся крытой галлереей с домом, отведенным под лицей. Это был так называемый «новый флигель», отстроенный для внучек Екатерины и представлявший собой длиннейший четырехэтажный корпус, лишенный по условиям местности просторного фасада.

После торжественного богослужения в придворной церкви и обряда освящения лицейского здания открылась в конференц-зале светская часть празднества. Прочитанные здесь официальные документы и приветствия весьма мало соответствовали литературным вкусам Пушкина. Его новые наставники изъясняли свои мысли тем устарелым, напыщенным церковно-славянским языком, который был так решительно отвергнут передовой поэтической школой и встречал такое осмеяние у остроумцев дмитриевского кружка.

Вся церемония вообще, казалось, продолжала богослужение. Два адъюнкт-профессора, раскрыв огромный фолиант в золотом глазетовом переплете с царским вензелем и двуглавым орлом, с торжественным видом держали его перед директором департамента министерства народного просвещения Мартыновым. Эту грамоту, дарованную лицею, сановник из семинаристов зачитывал высоким надтреснутым голосом. Пушкину казалось, что здесь намеренно приводят образцы комического старого слога («ныне отверзаем новое святилище наук...» и пр.).

Сейчас же после Мартынова выступил директор лицея Малиновский, занимавший до тех пор скромные должности в архивах и консульствах. Этот малозаметный чиновник, любивший переводить библию и псалтырь, совершенно растерялся, впервые выступая в «высочай-

Устав лицея, читанный на торжественном открытии 19 октября 1811 года.

шем» присутствии. Он был бледен, как смерть, и, «чуть живой», прерывающимся от волнения голосом читал по бумажке приветствие, написанное для него тем же Мартыновым. Речь этого члена «библейского общества» изобиловала архаическими метафорами, вроде «на пользу сего нового вертограда» или «все отечество возрадуется о плодах его». Торжественному славянизму стиля вполне соответствовал и верноподданнический тон приветствия, призывавшего юношей стать «верными служителями престола монаршего».

Гораздо увереннее выступил конференц-секретарь лицея профессор русской и латинской словесности Кошанский. Он был воспитанником Московского университетского пансиона, окончил два факультета, имел ученую степень «изящных наук магистра и философии доктора». Кошанский переводил греческих поэтов, считался прекрасным декламатором и хорошо владел своим голосом. Именно ему было поручено представить царю всех служащих и воспитанников лицея.

В гулкой тишине конференц-зала из уст Кошанского впервые прозвучало имя Александра Пушкина. Из группы школьников вышел «живой, курчавый, быстроглазый мальчик» и с установленным поклоном приблизился к столу между двумя колоннами, где расположились высокие гости.

Александр Павлович впервые увидел Пушкина.

Вслед за обрядом представления выступил адъюнкт-профессор Куницын, прочитавший свое «Наставление воспитанникам Царскосельского лицея». После дребезжащего дисканта Мартынова и прерывистого шопота Малиновского «чистый, звучный и внятный голос» нового оратора приковал всеобщее внимание.

Куницын впоследствии сыграл несомненную роль в развитии передовых общественных идей лицеистов, и это послужило возникновению некоторой легенды о его

Парк и большое озеро в Царском Селе.
С картины маслом А. Е. Мартынова (1815).

Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой. (1829)[1]

первом выступлении. Следует восстановить подлинную картину. Позднейшее свидетельство Пущина (написанное почти через пятьдесят лет) о том, что в продолжение всей речи Куницына «ни разу не было упомянуто о государе», опровергается сохранившимся текстом его «Наставления». Оно служит лучшим доказательством того, как стеснен и подавлен был официальными требованиями молодой ученый и как беспрекословно он должен был

подчиниться принятому шаблону выступления в «высочайшем присутствии» [1].

Отсюда и грузная архаичность его ораторского стиля. Ни в чем не нарушая установленного тона казенных приветствий, профессор нравственных наук сохранил в своем слове все приемы старинного красноречия с его риторическими вопросами и торжественными возгласами («сие святилище», «се дети ваши, мои возлюбленные чада...» и пр.). Речь его отзывалась проповедью и никак не могла понравиться раннему питомцу Мольера и Вольтера, уже полюбившему прекрасную простоту и прозрачность слова, выражающего искреннюю и свободную мысль.

Выступление Куницына заслужило «полное одобрение монарха» и доставило профессору первый орден «в знак благоволения государя по случаю речи, произнесенной на торжественном акте открытия лицея» (за этим последовал орден следующей степени и алмазные знаки к нему). Такой же хвалебный отзыв «Наставление воспитанникам» получило и от другого «высокого» слушателя — наследника Константина.

Празднество открытия лицея продолжалось неофициально обедом в присутствии гостей и закончилось иллюминацией. На балконе дворцового флигеля светился транспарант, изображающий вензель «августейшего основателя лицея» среди цветочных гирлянд, лавров и миртов.

От всего торжества веяло холодом и скукой. Но вокруг расстилались сады, разбитые замечательными мастерами парковой архитектуры. Пушкина влекло в эти ро-

---

[1] По свидетельству историка лицея, незадолго до торжества министр Разумовский сам составил церемониал открытия, собственноручно написал план речи, которую должен был произнести на акте Малиновский, пересмотрел и утвердил тексты речей Куницына и Кошанского.

щи, украшенные статуями, к этим озерам, отражающим мраморные обелиски. Его пленял осенний северный пейзаж, несколько матовый и унылый, но оживленный созданиями стройного классического искусства. Пушкин всегда считал, что именно здесь, в этих «садах лицея», к нему впервые стала являться Муза.

IX

ДРУЖНЫЕ МУЗЫ

10 декабря 1811 года Сергей Львович впервые посетил своего первенца в лицее. Он нашел его сильно изменившимся. Мальчик был облачен в синий мундир с красным воротником и золотыми пуговицами, придававший ему странно официальный вид. Недавний беспечный участник детских игр в бутурлинском саду принадлежал теперь к маленькой замкнутой общине с ее особыми нравами и правилами поведения. Он пил за обедом портер, как кембриджский студент, состоял под надзором туторов, то-есть профессоров, не прекращавших общения с учениками и вне классов, носил по праздникам белый жилет и треуголку, учился фехтовать на эспадронах. Вместо просторной детской в особняке у Яузы он занимал теперь небольшую комнатку на четвертом этаже дворцового флигеля, полуотгороженную от такой же соседней кельи легким простенком, с решеткой под потолком. Вырабатывая внутренний распорядок жизни лицея, министр Разумовский, наряду с некоторыми обычаями английских колледжей, ввел порядок католических закрытых школ с их строгой ночной изоляцией воспитанников; на этом особенно настаивал Жозеф де-Местр.

В таких одиночных камерах была расселена ватага подростков, принадлежавших не столько к «знатным

фамилиям», сколько к среднему служилому дворянству. Несколько аристократов и несколько разночинцев (по своим дедам) не могли видоизменить основную социальную физиономию первого лицейского курса. Среднее дворянство — слой, к которому принадлежали Радищев, Карамзин, Дмитриев, Батюшков,—начинало строить русскую литературу, а в лице некоторых своих представителей и вырабатывать оппозиционные идеи. Неудивительно, что среди первых лицеистов оказалось несколько поэтов, что в среде подростков с самого начала их пребывания в лицее возникли литературные соревнования. Двенадцатилетние мальчики стали издавать рукописные журналы, печататься в крупнейших изданиях, а несколько позже принимать участие и в некоторых вольных кружках. Это была совершенно новая идейная и творческая атмосфера, сильно подвинувшая развитие Пушкина-поэта.

Впоследствии отец его совершенно правильно отмечал: «Нет сомнения, что в лицее, где он в товарищах встретил несколько соперников, соревнование способствовало к развитию огромного его таланта».

Первым из этих соперников был Илличевский. Уже осенью 1811 года он состязается с Пушкиным в написании баллады, вероятно, по образцу «Людмилы» или «Громобоя» Жуковского.

Вскоре эти случайные литературные соревнования принимают более регулярный характер. В конце 1811 года или в самом начале 1812-го состоялось первое открытое состязание лицейских поэтов. Это случилось на уроке профессора русской и латинской словесности Кошанского.

Товарищ Жуковского по Московскому университетскому пансиону и приятель Батюшкова, он был одним из лучших знатоков античной литературы в России. Кошанский переводил древних рапсодов, сам писал стихи, был в курсе современной лирики и нередко читал на своих

лекциях новейших поэтов. Влияние его стихотворных переводов сказалось на антологических опытах Батюшкова, а впоследствии и Пушкина. Как раз в начале лицейского курса вышла книга Кошанского — «Цветы греческой поэзии».

Приобщение лицеистов к науке и практике стихотворства входило в круг педагогических обязанностей Кошанского, и он с полным вниманием отнесся к этой проблеме. Он дружески работал над первыми рукописями своих слушателей, стремясь возбудить в них интерес к самостоятельному поэтическому творчеству.

Для первого состязания в поэзии Кошанский предложил первокурсникам одну из тем, намеченных в соответственном разделе его «Реторики» (фиалка, лилия в пустыне, роза.) Там же были приведены стихи Державина:

Юная роза
Лишь развернула
Алый шипок;
Вдруг от мороза
В лоне уснула,
Свянул цветок.

В другой своей книге — «Цветы греческой поэзии» Кошанский приводит аналогичный куплет «современного поэта». Вероятно, такого же небольшого стихотворного фрагмента ожидал Кошанский и от своих слушателей.

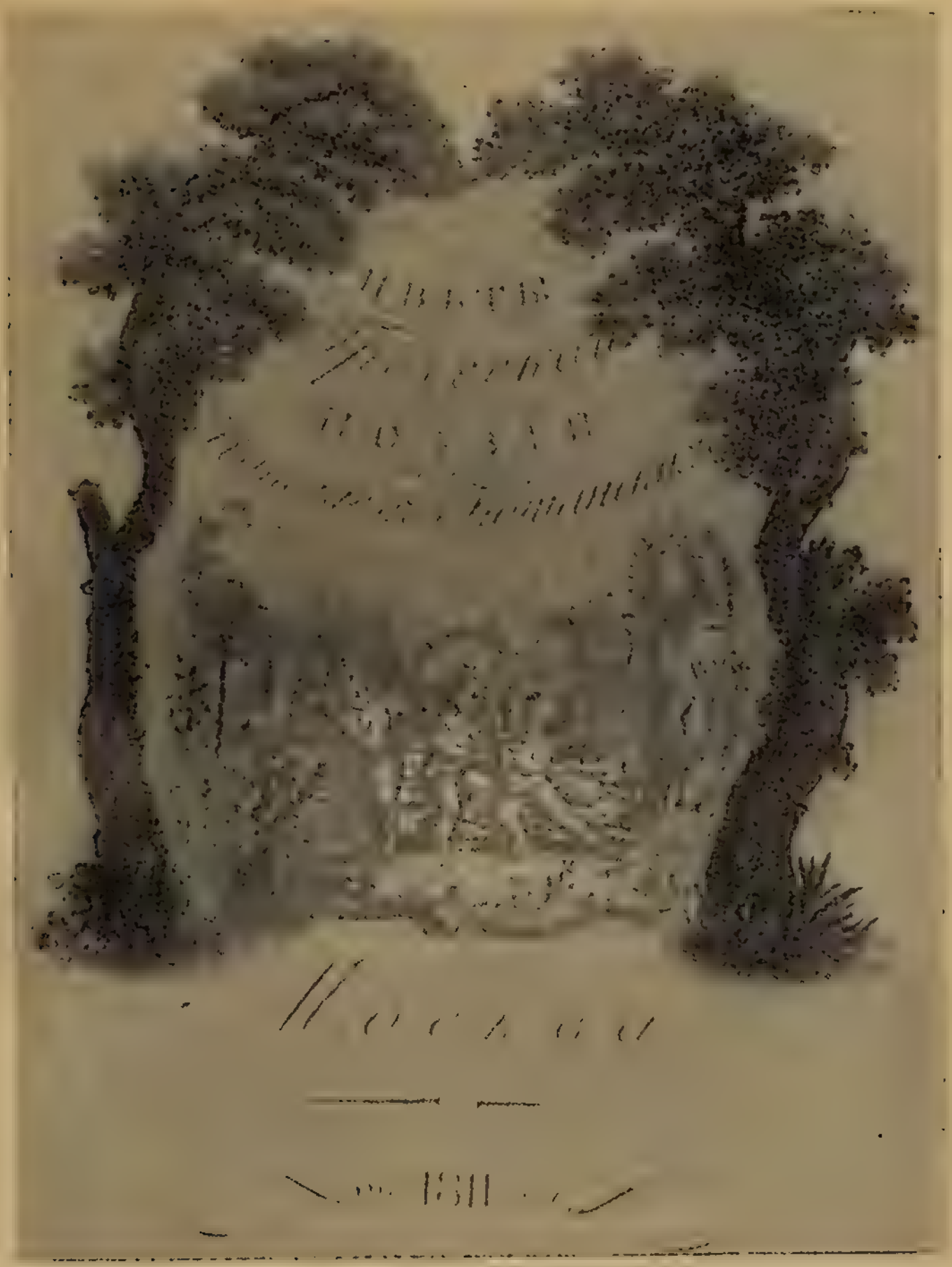
Бесспорным победителем состязания, по позднейшему свидетельству И. И. Пущина, вышел Пушкин. Он, видимо, побил рекорд как быстротой исполнения («Пушкин мигом прочел два четверостишья...»), так и высоким качеством своих катренов («которые всех нас восхитили»). Кошанский заинтересовался опытом и унес его с собой.

Этот ранний набросок Пушкина не дошел до нас. Но та же тема Кошанского разрабатывается поэтом в 1814—1815 годах в прелестных французских стансах «Avez vous vu la tendre rose...» («Вы нежную видали ль

розу...») и в коротеньком лирическом стихотворении «Где наша роза?», в котором нет и тридцати слов и где трактовка образа поражает своим лиризмом и живописностью.

Дальнейшее свидетельство Пущина — «наши стихи вообще не клеились» — вызывает некоторое сомнение. Ведь среди участников турнира находилось еще несколько даровитых поэтов. Здесь был Илличевский, который рано стал мастером малых жанров — надписей, мадригалов, описаний — и славился именно легкостью своего стихотворчества. В 1815 году в журнале «Кабинет Аспазии» он поместил довольно звучное стихотворение «Роза». В начале курса он даже считался первым поэтом лицея. Хотя среди воспитанников и существовали две партии, споривши́е, кому из двух поэтов отдать преимущество, тем не менее Илличевского товарищи прозвали Державиным, а Пушкина только Дмитриевым. Но уже через три года не Илличевский, а Пушкин считался первой надеждой молодой русской поэзии далеко за стенами лицея.

В классе Кошанского находился и Дельвиг, написавший в 1814 году стихотворение «Фиалка и роза». При некоторой лености и незначительных способностях к наукам, Дельвиг с малых лет отличался «живостью воображения» и влечением к поэзии. Пушкина поразил его вымышленный рассказ об участии в походе 1807 года. Отец Дельвига был военным, и мальчик с поразительным правдоподобием описывал товарищам различные опасности, которым он подвергался, следуя в обозе за воинской частью своего отца. Пушкин чрезвычайно ценил такие устные рассказы, правильно усматривая в остроумном замысле и художественной убедительности импровизации признаки подлинного творчества. В устных коллективных рассказах лицеистов Дельвиг первенствовал неизменно, поражая товарищей богатством интриг и затейливостью сюжетов. Еще в детстве он увлекался



Титульный лист «Цветов греческой поэзии» Н. Кошанского (1811). По этому сборнику античной лирики лицеисты знакомились с греческими поэтами.

ловской губе». По соседству с пушкинским поместьем, в селе Петровском, доживал свой век дядя Надежды Осиповны, сын знаменитого Ибрагима, Петр Абрамович. «Старому арапу», как назвал его Пушкин, уже пошел восьмой десяток. Поэт навестил его, быть может, в надежде услышать от родного брата Наваринского Ганнибала исторические предания своей фамилии, но испытал глубокое разочарование. Старик, занимавшийся перегонкой настоек, каждые четверть часа требовал новой порции водки и к обеду был совершенно пьян. Вероятно, черты его быта бегло отразились на облике дяди Онегина, деревенского старожила, который оставил после себя «наливок целый строй». В духе первой онегинской строфы Пушкин сообщал в 1825 году Осиповой: «Я рассчитываю еще увидеть моего старого дядю-негра, который, полагаю, умрет в один из ближайших дней...»

Другой Ганнибал, Яков Исакович, один из двоюродных дедов поэта, был женат на тверской дворянке Елизавете Александровне Вындомской. Ее родная сестра Прасковья Александровна Осипова, состоявшая, таким образом, в недалеком свойстве с Пушкиным, владела близ Михайловского имением Тригорским, получившим свое наименование от трех холмов, придававших большую живописность всей местности. Здесь Прасковья Александровна и жила почти безвыездно со своим вторым мужем, Иваном Сафроновичем Осиповым, и детьми [1].

Прасковья Александровна, женщина умная и властная, была дочерью крупного псковского помещика XVIII века, Александра Максимовича Вындомского. Он служил в гвардии, вращался в большом свете, затем уединился в своем поместье, где занимался «отчасти стихотвор-

[1] От первого мужа, тверского помещика Николая Ивановича Вульфа, она имела сына Алексея и двух дочерей — двадцатилетнюю Анну и Евпраксию, в то время еще подростка.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН (1763—1843),
президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки, отец А. А. Олениной.

Портрет карандашом неизвестного художника.

ством, а более всего — сельским хозяйством». Прасковья Александровна вела такой же образ жизни. Она сама занималась хозяйством и очень много читала. Это была незаурядно образованная женщина, начитанная в истории, знакомая с литературой, следящая за новинками поэзии, склонная в политике к передовым воззрениям, хотя в собственном имении она энергично осуществляла права крепостной помещицы.

Пушкин часто бывал в Тригорском, где имелась старинная фамильная библиотека. Там нашел он Лесажа, Мольера, Руссо, Ричардсона и первые русские переводы «Господина Шакеспеара». Владелица поместья показывала ему свой альбом, обтянутый черным сафьяном, скрепленный золотыми застежками и уже хранящий на своих золотообрезных листках ряд афоризмов и стихов. За год до того двоюродный брат Прасковьи Александровны, офицер Семеновского полка Сергей Иванович Муравьев-Апостол, подарил ей эту тетрадь. Согласно тогдашнему поверью, кто своей записью открывает альбом, погибнет насильственной смертью. Вот почему Прасковья Александровна написала сама на первой странице две французские строчки: «Менее всего боясь смерти, я начинаю мой альбом». Вслед за этой надписью Сергей Муравьев-Апостол написал (тоже по-французски): «Я тоже не боюсь и не желаю смерти... Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым...» Запись датирована 16 мая 1816 года.

Пушкин уже в первое свое пребывание в Михайловском полюбил дом и парк Осиповых:

Приду под липовые своды
На скат тригорского холма...

Другой отрадой деревенской жизни поэта была сосредоточенная и уединенная творческая работа. В деревне Пушкин занят первой песнью «Руслана и Людмилы», на-

чатой еще в лицее. Сразу устанавливается основной стиль всей поэмы — волшебно-описательный, обильно насыщенный фантазией старорусских, арабских и западноевропейских сказочников, а отчасти и легендами современных слагателей баллад. В тексте поэмы Пушкин называет только три поэтических имени — Жуковского, Парни и Шехерезады, а в знаменитом прологе (1828 г.) дает как бы ретроспективно синтез и апофеоз русской народной сказки. В согласии с этим материалом поэме придается живописный, красочный, декоративный характер. Отсюда особое значение эпитетов, впервые совмещающих у Пушкина высокую выразительность, картинность и узорность («Падут ревнивые одежды — На цареградские ковры», «замки́ безжало́стных дверей», «праздные кольчуги», «невидимые годы»). Вся первая песнь посвящена завязке сложной эпопеи — похищению Людмилы и вставной новелле Финна. Впервые комическая героика выражалась не псевдонародным стихом, а быстрым четырехстопным ямбом исключительной прозрачности, экспрессии и напевности.

Очарование деревней длилось недолго. «Люблю шум и толпу», писал Пушкин о своем первом пребывании в Михайловском, где, несмотря на трехмесячный отпуск, он прожил немногим больше месяца. В конце августа 1817 года он снова в Петербурге.

Вскоре по возвращении из деревни «Сверчок»-Пушкин был официально принят в «Арзамасское общество безвестных людей». Несмотря на шуточный характер обрядов, «Арзамас» был самым значительным и серьезным явлением русской литературной жизни того времени. Его виднейшими представителями были Карамзин. Жуковский и Батюшков, которых Пушкин признавал великими писателями. В содружество входили и такие куль-

турные люди, как Николай Тургенев и Вяземский, оказавшие несомненное влияние на развитие Пушкина. Именно здесь воспринимались и разрабатывались крупнейшие явления европейской литературы, сообщавшие размах и силу деятельности главных «арзамасцев». Только немногие — старшие члены кружка, как Дмитриев и Василий Пушкин, —продолжали проявлять особую склонность к малым жанрам (такими считались мадригал, эпиграмма, триолет, рондо, баллада в три куплета и пр.). Другими путями шли передовые авторы «Арзамаса». Карамзин разрабатывал монументальную форму отечественной истории, Жуковский — военную оду и балладу-повесть, Батюшков — историческую и военную элегию, Николай Тургенев — научную монографию, Вяземский — новый вид живой критической статьи. Примкнув к «Арзамасу», Пушкин безошибочно избрал в современной литературе группу передовых писателей, которые действительно навсегда остались в истории русского слова. Состязаться с ними в то время было некому: Державин умер, «Горе от ума» еще не родилось.

Вступая в «Арзамас», Пушкин избежал громоздкой процедуры, сопровождавшей в свое время избрание Василия Львовича, но все же выполнил установленный ритуал. В красном колпаке — обязательном уборе вступающего члена — он произнес торжественную клятву, сочиненную Дашковым, в которой под прозрачными псевдонимами назывались Шишков, Шаховской, Хвостов и открыто объявлялась вечная вражда Академии и «Беседе». Обычной вступительной речи Пушкин не произносил, а прочел стихотворное обращение к своим новым сочленам, нечто вроде послания, где вспоминались славные события и деятели кружка — Жуковский, Блудов и, вероятно, сатирик Вяземский:

...в беспечном колпаке
С гремушкой, лаврами и розгами в руке...

Но в момент вступления Пушкина в «Арзамас» «беспечный колпак», гремушка и розги литературной полемики уже перестали эмблематически выражать настроения содружества. Еще в середине 1816 года возникли первые толки о необходимости направить шутливое «литературное товарищество» по пути серьезной работы. Староста «Арзамаса» Василий Пушкин указывал товарищам, что прямая цель их союза — обогащение языка; Уваров и Блудов призывали к «подлинному возобновлению отечественной литературы». Наконец, младшие «арзамасцы»: «Варвик» — Николай Тургенев и «Рейн» — Михаил Орлов, пытались создать из «Арзамаса» настоящий орган общественного мнения. Они предлагали литературные доклады совмещать с политическими. В заседании 27 сентября 1817 года, по свидетельству Николая Тургенева, «арзамасцы» «отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней: все согласны в необходимости уничтожить рабство».

Это направление заметно сказалось на поэтическом развитии Пушкина. Даже его стихотворные посвящения представительницам петербургского общества Е. С. Огаревой и А. И. Голицыной, с которыми он знакомится в салоне Карамзина, приобретают характер «гражданской» поэзии. Светские мадригалы Пушкина получают на фоне официального мистицизма и аракчеевщины острые политические черты. В трех строфах его стихотворения «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада», с исключительной легкостью даны основные мотивы недавнего «Монаха» — насмешливое отношение к отшельнику, в данном случае высокому представителю церковной иерархии, который сравнивается здесь с «богом садов», то-есть с Приапом, считавшимся также богом сладострастия. В европейской поэзии стрелы скептической сатиры направлялись против главы католической церкви — папы. Пушкин осмеивает

носителя высшего духовного сана в России, изображая главу православия охваченным «пылом желаний» до потери рассудка.

Политически заострены и ранние посвящения Пушкина Голицыной. По свидетельству Карамзина, поэт сильно увлекся этой «принцессой-полунощницей», дававшей меткие оценки ходу текущих государственных дел. В своем первом посвящении ей («Краев чужих неопытный любитель...») Пушкин заключил мадригальной концовкой общественный мотив, навеянный, очевидно, передовым кружком Тургеневых. Так же построено и второе посвящение Пушкина А. И. Голицыной («Простой воспитанник природы...»), сопровождавшее одно из его первых и самых сильных политических стихотворений, возникшее в том же тургеневском кружке.

Здесь радостно и живо проявлялось вольнодумство молодого Пушкина. Осенью 1817 года Александр Тургенев был весьма озабочен празднованием трехсотлетия реформации; по этому поводу он должен был осуществить у себя примирение служителей обоих культов — реформатов с лютеранами. На торжественный вечер «соединения исповеданий» Тургенев рискнул пригласить и Пушкина, который неожиданно попал в совершенно необычное общество реформатских пасторов, лютеранских священников, английских миссионеров, проповедников моравского братства.

«Пушкин, — вспоминал впоследствии Александр Тургенев, — угощал их пуншем и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим разогретого вином пастора».

Из окон квартиры Тургеневых был виден великолепный Михайловский замок, своеобразное создание Баженова и Бренна, покинутое с 1801 года и с тех пор почти необитаемое:

Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец...

Михайловский замок.

Акварель (1801).

С момента, когда гвардейцы братья Пушкины присутствовали при его торжественной закладке, прошло двадцать лет. Ушла вода из рвов, заржавели неподвижные цепи подъемных мостов. Замок-крепость сразу же стал ареной политической трагедии. Вид «пустынного дворца» живо вызвал в сознании Пушкина знаменитое 11 марта:

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный...

В нескольких строчках поэт фиксирует конец Павла I — «Калигулы последний час». Если трудно допустить, что ода «Вольность» была написана в один присест, во время общей беседы у братьев Тургеневых, то

не приходится сомневаться, что она навеяна видом Михайловского замка и политическими спорами тургеневского кружка.

По позднейшему свидетельству Николая Тургенева, Пушкин половину оды написал в его комнате, затем ночью у себя дописал ее и на другой день принес полный текст своему старшему другу.

Эта ода о свободе вводит новую тему в поэтический репертуар ее автора. От интимной лирики, от любовных элегий, от пуншевых песен он стремится теперь к мужественной, отважной, бунтарской поэзии. «Вольность» — это его декларация не только в политическом, но и в творческом плане. Незадолго перед тем А. И. Тургенев корил его за то, что на лире своей он находит «лишь изнеженные звуки любви, сей милой сердцу муки...»

Теперь, как бы в ответ, Пушкин хочет разбить «изнеженную лиру», расстаться с Кипридой, обратиться к большим темам современной государственности — «воспеть свободу миру, — На тронах поразить порок...» Его вдохновители — Радищев, написавший в XVIII веке оду «Вольность», а вместе с ним и «возвышенный галл» Экушар Лебрен (прозванный Лебрен-Пиндаром), автор «Республиканских од», представляющих собой, по позднейшему отзыву Сент-Бева, «лучшее, что в области поэзии создала эпоха первой республики». Его стихотворение о Людовике XVI как бы возвещает известную строфу пушкинской «Вольности».

Быть может, знаменитая ода Пушкина еще не вполне свободна от противоречий, — она все же ценна по своему основному устремлению бороться с «неправедной властью» («Тираны мира! трепещите!..», «Восстаньте, падшие рабы!..»). Поэта угнетает мысль о повсеместных бичах, оковах, «неволи немощных слезах». В духе общественных учений XVIII века он видит выход из всеобщего рабства в сочетании «вольности», то-есть свободы каж-

дого, с «мощными законами», то-есть с государственной хартией. Аналогичные мысли выражал в свое время и один из литературных учителей Пушкина — молодой Карамзин: «Свобода там, где есть уставы...», «Там рабство, где законов нет...», «Сколь необузданность ужасна,— Сколь ты, свобода, нам мила...»

Революционные идеи, вдохновлявшие Радищева, Пушкин выражает энергичной и агрессивной лексикой (злодеи, убийцы, тираны, янычары), но уже новым плавным, живым, мелодическим стихом, иногда с замечательной выразительностью образов («изнеженная лира», «забвенью брошенный дворец»). Заключительные строки пушкинской оды напоминают обращение Карамзина к «милости»:

Там трон вовек не потрясется,
Где он любовью бережется
И где на троне ты сидишь...

Правило допущения в высоком стиле некоторой доли славянизмов и архаизмов, которое всегда признавали Карамзин и Дашков, принимается и Пушкиным. Но по своему тону и подъему, по силе гражданского негодования «Вольность» значительно опережает политические воззрения этой группы современников, представляя собою один из образцов русской революционной поэзии.

II

«МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ»

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною, — вспоминал Пушкин в 1825 году начало своей светской жизни. — Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в своей постели с жадностью и со

вниманием... Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

Появление «Истории Государства Российского» было действительно крупнейшим культурным событием. Впервые русская книга становилась предметом широкого общественнего обсуждения, разделяла читателей на партии, порождала своих энтузиастов и отрицателей. Картинность изложения и стройная законченность языка вызывали восхищение у писателей и поэтов; Жуковский, Вяземский, Блудов и Дашков — все «арзамасцы», для которых Карамзин был «путеводитель» и «вождь», громко высказывали свои восторги. Батюшков в стихотворном посвящении вспоминал юного Фукидида, слушающего чтение престарелого Геродота на играх олимпийских:

С какою жаждой он внимал
Отцов деянья знамениты
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!..

Пушкин разделял это восхищение друзей-поэтов драматизмом карамзинского повествования, стройностью его обширной композиции, благородной сдержанностью живописного слова.

Молодого поэта, поглощенного обработкой старорусского сюжета, увлек своим богатством язык, напитанный речениями из летописей, грамот, прологов, договоров, сказаний и при этом сохраняющий свою простоту, изящество и ясность. Это было развитие прежних убеждений Карамзина в необходимости пользоваться древним слогом, но с чувством меры, не прибегая к шишковской безжизненной славянизации живой русской речи. «Карамзин — великий писатель во всем смысле этого слова» — этот позднейший отзыв Пушкина окончательно сложился в 1818 году.

К этому году относится его признание огромного по-

генциального воздействия карамзинской истории на молодую русскую поэзию; он изображает современного поэта, погруженного в «повесть древних лет»:

От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной:
И в нем трепещет вдохновенье.

Пушкин запомнил черты архаического быта и древние культурно-исторические термины: пиры Владимировы, «в гриднице», мудрые волхвы, норманский посол Фарлаф, вещий Олег, волшебники-финны.

Но если с литературной стороны история Карамзина вызвала почтительное восхищение Пушкина, по своим политическим тенденциям она нисколько не отвечала его убеждениям. Этот разрыв между формой и идеологией нового труда вызывал сложное отношение к нему молодых читателей. Восхищение литературностью изложения нисколько не заслоняет перед Николаем Тургеневым или Никитой Муравьевым отсталой политической тенденции карамзинской истории, выраженной в ее посвящении: «История народа принадлежит царю». Положениям Карамзина об объективной истине политические умы противопоставляли целевую направленность исторического произведения, преклонению историографа перед верховной властью — силу общественного мнения, его принципу мира и спокойствия — начало борьбы. Историк, по их мнению, обязан направлять действие современных общественных сил, хотя бы в ущерб литературности своего изложения. Страсть определяет силу историка: «Тацита одушевляло негодование».

Так довольно дружно сказался протест молодого по-

коления против художественной идеализации самодержавия и попытки оправдать крепостническую действительность. Разделяя эти мнения, Пушкин написал свою знаменитую эпиграмму:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Вскоре петербургские политические кружки были взволнованы новым событием. 15 (27) марта 1818 года в зале варшавского сената Александр I, открывая первый сейм царства Польского произнес по-французски речь, получившую чрезвычайный отзвук в России и на Западе. Со свойственным ему «двуязычьем» основатель «Священного союза» торжественно заявил о своем намерении установить во всей стране конституционный порядок, то есть «правила законносвободных учреждений...»

Столь ответственное заявление царя произвело сенсацию. Молодые сердца, по выражению Карамзина, взволновались: «спят и видят конституцию...» Но Пушкин не последовал за этим течением. Усвоив еще в лицее вполне ироническое воззрение на Александра Павловича, поэт в этом случае проявил весьма зоркий скептицизм. Он написал остроумнейший памфлет, в котором высмеивал заведомо лживые обещания тронной речи. Формой для этой политической сатиры он избрал так называемый «ноэль» — святочную песенку. Еще в XVII веке во Франции народные поэты стали слагать сатиры на власть, пародируя рождественские песнопения. Строго выдерживая форму ноэля, Пушкин придает ему необычайную четкость и остроту. В ноэле 1818 года «Ура! в Россию скачет кочующий деспот...» Мария уговаривает младенца уснуть, «послушавши, как царь-отец рассказывает сказки».

Свои политические стихи Пушкин читал в кругу наиболее передовых и активных из «молодых якобинцев». Через Николая Тургенева и Чаадаева Пушкин познакомился с «умным и пылким» Никитой Муравьевым (с которым встречался и в «Арзамасе»), с Ильей Долгоруким, которого друзья ценили за его политические знания, с человеком философского мышления — Якушкиным.

В этом же кругу поэт встречался с одним из интереснейших представителей молодого поколения — Лунным, о котором навсегда сохранил мнение, как о «подлинно выдающемся человеке». Это был один из энергичнейших деятелей тайных обществ, уже в 1817 году предлагавший Никите Муравьеву и Пестелю убить Александра I. В Париже в 1816 году Лунин встречался с крупнейшим социальным мыслителем дореволюционной Франции — Сен-Симоном, высоко оценившим своего русского собеседника и мечтавшим распространить через него свои идеи «среди народа, еще не иссушенного скептицизмом».

Свои встречи с передовыми людьми тогдашнего Петербурга Пушкин беглыми чертами изобразил через десять-двенадцать лет в сожженной главе «Евгения Онегина». Свободные и смелые разговоры на политические темы, в которых автор «Руслана» по своему обыкновению участвовал не как оратор, а как поэт, очерчены им в знаменитых фрагментах десятой главы, где названы Никита Муравьев, Долгорукий, Лунин, Якушкин, Николай Тургенев, в кругу которых «читал свои ноэли Пушкин».

Летом 1818 года в Петербург вернулся Катенин. Пушкин попрежнему относился с интересом к этому знатоку искусств. Творчески же он не мог не ощущать себя сильнее этого эрудита и, конечно, не случайно, придя к

нему в один летний день 1818 года, заявил: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: бей, но выучи». Сравнение, не лишенное ироничности, поскольку Диоген был неизмеримо одареннее тщеславного Антисфена. Из возникшего общения Пушкин мог быстро убедиться, что глубоких творческих уроков ему нечего ждать от неподвижного Катенина. В апреле 1820 года Пушкин писал: «Катенин опоздал родиться — не идеями (которых у него нет), но характером принадлежит он к 18 столетью: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни».

Первая же беседа обнаружила недостаточную обоснованность критических мнений Катенина. «Каковы вам кажутся мои стихотворения?» прямо поставил ему вопрос Пушкин. «Я сказал, — вспоминал впоследствии Катенин, — что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастью, выбор мой сошелся с убеждением самого автора, он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению...»

Критическое замечание Катенина едва ли подтверждало высокую авторитетность его суждений: к этому времени уже были опубликованы «К Лицинию», «Гроб Анакреона», «К портрету Жуковского». К счастью, и ответ Пушкина Катенину был простым актом светской вежливости, и три названных стихотворения были включены им в собрание 1826 года.

Неудивительно, что Катенин заметил вскоре в Пушкине особую черту: «Он сознавался в ошибках, но не исправлял их». Да и мог ли Пушкин править свои рукописи по указаниям критика, который впоследствии гнушался «водяных стишков» «Бахчисарайского фонтана» и признавал «Бориса Годунова» равным нулю? Размеры тщеславия Катенина никак не соответствовали ни

«Красный кабачок», место увеселения на Петербургском дороге. Пушкин вспоминает в письме к жене в 1836 году о своих посещениях «Красного кабачка».

Раскрашенная гравюра Жюре с рисунка Зауервейде.

его скромному поэтическому дарованию, ни его ограниченным критическим воззрениям. Пушкин, при всей снисходительной благожелательности своих отзывов, навсегда сохранил в отношениях к Катенину налет иронии.

Поздней осенью 1818 года Катенин познакомил Пушкина с Шаховским. Автор «Липецких вод» интересовался первыми песнями «Руслана и Людмилы», а Пушкина привлекали веселые вечера у Шаховского, где после спектаклей собиралась театральная молодежь, писатели, критики. Хозяин салона поражал своим характерным безобразием. Огромный, тучный, с короткой шеей и непомерным животом, он отличался необычайной подвижностью. Правильное понимание сценического искусства внушило ему особый вид пьесы — занимательной, разнообразной, живой и пестрой, обычно с плясками, песнями

и хорами. Раннее предубеждение Пушкина против «гонителя Карамзина» сменилось после лицея несомненным интересом к «шумному рою» его колких комедий. Одновременно изменилось мнение поэта и о характере Шаховского и его жестоких методах литературной борьбы. Очарованный радушным приемом и увлекательной беседой драматурга, Пушкин сказал Катенину:

«А ведь, знаете, он в сущности большой добряк. Никогда не поверю, чтоб он хотел серьезно повредить Озерову или кому бы то ни было».

С этого времени Пушкин стал постоянным посетителем вечеринок Шаховского, где встречался с молодыми драматическими актрисами и читал им за ужином отрывки из своей первой поэмы.

С молодой Колосовой, соперницей Семеновой, произошла у Пушкина острая размолвка, а позже последовало примирение, перешедшее в дружбу. Неправильно осведомленный о насмешливом будто бы отзыве Колосовой относительно его внешности, Пушкин отомстил неповинной артистке злой эпиграммой, направленной также против ее наружности («Все пленяет нас в Эсфири...»)

Наряду с поэзией Пушкин живо интересовался и другими искусствами — архитектурой, живописью, ваянием, музыкой, драмой, танцем. Одно из первых его стихотворений после выпуска навеяно торжественной архитектурой Михайловского замка. Неудивительно, что и первая его поэма несет на себе следы его увлечений театральными зрелищами. Блистательные постановки балетов-пантомим знаменитого хореографа Карла Дидло на фоне чудесных декораций Карло Гонзаго заметно отразились на волшебных описаниях «Руслана и Людмилы».

В январе 1819 года Пушкин застал у Тургеневых большое общество. Были и лицейские: Пущин, Маслов, про-

фессор Куницын. Присутствовали и друзья-«арзамасцы»: Вяземский, Жуковский, Никита Муравьев. Это было первое собрание «журнального общества». Только что вышла книга Николая Тургенева «Опыт о налогах» — протест ученого-экономиста против закрепощения народа и «своеволия грубых вельмож». Аракчеев выразил свое удивление, как могли пропустить подобное сочинение. Весь доход с книги автор отдавал в пользу крестьян, заключенных в тюрьму за недоимки по налогам.

«Одно только соединение людей в одно целое может дать усилиям каждого силу и действие», обратился к приглашенным Николай Тургенев. Лучший же способ объединить людей, любящих свое отечество и желающих ему блага, — это издание журнала. Под патриотическим названием «Россиянин XIX века» или под более ученым титлом «Архив политических наук и российской словесности» можно было бы выпускать орган для распространения в обществе здравых государственных идей: «все статьи должны иметь целью свободомыслие».

Обсуждению собравшихся была предложена статья Маслова по вопросам статистики. После чтения, за чаем Пушкин разговорился с лицейским другом Пущиным.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем. Верно, это ваше общество в сборе?..»

Пущин опроверг эти соображения поэта. Вступив в тайное общество сейчас же по выходе из лицея, он предполагал вначале посвятить в свою тайну Пушкина: «Он всегда согласно со мной мыслил о деле общем res publica), по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой». Но вскоре Пущин, видимо, в согласии с мнением других политических деятелей, признал, что Пушкин как поэт наилучшим образом служит общему делу своими антиправительственными стихами.

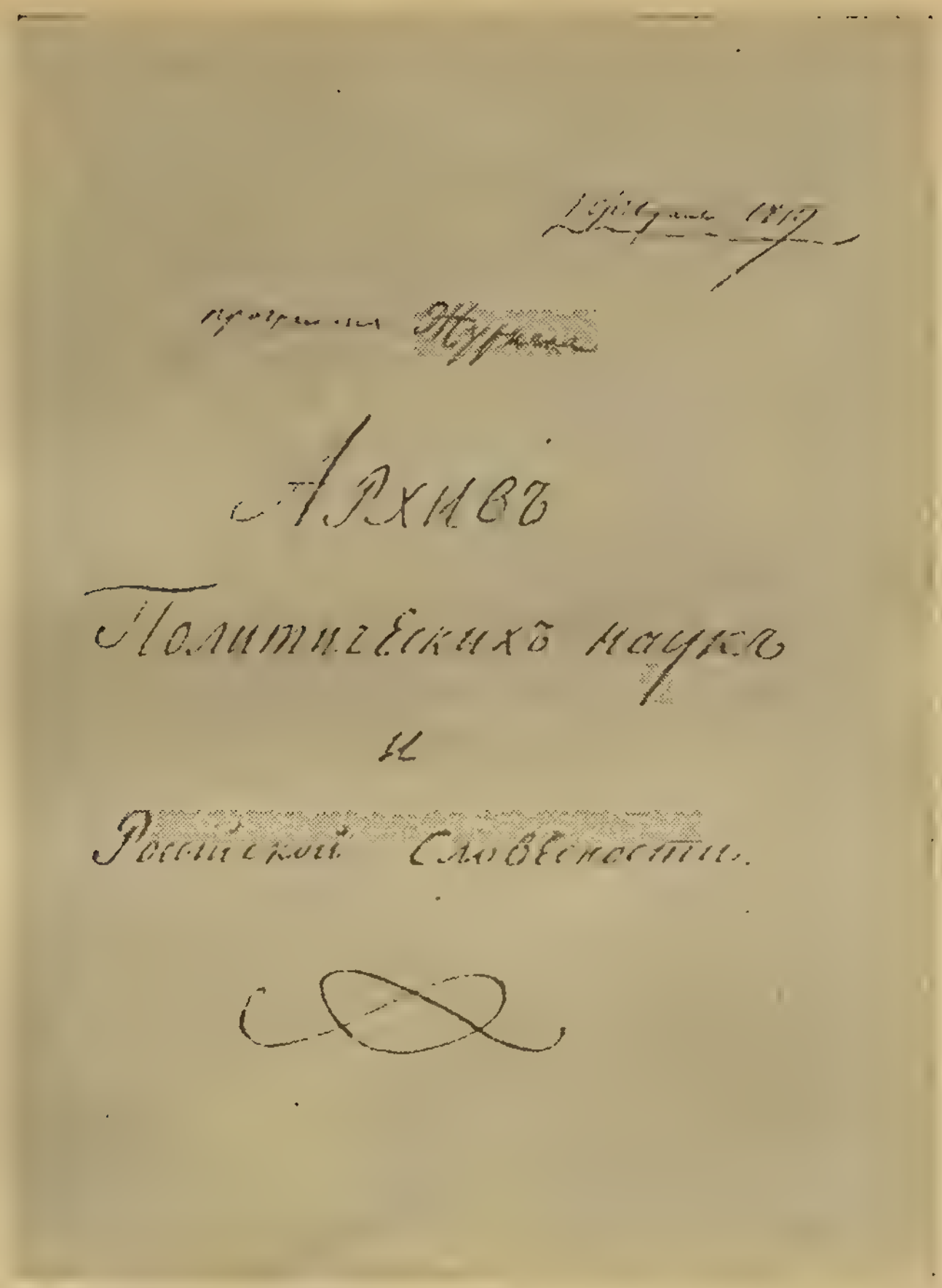
Из мира политических вопросов Пушкин нередко переносился в атмосферу искусства — от Тургенева к Оленину. Это был выдающийся археолог и отличный рисовальщик, блестяще владевший сепией, тушью и гравировальной иглой. Он собрал богатейшую коллекцию древнерусских художественных ценностей и считал обращение «к простолюдинам и ремесленникам» самым верным средством «постигать многие непонятные памятники искусства и темные места в древних авторах».

В большом доме на Фонтанке, у Семеновского моста, Оленин в качестве директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств собирал писателей, ученых и артистов. Среди античных слепков и этрусских ваз здесь читал басни Крылов, пел свои гекзаметры Гнедич, декламировали или спорили Батюшков, Карамзин, Жуковский.

В феврале—марте 1819 года Пушкин присутствовал на вечере у Олениных. Танцы были запрещены из-за придворного траура: 12 января умерла любимая сестра Александра I Елена Павловна, которую молва признавала его возлюбленной. Офицеры носили креп на шпагах, и балы заменялись раутами.

У Олениных «ставили» шарады. Клеопатру изображала племянница хозяйки, прибывшая с далекой Украины Анна Керн, жена дивизионного генерала. Ей только что исполнилось девятнадцать лет, но она успела уже одержать одну громкую победу: во время смотра войск в Полтаве в 1817 году с ней танцовал сам Александр I.

Пушкин был сразу пленен красотой и голосом своей новой знакомой, пытался развлечь ее остроумными репликами и лестными признаниями, но, видимо, только смутил юную провинциалку своей живой и бойкой речью; она еле отвечала дерзкому молодому человеку и даже старалась избегать его — в Лубнах еще не знали Пушкина. Но когда она уезжала и на набережной, садясь в


Архивъ
Политическихъ наукъ
и
Россійской Словесности.

Титульный лист политического журнала, намеченного к изданию в 1819 году Н. И. Тургеневым и А. П. Куницыным.

Автограф Н. И. Тургенева.

экипаж, оглянулась, она увидела на ступеньке подъезда, под большим фронтоном олениинского дома, Пушкина, который провожал ее долгим взглядом.

Им больше не привелось встретиться в эту зиму; в шумной и бурной петербургской жизни Пушкина Анна Керн промелькнула, «как мимолетное виденье».

В театральных кругах Пушкин познакомился с Никитой Всеволожским. Этот юноша сочетал интересы к искусству с влечением к беспечной и праздничной жизни. Поэт стал бывать в большом доме Всеволожских на Екатерингофском проспекте, у Крюкова канала, где собиралось литературное и театральное общество. Рассаживались обыкновенно за круглым столом под зеленым висячим абажуром; отсюда и наименование кружка «Зеленая лампа» и девиз общества: «Свет и надежда». Эмблема объединения — лампа — была вырезана на кольцах его членов. Статут предлагал всем участникам высказываться совершенно свободно и при этом свято хранить тайну собраний. Это давало возможность наряду с театральными рецензиями и очерками из русской истории читать сообща республиканские стихи и политические статьи. Кружок представлял собой филиал «Союза благоденствия», который назывался также и «Зеленой книгой» (по цвету переплетной крышки его устава). Но большинство членов «Лампы» об этом ничего не знало. Тесное дружеское сообщество сочетало вольнолюбивые устремления и горячую любовь к поэзии с веселыми закулисными похождениями, крупной игрой и разгульными пирушками.

Наряду с политически активными членами, как Трубецкой, Федор Глинка, Яков Толстой, здесь бывали и достаточно аполитичные поэты, как Гнедич и Дельвиг, и многочисленные представители веселящейся молодежи. Ужины Всеволожского славились обилием шампанского и вольностью речи. Как-то было решено, что прислужи-

вающий мальчик-калмык «всякий раз, как услышит пошлое словцо», будет приветствовать чересчур непринужденного собеседника. Пушкин нередко бывал объектом таких приветствий. «Калмык меня балует, — смеялся Пушкин. — Азия покровительствует Африке».

Вскоре эти оживленные шалости Пушкин изобразит в поэме о современном герое, рисуя его беспечные годы, —

Когда, гостями окруженный,
Напенив праздничный бокал,
Он негой жизни упоенный
В беседе шумной пировал, —
Когда он гимнами Веселья
Цариц Пафосских вызывал
И жар безумного похмелья
Минутной страсти посвящал.

Одно из первых посланий, посвященных Пушкиным членам «Зеленой лампы», было адресовано лейб-улану Ф. Ф. Юрьеву; поэт смело набрасывает здесь свой автопортрет, поразивший Батюшкова. «О, как стал писать этот злодей!» проговорил автор «Вакханки», судорожно сжав листок с пушкинским посланием к Юрьеву. Стихотворение отличалось необыкновенной энергией ритмов при живой и стремительной разговорности.

Пушкина занимала крупная игра, которой подчас предавались члены кружка. «Всеволожский (Никита) играет: мел столбом! деньги сыплются», с увлечением сообщает Пушкин в письме к Мансурову. Особая поэзия азарта, не раз запечатленная поэтом в его позднейшем творчестве, со всей полнотой раскрылась Пушкину за ломберными столами Всеволожских. Здесь драматизм риска принимал подчас своеобразные формы. «Помнишь ли, что я тебе полу-продал, полу-проиграл рукопись моих стихотворений», писал Пушкин Всеволожскому в 1824 году. Счастливый партнер поэта благоговейно сберег эту необычную ставку и дал ему возможность впоследствии выкупить ее.

Быт игроков с их азартом и крупными выигрышами Пушкин пробует зафиксировать в 1819 году в своем первом прозаическом опыте — повести «Наденька», от которой сохранилось только начало; но в нем уже чувствуется уверенность зоркого и точного прозаика.

Председатель «Зеленой лампы», штабной поручик Яков Толстой, мечтал получить от Пушкина стихотворное посвящение. В октябре 1819 года Толстой болел, после чего несколько охладел к ночным бдениям кружка.

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни, —

начал тогда свои «Стансы Толстому» Пушкин, выражая в них одно из своих излюбленных убеждений: «Будь молод в юности твоей!» Чудесной музыкой звучит блестящая строфа:

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.

В посланиях этого времени к другим «лампистам» — Никите Всеволожскому, Щербинину, Мансурову — Пушкин неизменно провозглашает радость жизни и право на счастье. Но сквозь эпикурейские мотивы постоянно прорываются «вольнолюбивые надежды»: «Поговори мне о себе — о военных поселениях, — пишет Пушкин Мансурову 27 октября 1819 года, — это все мне нужно — потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм».

Эти кружки, где молодежь умела сочетать беспечные развлечения с интересом к искусству и политической жизни, замечательно отвечали основным устремлениям Пушкина. Он перестает посещать великосветские салоны с их чопорными вельможами, придворными мистиками и «благочестивыми Лаисами», чтобы всецело отдаться счастливой семье «младых повес», «где ум кипит, где в мы-

НИКИТА ВСЕВОЛОЖСКИЙ (1799 — 1862),
основатель «Зеленой лампы».

С портрета Дезорно.

«Лучший из минутных друзей моей минутной молодости». (1824)

слях волен я...» Именно так он отвечает Горчакову, товарищу по лицею и Коллегии иностранных дел, «питомцу мод» и другу «большого света», сразу же вступившему на путь служебных и светских успехов: уже в конце 1819 года этот «счастливец с первых дней» получает придворное звание и появляется на балах «в шитом мундире, напудренный». Пушкин сохранил приятельские от-

ношения со своим лицейским товарищем и, может быть, как поэт, любовался его модным бытом, законченным внешним обликом, изяществом костюма, светской сдержанностью и остроумием речи. Те же черты он мог наблюдать и в Чаадаеве.

26 мая 1819 года Пушкину исполнилось двадцать лет. В стихотворении «27 мая 1819 года» он вспоминает «веселый вечер» у Каверина с шампанским, чубуками и юными подругами.

В середине июня он снова слег в постель и только в следующем месяце «ускользнул от Эскулапа — худой, обритый, но живой...» Так сообщает он одному из членов «Зеленой лампы» — В. В. Энгельгардту, известному острослову и страстному игроку. Собираясь еще полубольным к себе в деревню, Пушкин прощается с этим «набожным поклонником Венеры», раскрывая в своем послании сущность обычных «вольных» бесед у круглого стола Всеволожских, где нередко доставалось и небесному и земному царям.

В селе Михайловском летом 1819 года Пушкин по-новому ощутил смысл петербургских бесед в кружке Тургеневых. За последнюю зиму, когда появился «Опыт теории налогов» и возник план политического журнала, чрезвычайно оживились разговоры об изыскании мер к освобождению крепостных. Незадолго перед тем, летом 1818 года, Николай Тургенев гостил в имении под Москвой. Ему чрезвычайно понравились «горы, деревья, зелень», «прелестные рощи». Но «наслаждение парализируется этим нечестивым рабством, которому я не предвижу скорого уничтожения», записывает он в своем дневнике.

Такие высказывания Пушкин постоянно слышал от не-

го [1]. Если в первый свой приезд в Михайловское Пушкин работал только над «Русланом», теперь непосредственное соприкосновение с крепостной действительностью вызывает в нем творческую реакцию. Контраст чудесной природы и «нечестивого рабства» становится темой для негодующего воззвания. Пушкин пишет свою «Деревню».

В округе Михайловского хранилось немало преданий о нравах крепостнического барства XVIII века, отчасти переживших его и еще бытовавших в «кроткое царствование» Александра I. В 1744 году произошло восстание крепостных в соседней Велейской вотчине графа С. П. Ягужинского, беспощадно подавленное картечью, кнутом и плетьми. Владелец села Алтун (в пятнадцати верстах от Михайловского) Л. А. Львов держал в раболепии и страхе всех уездных чиновников и славился жестоким обращением с крестьянами. Современник Пушкина новоржевский землевладелец Д. Н. Философов был обладателем большого гарема из крепостных девушек, сопровождавшего его во всех разъездах. Пушкин лично знал в эти годы одного самодура-помещика, прикрывавшего изощренно филантропическими фразами свою циническую жестокость.

«Этот помещик был род маленького Людовика XI, — вспоминал впоследствии Пушкин. — Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целью, к которой двигался он с силой души необыкновенной, и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать». Деспот был убит своими крестьянами во время пожара.

Все это давало поэту материал для его гневного обличения. Не впервые в русской поэзии раздавался протест против крепостничества. Большой известностью в

[1] К 1818 году относится записка Николая Тургенева «Нечто о барщине», к концу 1819 года — «Нечто о крепостном состоянии в России».

свое время пользовалась «Ода на рабство» Капниста, написанная в 1783 году, а напечатанная только в 1806 году. Она была вызвана указом 3 мая 1783 года, объявившего крестьян трех украинских наместничеств закрепощенными. Основная тема оды — «порабощение отчизны»; автор оплакивает судьбу подневольных обитателей своей родины. Он с гневом обращается к царям, превращающим счастливых людей в страдальцев, а общее благо во зло: «На то ль даны вам скиптр, порфира,— Чтоб были вы бичами мира — И ваших чад могли губить?..»

Ода заключается обращением к Екатерине с просьбой «сложить вериги» с народа и даровать ему вместе «с щастьем и вольность».

В этой традиции выдержана и «Деревня» Пушкина. Стихотворение четко разделено на две части, контрастно восполняющие одна другую: мирный сельский пейзаж, вызывающий мысли о счастье и труде в «уединеньи величавом», и ужасающая картина «измученных рабов», бессмысленно погибающих по воле «неумолимого владельца». Оба плана как бы смыкаются в торжественной концовке, озаренной мгновенным и отдаленным видением освобожденной страны и «народа неугнетенного».

Влияние Николая Тургенева, считавшего, что «освобождение крестьян в России может быть с успехом проведено только властью самодержца», чувствуется в известном заключении стихотворения («рабство, падшее по манию царя»); ряд других выражений напоминает здесь, как и в оде «Вольность», общее учение о легальных путях общественного переустройства («свободною душой закон боготворить»). Но некоторая «конституционность» таких формул восполняется исключительной силой обличающих описаний («Не видя слез, не внемля стона», «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам» и пр.). Подъем в заключении также необычайно усиливает об-

щий размах гневного обвинения. Стиль «грозного витийства», подготовленный предшествующими восклицательными интонациями («Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!»), приближает поэтический язык к подлинному красноречию и сообщает стиху ораторскую мощь. Сочетание глубины негодования и силы выражения придало этому стихотворению значение лучшего образца нашей гражданской лирики.

«Деревня» не предназначалась для печати, но приобрела широкую известность в обществе. Это вызывает настороженность верховной власти. Командир гвардейского корпуса Васильчиков обращается к своему адъютанту Чаадаеву: «Вы любите словесность, — не знаете ли вы молодого поэта Пушкина? Государь желает прочесть его стихи, не напечатанные». Рукопись «Деревни» была представлена через Чаадаева и Васильчикова в Зимний дворец.

Принятый в то время правительством курс на обсуждение некоторых мер по крестьянской реформе побудил царя передать поэту свою благодарность за возбуждение столь «благих чувств».

Пушкин охотно посещает уединенный кабинет Чаадаева, уже мечтавшего, несмотря на блестящее положение по службе, уйти в отставку и обрести полную независимость. В кружке Чаадаева раздаются сильнейшие доводы против крепостничества, жестокого обращения с солдатами, повсеместного лихоимства, неуважения к человеку. Оппозиционные настроения Пушкина получают новый закал. Еще больше дают ему беседы с глазу на глаз с Чаадаевым, исполненные — по позднейшему свидетельству поэта — «вольнолюбивых надежд». После одной из таких бесед и было написано стихотворение «Любви, надежды, тихой славы...», где, как в оде «Вольность», Пушкин отказывается от «юных забав» и высказывает намерение отдать весь жар и силы своей молодости борьбе с «властью роковой». «Свобода», «вольность святая»,

«Отчизна» — вот высшие ценности, требующие беззаветного служения и сулящие «зарю пленительного счастья» его родине и немеркнущую славу тем борцам, чьи отважные имена будут начертаны «на обломках самовластья».

В 1819 году «молодые якобинцы» оживляют в различных направлениях свою деятельность. Николай Тургенев при участии Федора Глинки занялся организацией «Общества 19 года девятнадцатого века», ставившего себе главной задачей распространять политические идеи и знания. К концу года, по предложению Милорадовича, Тургенев написал обширный доклад царю о рабстве в России. В Петербурге появляется молодой поэт Рылеев (с которым Пушкин, несомненно, встречался).

В кружках молодежи сильное впечатление производит убийство реакционного публициста Коцебу, агента русского правительства, студентом Карлом Зандом. «Гимн Занду на устах» — одно из обвинений, брошенных политическими противниками Пушкину. И все эти подчас не ясные, но всегда призывные и мятежные устремления встречают новое неожиданное и поразительное по своей мощи выражение — на горизонте поэтической России появляется Байрон.

Еще в 1818 году в «Вестнике Европы» были напечатаны переводы нескольких отрывков из его лирики и критические статьи, отмечавшие в его поэмах «разительную картину противоположности между благодеяниями попечительной природы и опустошительным действием деспотизма».

Летом 1819 года друзья Пушкина захвачены этой новой волной мировой поэзии. Блудов из Лондона посылает Жуковскому байроновского «Мазепу», который с жадностью прочитывается Александром Тургеневым и И. И. Козловым. Почти одновременно Вяземский из Варшавы горячо призывает друзей к изучению английского поэта: «Что за скала, из которой бьет море поэзии!»

Осенью 1819 года происходит первое знакомство Пушкина с Байроном пока еще по отзывам друзей, по французским и русским переводам. Последняя песнь «Руслана» уже пишется среди всеобщего увлечения поэтов новейшей «британской музой».

III

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ

В начале 1820 года Пушкин впервые почувствовал, что враг, с которым он вступил в борьбу своими сатирами, начинает наносить ответные удары. В петербургском обществе широко распространились слухи, что якобы за свои памфлеты на власть поэт был отвезен в секретную канцелярию и высечен[1]. «Я увидел себя опозоренным в общественном мнении, — вспоминал в 1825 году Пушкин. — Я впал в отчаяние». По его собственному свидетельству, он колебался между самоубийством и цареубийством. Он обратился за советом к Чаадаеву.

Молодой философ отнесся, повидимому, с глубоким участием к своему младшему другу. Чаадаев, в сущности, подтвердил сомнения, возникавшие уже в сознании самого поэта: самоубийство только подтвердило бы позорную молву, преступление же означало бы пожертвование всем ради мнения обывателей, достойных полного презрения. Не единственное ли средство пресечь в корне подпольную клевету — оправдаться перед властью? Для Пушкина это было неприемлемо. Он решил пойти другим

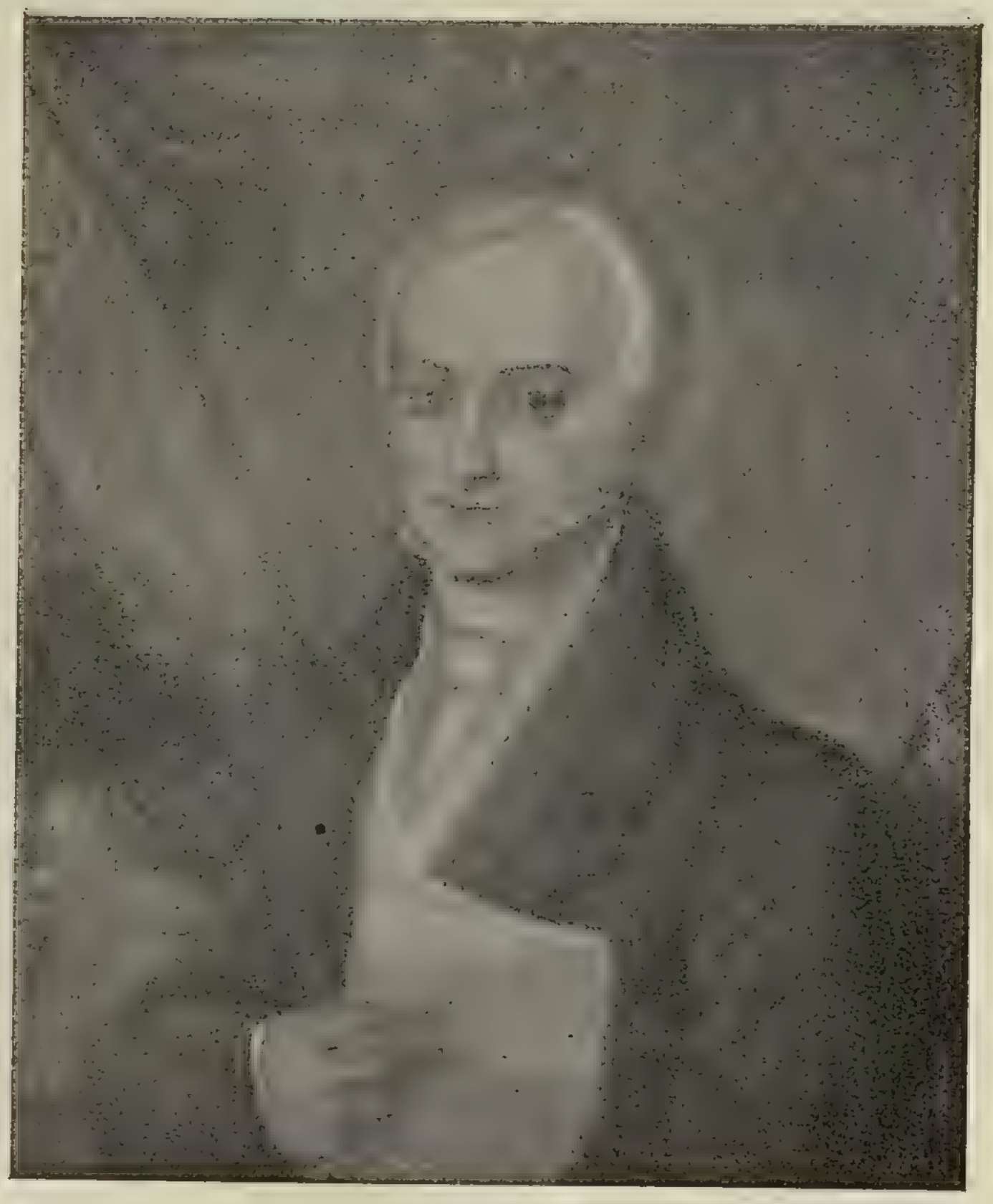
---

[1] Впоследствии Пушкин узнал, что распространением этих порочащих его слухов занимался известный авантюрист и игрок Федор Толстой-Американец.

путем, наиболее опасным, но, быть может, наиболее верным — заставить власть применить к себе иные приемы борьбы, совершенно открытые и явные, вынудить ее произнести во всеуслышание обвинение и применить к нему перед всем светом тяжелую публичную кару, самый факт которой исключал бы возможность одновременного тайного и позорящего наказания. «Я жаждал Сибири или крепости, как средства для восстановления чести».

Задуманный план приводится в исполнение: «Я решился вкладывать столько неприличья и столько дерзости в свои речи и в свои писания, чтобы власть вынуждена была, наконец отнестись ко мне как к преступнику». Он ищет столкновений и поединков («Пушкин всякий день имеет дуэли», сообщает Е. А. Карамзина Вяземскому 23 марта 1820 года); пишет эпиграмму на всемогущего Аракчеева, которая одновременно ударяла и по Александру I; распространяет в обществе свою оду «Вольность», написанную еще в 1817 году, но только теперь, к весне 1820 года, привлекшую пристальное внимание правительства. Возбужденная политическая атмосфера способствует осуществлению его замысла. Пушкин высказывает в обществе сочувствие студенту Карлу Занду, заколовшему агента царского правительства «немца Коцебу»; пускает в оборот свою эпиграмму на мистика и монархиста Стурдзу, которая также клеймит и царя («Холоп венчанного солдата...»).

21 февраля 1820 года петербургские газеты поместили на самых видных местах известия из Парижа об убийстве герцога Беррийского (племянника короля и виднейшего кандидата в престолонаследники Франции). В первых же сообщениях газеты давали сведения и об убийце: «Сей изверг именем Лувель, ремеслом седельник, оказывает величайшее хладнокровье» и т. д. В дальнейших статьях и заметках этому лицу уделяется не менее вни-



И. А. КАПОДИСТРИЯ (1776—1831),
статс-секретарь по иностранным делам России с 1816 по 1822 год; начальник Пушкина по Иностранной коллегии.

АЛЕКСАНДР ТУРГЕНЕВ (1784—1845).
С акварели П. Ф. Соколова.

Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе. (1817)

мания, чем убитому герцогу. Приводятся его ответы на допросах, описывается его психологическое состояние («ни малейших признаков раскаянья...»).

25 февраля весь официальный Петербург собрался на «торжественное поминовение» герцога Беррийского, «похищенного у Франции убийственною рукою злодея», как гласила латинская надпись на пустом траурном катафалке; здесь были посланники, дипломатические чиновники, «знатнейшие особы двора и столицы».

Пушкин ощущает себя в другом стане — не с приверженцами Бурбонов и «Священного союза», а с тем одиноким парижским ремесленником, который учился читать по республиканской конституции и навсегда остался верен «правам человека и гражданина». Когда до Петербурга доходят парижские литографии, изображающие «ужасного убийцу», Пушкин достает себе такой рисунок. 27 февраля 1820 года Вяземский писал: «Цари вытаращили глаза на Францию, и, вероятно, Лувель не один Тюлерийский замок напугал». В духе этого отзыва на полях рисунка своим размашистым почерком поэт надписывает: «Урок царям». В тот же вечер в театральном зале, который напоминал в те времена клуб, он показывает этот листок соседям по креслам и знакомым, «позволяя себе при этом возмутительные отзывы», — свидетельствуют благонамеренные современники.

Разразившаяся в самом начале 1820 года революция в Испании вызвала живейшее сочувствие Пушкина. Его друзья и наставники в политическом мышлении — Чаадаев и Николай Тургенев — не скрывали своего восхищения этой «народной победой». 25 марта 1820 года Чаадаев сообщает своему брату «великую новость», захватившую весь мир: испанская революция закончилась, король в ответ на «восстание целого народа» оказался вынужденным подписать конституцию. «Вот прекрасный довод в пользу революции!» Все это волнует Чаадаева,

«небо близко касается и нас». Тогда же Николай Тургенев записывает в свой дневник: «Слава тебе, славная армия испанская! Слава испанскому народу... Свобода да озарит Испанию своим благотворным светом...» Пушкин впоследствии не раз вспоминал имена вождей испанской революции — Кироги и Риэго — и через десять лет отметил этот момент в сжатом и взволнованном стихе «Тряслися грозно Пиренеи...»

Возникшие тревоги в жизни Пушкина совпали с крупным событием его творческой жизни: 26 марта была окончена шестая, последняя, песнь «Руслана и Людмилы». Здесь находят благополучное разрешение все приключения сказочной эпопеи и по принципу «кольцевого» построения дано заключение, как бы перекликающееся с началом рассказа: продолжается брачный пир «в гриднице высокой». Вся поэма прочно замыкается концовкой, повторяющей ее зачин: «Дела давно минувших дней...»

В шестой песни сказка наиболее приближается к историческому повествованию: осада Киева печенегами уже представляет собой художественное преображение научного источника. Это первая творческая переработка Карамзина. Картина сражения, полная движения и пластически четкая в каждом своем эпизоде, уже возвещает будущего мастера батальной живописи:

Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони;
Со свистом туча стрел взвилась,
Равнина кровью залилась;
Стремглав наездники помчались,
Дружины конные смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Там рубится со строем строй;
Со всадником там пеший бьется;
Там конь испуганный несется;

ЛУИ-ПЬЕР ЛУВЕЛЬ (1763 — 1820).

Литография (1820).

Там русский пал, там печенег;
Там клики битвы, там побег;
Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем...

Пушкин особенно ценил эту последнюю песнь «Руслана», выделяя ее вместе с третьей песнью (бой с головой), как наиболее совершенные во всем произведении. Действительно, в этих разделах шутливая поэма приобретает местами подлинный драматизм, заставляя звучать то лирически, то заунывно легкий стих забавного сказания.

Таковы элегические раздумья Руслана о смерти, таково прелестное вступление к шестой песни, достойное стать в ряд с лучшими любовными романсами поэта:

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать...

Один из тогдашних критиков удачно заметил, что стих «Руслана и Людмилы» поет на все лады, как струна на скрипке Паганини.

Поставив себе еще на лицейской скамье задачу развернуть в плане волшебной поэмы основные мотивы русских народных преданий, Пушкин с замечательной уверенностью и непоколебимой волей художника довел свой замысел до блестящего завершения. По пути разработки фольклора он в дальнейшем пойдет неизмеримо дальше, все глубже захватывая драгоценную руду народного творчества, но и первая его поэма уже являет ряд черт национального эпоса. Недаром в позднейшей авторской характеристике «Руслана», в знаменитом прологе «У лукоморья», дан гениальный синтез старинной русской сказки.

Друзья-поэты, пристально следившие за ростом этих

«грешных песен», были зачарованы их обширной и сложной композицией, переливающей всеми красками фантазии и легенды. Жуковский, несмотря на пародирование его «Двенадцати спящих дев» в четвертой песни «Руслана», восхищенно приветствовал своего «ученика-победителя» знаменитой надписью на своем портрете, подаренном Пушкину в самый день завершения его «игривого труда».

В это время закулисная борьба с поэтом стала принимать довольно напряженный характер. Наблюдение за политическим благонравием граждан было сосредоточено в министерстве полиции, а надзор за вольной петербургской молодежью был предоставлен его Особой канцелярии.

Весною 1820 года это учреждение предпринимает ряд действий против молодого чиновника иностранной коллегии, получившего известность в петербургском обществе своими смелыми политическими высказываниями и антиправительственными стихами.

Оды об убийстве Павла I, эпиграммы на Аракчеева, поносившие и самого царя, дерзкий публичный показ портрета Лувеля — все это могло определяться как оскорбление величества. Дело приняло весьма внушительные масштабы; оно попало, вероятно, к Аракчееву (которого многие современники считали главным виновником всей истории) и, несомненно, к Александру I, который сделал вскоре директору лицея Энгельгардту известное заявление о «возмутительных» стихах Пушкина. Всякое упоминание об 11 марта Александр воспринимал как личный выпад, зная, что народная молва обвиняла его в отцеубийстве. «Он мог снести все лишения, — писал впоследствии об Александре журналист Греч, — все оскорбления, только воспоминание о смерти отца, мысль

о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводили его в исступление».

Неудивительно, что автор «Вольности» попал под угрозу весьма тяжкой кары. Военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович получает распоряжение произвести обыск у Пушкина. Но Милорадович был боевой генерал, соратник Суворова, герой Двенадцатого года, воспетый Жуковским. Он жил широко и разгульно, любил театр и танцовщиц, знал Пушкина по зрительным залам и кулисам петербургских сцен. Вместо официального обыска он решил прибегнуть к секретному изъятию нужных бумаг.

В середине апреля в дом вице-адмирала Клокачева у Калинкина моста явился переодетый агент и предложил «дядьке» Пушкина, Никите Козлову, пятьсот рублей за предоставление ему «для чтения» сочинений молодого барина. Тот отказал. Узнав той же ночью о таинственном почитателе своей поэзии, Пушкин решил предупредить события: он сжег все сатирические листки. На другое утро поэт получил предписание столичного полицмейстера немедленно явиться к военному генерал-губернатору.

По счастью, Пушкин был в добрых отношениях с прикомандированным для особых поручений к Милорадовичу полковником Федором Глинкой. Автор известных «Записок русского офицера» и биографии Костюшки, близкий к Пестелю, Трубецкому и Муравьевым, председатель «Вольного общества любителей российской словесности», Глинка мог действительно дать в этом случае благожелательный и дельный совет. Поэт не знал, что этот активный общественный деятель был еще членом «Союза благоденствия», но он разделял общее мнение о Глинке, как о человеке исключительной отзывчивости к чужому горю.

«Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без

всякого опасения, — заявил Глинка, — он не употребит во зло вашей доверенности».

Пушкин слышал сочувственные отзывы о Милорадовиче от Николая Тургенева, оценившего позицию героя 1812 года в Государственном совете, где тот оспаривал Шишкова и восставал против рабства. Поэт отправился на Невский проспект в канцелярию военного генерал-губернатора.

Милорадович принял Пушкина в своем кабинете среди турецких диванов, статуй, картин и зеркал. Он питал страсть к предметам роскоши, к нарядной обстановке, восточным тканям. Как южанин, он отличался некоторой зябкостью и любил по-женски кутаться в пестрые шали. Кажется, он подражал в блеске, пышности и воинских бравадах знаменитому Мюрату, с которым вел переговоры в 1812 году. Но этот изнеженный сибарит умел делить с солдатами все лишения походной жизни, сохранять веселость в минуты величайшей опасности и спокойно раскуривать трубку, когда пуля снесла султан с его шляпы.

Милорадович заявил о полученном им приказе «взять» Пушкина и забрать все его бумаги. «Но я счел более удобным пригласить вас к себе». На этот жест доверия Пушкин решил ответить такой же широкой откровенностью: бумаги его сожжены, но он готов написать Милорадовичу все, что нужно. «Вот это по-рыцарски!» воскликнул удивленный начальник.

Вскоре казенные листки генерал-губернаторской канцелярии заполнились строфами «Вольности», ноэлей, сатир — всей антиправительственной поэзией Пушкина, за исключением одной эпиграммы, которую царь никогда бы не простил ему.

Этот сборник памфлетов Милорадович на другой же день представил Александру, прося его не читать их и помиловать сочинителя за мужественное и открытое

поведение во время следствия: «Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

Но император был другого мнения. Дело Пушкина не было решено тогда же (как рассказывал впоследствии Глинка), а тянулось еще около трех недель. 19 апреля Карамзин сообщил Дмитриеву, что полиция узнала «о стихах Пушкина на вольность», об эпиграммах на властителей и друзья поэта «опасаются следствий».

Апрельские события 1820 года сразу обнаружили, какими прочными симпатиями пользовался поэт среди людей «ума и чести», которые дружно вступились за него в минуту нависшей над ним опасности. Из официальных лиц на его стороне оказались Милорадович, Каподистрия, Энгельгардт. Особенно активной была позиция Каподистрии. Враг Меттерниха, организатор освобождения Греции, близко стоявший к литературным кругам, он, видимо, искренне пожалел молодого поэта и решил воспользоваться своим положением для смягчения его участи. Он вступил в переговоры с Карамзиным и Жуковским, мнение которых и положил в основу своего заключения.

Одновременно действовали и друзья поэта. Глинка передает, что Гнедич «с заплаканными глазами» бросился к влиятельному Оленину. Чаадаев хлопотал у своего шефа — командира гвардейского корпуса Васильчикова и одновременно старался повлиять на Карамзина. С таким внушительным общественным мнением правительству пришлось посчитаться. Первоначальные предположения о ссылке в Сибирь или Соловки за оскорбление верховной власти понемногу уступают место мнению друзей Пушкина, считавших, что ему следует только переменить петербургский образ жизни (Батюшков, как известно, предлагал на три года запереть Пушкина в Геттинген и кормить его там «молочным супом и логикой»). В начале мая царь утвердил предложение Каподистрии

о служебном переводе Пушкина в южные губернии, сравнительно недавно отвоеванные. Старый сослуживец Милорадовича и приятель Каподистрии генерал Инзов, человек высокой моральной репутации, ведал новороссийскими колонистами; к нему-то и откомандировали Пушкина.

Первый этап «службы» поэта завершился. 4 мая он явился на Английскую набережную и получил от казначея Коллегии иностранных дел тысячу рублей ассигнациями на проезд до Екатеринослава. В «канцлерском доме» его принял сам глава ведомства — Нессельроде. Он сообщил «переводчику» своей коллегии, что по приказу его императорского величества ему предлагается вручить документы чрезвычайной важности попечителю комитета о колонистах южного края России, генерал-лейтенанту Инзову, в распоряжении которого он останется в качестве сверхштатного чиновника впредь до особых указаний. Пушкину предписывалось выполнить волю государя безотлагательно.

6 мая Дельвиг провсдил Пушкина до Царского Села. На этот раз беспечные юноши были задумчивы и молчаливы. Вероятно, сосредоточенная нежность Дельвига при прощании вспомнилась Пушкину через ряд лет в щемящих элегических стихах:

Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его...

Бричка покатила по Белорусскому тракту. Из всех родных, друзей и знакомых — из целого общества, заполнявшего пестрой толпой первые десятилетия жизни поэта, — с ним следовал в изгнание только его «дядька», крепостной Никита Козлов, заботливо водивший его некогда на прогулки к Чистым прудам.

Пушкин увозил с собой в ссылку богатый запас впечатлений о столичной жизни и ее характерных пред-

ставителях. В ряду его творческих тем скоро выступит как одно из главных заданий — «описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года».

IV

НАЧАЛО СКИТАНИЙ

Байрон заманчивым личным опытом ввел путешествия в биографию поэтов и одновременно создал новый жанр небольшой лирической поэмы, в которой исповедь автора развертывается на фоне дальних стран, насыщаясь народными легендами Востока и Юга. С 1820 года так же начинает слагаться и жизнь Пушкина, отражаясь в поэмах такого же типа. Недаром об описаниях одной из них сам он говорит, как о «географической статье и отчете путешественника».

Проехав Белорусским трактом Псков и Витебск, Пушкин свернул на юго-восток и очутился на Украине, среди новой природы, быта и говора. Через Чернигов, Нежин и Лубны он достиг Кременчуга, где впервые увидел Днепр, заочно описанный им в только что законченной поэме. Через широко разлившуюся в ту весну реку Пушкин по наплавному мосту переехал на правый берег. В середине мая, проехав тысячу шестьсот верст, Пушкин въезжал в Екатеринослав (ныне Днепропетровск).

Городу, основанному Потемкиным, было немногим больше тридцати лет. Это было, в сущности, местечко с населением в четыре тысячи жителей, большинство которых ютилось в небольших домиках и «мазанках», утопающих в садах. Несколько в стороне высились развалины потемкинского дворца среди запущенного сада. В наиболее людном месте находилась единственная гос-

ССЫЛКА А. С. ПУШКИНА
НА ЮГ
КАРТА ПУТИ
С.-Петербург
София или Царское Село
Гатчино
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБ.
Луга
НОВГОРОДСКАЯ ГУБ
Псков
ПСКОВСКАЯ ГУБ.
Михайловское
Опочка
Сябры
Великие Луки
ВИТЕБСКАЯ ГУБ.
Полоцк
Сураж
Усвят
СМОЛЕНСКАЯ ГУБ.
Витебск
Борисовичи
Орша
МОГИЛЕВСКАЯ ГУБ.
Могилев
МИНСКАЯ ГУБ.
Бобруйск
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБ.
Чернигов
Мозырь
ВОЛЫНСКАЯ ГУБ.
Киев
Васильков
Белая Церковь
Тараща
Звенигородка
КИЕВСКАЯ ГУБ.
Радомышль
Житомир
Новоминород
ПОДОЛЬСКАЯ ГУБ
БЕССАРАБСКАЯ ОБЛ.
Ольгополь
Балта
Кишинев
Бендеры
Клушаны
Леово
МОЛДАВИЯ
Лапушна
Готешты
Табан
Татар-Бунар
Аккерман
Измаил
Килия
Ренени
Одесса
ХЕРСОНСКАЯ ГУБ
Тирасполь
Николаев
Херсон
Перекоп
Керчь
Феодосия
Симферополь
Бахчисарай
Георгиевский монастырь
Гурзуф
ЧЕРНОЕ МОРЕ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
Таганрог
Мариуполь
Ростов
Черкасск
Старочеркасская
Новочеркасск
Ст. Егорлыкская
Прочноокопская
Екатеринодар
Кавказская
Ставрополь
Александровск
Георгиевск
Кисловодск
ЗЕМЛИ ГОРСКИХ НАРОДОВ
КАВКАЗСКАЯ ОБЛ
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБ.
Александровск
Екатеринослав
Верхнеднепровск
Каменка
Кременчуг
Елисаветград
Пятихатки
Пирятин
ПОЛТАВСКАЯ ГУБ.
Лубны
Хорол
СЛОБ. УКРАИНСКАЯ ГУБ
ЗЕМЛЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
Коровий Брод
Орехов
ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБ
Борислав
Мангуш
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБ
ТВЕРСКАЯ ГУБ.
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБ
МОСКОВСКАЯ ГУБ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБ.
КОСТРОМСКАЯ ГУБ.
РЯЗАНСКАЯ ГУБ
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБ.
КАЛУЖСКАЯ ГУБ.
ТУЛЬСКАЯ ГУБ.
ОРЛОВСКАЯ ГУБ.
КУРСКАЯ ГУБ.
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБ.
САРАТОВСКАЯ ГУБ.
ТАМБОВСКАЯ ГУБ.

тиница (ныне Караимская улица, № 2), где и остановился Пушкин. Неподалеку, в одном из присутственных зданий, помещалась контора иностранных поселенцев, которая с 1818 года управляла колониями трех новороссийских губерний. Сюда то и явился по приезде Пушкин вручить своему новому начальнику письмо от Нессельроде.

Его принял пожилой пехотный генерал, сухощавый, среднего роста, с крупной шарообразной головой, «с большими мечтательно-голубыми глазами и необыкновенно симпатичным выражением лица». Воспитанный московскими масонами, он получил за итальянский поход чин полковника, состоял в австрийской кампании дежурным генералом при Кутузове, дослужился до генерал-лейтенанта и принял начальство над пограничными колониями Южной России. Как большинство генералов того времени, он был в близких служебных отношениях с целой плеядой военных знаменитостей, участвовал в ряде исторических сражений. Но в отличие от блестящих и нарядных полководцев типа Милорадовича Инзов проявлял в жизни крайнюю скромность. Еще не будучи собственно стариком (в момент знакомства с Пушкиным Инзову было пятьдесят два года), он жил одиноко, по-отшельнически, спал на жесткой походной койке и не имел лишнего стула в квартире. Единственным украшением его спартанской обстановки был портрет Фридриха II, перед тактикой которого Инзов преклонялся, как большинство военных XVIII века. Он пользовался репутацией человека редких достоинств и просвещенного ума.

Содержание письма несколько удивило Инзова. Нессельроде давал маленькому курьеру, вручившему пакет, неожиданно тонкую психологическую характеристику. Это и было письмо Каподистрии, подписанное управляющим коллегией, но отмеченное проникновенностью ума и человечностью сердца, весьма мало свойственными Нессельроде.

В письме отмечалось безрадостное детство Пушкина, породившее в нем «одно лишь страстное стремление к независимости». Автор письма не скрывал ни своего мнения о «необыкновенной гениальности юноши» и его «пламенном воображении», ни своих сведений о его поэтической «знаменитости». Недаром Жуковский называл Каподистрию «нашим Аристидом».

Особый интерес представляет характеристика революционной поэзии Пушкина.

«Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах замысла и стиля его стихотворение свидетельствует об опасных принципах, почерпнутых в современных учениях или, точнее, в той анархической доктрине, которую по недобросовестности называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов». Вот почему правительство, приняв соображения друзей поэта — Карамзина и Жуковского, полагает, «что, удалив Пушкина на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государства или, по крайней мере, первоклассного писателя». Дальнейшая судьба молодого человека ставилась в зависимость от успеха «добрых советов» Инзова. Письмо заканчивалось уверением, что Нессельроде готов дать Пушкину место при себе, «но он получит эту милость не иначе, как через ваше посредство и когда вы скажете, что он ее достоин».

Необычайное письмо вызвало некоторое раздумье попечителя южных колонистов. Этот боевой генерал, в свое время переходивший с Суворовым Альпы, был не чужд литературных идей XVIII века. Племянник Хераскова, воспитанник одного из последователей Новикова, личный друг поэта-радищевца Пнина, Инзов склонен был по-своему воспринять официальное сообщение о но-

бом стороннике «системы человеческих прав и свободы народов». Уже 21 мая он сообщает Каподистрии, что «погрешности» Пушкина объясняет не «испорченностью сердца», а только «пылкостью ума».

Как человек большой душевной чуткости, Инзов после первых же бесед с новоприбывшим понял, что тот нуждается после всего пережитого не столько в «добрых советах» и поучениях, сколько в полной свободе и отдыхе. Он не стал обременять Пушкина канцелярской работой и предоставил ему время для устройства на новом месте. Пушкин оставил заезжий трактир и поселился в одном из многочисленных еврейских домиков [1]. Город был тих и глух, но с открытием навигации сотни плотов и барок проплывали по течению. Пушкина потянуло к реке.

Ему нравились катанья на лодке, купанья, песчаные островки среди Днепра. Здесь Пушкин наблюдал первый примечательный эпизод своих странствий, отразившийся в его южном творчестве. Арестанты «смирительного дома» собирали на улицах подаяния, на которые и содержались заключенные. Двоим из таких скованных колодников удалось бежать; они переплыли Днепр и после отдыха на островке скрылись в лесах.

Случай этот приобретал особенное значение ввиду происходивших в Екатеринославской губернии крестьянских восстаний. Весною 1820 года пятьдесят деревень вокруг административного центра взбунтовались, «чтобы быть в полной свободе», как сообщал в Петербург вице-губернатор Шемиот. Против «многих тысяч возмутителей, избивающих своих начальников», были высланы зна-

---

[1] Местонахождение екатеринославского жилища Пушкина точно неизвестно; указания на «Мандрыковку» появились в печати через восемьдесят лет после пребывания Пушкина в Екатеринославе по сомнительным «семейным» преданиям и едва ли заслуживают доверия.

чительные части правительственных войск, беспощадно подавивших восстание. Пушкин запомнил небывалый случай тогдашней тюремной хроники и через год нашел ему воплощение в поэме о русской разбойной вольнице.

Ранние купанья на Днепре вызвали у Пушкина приступ малярии. Еще перед отъездом из Петербурга друзья поэта подготовили план его путешествия с семьей Раевских по Кавказу и Крыму. Около 25 мая генерал Раевский, командовавший 4-м корпусом Первой армии, прибыл из Киева в Екатеринослав проездом на Кавказские воды. В то время на курорты отправлялись целым караваном, и генерала сопровождали его младший сын гусарский ротмистр Николай Раевский — знакомый нам друг Чаадаева и Пушкина, две дочери — Мария и Софья, гувернантка-англичанка, девушка-татарка, Евстафий Петрович Рудыковский, военный врач и отчасти стихотворец. Остальная часть семьи должна была встретиться с ними уже на юге.

По приезде в Екатеринослав генерал Раевский вместе с сыном, несмотря на поздний вечер, разыскали Пушкина в его убогой хате. Поэта лихорадило. Тотчас же вызвали доктора Рудыковского; он предписал больному хинин, и на другое утро Пушкин явился в дом губернатора Карагеоргия, где остановились Раевские, побуждаемый страстным желанием сопровождать их на Кавказ. «С детских лет путешествия были моею любимою мечтою», писал впоследствии Пушкин; мечта эта готова была теперь осуществиться. Инзов не возражал, надеясь, что граф Каподистрия не будет недоволен.

В последних числах мая в одной коляске со своим другом Раевским Пушкин оставил Екатеринослав.

Три экипажа покатили по Мариупольской дороге. Проехав семьдесят верст, переправились на левый берег

Днепра у немецкой колонии Нейенбург, возле Кичкаса (где теперь Днепрогэс). «Тут Днепр только что перешел свои пороги, — сообщал родным генерал Раевский. — Посреди его — каменные острова с лесом весьма возвышенным, берега также местами лесные, словом, виды необыкновенно живописные».

Вскоре проехали Александровск (теперь Запорожье). За ним начались гладкие безводные степи, покрытые свежим ковылем. Так добрались до Мариуполя.

Здесь впервые Пушкин увидел южное море. Все оставили экипажи и сошли на берег Таганрогского залива любоваться прибоем. Пушкин обратил внимание на шаловливую игру Марии Раевской с набегающими волнами. Это явилось одним из творческих впечатлений его южного путешествия [1].

Проехав Ростов, ночевали в станице донских казаков Аксай, на следующий день обедали у атамана Денисова в Новом Черкасске, а наутро отправились в Старый Черкасск.

Донские станицы и городки были полны преданий о борьбе казачества с царизмом, нередко разраставшейся в настоящие крестьянские войны и прославившей имена Разина, Пугачева, Болотникова, Булавина. Некоторые из этих имен, как известно, чрезвычайно увлекали Пушкина, а первый интерес к ним, вероятно, возник у него летом 1820 года, когда он слушал в самом центре донского казачества предания и песни о понизовой вольнице. Николай Раевский вскоре стал собирать исторические све-

---

[1] Оно отразилось в знаменитой строфе «Евгения Онегина»:

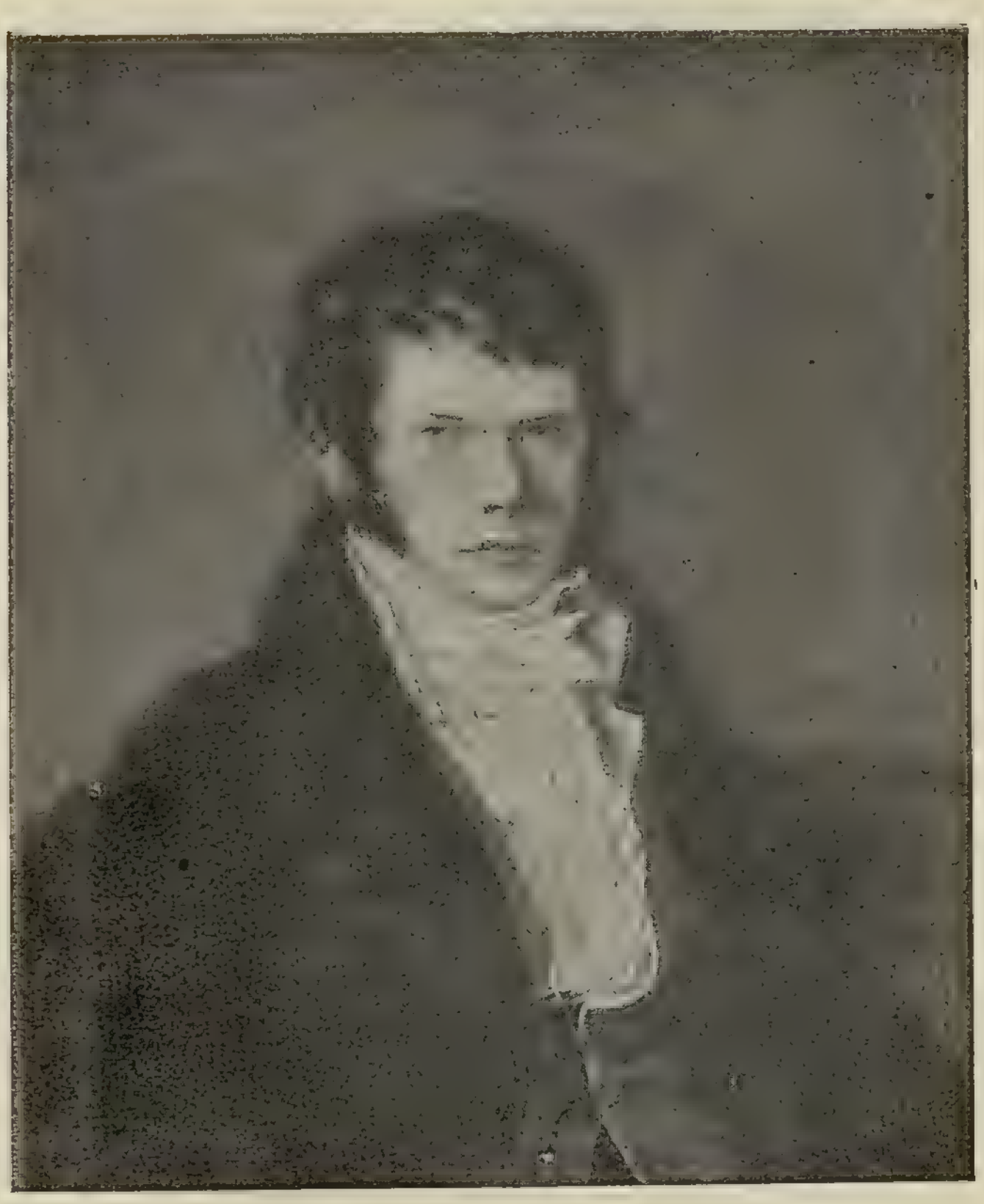
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!..

(«Евгений Онегин», гл. I, строфа XXXIII.)

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА (1786—1849).

С рисунка Тропинина.

«Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, — и, может быть, только об ней». (1819)



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ (1792—1878).
Портрет маслом Х. Рейхеля (1817).

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе... (1821)

дения о Степане Разине, а несколько позже готовился писать историю разинского восстания. Эти темы волновали и Пушкина. Через несколько лет он вспомнил вольные песенные рассказы о том,

Как Стенька Разин в старину
Кровавил волжскую волну...

Землями Войска донского проехали в Ставрополь. Показались снежные вершины двугорбого Эльбруса, к скалам которого был, по преданию, прикован Прометей. Сильная троза и дождь задержали путников недалеко от Георгиевска. Через два дня достигли, наконец, цели путешествия — Горячих Вод (впоследствии Пятигорск).

Вокруг расстилалась «страна баснословий», как писали географы двадцатых годов. С давних пор обширная горная область меж двумя южными морями была достоянием поэтов. Историки считают, что впервые слово «Кавказ» было произнесено Эсхилом. Пушкин прекрасно знал (и вскоре привел в примечаниях к своей кавказской поэме) первые русские стихи о Кавказе — живописные строфы Державина. Но это была еще старинная поэтика с ее «сизоянтарными глыбами» и «златобагряной зарею». Гораздо живее звучали «прелестные стихи» Жуковского в его послании к Воейкову, где шумел «Терек в быстром беге» и в голубом тумане вздымался «гигант седой, — Как туча, Эльборус двуглавый...»

Поэтические предания, казалось, аккомпанировали непосредственным впечатлениям поэта-путешественника, зачарованного очертаниями «ледяных вершин, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными...» Среди первых набросков в записной книжке поэта уже отмечены и вершины Машука и Эльбруса, «обвитые венцом летучих облаков», и «жилища дикие черкесских табунов», и «целебные

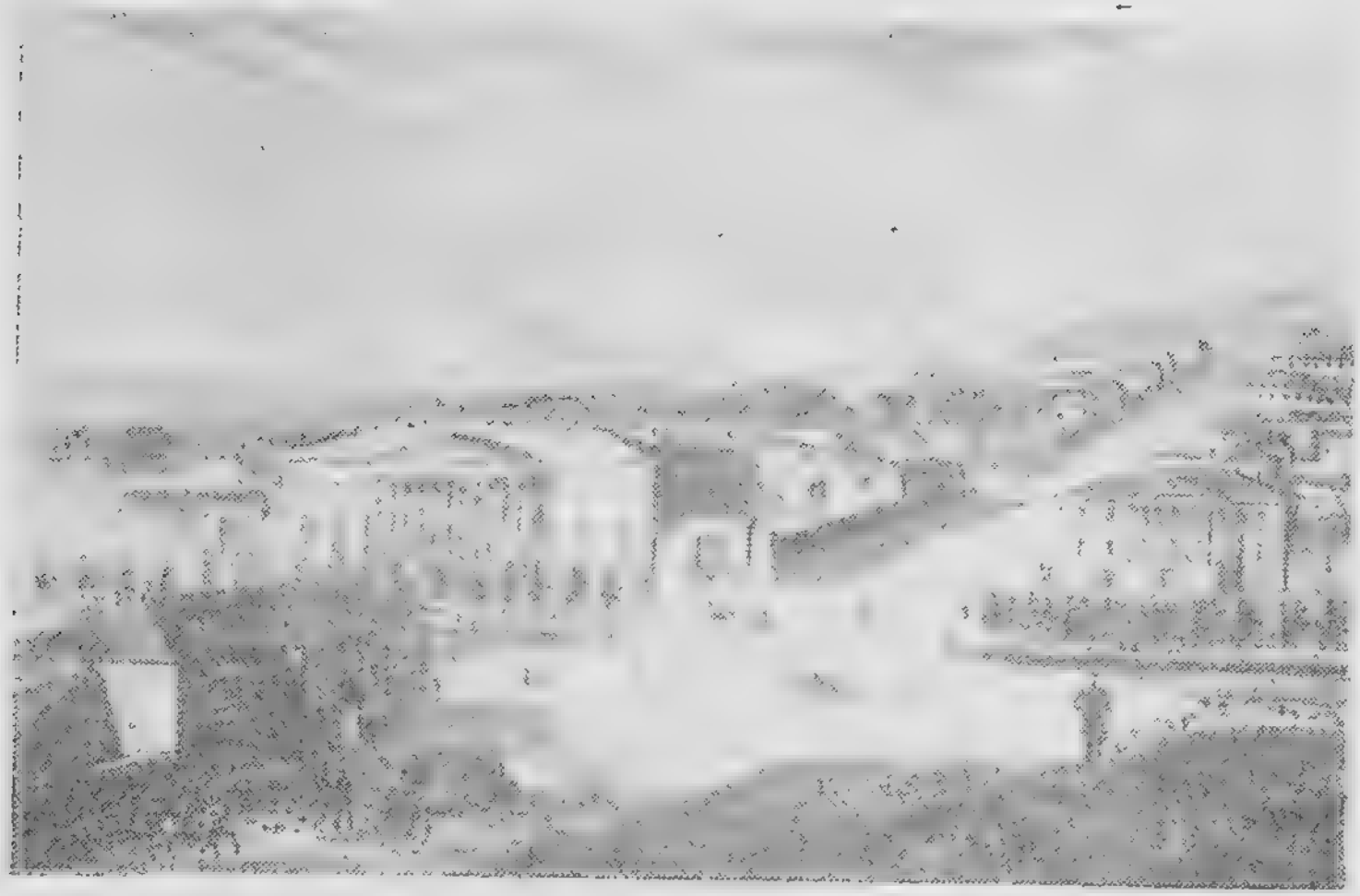
струи», к которым сейчас же по приезде обратились путешественники.

Горячеводск был достаточно благоустроенным городком. Недавно отстроенные ванны отличались «возможной чистотой и опрятностью»; при ваннах имелась галлерея с прекрасным видом на окрестности, для курортной публики играла музыка. «Смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и приезжих — все это под вечер движется, встречается, расходится, сходится», писал генерал Раевский своей жене.

В Горячеводске с «перелетной стаей» встретился старший сын генерала — Александр Раевский, высокий, худощавый молодой полковник в отставке, напоминавший внешностью Вольтера. Он участвовал в наполеоновских походах, был во Франции адъютантом Воронцова, служил при наместнике Кавказа Ермолове. Это был блестящий гвардеец, товарищ Чаадаева по адъютантству у Васильчикова.

На Пушкина он сразу произвел неотразимое впечатление. Александр Раевский слыл скептиком, «нигилистом», отрицал ценность поэзии, искусства, чувств. Тонко образованный и широко начитанный, как все Раевские, он был не чужд мистификации, и его неумолимый «демонизм» являлся некоторой позой. Дальнейшее показало, что этот «разочарованный» человек был способен на сильнейшие увлечения. Ум, дарования и жизненный опыт Александра Раевского придавали исключительное очарование его личности и разговору.

Пушкин охотно слушал и рассказы старика Раевского, прошедшего военные пути от Очакова до Парижа и даже заслужившего лестные отзывы Наполеона. Беседы с боевым генералом питали живой интерес поэта к истории недавнего прошлого и поддерживали его влечение к военной жизни и ратным подвигам. Они представляли особенный интерес в напряженной походной обстановке



Горячеводск (Пятигорск) в 30-х годах XIX века; вид гостиницы и части города.

Кавказа. Край только чересполосицей принадлежал России, и в горных областях велась ожесточенная колониальная война. Раевские следили за ходом покорения страны с живейшим вниманием. Ермолов был ближайшим сподвижником генерала Раевского в Бородинской битве, а Александр Николаевич был адъютантом этого «проконсула Кавказа». От Раевских Пушкин, несомненно, слышал о крупнейших деятелях и событиях кавказской военной истории — о князе Цицианове, генерале Котляревском и особенно о самом Ермолове. Через несколько месяцев, заканчивая свою поэму о Кавказе, Пушкин произнесет этим полководцам хвалу в духе воззрений той военной семьи, с которой он странствовал меж Доном и Кубанью. Для трех Раевских — генерала, полковника

й ротмистра — завоевательная политика на Кавказе со всеми ее жестокостями вполне оправдывалась государственными заданиями торговли с Персией и господства над Востоком.

Героические предания кавказской войны изобиловали увлекательными историями о пленных офицерах. Так, в 1802 году был захвачен горцами русский генерал, которого чеченцы чрезвычайно уважали. После него майор Шевцов провел год в плену и был выкуплен Ермоловым. Тема освобождения русского военного из заточения в аулах развертывалась заманчивым сюжетом. В беседах на эту тему могли вспомнить и повесть Ксавье де-Местра, учителя рисования Ольги Сергеевны Пушкиной, под заглавием «Кавказские пленники», где рассказывалось о подлинных случаях из истории завоевания Чечни.

Пушкин любил поездки на ближние возвышенности, особенно экскурсии «на Бештовую высокую гору», которую поэт даже называет своим новым Парнасом, хотя пишет мало. Ему даже кажется, что муза «навек» скрылась от него. 26 июня в Пятигорске он набрасывает небольшой лирический эпилог к «Руслану и Людмиле» — первое отражение пережитой петербургской невзгоды и первая же зарисовка Кавказа.

3 июля общество переехало на «Железные воды бештовые», то-есть в нынешний Железноводск. Здесь раскинулись лагерем в десяти калмыцких кибитках под военной охраной тридцати солдат и тридцати казаков; ванны находились в лачужках, а воду из источников черпали дном разбитой бутылки — по позднейшему описанию Пушкина. Общество его составляли преимущественно братья Раевские. Старший, Александр, не перестает привлекать его своим остроумием и скептической философией и все более выступает перед ним, как характерный представитель современности, до-

РАЕВСКИЙ-отец (1771 — 1829).

Копия декабриста Н. А. Бестужева с акварели П. Ф. Соколова.

«...Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасною душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого ласкового хозяина». (1829)

стойный изображения в новой форме байронической поэмы.

На Кавказе продолжается знакомство Пушкина с Байроном; здесь он, несомненно, прочитывает «Чайльд-Гарольда», вероятно, во французском переводе. Пушкину, как поэту, чрезвычайно важно было ознакомиться с Байроном в оригинале, услышать склад его стиха, воспринять его поэтическую речь. Не владея в то время английским языком, Пушкин пользуется познаниями Раевских для первого знакомства с подлинными текстами. Но если такая система могла дать верное представление о звучании байроновских поэм, она оставалась слишком кустарной для углубленного понимания великого лирика. Между тем замечательное восприятие Пушкиным байронических тем и стиля — подлинное творческое овладение ими — свидетельствует о совершенно свободном чтении. Следует признать, что Пушкин знакомился с Байроном по распространенному у нас в то время французскому изданию 1820 года[1].

В середине июля переехали на Кислые воды (Кисловодск). Доктор Рудыковский предписал Пушкину курс лечения, который, несомненно, поправил его расстроенное здоровье. Но врач-поэт не ограничился медицинскими беседами с Пушкиным, — он решил состязаться со своим новым пациентом в стихотворном искусстве и вместе с ним стал воспевать Нарзан. Пушкин дружеской эпиграммой «поощрил» своего лекаря: «Аптеку позабудь ты для венков лавровых — И не мори больных, но усып-

---

[1] «Choix de poèsies de Byron, Walter Scott et Moore». Gènève—Paris, 1820, два тома. Издание включает произведения, которыми Пушкин особенно увлекался в начале двадцатых годов («Чайльд-Гарольд», «Гяур», «Корсар», «Шильонский узник», «Лара»); характерно, что некоторые имена собственные из байроновских поэм Пушкин произносит и пишет на французский лад, например Чильд-Гарольд.

ляй здоровых». Любопытный образ доктора Рудыковского, вероятно, вспоминался Пушкину через десять лет, когда он набрасывал планы романа на Кавказских водах. Среди прочих героев имеется и «лекарь-малоросс».

В начале августа Раевские двинулись в обратный путь — с Кавказа в Крым. Это был новый маршрут от Пятигорья — по течению Кубани землями черноморских казаков на Таманский полуостров. Проезжали через кубанские крепостцы — Ладожскую, Усть-Лабинскую, Екатеринодар, сторожевые станицы, где Пушкин не переставал любоваться казаками: «Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности. Ехали в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за ними тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем, — писал он брату. — Когда-нибудь прочту тебе мои замечания о черноморских и донских казаках — теперь тебе не скажу о них ни слова». Пушкин не решался доверить письму свои размышления о казацкой «вольнице», черты которой еще сохранялись в пограничных станицах.

В середине августа поэт впервые увидел Черное море, столь пленившее его и столько раз им воспетое. От «азиатской» Тамани путешественники отплыли в направлении Керчи. Началось первое морское путешествие Пушкина.

V

ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГ

Кавказские воды и казачьи становища сменяет Таврида, вся овеянная античными мифами. Пушкину с его творческими заданиями было дорого легендарное прошлое Черноморья. В описании своего путешествия — сначала в письме к брату, потом в стихах — он не перестает ссылаться на древние имена и предания, вспо-

минать исторические события и оживлять мифологические образы. «Воображенью край священный!» назовет он впоследствии Крым. Таманский полуостров, откуда открылись ему таврические берега, он называет Тмутаракановским княжеством. Так именовали древнюю Тамататархию русские князья Владимир, Мстислав, Ярослав I, образовавшие из нее удельное княжество (Пушкин вспомнил вскоре «Мстислава древний поединок» и разработал план поэмы об этом герое). Керчь вызывает в нем представление о развалинах Пантикапеи и воспоминание о Митридате, завоевателе Греции, Македонии и опустошителе римских колоний в Малой Азии. «Там закололся Митридат», отметил впоследствии Пушкин историческую ценность местности лаконическим стихом о гибели древнего полководца, разбитого Помпеем. По пути поэт посещает кладбище бывшей столицы Босфорского царства, разыскивая следы исторической усыпальницы.

В Феодосии, которую Пушкин называет ее генуэзским именем «Кафа», он ведет беседы с исследователем Кавказа и Таврии, бывшим служащим Азиатского департамента иностранной коллегии Семеном Броневским, весьма примечательным русским краеведом начала столетия. Это послужило Пушкину как бы введением в богатую область древней истории и памятников Черноморского побережья.

17 июля перед вечером путешественники отчалили от Феодосийской гавани на военном бриге, который был предоставлен генералу Раевскому из керченской флотилии. Всю ночь Пушкин не спал. Это была одна из прекрасных безлунных, южных ночей, когда ярко выступают звезды и в темноте неясно вычерчивается линия гор. Брандвахта шла легким береговым бризом, не закрывая парусами побережья. Поэт ходил по палубе и слагал стихи: морское путешествие ночью, воспоминание о петербургских увлечениях, очарование «Чайльд-Гароль-

АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ (1795 — 1868).
С акварели неизвестного художника.

дом» — все это отразилось в лирическом отрывке с возвращающимися строками:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Элегия слагалась в виду берегов, где-то между Судаком и Алуштой. Когда обогнули мыс Чебан-Басты, капитан брига подошел к своему бессонному пассажиру: «Вот Чатырдаг!» В темноте неясно обрисовывались массивы огромной Палат-горы, как ее прозвали в то время русские из-за сходства с раскинутым шатром.

Пушкин задремал. Он проснулся от шума якорных цепей. Корабль качался на волнах. Вдали амфитеатром раскинулись розово-сиреневые горы, окружавшие Гурзуф, на фоне их высились зеленые колонны тополей; из моря выступала громада Аю-Дага... «И кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»

На берегу путешественников встретила генеральша Раевская с двумя дочерьми. Старшая — Екатерина — считалась красавицей, обладала твердым характером и произвела на Пушкина сильное впечатление (он вспомнил ее, когда через пять лет создал образ Марины Мнишек). Вторая дочь — голубоглазая Елена Николаевна — была чахоточной, но в свои семнадцать лет, несмотря на тяжелый недуг, сохраняла все очарование красоты хрупкой и лихорадочной с некоторым отпечатком обреченности [1]. Как

[1] Следует думать, что воспоминанием о Елене Раевской навеяна строфа «Осени»:

Как это объяснить? мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. — На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна; —
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет. — На лице еще багровый цвет —
Она жива еще сегодня, — завтра нет.

БАЙРОН (1788 — 1824).

Гравюра Люптон с портрета Филиппс.

«Пламенный демон, который создал Гяура и Чильд-Гарольда». (1824)

все Раевские, обе старшие сестры отличались высокой культурностью, свободно владели европейскими языками, были начитаны в поэзии; вместе со своими братьями они способствовали ознакомлению Пушкина с Байроном в оригинале. Поэт навсегда сохранил к ним чувство живейшей благодарности.

Все лето двадцатого года Пушкин провел в семейной обстановке, рядом с девушками, любившими искусство, увлекавшимися европейскими романтиками. «Все его дочери — прелесть, — писал он вскоре брату о семье генерала Раевского,— старшая — женщина необыкновенная».

Влюбился ли Пушкин в сестер Раевских? Подлинного чувства любви, с его глубиной и силой, здесь, видимо, не было; но было поэтическое поклонение молодым пленительным существам, увлечение художника, созерцающего с восхищением «юность и красоту» (по позднейшему выражению Пушкина). Сестры Раевские, несомненно, были его вдохновительницами. Такие алмазы пушкинской поэзии, как «Бахчисарайский фонтан», «Увы, зачем она блистает...», «Редеет облаков летучая гряда...», посвящение «Полтавы», в значительной мере обязаны своим зарождением Екатерине, Елене и Марии Раевским.

Вот почему Пушкин мог одновременно испытывать и выражать свое артистическое восхищение всем трем сестрам, а одна из них могла записать впоследствии, что поэт поклонялся всем своим прекрасным современницам, но «обожал только свою Музу». Это вполне подтверждается таким стихотворением, как «Редеет облаков летучая гряда...», в котором нет любовного признания и говорится только о «сердечной думе» — выражение большой глубины и чрезвычайно характерное для переживаний Пушкина.

Элегия была написана позже — в конце 1820 года, но

ЕЛЕНА РАЕВСКАЯ (1803 — 1852).
С портрета маслом неизвестного художника.

Увы, зачем она блистает
Минутной нежной красотой? (1820)

она зародилась в Гурзуфе. Над Яйлой в сумерках загоралась и мерцала яркая звезда. Мария Раевская установила какие-то дружеские отношения с этой планетой. Оказалось, что в средневековых песнях лучистая Венера называлась Звездою Марии. Девушку забавляло, что это алмазное светило носит ее имя[1]. Пушкин запомнил этот поэтический эпизод и вскоре описал его в своей элегии, обращенной к таврической звезде:

И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

Но такие поэтические раздумья не вызывали ответного чувства. В стихах, которые в конце 1828 года Пушкин посвятил Марии Николаевне, есть строфа, отчасти освещающая их ранние отношения:

Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?

Эта неразделенность чувства не переживалась поэтом драматически, поскольку «любовь» его не была всепоглощающим переживанием и сохраняла спокойную ясность артистического увлечения; переродиться в глубокое и цельное чувство ей суждено было только впо-

---

[1] Современная астрономия установила некоторую неточность в этом эпизоде: в августе—сентябре 1820 года Венера была утренней звездой, и этим именем гурзуфская молодежь, очевидно, называла по ошибке Сатурна или Юпитера (Н. Н. Кузнецов, «Вечерняя звезда в одном стихотворении Пушкина». «Мироведение». «Изв. русск. общ. любителей мироведения», т. XII, № 1 (44), апр. 1923, 887—90. Ср. В. В. Вересаев, «Таврическая звезда», «В двух планах», 175).

следствии, под влиянием огромного сотрясения, преобразившего русское общество и неожиданно выявившего могучие героические силы в молодом поколении начала столетия.

В Гурзуфе Пушкин по-новому ощущает природу. Южная растительность пробуждает в нем ряд неведомых представлений и счастливых творческих ассоциаций. Горделивый и стройный крымский кипарис вызывает его восхищение и нежность; он проникается «чувством, похожим на дружество», к молодому дереву-обелиску, выросшему у самого дома герцога Ришелье, где поселились Раевские.

Впервые в южном путешествии ритмические звучания природы раскрывают Пушкину начало, родственное стиховому строю. На Кавказе быстрый бег и журчанье прозрачного Подкумка заставляют его вслушиваться в «мелодию вод»; в Гурзуфе это начало закономерных возвратов еще сильнее сказывается в музыке морского прибоя: «Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы...» Это — мерная речь космоса, гекзаметры прилива и отлива, напевный и плавный голос волн, родственный законам стиха.

И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее, —

сближает сам Пушкин свое любимое искусство с пленившим его напевом волн. В них слышится ему проникновенность человеческого голоса и раскрывается безграничное звуковое разнообразие: «Твой грустный шум, твой шум призывный...», обратил Пушкин к морскому прибою свое прощальное приветствие 1824 года. «Как я любил твои отзывы, — Глухие звуки, бездны глас...» И через ряд лет в последней главе «Онегина» он снова

вспомнил, как муза «по брегам Тавриды» его водила «слушать шум морской, — Немолчный шопот Нереиды».

Так открывается новый глубокий этап творческого развития: от петербургских салонов и театров — к просторам жизни, к морским и горным пейзажам, к блеску и краскам полуденного берега.

Гурзуф был овеян историческими воспоминаниями. Он входил в общую древнюю систему обороны южного Крыма. Прикрывавшая селение Медведь-гора, или Аю-Даг, называлась также татарами Бююк-Кастель, то-есть большое укрепление. На ее склонах высились остатки генуэзской батареи, воздвигнутой из дикого камня в VI веке нашей эры. Путь с горы в соседнюю деревню Партенит (название указывало на близость «Парфенона» — храма Дианы) был еще усеян обломками черепиц и осколками сосудов. Древность неприметно ощущалась здесь повсеместно.

Неудивительно, что Пушкин перечитывает в Гурзуфе того лирика, который наиболее пластически и сильно воскресил в своем творчестве античную антологию, — Андре Шенье. Пушкин узнал его, как и Байрона, еще в Петербурге. К концу 1819 года или к началу 1820 года относятся его первые опыты в духе Шенье: «Я верю, я любим...» и «В Дориде нравятся и локоны златые...» Пушкин прочел этого французского поэта в самый момент его «открытия», то-есть при первом посмертном опубликовании его рукописей отдельной книгой в 1819 году. «Он истинный грек, из классиков классик, — определил его вскоре Пушкин в письме к Вяземскому. — От него так и пышет Феокритом и антологией...» Вот почему чтение этого поэта особенно соответствовало обстановке Крыма.

Вскоре Пушкин дал в своей лирике ряд новых разработок мотивов и тем из Андре Шенье:

ПУШКИН в Бахчисарайском дворце.
С картины маслом Н. Г. Чернецова (*1837*).

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец .. (1822)

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА РАЕВСКАЯ (1805—1863).

С портрета маслом неизвестного художника.

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду...

В Гурзуфе же заносятся в дорожную тетрадь первые заметки к новой поэме и конспективные программы изложения, изобилующего местными бытовыми и этнографическими чертами (Аул, Бешту, черкесы, пиры, песни, игры, табун, нападение и пр.). Сюжет поэмы, намеченный в кратких обозначениях: «пленник — дева — любовь — побег», обращал к рассказам о воинских подвигах русских офицеров в закубанских равнинах. Одновременно накопляются впечатления от татарских хижин, мусульманских обычаев, восточного быта крымских крестьян. В 1821 году Пушкин, работая над переделкой французской сказки, вспомнил эти места и упомянул их в своей восточной притче: «В Юрзуфе бедный мусульман — Недавно жил с детьми, с женою...» Мимоходом дан очерк его трудового дня: «Мехмет прилежно целый день — Смотрел за ульями, за стадом — И за домашним виноградом...» Все это верные черты быта гурзуфских татар. И уже во вторую свою южную поэму Пушкин вводит «татарскую песню», свободно сочиненную им в духе романтических поэм, но отчасти навеянную мотивами Крыма.

В начале сентября Пушкин с генералом Раевским и его сыном Николаем выехали верхами в Симферополь. Это необычное путешествие в седле и стременах по приморским тропам побережья Пушкин вспомнил через два-три года, описывая путь крымского всадника в эпилоге «Бахчисарайского фонтана». Маршрут лежал по южному берегу через Никитский сад, маленькую деревушку Ялту, Алупку-Исар и Симеиз к трудной и узкой тропе с побережья на плоскогорье. Это был «страшный переход по скалам Кикинеиза», ведущий к еще более грозной «чертовой лестнице» — Шайтан-Мердвеню, где, по словам старинного путешественника, смерть на каждом шагу

«ожидает себе жертвы». Поднявшись по крутым уступам на Яйлу, всадники через Байдарскую долину доехали до Георгиевского монастыря.

Кельи монахов повисли на огромной высоте над отвесными стенами обрыва. «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление», вспоминал вскоре Пушкин.

Отсюда он отправился на мыс Фиолент осмотреть остатки древнего храма, «где крови жаждущим богам дымились жертвоприношенья...» Здесь, согласно преданию, жрица Артемиды, девушка Ифигения, приносила богине человеческие жертвы и однажды уже готовилась сбросить в бездну прекрасного юношу Ореста, не зная, что это ее родной брат:

Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла...

Сжалившись над Орестом и его другом Пиладом, Ифигения решила спасти хоть одного из юношей и предложила им добровольно решить, кому из них погибнуть в бездне. Тут-то и состоялось знаменитое состязание друзей в великодушии и самопожертвовании: «На сих развалинах свершилось — Святое дружбы торжество...»

Так, по его собственному свидетельству, «думал стихами» Пушкин на обрыве легендарного мыса у «баснословных развалин храма Дианы». «Видно мифологические предания счастливей для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы...»

Тема высокой дружбы вызвала в сознании самый благородный образ друга, какой раскрыла Пушкину сама жизнь. Он вспомнил того, чей портрет с пластически законченными чертами был украшен неизгладимой над-

писью: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес». Пушкин вспомнил свое послание Чаадаеву 1818 года и неожиданно наметил поэтическое соответствие знаменитой концовке прежнего посвящения:

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Возможно, что стихотворение «К чему холодные сомненья...» было написано позже (вероятно, в 1824 г.), но нельзя не верить поэту, что мысль о Чаадаеве возникла у него на месте классической дружбы и здесь стала облекаться в строфы.

Отсюда скалистой дорогой путники достигли Бахчисарая. Пушкина снова начала томить лихорадка. Но все же Раевский настоял на осмотре знаменитого ханского дворца с его гаремом и кладбищем, веря, что и больной поэт вынесет отсюда творческие впечатления.

Еще в Петербурге на одной из пирушек Николай Раевский рассказал Пушкину «печальное преданье» Крыма. Последний хан, отличавшийся в битвах и дипломатии, безнадежно полюбил пленницу своего гарема, польскую княжну. Когда недоступная девушка скончалась, он воздвиг в ее память неиссякающий водомет — изображение своей безутешной скорби, «фонтан слез»... Легенда словно была создана для поэтической обработки, и Раевский советовал Пушкину заняться ею. Поэт задумался.

Но скоро пылких оргий шум
Развеселил мой сон угрюмый...

Шли пиры, шла работа над песнями «Руслана». Но обещание описать любовь Гирея было все же дано. Легенду о бахчисарайской узнице Марии Потоцкой, вероятно,

подробнее изложили ему в Гурзуфе сестры Раевские. Пушкин нашел дворец в запустении, гарем в развалинах, фонтан испорченным, хотя, быть может, в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование: вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных выступов:

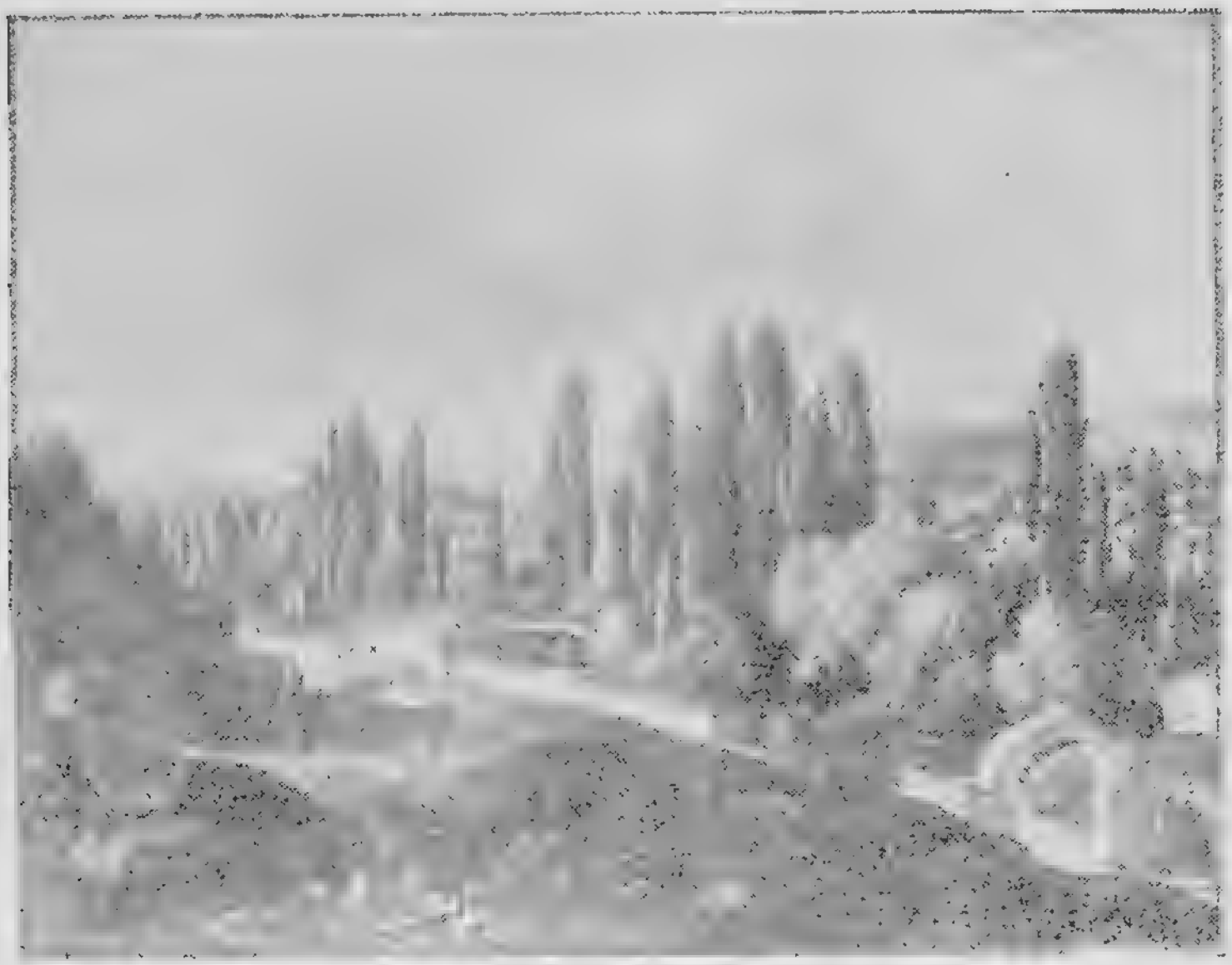
Фонтан любви, фонтан печальный!..

Но окружающие дворец сады были полны прохлады, зелени и цветов. Среди густых зарослей мирт, под раскидистой тенью яворов, у высоких пирамидальных тополей неизменно цвели, как при ханах, большие осенние розы, словно восполняя живой деталью восточный растительный орнамент «Таврической Альгамбры». Пушкин сорвал с карликового куста колючую ветку с двумя пышными алыми цветками — как сам поведал нам в своем посвящении фонтану Бахчисарайского дворца — и опустил «две розы» на влажный мрамор, иссеченный арабскими литерами: «В раю есть источник, именуемый Сельсебиль».

Расчет Раевского оказался правильным: ни запустение дворца, ни скудость источника, ни болезнь поэта не могли остановить рост одного из его самых пленительных поэтических замыслов...

Позднейшее творческое воспоминание магически преобразило запущенные покои ханского дворца и оживило драматической хроникой дремотное затишье Крыма.

Пушкин говорил впоследствии, что жил в Гурзуфе «со всем равнодушьем и беспечностью неаполитанского лаццарони». Но это была все же, по выражению его знаменитой элегии, «задумчивая лень». О глубокой внутренней сосредоточенности свидетельствуют возникшие вскоре таврические строфы. Душевное возрождение, о котором Пушкин такими чудесными стихами мечтал еще в Петербурге, осуществилось только во время его первых



Бахчисарай.

Сепия Кюгельгена.

южных странствий. После ряда месяцев бесплодия и усталости, когда поэту казалось, что «скрылась от него навек богиня тихих песнопений», наступило спасительное раскрепощение: «В очах родились слезы вновь, — Душа кипит и замирает», — и с дивной легкостью слагаются элегические стихи о шумящих ветрилах и «безумной любви». Так чуждые краски облетели ветхой чешуей с «картины гения», освобождая новые источники сил в его нравственном мире и раскрывая неведомые возможности росту его творческих видений.

VI

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ

Из Бахчисарая через Симферополь и Перекоп Пушкин направился на новое место своей службы — в Кишинев, куда Инзов был временно назначен на пост полномочного наместника Бессарабии.

За Перекопом потянулись безводные новороссийские степи. Переправившись через Днепр, поэт проехал по главным узлам нового края до самого Тирасполя. Здесь Пушкин переплыл на пароме через Днестр и высадился на его правом берегу, несколько выше Бендерской крепости. Небольшая почтовая «каруца» повезла его по дорогам равнинной Бессарабии. 21 сентября Пушкин прибыл в областной город Кишинев.

Он остановился в заезжем доме одного из «русских переселенцев» новой колонии и первым делом явился к своему начальнику. Генерал Инзов проживал в наместническом доме на окраине старого города. Пришлось проходить к нему узкими и кривыми улицами, кое-где прорезанными мутным потоком Быка. Вдоль низеньких каменных домишек, вдоль тесных и грязных двориков, полутемных лавок, с тяжелыми колоннами и сводами, мимо восточных кофеен, в которых арнауты и греки дымили кальянами и трубками над маленькими чашечками с кофейной гущей, Пушкин прошел по острым булыжникам турецкой мостовой на простор пустырей, откуда открывался перед ним широкий вид на синеющие холмы, кольцом обступившие город.

Белый двухэтажный дом наместника высился на холме среди зарослей небольшого сада. Просторный двор был наполнен домашними птицами; павлины, журавли, индейские петухи и разных пород куры и утки

разгуливали среди клумб и кадок с олеандрами. Около крыльца сторожил бессарабский орел с цепью на лапе. По утрам Инзов сам раздавал корм своему пернатому населению. Стаи пестрых голубей кружились возле балкона, подбирая зерна пшеницы и риса, летящие фонтаном из лукошка их покровителя. «Это мои яныча-ры, — с улыбкой говорил Инзов: — главное лакомство янычар также было пшено сарацинское».

Старик снова пленил Пушкина простотой и приветливостью обращения. Как и раньше, он предоставил поэту полную возможность наблюдать местный быт, нравы и характеры.

Народонаселение города привлекало своей необычайной пестротой. Неудивительно, что именно здесь создались стихи Пушкина о небывалой смеси «одежд и лиц, племен, наречий, состояний...» В среде румын, турок, греков, евреев, армян, молдаван, задунайских славян, цыган, украинцев и немцев еще растворялось новое русское общество — военные, чиновники, немногочисленные семейства переселенцев. Фески, тюрбаны, халаты, смуглые лица придавали городу живописный колорит и неизменно вызывали у приезжих несколько преувеличенное представление о бессарабской «Азии». Но после Крыма, который Пушкин называл «роскошным востоком», Кишинев с его бедностью и скученностью кварталов, суетливой деловитостью и смешными потугами провинциального общества на европейские моды походил не столько на Азию, сколько на близлежащие Балканы. Город носил на себе ряд черт европейской Турции без резко выраженного единого национального характера, без крупных исторических памятников или иных следов народной культуры. Но сама эта лоскутность быта и нравов, пестрота международного караван-сарая, своеобразные черты местного строя, еще не сглаженные общегосударственными началами управле-

ния, — все это придавало городу необычайную живописность и вызывало у поэта художественный интерес. В творческом плане Бессарабия оказалась для Пушкина не менее богатой областью, чем Кавказ и Таврида; именно здесь зародилась самая значительная из его южных поэм.

Близким лицом в Кишиневе оказался «арзамасец» «Рейн» — Михаил Орлов, командовавший здесь дивизией и уже состоявший членом тайного общества. Несмотря на обилие забот и дел, он не переставал следить за литературой и сосланного «Сверчка» встретил, как товарища и друга. Уже через день после приезда, 23 сентября, Пушкин обедает у Орлова за его «открытым столом». Здесь он знакомится с подполковником Иваном Петровичем Липранди, который занял в бессарабской главе его биографии довольно заметное место.

Это был чрезвычайно любопытный представитель кишиневской дивизии. Игрок и ученый, бреттер и книголюб, радикальный политик и замечательный лингвист, Липранди с первых же встреч заинтересовал Пушкина. Поэт подружился с ним и не раз встречал в нем поддержку и участие. (О принадлежности Липранди к тайной полиции Пушкин, конечно, и не догадывался.)

Липранди специализировался на изучении европейской Турции, которую, по планам царизма, предстояло присоединить к России. Библиотека его состояла преимущественно из книг по истории и географии Востока, Черноморья, придунайского края. Пушкин нашел в этом штабном офицере опытного и знающего советчика по ряду занимавших его вопросов, а в его обширном книгохранилище — немало редких и ценных изданий с планами, картами и гравюрами. Впрочем, первая книга, которую он взял у Липранди, был Овидий на французском языке. Если Байрон и Шенье сопровождали поэ-

та по Кавказу и Тавриде, — Овидий стал его излюбленным спутником в «пустынной Молдавии».

У Липранди Пушкин познакомился с сербскими воеводами, доставлявшими полковнику необходимые сведения для его исследования о Турции. От них поэт узнал, что по соседству с Кишиневом — в Хотине — проживает дочь видного деятеля сербского освободительного движения Георгия Черного, или Карагеоргия, получившего такое мрачное прозвание за то, что он убил своего отца, не захотевшего стать в ряды национальных повстанцев, и повесил брата. Одно из первых кишиневских стихотворений Пушкина было посвящено «Дочери Карагеоргия» и давало резкий очерк этого «воина свободы», павшего жертвой национальной борьбы балканских славян с турецкими владыками.

Пушкин с интересом следит за народными преданиями и песнями. В новом, или верхнем, городе находился «Зеленый трактир», куда он охотно заходил поужинать с друзьями. Здесь прислуживала девушка Мариула. Певучее имя запомнилось ему и впоследствии прозвучало в его бессарабской поэме:

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил...

Юная молдаванка, видимо, развлекала посетителей песнями, и мелодия одной из них привлекла внимание Пушкина. Вероятно, приятели-сотрапезники изложили ему сюжет жестокого романса, пленившего поэта быстрой сменой трагических событий. Девушка пела о любви юноши к чернокудрой гречанке, изменившей ему:

«И тогда я вытащил палаш из ножен, повалил изменницу и в исступлении топтал ее ногами. Я и теперь помню ее горячие заклинания и вижу открытые губы, молившие о поцелуе... Я бросил их трупы в дунайские волны и отер мой палаш черной шалью...»

Через несколько дней весь Кишинев повторял стихотворение Пушкина, навеянное молдавской песнью Мариулы. 8 ноября только что вернувшийся из объезда пограничной оборонительной линии по Дунаю и Пруту генерал Орлов принимал у себя офицеров. Вошел Пушкин. Начальник дивизии обнял его и начал декламировать:

Когда легковерен и молод я был...

Пушкин засмеялся и покраснел:

«Как, вы уже знаете?»

«Баллада твоя превосходна,— продолжал арзамасский «Рейн», — в каждых двух стихах полнота неподражаемая».

Среди посетителей Орлова выделялся статный гость с военной выправкой, в синей венгерке вместо мундира; пустой правый рукав, обшитый черным платком, был приколот к груди. Это был дрезденский ветеран, сын молдавского господаря Александр Ипсиланти — «безрукий князь», по позднейшему определению Пушкина, проявивший исключительную политическую активность. В обществе рассказывали, что он служил с честью в русских войсках и отличался замечательной храбростью. Пушкин отнесся к нему с пристальным вниманием; поэт «уважал отвагу и смелость, как выражение душевной силы». На кишиневских балах он встречал и младших братьев Александра Ипсиланти. Все три брата пользовались влиянием в обществе и молчаливо готовились к чрезвычайному историческому выступлению.

Вскоре Пушкин появился в театре. В город приехала кочевая немецкая труппа из Ясс и сняла единственное просторное помещение в доме вице-губернатора Крупянского; лож не было, зрительный зал состоял из одного партера, сальные свечи и плошки освещали кресла и сцену. Мелодрама Коцебу исполнялась по-провинциальному убого и крикливо. Пушкин явился сюда не для

пьесы, а для встреч и бесед. Он обменивался впечатлениями с представительницами местного света, вспоминал Семенову и Колосову, с грустью сопоставлял знаменитостей петербургского театра с провинциальными актерами. Как раз в это время до Пушкина дошли слухи об уходе со сцены Семеновой, вдохновившие его на замечательные стихи (1821 г.):

Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас?
Не верю! Вновь она восстанет,
Ей вновь готова дань сердец —
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец.
И для нее любовник славы
Младой Катенин воскресит
Эсхила гений величавый
И ей порфиру возвратит.

В ноябре Пушкин выехал в Киевскую губернию, в имение Каменку, Чигиринского повета, принадлежавшее единоутробным братьям генерала Раевского, Давыдовым. На семейный праздник (именины старухи Давыдовой) сюда собрались Михаил Орлов, Владимир Раевский, Охотников, генерал Раевский с сыном Александром и петербургский друг Чаадаева — Якушкин.

В Каменке было два мира, разделенные, по выражению Пушкина, темами «аристократических обедов и демагогических споров». Первый был представлен гомерическим обжорой Александром Давыдовым, тучным и пожилым генералом в отставке, получившим впоследствии от Пушкина прозвище «второго Фальстафа». Это был помещик-самодур, не внушавший поэту ни тени уважения: эпиграмма на его жену, ветреную француженку Аглаю

Давыдову, направлена своим острием против ее ничтожного супруга.

Полную противоположность представлял круг младшего брата — молодого Василия Давыдова. Он только что вышел в отставку, чтоб всецело отдаться тайной политической деятельности. Приверженец Пестеля, увлекательный оратор, он в качестве члена Южного общества председательствовал в одной из важнейших ячеек организации, имевшей свой штаб в его имении Каменке. Это была одна из трех управ так называемой «Тульчинской думы», то-есть одного из центров революционного движения в Южной армии. Под видом семейного праздника в Каменке в конце ноября 1820 года происходило совещание членов тайного общества. Василий Давыдов со своими политическими единомышленниками — Михаилом Орловым, майором Владимиром Раевским, Якушкиным и Охотниковым — не скрывал своего оппозиционного настроения. Перед пылающим камином, в присутствии всех гостей, провозглашались тосты за здравие неаполитанских карбонариев и за процветание республиканских свобод. Великосветские трапезы завершались обычно оживленными политическими дискуссиями.

Пушкин в Каменке принадлежал обоим мирам, не отдаваясь всецело ни одному из них. Аглая Давыдова, как и ее дочь — подросток Адель, заметно привлекают его внимание. В этом кругу возникают беспечные строки его шутливого послания к «толстому Аристиппу», мадригальные блестки юной Адели, злые строки «К кокетке» и беспощадная эпиграмма «Иной имел мою Аглаю...»

Но неизмеримо сильнее привлекали Пушкина «демагогические споры». Общие прения на политические темы происходили по-парламентски — с президентом, колокольчиком, записью ораторов. Революционные события в южноамериканских колониях, в Испании и Южной Италии, казни Лувеля и Карла Занда, выступления кар-

бонариев, дипломатическая активность Александра I по поводу конституционного движения в целом ряде стран — все это сообщало дебатам богатый материал текущей политической хроники.

Однажды в полушутливой форме обсуждался вопрос о целесообразности тайных обществ в России (серьезно обсуждать такую тему в кругу непосвященных было, конечно, невозможно). Дискуссия вскоре была превращена в шутку. Это чрезвычайно огорчило Пушкина. Один из участников мистификации, Якушкин, навсегда запомнил его глубокое огорчение и ту прекрасную искренность, с какой он бросил собранию взволнованные слова о высокой цели, на мгновение блеснувшей перед ним и столь обидно померкшей. Поэту казалось, что он никогда не был несчастнее, чем в эту минуту крушения приоткрывшейся перед ним возможности большой политической деятельности.

Помимо застольных спичей и послеобеденных споров, Пушкина привлекала в Каменке природа правобережной Украины — Тясьмин с его утесистыми берегами, гладь равнин за рекою. Он зарисовал этот слегка унылый пейзаж в написанной здесь элегии «Таврическая звезда», где бескрасочная картина юго-западной зимы контрастирует с яркостью полуденных волн и экзотикой крымской флоры.

В январе Пушкин вместе с Давыдовым отправился в Киев на знаменитую «контрактовую ярмарку» — украинский деловой съезд и карнавал. Его заинтересовали реликвии старой Киевской Руси: кладбище на горе Щекавице, где погребена Ольга, памятники петровской эпохи — могилы Искры и Кочубея в Лавре. Все это отвечало его давнишним интересам к русскому прошлому.

Вернувшись в Каменку, Пушкин взялся за окончание «Кавказского пленника». В феврале 1821 года была дописана вторая часть поэмы. Ее питали впечатления от

казачьих станиц и рассказы о горных аулах. Один из характерных эпизодов кавказской войны отлился в новую форму экзотической поэмы-новеллы, освещенной авторитетом байроновского имени. Шаловливую Людмилу сменила самоотверженная и гордая черкешенка. Вскоре поэт Туманский запишет со слов самого Пушкина, что прототипом этой «девы гор» была Мария Раевская. Пушкин считал, что образ «Пленника» автобиографичен, но в признаниях героя: «Твой друг отвык от сладострастья, — Для нежных чувств окаменел», гораздо сильнее ощущается «демонический» адъютант Ермолова.

Инзов не торопил Пушкина с возвращением в Кишинев, но в марте 1821 года, когда поэт вернулся, снова решил приступить к его духовному перевоспитанию: он начал с того, что поселил Пушкина в своем доме, «открыв» ему свой стол, чтоб освободить молодого человека от материальных забот и получить возможность постоянно общаться с ним по-семейному. Инзов поручил ему постоянную работу, с большим вниманием обдумав ее предмет и тему; по лицейскому воспитанию Пушкин был правоведом, по Коллегии иностранных дел переводчиком; он владел в совершенстве французским языком, а как литератор должен был питать склонность к редакционной работе. Инзов и поручил ему переводить на русский язык французский текст молдавских законов.

Помимо воспитательных целей, исполнение такого поручения, по мнению Инзова, отвечало и важной государственной цели: Бессарабская область получила бы свой основной кодекс в образцовой литературной передаче.

Менее жизненным оказалось другое его решение: обратить атеиста Пушкина на путь христианского благоче-

стия. Связанный по своим убеждениям с представителями высшего кишиневского духовенства, наместник решил привлечь их к перевоспитанию поэта.

Пушкин по возвращении из Каменки сразу же попал в сферу церковных воздействий и пастырских наставлений, направленных к решительному искоренению из его «грешного» сознания всех плевелов вольнодумства и безбожия. Шел великий пост, тщательно соблюдаемый Инзовым. В послании к Давыдову Пушкин юмористически описывает, как сам он был вынужден променять Вольтера «на часослов да на обедни, да на сушеные грибы». Но обмен этот проходил не очень гладко: причастие на молдавском вине напоминало о лафите давыдовских погребов, а с Вольтером не так-то легко было справиться смиренномудрым кишиневским иерархам.

В самом начале старого города (в части, получившей впоследствии название Инзова предместья) находилась построенная в 1805 году церковь благовещения — по-молдавски «бессерика бонавестина», — заменявшая набожному наместнику домашнюю часовню. Сюда-то духовный воспитатель поэта, получивший от него прозвание «смиренного Иоанна», и брал с собой постоянно Пушкина в целях обновления его неверующей души «благою вестию».

По канонам православной иконописи, одна из церковных фресок изображала известный евангельский миф: архангел Гавриил в белых одеждах слетает к смущенной и коленопреклоненной девушке с вестью от бога. Пушкин, простаивая долгие службы вместе со своим наставником перед этим изображением, рассмотрел его во всех деталях и мог основательно продумать содержание библейской легенды.

Этот миф о «безгрешном зачатии» девы Марии с давних пор был осмеян критической мыслью и служил пред-

мегом вольнодумной сатиры. В этом же направлении развернулась и поэтическая мысль Пушкина.

30 марта в Кишиневе умер митрополит Гавриил Банулеско-Бодони, член святейшего синода и весьма активный деятель православия в Греции, Венгрии, Молдавии и Новороссии. 1 апреля Пушкин, несомненно по настоянию Инзова, присутствовал в свите наместника на торжественных похоронах. Через несколько дней в стихотворном послании к Василию Давыдову в Каменку Пушкин сообщал, что «митрополит, седой обжора» приказал долго жить. «И с сыном птички и Марии — Пошел христосоваться в рай...»

Все это не перестает обращать мысль Пушкина к образам и сюжетам священных текстов, но не в традиционном толковании церкви, а в разрезе антицерковной сатиры Рабле, Парни, Вольтера. В «страстную пятницу» ректор Иринеи, приехавший к Инзову, решил настроить Пушкина своей беседой на высокий лад и даже сам отправился в его комнату. Он застал богоспасаемого грешника за чтением евангелия, врученного ему Инзовым; поэт изучал религиозные тексты для их переработки в духе «Орлеанской девственницы» или «Войны богов».

«Чем это вы занимаетесь?»

«Да вот читаю историю одной особы...»

В письмах своих Пушкин в 1823 году говорит об «умеренном демократе Иисусе Христе», — в этом духе он, вероятно, выразился и в беседе с Иринеем. Семинарский ректор, отличавшийся крайней горячностью, в припадке возмущения пригрозил написать о дерзком ответе «донесение» в Петербург для строжайшего наказания безбожника. Он ушел, хлопнув дверью, а Пушкин продолжал задумчиво вспоминать стихи из «Библейских похождений» Парни о влюбленном боге и охватившей его страсти.

И ты, господь, познал её волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы, —

слагались насмешливые строки новой кишиневской поэмы.

В послании к Давыдову, в котором Пушкин сообщает о смерти кишиневского митрополита и о своем желании «кровавой чаше причаститься», говорится и о том, что «безрукой князь», то-есть Александр Ипсиланти, «бунтует на брегах Дуная». «Греция восстала и провозгласила свою свободу, — писал Пушкин весной 1820 года, — 21 февраля генерал князь Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев и с князем Георгием Кантакузеном прибыл в Яссы из Кишинева, греки стекаются толпами под его знамена... Восторг умов дошел до высочайшей степени: все мысли греков устремлены к одному предмету — на независимость древнего отечества...»

Политический план Каподистрии, выражавший волю его народа, вызрел для своего осуществления. Среди скептических кишиневских политиков поэт высказывает твердую уверенность в окончательной победе Греции. Тема греческого возрождения восхищает и вдохновляет Пушкина; события на Дунае оставляют ряд следов в его творчестве. В Кишиневе он задумывает даже писать поэму о гетеристах. Сохранился набросок плана: «Два арнаута хотят убить А. Ипсиланти...»

К этим же событиям относится стихотворение 1821 года «Война» (первоначально озаглавленное «Мечта воина»). Здесь впервые международная борьба провозглашается источником творческих образов, могучим возбудителем «гордых песнопений» («...И сколько сильных впечатлений — Для жаждущей души моей: — Стремленье бурных ополчений, — Тревоги стана, звук мечей...»). В кишиневских письмах Пушкин горестно иронизирует над невозможностью осуществить свое заветное желание: «Мечта воина привела в задумчивость воина, что

служит в иностранной коллегии и находится ныне в бессарабской канцелярии».

Для собирания сведений о причинах и ходе греческого восстания в начале апреля прибыл в Кишинев молодой подполковник Мариупольского полка Пестель. Репутация умнейшего человека, призванного стать министром или посланником при великой державе, побудила, очевидно, штаб Второй армии дать ему это ответственное поручение. У Орлова или Инзова Пушкин познакомился с этим увлекательным собеседником и несколько раз встречался с ним. Тесное сближение не могло возникнуть за столь краткий срок, но заметно сказался взаимный интерес. Едва ли верно позднейшее указание Липранди (записанное сорок пять лет спустя), якобы Пестель не нравился Пушкину: оно слишком соответствует правительственной верноподданности старика Липранди и резко противоречит непосредственным записям самого поэта. Явно неправдоподобно и сообщение кишиневского полковника о том, что Пушкин за обедом у Орлова задал Пестелю вопрос: «Не родня ли вы сибирскому злодею?» За такие вопросы выходили к барьеру, отношения же будущего декабриста и ссыльного поэта свидетельствуют о несомненном взаимном уважении.

Пушкин был, видимо, пленен блестящим и сильным интеллектом Пестеля, который в вопросах исторических и государственных мог многому научить его. «Умный человек во всем смысле этого слова», «один из самых оригинальных умов, которых я знаю», с явным восхищением записывает Пушкин 9 мая в свой дневник.

Разговор их носил политико-философский и отчасти этический характер. Пестель между прочим заявил о материализме своих ощущений, но в духе вольтеровского деизма отрицал такое же направление своего разума. Фраза поразила Пушкина, и он записал ее по-французски, как она была произнесена Пестелем, в свой дневник. Со-

глашался ли он с ней, стремился ли в своих воззрениях к большей последовательности и смелости? Нужно помнить, что как раз в эти недели своего знакомства с Пестелем Пушкин творчески выражал свой самый резкий разрыв с религиозным миросозерцанием. Восхищение личностью нового знакомого слышится в позднейшем отзыве Пушкина: «Только революционная голова, подобная... Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

Повидимому, и Пестель испытал на себе чарующее действие одаренности Пушкина. Трогательным штрихом в истории этих двух великих людей остается дошедшая до нас деталь их отношений: в день рождения Пушкина, 26 мая 1821 года, Пестель пришел дружески поздравить его.

Пушкина не переставало тянуть к новым местам, к новым скитаниям. В начале мая Инзов отпустил его в Одессу.

С момента отъезда из Петербурга Пушкин впервые почувствовал себя в городе европейского типа. Одесса еще была молода и мала; она отличалась почти такой же пестротой населения, как и многоплеменный Кишинев, но над всем заметно господствовал западный стиль жизни. Первые устроители города — испанец дон Хозе де Рибас и французский политический деятель Ришелье — стремились придать маленькой торговой фактории обличье западного порта. Их традиции продолжал граф Ланжерон, при котором Пушкин и прибыл сюда впервые.

Это был типичный международный деятель XVIII века—барон Австрийской империи и гражданин Женевского кантона, парижанин по рождению, полковник русской

службы в армии Потемкина и великий мастер одесской ложи «Понт Эвксинский»; он был эмигрантом 1789 года и автором республиканских трагедий, с которыми вскоре ознакомился Пушкин.

Вольная гавань понравилась бессарабскому изганнику. Посетивший Одессу за три года до того Батюшков считал ее «чудесным городом», «русской Италией», «лучшим из городов наших». Автор «Вакханки» чувствовал себя морально возрожденным на этой «земле классической, где бились Святослав и Суворов и где созидались храмы Ахиллу».

Пушкин застал в Одессе французский лицей с директором Доменико-Шарлем Николем, французскую газету под редакцией Жана Деваллона, «порто франко» с его беспошлинными винами, прекрасный театр с итальянской оперой.

Политические события всячески способствовали интересу Пушкина к Одессе: город был центром греческого восстания. Именно здесь в 1814 году была организована «дружеская гетерия». Пушкин не раз проходил переулком восточных кофеен мимо небольшого домика, где собирались члены освободительного содружества. Первая волна энтузиазма, захватившего местных греков в марте — апреле 1821 года, уже спадала; но поэт слышал рассказы очевидцев о том, как толпы южных поселенцев с именами Леонида и Фемистокла на устах ополчались под знамена нового национального героя—Александра Ипсиланти.

Эта близость театра войны обращает поэта к теме завоеваний и образам полководцев. Он пишет 15 мая эпилог к «Кавказскому пленнику», где в духе Жуковского, прославившего русских деятелей 1812 года, произносит хвалу историческим героям кавказской войны. Это одновременно лирическая исповедь большого значения; в ней как бы подведен итог году ссылки и противо-

поставлена факту гонений и клеветы основная тема Пушкина — «свободная муза».

За год, протекший с момента ссылки из Петербурга, Пушкин объездил Украину, Дон, Кубань, Кавказ, Крым, Новороссию, Бессарабию. Он любовался Эльбрусом и плавал по Черному морю. Первая его лирическая поэма была закончена. В нем бродили замыслы новых поэтических исповедей: он видел на Днепре побег двух скованных братьев-разбойников и слышал мелодический плеск фонтана слез в Бахчисарае.

VII

В ПУСТЫННОЙ МОЛДАВИИ

Перед домом Инзова, где поселился Пушкин, расстилалась долина Быка, тянулись сады, вдали лепились по холмам деревни, а за Рышкановкой и Петриканами змеился почтовый тракт на Орхей (Оргеев) и Бельцы. Плодородный край в силу ряда геологических условий казался пустынным. Современник Пушкина, маршал Мармон, проезжая по Бессарабии, вынес впечатление, что он едет по необитаемой земле: множество оврагов скрывало от глаз путешественника приютившиеся на дне котловин деревни.

Недавно завоеванная область требовала еще усиленной военно-административной, а отчасти и военно-научной работы. Необходимо было составить точную карту новой провинции, тщательно изучить граничащие с ней территории, быть в курсе всех политических проблем враждебной Турции. Целая группа штабных офицеров, присланных для съемки планов новоприобретенного края, занималась изучением его топографии и местных условий жизни в бассейне Дуная. Именно эта группа воен-

ных, представлявшая в Кишиневе самый культурный слой, стала любимым обществом Пушкина: он постоянно встречался с Липранди, с молодым литератором и топографом Вельтманом, дивизионным квартирмейстером В. Горчаковым, адъютантами Орлова Охотниковым и Владимиром Раевским; последний считался замечательным грамматиком, географом и поэтом. После петербургских кружков, где Пушкин общался с видными теоретиками политической и экономической мысли, военная среда Кишинева была для него новым «университетом». Липранди прямо указывает, что Владимир Раевский чрезвычайно способствовал обращению Пушкина к занятиям историей и географией и что беседы поэта с Орловым, Вельтманом, Охотниковым «дали толчок к дальнейшему развитию научно-умственных способностей Пушкина по предметам серьезных наук».

Атмосфера исторических и литературных дискуссий заметно оживляла творческую работу Пушкина. В летние месяцы он уходил по утрам в пригородные заросли, захватив с собой карандаш и записную книжку. Он любил на ходу слагать свои строфы. «По возвращении лист весь был исписан стихами, — рассказывает один из его кишиневских приятелей, — но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в его поэмах...»

18 июля в Кишиневе было получено сообщение о смерти Наполеона. Пушкин отметил эту дату и событие в своей тетради. Тема Наполеона, которая не раз привлекала его в прежние годы, теперь по-новому захватила поэта. В момент смерти завоевателя образ его вырос в глазах современников, а его необычайная биография раскрыла свой исторический смысл. «Великолеп-

ная могила» — вот основное ощущение Пушкина перед гробом Бонапарта. Величие знаменитого полководца — в той стихии свободы, которой он, быть может, помимо его воли, служил в мировой истории; значение его для России — в том «высоком жребии», который он так неожиданно и трагически указал русскому народу. Волнующее чувство родины, сумевшей отразить единством всенародной воли нашествие сильнейшего противника, здесь сливается с прославлением неудержимого потока освободительных идей, сопутствующих великой армии по всей Европе. Нигде Пушкин с таким увлечением и силой не говорил о французской революции, как в этой надгробной хвале тому, кого «пленяло самовластье разочарованной красой...» Поэт преклоняется перед тем историческим моментом,

Когда надеждой озаренный,
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный,
Свободы яркий день вставал...

Тема Наполеона выводит лирику Пушкина на мировые просторы и раскрывает в нем поэта-историка, для которого факты текущей политической хроники слагаются в глубокую драму современного человечества.

Стихи читались верным друзьям — «арзамасцу» «Рейну», Михаилу Орлову, и его молодой жене Екатерине Николаевне (этой «необыкновенной женщине» гурзуфских встреч). С ними поэт обсуждает наиболее волнующие его вопросы и темы. Осенью 1821 года такой проблемой для него является «вечный мир» аббата Сен-Пьера. «Он убежден, — писала о Пушкине 23 ноября

1821 года Екатерина Орлова, — что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями».

Аббат Сен-Пьер принадлежит к той группе писателей XVIII века, которых во Франции называют «отцами революции». Публицист и филантроп, он присутствовал в 1712 году на Утрехтском конгрессе, где бесконечные конференции различных государств внушили ему мысль написать «Проект вечного мира», выдвинув идею верховного международного трибунала для разрешения всех конфликтов между отдельными нациями. Эта идея в 1821 году увлекла и Пушкина. «Невозможно, чтобы люди не поняли со временем нелепой жестокости войны, как они уже постигли сущность рабства, монархической власти и проч., — записывает Пушкин по поводу «Проекта вечного мира» аббата Сен-Пьера. — Весьма возможно, что не пройдет и ста лет, как перестанут существовать постоянные армии...»

Рост революционных воззрений Пушкина отражает его знаменитый «Кинжал» (1821 г.). На широком историческом фоне поэт развертывает апологию борьбы с «позором и обидой». События французской революции Пушкин трактует здесь в несколько умеренном тоне, в духе Андре Шенье, неправильно расценивая личность и деятельность Марата, но в целом стихотворение с его заключительным восхвалением «юного праведника» Карла Занда звучало революционным призывом и вскоре стало любимым произведением политического авангарда русской молодежи.

Историческая любознательность Пушкина питалась и его разъездами по древним урочищам Бессарабии. В де-

кабре 1821 года он сопровождает Липранди в его служебной поездке по краю. Пушкина интересуют Бендеры, как место пребывания Карла XII и Мазепы, Каушаны, как бывшая столица бурджацких ханов, устье Дуная, как область, наиболее близкая к месту ссылки Овидия, Измаил, прославленный знаменитым штурмом. «Сия пустынная страна — Священна для души поэта, — напишет вскоре Пушкин Боратынскому, — Она Державиным воспета — И славой русскою полна». Кагульское поле, Троянов вал, Леово, Готешти и Фальчи — все это вызывает его интерес, обращает мысль к полководцам и поэтам — Суворову, Румянцеву, Державину, Кантемиру, особенно к Овидию.

Предание считало местом ссылки римского поэта Аккерман. Историко-географические разыскания опровергали эту легенду, и сам Пушкин возражал против нее, но места, хотя бы и легендарно связанные с героическими именами, глубоко волновали его. Оставив Аккерман, Пушкин уже в пути стал записывать стихи на лоскутках бумаги и выражал сожаление, что не захватил с собой «Понтийских элегий»[1]. Так начало слагаться послание к древнему поэту-изгнаннику, которое сам Пушкин ставил неизмеримо выше «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и «Братьев разбойников». В стихотворении с особенной глубиной звучит любимая тема Пушкина, близкая ему по личному опыту, — «заточенье поэта». В послании к Овидию Пушкин впервые вводит в изображение великого лирика тонкий прием поэтических вариаций на его темы. Из горестных строк Овидия и непосредственных впечатлений от степей, соседствующих

---

[1] Впоследствии Пушкин выражал свое восхищение «Элегиями понтийскими», то-есть знаменитыми «Скорбями» Овидия: «Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли... и какая грусть о Риме! Какие трогательные жалобы!»

с местами его изгнания, вырастала эта безнадежно ясная дума о судьбе поэта, его скорбях, его призвании:

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял...

Не желая укорять римского поэта за его мольбы, обращенные к императору Августу, Пушкин все же с замечательной твердостью выражает в заключительных стихах своей элегии высшее задание и высший долг поэта:

Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

В Кишиневе шла большая карточная игра. В офицерском кругу у Липранди, в обществе, особенно у Крупянских, процветали банк, штосс, экарте. «Игру Пушкин любил как удальство», свидетельствует его кишиневский приятель Горчаков. Это нередко приводило к конфликтам (на почве карточных недоразумений у Пушкина была дуэль со штабным офицером Зубовым). Но в 1821 году борьба за зеленым столом обратила творческие помыслы Пушкина к драматической теме игры. Он набрасывает начало комедии о дворянском обществе, увлеченном азартом. Главный герой — страстный игрок — ставит на карту своего старого крепостного дядьку. Комедия нравов получала резкое социальное заострение, разрабатывая в сценической форме один из негодующих протестов «Деревни».

Критика устоев современного общества вместе с глубоким сочувствием к его отверженцам и жертвам глубоко захватывает Пушкина и становится темой его неоконченной кишиневской поэмы 1821 года «Братья разбойники». Это первая поэма Пушкина, основное ядро которой взято не из книг, преданий или устных расска-

зов, а непосредственно из жизни, личных впечатлений. Поэт дорожил этой подлинностью своего сюжета, целиком схваченного в гуще действительности. В своих письмах он отмечает истинность происшествия, положенного в основу поэмы. Когда кто-то в Кишиневе выразил сомнение в правдоподобии описанного бегства двух скованных арестантов, Пушкин кликнул своего Никиту, который подтвердил, что они в Екатеринославе были очевидцами такого случая.

Оказавшись свидетелем необычного эпизода тогдашней тюремной хроники — побега двух каторжников и их драматической борьбы за освобождение, ссыльный Пушкин обращается к теме, субъективно близкой ему, почти одновременно разработанной в «Узнике» и «Птичке». Бегство от тюремщиков, река и лес на смену решетке, вольные просторы и жизнь «без власти, без закона» — неутолимая жажда свободы во что бы то ни стало звучит господствующим мотивом повести. Замечательным штрихом подчеркивается тягость заточения: арестантам невыносимы не только окрики стражи и звон цепей, но «и легкий шум залетной птицы» [1].

Сохранившиеся планы дальнейшего изложения обращают к преданиям поволжской вольницы: «под Астраханью разбивают корабль купеческий»; «атаман и с ним дева... Песнь на Волге». Это очевидные отголоски впечатлений Пушкина от песен и рассказов, слышанных им в донских станицах, где бытовали сказания о Степане Разине и персидской княжне, привлекавшие такое пристальное внимание Николая Раевского и его спутника. Местные факты уголовной хроники Новороссии и Бесса-

---

1 Поэма строится на глубоко реальной основе: со времен княжеской Руси и до середины XIX века правительство не заботилось ни об одежде, ни о пище арестантов, всецело предоставленных заботам общественной благотворительности; партии колодников в лохмотьях и оковах бродили по улицам, выпрашивая милостыню.

рабии здесь намеренно сглажены национальной пестротой разбойничьего стана, невиданной смесью «племен, наречий, состояний», единением для общего риска донского уроженца, еврея, калмыка, башкира, финна, цыгана.

На фоне разноплеменного состава героев южнорусский этнографический элемент отступает перед заданиями социальной и психологической драмы, господствующими в поэме. Мотивы русских народных песен, преимущественно поволжских, введены в план поэмы, оформленной в духе мятежной исповеди героев Байрона, от которого Пушкин в ту эпоху, по его собственному признанию, «с ума сходил». Как в «Корсаре» или «Гяуре», здесь дана при максимальном лаконизме предельная насыщенность рассказа трагическими событиями.

Поэма-монолог отмечена единым устремлением и выражена живым и смелым языком, близким к наречию изображенного в ней уголовного люда. «Как слог, я ничего лучше не написал», заявил сам автор, выделяя только свое любимое послание «К Овидию». Но и по теме поэма отмечала значительный этап поэтического роста, вводя новый материал в русскую литературу. За сорок лет до «Записок из мертвого дома» Пушкин дает первый очерк русского острога, развертывая замечательные бытовые подробности и одновременно раскрывая глубоко человечное начало в угрюмом характере закоренелого «преступника». В поэме слышится ненависть к бесправию, унижению и угнетению вместе с глубоким сочувствием к жертвам произвола.

5 февраля 1822 года к Инзову приехал из Тирасполя сам командир корпуса Сабанеев. Пушкин слышал часть их беседы: старый генерал настаивал на аресте майора Владимира Раевского для раскрытия военно-полити-

Страница из кишиневской тетради Пушкина 1821 года с планом «Братьев-разбойников». Ниже начало стихотворения: «Одна черта руки моей — И ты довольна, друг мой нежный». Следует запись программы: «Олег — в Византию — Игорь и Ольга — поход». Рисунки изображают внизу справа Марата и Карла Занда, выше Лувеля, слева княгиню Ольгу, наверху Александра Ипсиланти.

ческого заговора. В тот же вечер Пушкин постучался к Раевскому и предупредил его об опасности. На другое утро Раевский был действительно арестован как член «Союза благоденствия» по обвинению в революционной пропаганде среди солдат и юнкеров кишиневских ланкастерских школ. Его перевели в Тирасполь, где находился штаб корпуса, и заключили в крепость.

Раздумье о судьбе Раевского, быть может, оживило в памяти Пушкина проповедь его заключенного друга о творческой разработке родной старины. Пушкин вспоминает приведенный Карамзиным рассказ летописца о смерти Олега, оживляет свои впечатления от осмотра киевских реликвий и пишет превосходную историческую балладу. В ней чувствуется отчасти влияние Шиллера — Жуковского и как бы дается в одной из начальных строф вариация к теме «Графа Габсбургского»: «Не мне управлять песнопевца душой, — Певцу отвечает властитель...» Пушкин воспользовался древней легендой для выражения одного из основных правил своей поэтики:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен...

Этот принцип независимости поэта, «правдивости» и «свободы» его языка звучал особенно гордо и мужественно в обстановке политической ссылки.

Мотив этот действительно соответствовал жизненной практике Пушкина, который не переставал открыто и повсеместно высказывать свои оппозиционные мысли. По словам одного из его кишиневских знакомых, «он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России». За «открытым

столом» Инзова Пушкин вел обычно политические разговоры, сильно смущавшие опекавшего его наместника. Антиправительственные речи произносились перед довольно обширным официальным обществом. Не смущаясь обстановкой, чинами и званиями, Пушкин со всей прямотой высказывал свое мнение на самые острые темы. Один из слушателей записал эти своеобразные «застольные разговоры». По записи Долгорукова 30 апреля 1822 года, Пушкин и артиллерийский полковник Эйсмонт «спорили за столом насчет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным...» Пушкин заявил далее: «Деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам».

Часто Пушкин обращается и к теме национальных революций на Западе: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, испанский тоже — нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». 20 июля, в отсутствие наместника, Пушкин особенно резко отзывался о правительстве. Переводчик инзовской канцелярии Смирнов вступил с ним в спор, но вызвал только новый прилив обвинений: «Полетели ругательства на все сословья. Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большей частью, один класс земледельцев — почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Летом 1822 года Липранди, вернувшись из Тирасполя, где ему удалось повидаться с Раевским во время его прогулки по валу крепости, привез Пушкину привет от

заключенного и его стихотворное послание «Друзьям в Кишиневе», в значительной части обращенное к Пушкину: «Холодный узник отдает — Тебе сей лавр, певец Кавказа: — Оставь другим певцам любовь. — Любовь ли петь, где брызжет кровь...» Пушкина поразили стихи Раевского о возведении на плаху «слова и мысли»: «Как это хорошо, как это сильно! — воскликнул он. — Мысль эта мне нигде не встречалась, она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде тираспольской крепости, а хорошо...»

В дальнейших строфах Раевский обращается к республиканским преданиям Пскова и Новгорода, призывая друзей-поэтов воспевать «...те священны времена, — Когда гремело наше вече — И сокрушало издалече — Царей кичливых рамена...»

О беспокойстве Пушкина за участь друга свидетельствует начало его ответного стихотворения:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы...

В древней русской истории наиболее выраженным образом защитника народных прав и борца с поработителями был Вадим Новгородский. Образ его вошел в поэзию: в трагедии Княжнина, в ранней исторической повести Жуковского, несколько позже в стихотворении Рылеева. В 1822 году Пушкин набрасывает сцены историко-политической драмы «Вадим». Но новая форма для исторической трагедии не была еще найдена. Революционный сюжет («Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...») еще облекается поэтом в классические формы трагедий Корнеля или Вольтера и выражается традиционным александрийским стихом.

Для старинной трагедии весьма характерна и вводная беседа главного героя с другом-наперсником. Эти каноны в эпоху философских драм Байрона уже станови-

лись шаблонами. Пушкин отказался от намеченного классического жанра и обратился к наиболее актуальной форме романтической поэмы с ее быстрым четырехстопным ямбом:

Внимал он радостным хвалам
И арфам скальдов исступленных.
В жилище сильных пировал
И очи дев иноплеменных
Красою чуждой привлекал.

Но и этот рассказ не был закончен.

Пушкин ищет в современности близких ему мотивов протеста и вольных характеров. На окраинах старого города, за садами «Малины», у Рышкановки, у Прункуловой мельницы нередко задерживались таборы цыган. Степные кочевники по пути собирали с горожан скудную дань, развлекая их нехитрыми представлениями с ручным медведем, песнями, плясками, гаданиями. Молодые цыганки прельщали своим голосом, телодвижениями, природным мимическим даром. Пушкин почувствовал всю притягательную силу этого первобытного творчества. Увлеченный одной из артисток табора, он последовал за ней в степь и несколько дней кочевал с цыганами.

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

Эти строки Пушкина автобиографичны. «Несколько дней, — свидетельствовал его брат, — он прокочевал с цыганским табором». В гуще самой жизни поэт собрал материал для описания убогого быта этой «отверженной касты индейцев, называемых «париа». Пушкина пленила «их привязанность к дикой вольности, обеспеченной бедностью», их любовь к музыке, их песни и пляски. В грубых ремеслах и ветхих шатрах «сих приверженцев пер-

вобытной свободы» была своя неожиданная прелесть, как и в унылой природе пустынных степей, по которым передвигались их медлительные караваны.

VIII

«ПЕСТРЫЙ ДОМ ВАРФОЛОМЕЯ»

Приятели из инзовской канцелярии ввели Пушкина в среду молдавских бояр. Это было общество, погруженное в неподвижное, восточное прозябание, еле тронутое внешними признаками западной цивилизации. Из курительных или «диванных» комнат Маврогени и Крупянских Пушкин вынес свое основное впечатление о грузных нравах и косных жизненных привычках бессарабского дворянства. Местные помещики были заняты судебными процессами, свадьбами, похоронами, картами; держали стаи собак для охоты, собирались друг у друга на жирные обеды, устраивали танцы.

К среде «родовитых» Разнованов, Стурдз, Бальшей принадлежали также представители денежной аристократии Кишинева. Возглавлял ее местный откупщик Егор Варфоломей, богатства которого доставили ему видное политическое положение в крае. В молодости он был чем-то вроде гайдука у ясского господаря и стоял на запятках его коляски. Разбогатев, он стал членом верховного правления Бессарабии и пытался снискать себе общественную популярность пирушками и обедами.

Пушкин не без любопытства наблюдал полутурецкий, полузападный быт этого окраинного барства.

Варфоломеи жили широко, открытым домом, их передняя была полна слуг-арнаутов. «Вас сажают на диван,— описывал прием в кишиневском доме один из приятелей поэта,— арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме

из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане... или турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, без отстоя». К молодым гостям выходит дочь хозяина красавица Пульхерица. Девушка автоматически повторяет всем поклонникам две бессмысленные французские фразы.

Законченная правильность ее черт привлекла внимание Пушкина и, может быть, вызвала с его стороны несколько мадригальных строк. Поэт, по воспоминаниям, называл ее «жемчужиной кишиневских кукониц». Молдавские и греческие дамы провинциального света не пользовались большим расположением Пушкина: в легких куплетах он высмеивал их тупость, развращенность, сварливость, скупость, азарт. С одной из них у него произошел конфликт, показавший и в Пушкине байроновское свойство «бросать пыль в глаза черни своими странностями».

Жена одного из видных бояр, члена совета Теодора Бальша, позволила себе неловкий намек на якобы недостаточно безукоризненное поведение Пушкина во время его поединка с полковником Старовым в феврале 1822 года. Офицер этот вызвал Пушкина на дуэль за пустячное бальное недоразумение. Пушкин вышел к барьеру и держал себя с большим хладнокровием и достоинством. Язвительное замечание бессарабской сплетницы вызвало объяснение поэта с ее мужем, закончившееся неожиданно резкой вспышкой (по свидетельству Липранди, Пушкин в Кишиневе бывал иногда «вспыльчив до исступления»): он ударил Бальша по лицу.

Беспредельно снисходительный Инзов был вынужден подвергнуть Пушкина домашнему аресту на две недели, чтобы дать хоть какое-нибудь удовлетворение возбужденному мнению местного общества. Арест был не очень строг: у дверей заключенного грозно высился часовой, но самого арестованного беспрепятственно выпускали в сад, ему разрешалось принимать любых гостей, кроме молдаван. Инзов посылал затворнику французские журналы и сам приходил беседовать с ним о революционном движении в Европе.

В окна полутемной комнаты поэта, находившейся в первом этаже дома Инзова, были из предосторожности вставлены решетки; это усугубляло ощущение тюремного заточения. Бессарабский орел с цепью на лапе, сторживший жилище наместника, вызывал грустную аналогию — мысль о двух вольных существах, лишенных свободного полета. «Сижу за решеткой в темнице сырой...» — начинается стихотворение 1822 года «Узник» о «грустном товарище» — вскормленном в неволе орле молодом, который зовет узника к освободительному полету:

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!..

В один из весенних дней 1823 года Пушкин, согласно народному обычаю, выпустил — вероятно, из обширного вольера Инзова — птичку и написал свое знаменитое восьмистишие, исполненное такой глубокой тоски по свободе, такого беспредельного восхищения перед правом даровать вольный полет «хоть одному творенью»...

Среди воспитательных средств, которые Инзов пытался применить к Пушкину, особенно своеобразной была попытка «доброго мистика» обратиться за помощью к масонству. Инзов и раньше высказывал мысль, что «обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит счастливую перемену, и Пушкин, вступив в масон-

ский кружок, почувствовал бы необходимость себя переиначить». Когда в мае 1821 года бригадный генерал Пущин открыл в Кишиневе «симболическую ложу О в и д и й на правилах, известных правительству», Пушкин, вероятно по совету Инзова, вступил в нее членом. Этому могло способствовать широкое участие передового дворянства александровского времени в движении «свободных каменщиков», к чему были причастны и старшие Пушкины: Сергей Львович входил в ложу «Северного щита», Василий Львович даже состоял в звании «первого стуарта», то-есть главного стража в ложе «Ищущих манны». Несмотря на сложность и архаичность ритуала, масонство не лишено было некоторых черт протеста против окружающей феодальной государственности. Недаром в молодости прошли через масонские ложи такие видные общественные деятели, как Николай Тургенев, Пестель, Чаадаев, Грибоедов, Никита Муравьев, Лунин и другие. В кишиневской ложе участвовал один из наиболее радикальных деятелей назревающего декабризма— Владимир Раевский. Эти антиправительственные тенденции масонства могли особенно привлечь к себе Пушкина. По крайней мере, впоследствии, в 1826 году, перечисляя опасные моменты своего прошлого, он писал Жуковскому: «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в кишиневской ложе, т.-е. в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков».

Из разношерстного кишиневского общества, из обычного круга чиновников и офицеров Пушкин охотно уходил к своим друзьям, отвергнутым средою местных откупщиков и «кишиневских дам».

Среди «буженаров» — греков-беженцев, заполнивших

в 1821 году областной центр Бессарабии, — находились мать и дочь Полихрони, оставившие Константинополь из боязни резни. Дочь была не очень красива, но она носила имя нимфы, заворожившей некогда Улисса, — ее звали Калипсо. Подобно своей древней соименнице, она прельщала чувственным пением: под звон гитары исполняла на восточный лад эротические турецкие песни. Но особенный интерес молодой гречанке придавала сопровождавшая ее всюду лестная репутация возлюбленной самого Байрона. Для Пушкина это во всяком случае оказалось главной силой притяжения. «Гречанка, которая целовалась с Байроном» и могла по личным впечатлениям рассказать о жизни и страсти великого поэта, представляла для Пушкина живейший интерес.

Калипсо могла встречаться с творцом «Корсара» в 1810 году, когда он посетил Константинополь. Густые длинные волосы гречанки, ее огромные огненные глаза, сильно подведенные «сурьме», сообщали ей тот восточный колорит, который мог прельстить пресыщенного британского поэта. Пушкину она представлялась отчасти героиней байроновской поэмы. Среди прозаических кишиневских «кукониц» она неожиданно приобретала подлинную поэтичность и становилась в ряд вдохновительниц, достойных лирического гимна. В стихотворении «Гречанке» Пушкин тонким приемом сочетает любовное посвящение женщине с очерком «мучительного и милого» поэта. Мысль о нем словно угашает готовое возникнуть чувство ревности. Это не столько любовное признание, обращенное к Полихрони, сколько выражение бесконечного преклонения Пушкина перед «вдохновенным страдальцем», написавшим «Чайльд-Гарольда».

Движение и рост европейской поэзии не перестают увлекать Пушкина. Он отмечает в Ламартине «какую-то новую гармонию» и дает сочувственную оценку его «Наполеону». Исторические темы продолжают волновать его,

К 1822 году относятся его заметки по русской истории XVIII века с замечательными оценками Петра (который «не страшился народной свободы, ибо доверял своему могуществу») и Екатерины, «этого Тартюфа в юбке и короне». Со всей четкостью формулируется новейшее задание русской государственности: «Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян». С обычным страстным вниманием поэта к политической борьбе русских писателей дается замечательная сводка «побед» прославленной императрицы над родной литературой: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый луч его, перешел из рук Шешковского [1] в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь, Княжнин умер под розгами, и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Одновременно Пушкин не перестает пристально следить за ходом русской литературы. Он прочитывает журналы, газеты, новые стихотворные сборники. В книге его петербургского приятеля Я. Н. Толстого было напечатано небольшое стихотворение о развлечениях петербургского молодого человека. Тема была близка Пушкину, но разработка не могла удовлетворить его. Свои наблюдения, верные и живые, Толстой изложил беспомощным и бледным стихом. Но он довольно точно изобразил столичный быт праздного юноши: бесконечный «туалет», званый завтрак, бульвар, обед в ресторане, балетный спектакль, «веселый бал», азартные игры.

Обращаясь к этой теме, Пушкин решил противопоставить бесформенному изложению Толстого свою строго организованную строфу. Рассказ о современном молодом человеке предполагал живость и быстроту темпов, требовал гибкой изменчивости формы. Три внутренне свя-

---

[1] «Домашний палач кроткой Екатерины» (примечание Пушкина).

занных четверостишия с различными принципами рифмовки и заключительное двустишие, или кода, замечательно отвечали поставленному заданию — получался единый и законченный стихотворный фрагмент, легко отражавший в своем течении разнообразие тем и прихотливую динамику сюжета. Так создалась онегинская строфа.

Эти тонкие и сложные открытия в области стиховой инструментовки не отводили Пушкина от его обычных исканий новых созвучий и образов у народных слагателей и певцов, в бродячих мотивах и в аккомпанементе уличных плясок. В темпе молдавского джока выдержаны некоторые шутливые кишиневские куплеты Пушкина, как в темпах мазурки и вальса иные онегинские строфы.

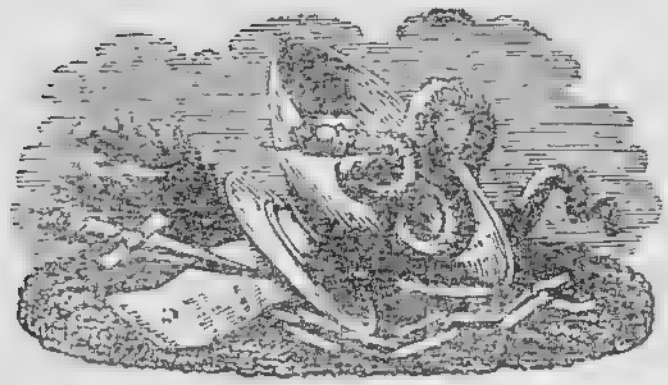
Вспоминая впоследствии годы, проведенные «в глуши Молдавии печальной», Пушкин с замечательной проникновенностью говорил, как там его муза

Позабыла речь богов
Для скудных странных языков,
Для песен степи ей любезной...

За бессарабские годы он действительно освоил новые наречия, неизвестные народные мотивы и сказания. Молдавский язык, близкий многими своими корнями латинскому и французскому, давался Пушкину без особого труда. Когда служитель Инзова Бади-Тодоре начал обучать его изъясняться по-молдавски, ученик вскоре забросал учителя приветствиями и расспросами на его родном языке. Пушкин очень внимательно слушал как-то чтение поэмы бессарабского поэта Стамати, переводчика Федры, хотя и не считал молдавский поэтический язык уже сложившимся музыкально. Он похвалил автора за то, что тот не вводит в свой словарь латинских и французских выражений, как большинство запрутских писателей (то-есть из Молдавии и Валахии). Поэт находил

ЦЫГАНЫ.

(Писано въ 1824 году).



МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
при Императорской Мед.-Хирур. Академіи.

1827.

Титульный листъ первого изданія «Цыганъ».

благодарные для поэзии элементы и в необработанном еще наречьи цыган. Герой его последней южной поэмы полюбил в кочующих таборах

И упоенье вечной лени
И бедный, звучный их язык...

Увлекали «и песни степи», и сказания разноплеменного края. В Измаиле Пушкин записывает со слов тамошней жительницы славянский напев, богатый словами иллирийского наречья; в Кишиневе он собирает тексты исторических песен о событиях греческого восстания — умерщвлении Тодора Владимирески и убийстве предводителя болгарского национального движения Бимбаши-Савы. Служащий инзовской канцелярии Лекс рассказывает ему о похождениях знаменитого бессарабского разбойника Кирджали. Пушкин записал стихами диалог «чиновника и поэта»:

«Куда ж?» — «В острог. Сегодня мы
Выпровождаем из тюрьмы
За молдаванскую границу
Кирджали»...

Этот образ послужит ему впоследствии для особого очерка-портрета. Пока же на основе молдавских преданий XVIII века, сообщенных гетеристами, он пишет повести «Дука» и «Дафна и Дабижа», не дошедшие до нас [1]. В Кишиневе Пушкин работает отчасти и над материалом, который несколько позже ляжет в основу «Гузлы» Проспера Мериме.

Пушкина чрезвычайно занимали цыганские и сербские пляски с пением. Равнодушные к литературе и искусству, кишиневские бояре признавали только домашнюю музыку и хоры певчих, набранных из крепостных цыган.

[1] В них разрабатывались предания об историческом деятеле XVII века молдавском господаре Василии Дуке, умерщвленном за жестокое угнетение народа.

Такой оркестр имелся и в доме Варфоломея. Пение сопровождалось аккомпанементом скрипок, кобз и тростянок — цевниц, как называл их Пушкин; «и действительно, — замечает Горчаков, — устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии».

Некоторые молдавские мотивы захватывали поэта заунывностью и страстностью. Одна из цыганок Варфоломея, буйно бряцая монетами своих нагрудных ожерелий, пела под стон тростянок и кобз:

Арды ма, фрыджи ма,
На корбуне пуне ма.

«Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня» — перевели Пушкину эту песенную угрозу молодой женщины, одновременно звучащую гимном безнадежной и трагической любви.

Слова песни, как и бурный напев, увлекли Пушкина. Нашлись музыканты, положившие на ноты вольный народный мотив молдавских степей; сам он записал перевод этого первобытного пеана.

Весною 1823 года Пушкин привез в европейскую Одессу из «проклятого Кишинева» эту кочевую мелодию нищих таборов, немолчно звучавшую в его сознании. Вскоре песнь варфоломеевской цыганки отлилась в первую у нас поэму-трагедию.

IX

ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ

С углового балкона дома Рено открывался широкий вид на залив и рейд. Над крышами белых домиков, сложенных из ровных плит ноздреватого местного известняка, южное море расстилалось своей бескрайной синей

пеленой, словно маня в далекие края, лежащие по ту сторону горизонта.

Пушкин остановился в «клубной» гостинице, где всего удобнее было пользоваться местными лечебными средствами («Здоровье мое давно требовало морских ванн, — писал он брату, — я насилу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу»). При главном отеле было устроено заведение теплых морских и лиманных ванн, слава о которых уже гремела в округе, побуждая местных медиков тщательно изучать целебный ил и соли одесских побережий.

Получив в конце мая отпуск у Инзова, Пушкин немедленно же оставил Кишинев. Из Бессарабии в Одессу вела унылая и пустынная дорога — Тираспольский почтовый тракт, пролегавший безводной степью. Лето 1823 года оказалось особенно тяжелым для местного населения: небывалым налетом саранчи были уничтожены скудные посевы.

Но сам город снова порадовал Пушкина своим живописным расположением и общим нарядным обликом. Одесса, по наблюдению одного из ее обитателей двадцатых годов, была похожа на разноцветную турецкую шаль, разостланную в пустыне. Черноморский городок был четко распланирован на правильные кварталы. В отличие от Кишинева, где Пушкин не мог найти ни одного книгопродавца, в Одессе имелся магазин иностранных книг Рубо, получавший все новинки Парижа. Несколько хуже обстояло дело с русскими изданиями. Но все же переплетчик Вальтер, также проживавший в «клубной» гостинице, выписывал и распродавал петербургские альманахи по рублю за экземпляр. Вместо молдавских трактиров и турецких кофеен, здесь имелся французский ресторан Сезара Оттона, по праву состязавшийся вином и устрицами с Талоном и Дюме, которых Пушкин так любил посещать с Кавериным и Чаадаевым. Вместо ко-

Одесса в начале XIX века. Вид с карантинной гавани на спуск к морю и каботажную пристань.

Со старинной гравюры.

Бывало пушка заревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я. (1827)

чевой ясской труппы в манежной зале Крупянского, здесь была постоянная Итальянская опера в прекрасном здании театра, воздвигнутого иностранными зодчими на холме приморской части. Не мелодрамы Коцебу, а партитуры Россини звучали на здешних подмостках, знакомя население с последними новинками музыкального искусства Европы.

Но главное — Одесса открывала прямые пути в Босфор, в Средиземное море, в Малую Азию, Сирию, Египет. Глубокая Хаджибейская бухта была полна парусов и флагов. Сюда ежедневно приплывали бриги из анато-

лийских городов и с островов Архипелага, из гаваней Леванта и с австрийского побережья Адриатики, из Марселя, Генуи, Мессины, из портов Англии и Америки. Они подвозили к Платоновскому молу колониальные товары и последние политические известия. В городе ощущался вольный ветер кругосветных странствий и безграничность океанских маршрутов. Никогда Пушкин не чувствовал такой тяги в чужие края, как во время своих скитаний по одесским побережьям, нигде спасительный план побега из тисков царизма не был так близок к осуществлению, как именно здесь.

Поездка Пушкина не была лишена и некоторого служебного значения. Плеяду иностранцев, управлявших Одессой с самого ее основания, должен был сменить теперь русский администратор, призванный насадить в новой области начала общегосударственного управления.

Задача представляла известную сложность. Одесса была городом молодой буржуазии. Население еще сохраняло черты прогрессивной активности. В отличие от Петербурга здесь «не питали никакого почтения к жирным эполетам». В 1833 году некий князь Черкасский писал: «Одесса — город заметно буржуазный, где чины и аристократические преимущества ценятся недорого». Этим отмечалась и некоторая «демократичность» южного порта по сравнению с чопорно-иерархической северной столицей. Таможенная черта порто-франко, проведенная здесь по примеру Фиуме и Триеста, отделяла Одессу от всей прочей империи и освобождала ее от характерных признаков аракчеевской деспотии; одновременно это сообщало ей более свободный облик тех европейских городов и вольных гаваней, с которыми она была в постоянных и непосредственных сношениях. «Единственный уголок в России, где дышится свободно», говорили приезжие из высшего слоя, ценя город, «где такими потоками лились солнечные лучи и иностранное золото и так

мало было полицейских и иных стеснений». А пришлый— наполовину беглый из средних губерний — народ находил здесь верный заработок и «беспаспортную вольную волюшку» [1].

В такой-то пестрый, интернациональный город, без сословных предрассудков и с большой свободой нравов, где непринужденно общались крупные негоцианты с «корсарами в отставке», прибыл 21 июля 1823 года представитель другого мира, с «жирными эполетами», чином генерал-адъютанта, титулом графа, званием полномочного наместника и громкой фамилией служилой аристократии XVIII века — Воронцовых.

Ему предшествовала репутация видного военного деятеля и крупного администратора. Михаил Семенович Воронцов был сыном европейского дипломата Семена Воронцова, полномочно представлявшего Россию в Венеции и Лондоне. Как и другие члены его рода, он умел проявлять свои передовые политические убеждения и активную независимость. Семен Воронцов резко выступал против разделов Польши и открыто пренебрегал фаворитом Зубовым. Сын его, ставший в 1823 году «новороссийским проконсулом», стремился демонстрировать те же черты либерализма, но в пределах такой же блестящей государственной карьеры. Он рано выдвинулся на военном поприще. Воронцов был сподвижником Цицианова и Котляревского, воспетых Пушкиным в «Кавказском пленнике». В Отечественную войну молодой генерал был ранен под Бородиным, отражая первый натиск Нея, Даву и Мюрата. Участник сражений под Лейпцигом, Краоном, Парижем, он возглавлял русский корпус армии Веллингтона и оставался во Франции до 1818 года в качестве начальника оккупационных войск. Здесь он проявил особенные заботы об образовании солдат, обучая их

---

[1] Б. Маркевич, Из прожитых дней.

грамоте по новому звуковому методу Жакота. Вернувшись в Россию, Воронцов примыкает к передовой группе столичного дворянства, выдвигавшей требование скорейшей отмены рабства.

Все это создает Воронцову репутацию передового и культурного деятеля. Пушкин упоминает в своих письмах «европейскую молву о его европейском образе мыслей». На самом деле, это был сложный характер честолюбца, царедворца и дальновидного политика, умевшего скрывать изнанку своей натуры под безупречными формами государственного деятеля английского типа.

Петербургские друзья Пушкина переговорили с Воронцовым о дальнейшей судьбе кишиневского изгнанника. Новый начальник юга согласился взять поэта к себе на службу, «чтоб спасти его нравственность, а таланту дать досуг и силу развиться», как сообщал Александр Тургенев Вяземскому.

21 июля наместник края прибыл в Одессу, а на следующий же день в Дерибасовском доме, у городского сада, ему представлялись сословия и чиновничество. Наружность Воронцова отличалась большим изяществом.

«Если бы не русский генеральский мундир и военная форменная шинель, небрежно накинутая на плечи, — пишет современник, — вы бы поклялись, что это английский пэр, тип утонченного временем и цивилизациею потомка одного из железных сподвижников Вильгельма Завоевателя»; на тонких губах генерала «вечно играла ласково-коварная улыбка».

Воронцов принял поэта «очень ласково» (по свидетельству самого Пушкина) и любезно сообщил, что переводит его из Кишинева в Одессу. Редактор молдавских законов был определен архивариусом в дипломатическую канцелярию Воронцова.

Его товарищем по службе оказался молодой поэт Туманский. Украинец по рождению и страстный поклонник

М. С. ВОРОНЦОВ (1782—1856).

С миниатюры Ле-Гро.

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал
И, побожусь, не ниже графа. (1824

южной природы («Я взлелеян югом, югом, — Ясным небом избалован...»), он учился в Петербурге, там начал свою литературную деятельность и сблизился с Крыловым, Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым, Дельвигом. Он заканчивал свое образование в Париже, где слушал лекции в Коллеж де-Франс и завязал дружбу с Кюхельбекером. Туманский причислял себя к «европейской» школе поэтов; он подражал Петрарке, Вольтеру, Парни, Мильвуа, осуждал пристрастие Кюхельбекера к Шихматову и библии, горячо рекомендовал ему учиться у Байрона, Мура и Шиллера. Сам он стремился всячески повысить чистоту поэтического языка и стиля. Перед Пушкиным он преклонялся. Так, еще 10 мая 1823 года (то-есть до одесской встречи) Туманский писал своей родственнице по поводу известной сатиры Родзянки: «Неприлично и неблагородно нападать на людей, находящихся уже в опале царской и, кроме того, любезных отечеству своими дарованиями и несчастьями. Я говорю о неудачном намеке, который находится в сатире на Александра Пушкина». Впоследствии в своих письмах он называет творца «Онегина» своим «любезным соловьем» и с любовью говорит о его «быстрых очах и медовых устах».

Все это способствовало сближению двух поэтов. Пушкин решил прочесть Туманскому свою новую поэму, которую в то время заканчивал и еще не собирался публиковать. На вопрос одесского поэта о причинах такой скрытности он отвечал:

«Я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен...»

Заглавие поэмы? Пушкин первоначально назвал ее «Гаремом», но его соблазнил меланхолический эпиграф из Саади Ширазского: «Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». Слова о фонтане исключали заглавие «Гарем»;

Пушкин решил сберечь прелестный афоризм персидского поэта на фронтоне своей восточной повести и назвал ее «Бахчисарайским фонтаном».

Туманский услышал стихи необычайной напевности. Как царскосельские парки и памятники в ранних стихах Пушкина, как перспективы Гонзаго в «Руслане», как романтический замок Баженова в оде «Вольность», садовый дворец крымских ханов запечатлелся в «Бахчисарайском фонтане»:

Еще поныне дышет нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.

Легенда, услышанная впервые Пушкиным в Петербурге от Николая Раевского и заставившая поэта задуматься среди шума вечерней пирушки, снова захватила его своим драматизмом в устной передаче одной из сестер Раевских. «Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины...»

Фонтан слез, этот «страшный памятник влюбленного хана», сообщил свое звучанье и свое имя поэме. В ней переплелись предания о любимой супруге Крым-Гирея красавице грузинке Диларе Бикечь, о девушке гречанке Диноре Хионис из Салоник, случайно попавшей в гарем бахчисарайского властителя, но неумолимо отвергшей все его домогательства, и, наконец, о двух героинях, названных в поэме, — о прекрасной черкешенке Зареме, украшавшей сераль последнего хана, и пленнице Фетх-Гирея Марии Потоцкой, томившейся среди одалисок, но отказавшейся принять мусульманство. Все эти смутные сказания о затворницах Бахчисарая сплелись в новой напряженной поэме о безнадежной любви Гирея к польской княжне и неукротимой ревности грузинки Заремы. Бурные события старинной гаремной трагедии нашли

свое отражение в поэме. Как и в первых южных повестях о кавказском пленнике и братьях-разбойниках, здесь звучал мотив затворничества, плена, темницы, заточения. Неприступные стены ханского сераля, столь похожие на тюремные ограды, запомнились ссыльному поэту и отбросили свою глубокую тень на узорную ткань его крымской поэмы.

Пушкин заканчивал «Бахчисарайский фонтан» под аккомпанемент тончайшей европейской музыки. С 1805 года в Одессе ставили итальянскую комическую оперу, замечательно отвечавшую вкусам южного города с его многоплеменным населением. Предприятие это носило вначале скорее камерный характер: труппа Замбони и Монтавани в 1812 году имела всего шесть певцов, десять танцоров и оркестр из шестнадцати человек.

В конце 1820 года Итальянскую оперу в Одессе стал содержать пизанский антрепренер Буонаволио, сочинявший также либретто. Труппу его застал в Одессе Пушкин. Он, несомненно, слышал здесь певиц Рикорди, Витали и Каталани в довольно разнообразном репертуаре. Здесь ставили «Элизу и Клавдио» Меркаданте, «Тайный брак» Чимарозы, «Клотильду» Коччия, «Агнессу» Паэра, но более всего молодого Россини, успевшего покорить своим талантом всю Европу; из его опер шли постоянно «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», «Ченерентола», «Сорока-воровка», «Матильда де-Шабран», «Семирамида». В сезон 1823/24 года ставилась также пьеса «Концерт в комедии, или синьор ди-Шалюмо в Риме», в которой балерина Сен-Ромен исполняла по ходу действия соло-танцы под музыку Россини.

Такова была Итальянская опера, которая, по словам Пушкина, обновила его душу. «Я нигде не бываю, кроме в театре», пишет он.

Театр привлекал и своим изящным зданием, воздвигнутым еще при Ришелье по планам Тома де-Томона местным архитектором Франоли и затем перестроенным сардинским зодчим Боффо. Главный фасад с классическим портиком коринфского ордера, увенчанным фронтоном, был обращен к морю. Пройдя под колоннадой, зритель вступал в небольшое фойе, из которого попадал в довольно просторный зал с тремя ярусами лож, бенуаром, партером и креслами. Театр вмещал до 800 зрителей и освещался лампами.

Итальянская опера, по свидетельству Пушкина, напомнила ему «старину», то-есть период его петербургских театральных впечатлений. Если в убогом кишиневском манеже Крупянского он вспоминал Семенову и Колосову, — какой рой артистических воспоминаний возникал теперь в многоярусном театре классического стиля, с оркестром и европейскими исполнителями! Если после созерцания волшебных композиций Дидло возникали декоративные сады чародеев в песнях его сказочной поэмы, теперь, после вечера, проведенного в одесской опере, слагались «театральные» строфы первой главы «Онегина»:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит...

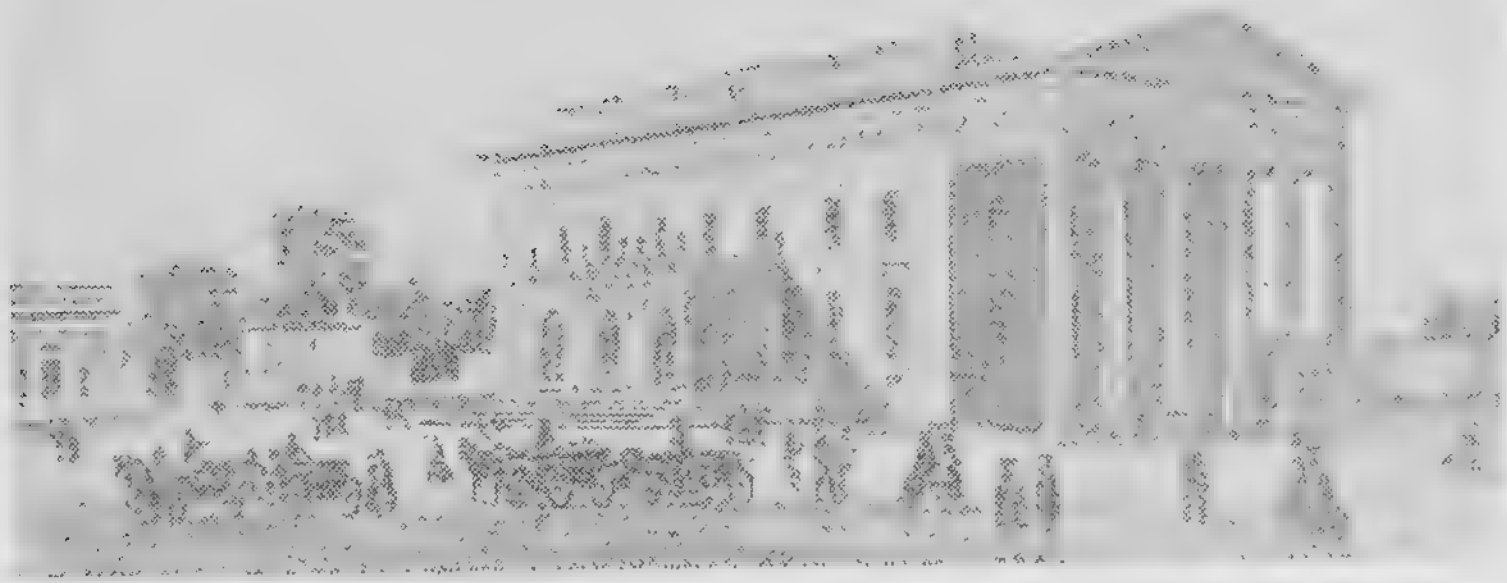
В живых образах и немеркнущих красках возникает театральная «старина» петербургского трехлетья: «Федра» — Семенова, «русская Терпсихора» — Истомина, блестящая плеяда драматургов от «смелого» Фонвизина до «колкого» Шаховского.

Пушкин закончил первую главу «Евгения Онегина» 22 октября 1823 года и на следующий же день начал вторую главу, которая писалась легко и быстро. Петербургские впечатления сменились воспоминаниями о летних пребываниях в селе Михайловском. Страсть Лари-

ной к альбомам, к тетрадям со стихами, к французскому языку, господство в супружеском быту и суровость к крепостным — все это соответствует характеру П. А. Осиповой (отметим деталь — общность их имен: Прасковья). В романе жизненный образ дан в ироническом освещении. Центральной фигурой выступал новый тип молодого поколения — энтузиаст политической свободы и творческого слова. Пушкин предполагал назвать вторую главу своего романа «Поэт». В ней намечалась тема трагической судьбы лирика с его «восторженной речью» и «вольнолюбивыми мечтами» в этом пустом и поверхностном обществе.

Увлечение Итальянской оперой сблизило Пушкина с директором городского театра, «коммерции советником» Иваном Степановичем Ризничем. Это был характерный представитель молодой одесской буржуазии — предприимчивый, энергичный, европейски образованный, участвующий в культурной жизни своего города (и даже своей далекой родины). По происхождению он был далматинцем, но в Одессе, где в деловом мире господствовал итальянский язык, его называли Джованни. Он учился в Падуанском и Берлинском университетах, в совершенстве писал по-французски, собирал в Одессе библиотеку и увлекался Россини. Ризнич был в приятельских отношениях с начальником штаба Второй армии П. Д. Киселевым (впоследствии министром и послом в Париже) и вел с ним обширную переписку. На средства одесского негоцианта были изданы в 1826 году стихотворения сербского поэта С. Милутиновича и его известная «Сербиянка».

Для такой деятельности необходимы были крупные суммы. По официальным данным, Ризнич вел обширную торговлю в портах Средиземного, Черного и Азовского морей: он экспортировал пшеницу «на собственных судах, в значительном числе им же построенных», и полу-



Одесский городской театр. Построен в 1804—1809 годах по проекту Тома де-Томона.

Старинная гравюра.

Но уж темнеет вечер синий;
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень—Орфей. (1827)

чал взамен колониальные товары, турецкие ковры, венские фортепьяно [1].

Ризнич вскоре представил Пушкина своей молодой жене — болезненной красавице. Ее звали Амалия, родом она была из Флоренции, в России жила лишь несколько

---

[1] О его оборотах дают представление бюллетени одесского порта, вроде: «Прибыло австрийское бригантино «Барон Россети», шкипер Филипп Лоренцо Эльчичь, с апельсинами, лимонами, миндалем и табаком; адресовано Джованни Ризничу: из Мессины 70, а из Прошива 5 дней».

месяцев и русским языком не владела. О ее внешности дают представление стихи обвороженного ею Туманского:

В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо юга...

Пушкин был вдохновлен ею на ряд бессмертных любовных элегий. В его романической биографии это было сильнейшее переживание, обогатившее его «опытом ужасным». В начале знакомства повторилось отчасти впечатление, пережитое за три года перед тем в Гурзуфе от встречи с Еленой Раевской, — восхищение лихорадочной и хрупкой прелестью обреченного молодого существа. На этот раз работа смерти шла быстро, а восхищение Пушкина бурно разрослось в страсть, пережитую «с тяжелым напряжением». Вызванная этим чувством знаменитая лирическая жалоба «Простишь ли мне ревнивые мечты?» свидетельствует, что Пушкин впервые испытал любовь не как празднество и наслаждение, а как боль и муку. Правда, бурной напряженности чувства соответствовала и быстрота его сгорания — страсть Пушкина гасла так же быстро, как и жизнь его возлюбленной.

Это единственное увлечение молодого Пушкина, окрашенное трагическим тоном; оно оставило на долгие годы воспоминание об одной «мучительной тени» и вызвало к жизни траурные строфы посвящений, сквозь которые просвечивает страдальческий образ прекрасной флорентинки, увековеченный в гениальных русских элегиях.

В январе 1824 года Пушкин обратился к новой поэме — «Цыганы». С предельной сжатостью он записал план: «Алеко и Мариана. Признание, убийство, изгнание». Из этих пяти слов, возвещающих о больших драматических событиях, выросло одно из самых значительных творений Пушкина.

Эпиграфом к поэме Пушкин намечал слова из молдавской песни: «Мы люди смирные, девы наши любят во-

лю — что тебе делать у нас?» Вся поэма звучит степными напевами и тоской по воле. Современный герой, проникнутый идеями Руссо о «неволе душных городов», бессилен все же отдаться мудрому «первобытному» состоянию, ибо не может оснлить в себе властных притязаний на чужую личность, грубых посягательств на свободу чувства. Счастья нет и в жизни вольных таборов —

И под издранными шатрами
Живут мучительные сны...

Смысл человеческих кочевий по пустынным перевалам жизни раскрывается лишь «в дивном даре песен», в творческом голосе поэтов, которых императоры подвергают гонениям, но которые и в унижении своем продолжают будить бодрость в рабах и нищих кочевниках, «людей рассказами пленяя». Вставная новелла об Овидии, проникнутая таким глубоким переживанием самого автора («он ждал, прийдет ли избавленье»), вносит в тему «роковых страстей» политический трагизм неумолимой современности.

X

МЕЦЕНАТ И АФЕЙ

Отношения с Воронцовым вначале вполне наладились. В декабре 1823 года Пушкин рассчитывает вместе с ближайшими сотрудниками и друзьями наместника погостить летом в его крымских поместьях.

Задачу перевоспитания Пушкина Воронцов понимал несколько иначе, чем Инзов, пытаясь, видимо, разрешить эту проблему в культурных традициях своей фамилии. Воронцовы были поклонниками искусств и наук, покровителями поэтов и ученых, собирателями художественных ценностей, обладателями знаменитых библиотек. Они претендовали на звание меценатов и как-то сумели свя-

зать свои имена с деятельностью Ломоносова, Радищева, Голикова. Новый представитель фамилии решил следовать этому примеру предков. После первого же разговора с ним о Пушкине Александр Тургенев писал: «Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть...» Воронцов понял предстоящую задачу как свое высокое покровительство сосланному стихотворцу. Такая форма общения была неприемлема для Пушкина с его страстной потребностью независимости. «Меценатство вышло из моды, — писал он из Одессы 7 июня 1824 года, — никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима».

Но эта тенденция начальника сказалась не сразу и вначале прикрывалась чисто деловыми соображениями и служебными формами. Звание архивариуса дипломатической канцелярии требовало разнообразных сведений — в дипломатике, палеографии, старинной каллиграфии, политической истории и пр. Воронцов раскрыл Пушкину свою богатейшую библиотеку и драгоценное собрание рукописей. Здесь имелись подлинники летописей, разрядных книг, статейных списков, Псковская судная грамота, рукописные исторические описания, многочисленные мемуары, памфлеты французской революции, между прочим и такие ценные документы, как переписка Радищева с А. Р. Воронцовым, копия замечаний Екатерины на «Путешествия из Петербурга в Москву», список неизданных мемуаров о Екатерине II и пр.

Судя по официальным письмам Воронцова, на первых порах он вполне признавал талант Пушкина и полагал, что «основательное изучение великих классических поэтов сделало бы из него со временем замечательного писателя». Считая полученное поэтом образование далеко не достаточным для литературной деятельности, Ворон-

цов решил способствовать развитию молодого таланта (как сам он говорил Александру Тургеневу) расширением его общих знаний. Работа над классическими текстами должна была отвлечь от антиправительственной пропаганды. Воспитанный в Англии на образцах древней литературы, Воронцов, по свидетельству его биографа, никогда не расставался с любимыми собеседниками своего детства — Титом Ливием, Тацитом, Юлием Цезарем, Горацием. Доставшиеся ему наследственные библиотеки Воронцов дополнял трудами по всем отраслям наук, искусств и словесности, составив замечательное книгохранилище, которое могло действительно заменить целый факультет.

Ученые коллекции Воронцова увлекли поэта. По свидетельству Герцена, «Пушкин в Одессе собственноручно переписал для себя мемуары о Екатерине из библиотеки Воронцова» (экземпляр этот действительно хранился среди его бумаг), а в своей статье о Радищеве Пушкин определенно указывает на неизданную переписку автора «Путешествия» с А. Р. Воронцовым. Таким образом, в Одессе возникает тот вкус Пушкина к архивной разработке исторических материалов, который в тридцатые годы станет основой его творческой работы.

В библиотеке Воронцова Пушкин нашел редчайший сборник фривольных диалогов Пьетро Аретино «Ragion amenti», который он цитирует в своем одесском письме к неизвестным кишиневским приятельницам в ноябре 1823 года. Знакомство с этим замечательным сатириком XVI столетия, автором знаменитых эротических сонетов и политических памфлетов, непосредственно вводило Пушкина в литературу итальянского Возрождения. Ученик Бокаччио, друг Тициана и Микельанджело, мастер убийственных эпиграмм, Аретино разил своим сарказмом пап и королей, не раз подвергался изгнаниям, но добился широкого признания и огромного влияния на совре-

менников. Поэт, вышедший из народа (сын тосканского сапожника), он сумел создать себе — впервые в европейской литературе — независимое и блестящее положение помимо меценатов, действуя исключительно своим пером. Прозванный «бичом монархов», Аретино заставил владетельных князей, всесильных прелатов Рима и вельмож феодальной Италии склониться перед его обличительным даром публициста, а венецианских издателей оплачивать его рукописи такими высокими гонорарами, которые вполне обеспечили ему богатую и пышную жизнь. Биография Аретино могла навеять Пушкину мысль о независимом существовании поэта, чуждающегося покровителей и получающего полную возможность беспечной и радостной жизни только от продажи своих рукописей. Тема эта впервые трактуется Пушкиным в его одесском письме к Казначееву в июне 1824 года: «Если я еще пишу под прихотливым воздействием вдохновения, то раз стихи написаны, я их рассматриваю как товар по столько-то за штуку». Быть может, образ свободного гуманиста позднего Ренессанса, завоевавшего своим поэтическим талантом и смелой сатирой почет и славу в тираническом государстве, представлялся Пушкину, когда он писал правителю канцелярии Воронцова: «Я жажду только независимости — с помощью смелости и настойчивости я наконец обрету ее».

За современной политической жизнью Пушкин мог следить в Одессе неизмеримо лучше, чем в предшествующие годы. Французская газета имела отдел политических известий, представлявших живейший интерес для городка хлебных экспортеров. Не ограничиваясь сообщениями экстра-почты, газета печатала известия, ежедневно доставляемые в порт шкиперами иностранных кораблей. Само отношение к политике здесь было совершенно иным, чем в кружках вольнодумцев и поэтов, и отличалось сугубо реальной расценкой событий. Интересовали

не цели и намерения, а факты и поступки, не жесты и слова, а их последствия в международной действительности. Важнее всего были конкретные результаты борьбы на мировой арене, фактические успехи, победы и достижения той или иной партии, от чего зависели все неожиданные повороты современной истории, а стало быть, и внезапные колебания денежных курсов и хлебных цен. Политическая романтика здесь не имела места, как не считались с ней и в той дипломатической канцелярии, к которой был причислен Пушкин. Барон Брунов и Марини трезво и четко учитывали все известия о ходе событий в Пелопоннесе и Испании, ставя их в связь с текущими задачами местных иностранных колоний, запросами консулов, проблемами судоходства и эмиграции.

В этой деловой атмосфере Пушкин научается определять в народных движениях реальные соотношения сил и формулировать неумолимо вытекающие из них практические выводы. В таком настроении, «смотря на запад Европы и вокруг себя», считаясь с разгромом испанских инсургентов и укреплением влияния Аракчеева, поэт дает скептическую оценку современному этапу освободительного движения, сжатого тисками «Священного союза». Нисколько не изменяя своим революционным убеждениям и не сомневаясь в конечном успехе всеевропейской вольницы, Пушкин в своем стихотворении «Свободы сеятель пустынный» со всей трезвостью и ясновиденнем констатирует текущий безотрадный момент борьбы, ее временное затишье и связанный с этим упадок боевых сил и устремлений. В творчестве Пушкина выдвигается тема огромного масштаба и трагической остроты, которая впоследствии получит глубокое развитие в его крупнейших созданиях, — это тема «неравной борьбы» (по позднейшей формуле самого поэта).

Но голос рассудка ни на мгновенье не ослабляет в нем того чувства личной приверженности к молодой, восстающей, смело несущейся в будущее Европе, которое так выразительно сказалось в его юношеской политической лирике. Это лучше всего явствует из отрывка письма Пушкина 1824 года по поводу высказанных им ранее критических замечаний об одесских «соотечественниках Мильтиада» (адресованного, вероятно, В. Л. Давыдову): «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно слова мои были тебе странно перетолкованы. Но что бы тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа».

И замечательно, что сам возродившийся народ оценил выступление русского поэта в защиту его национального дела. В январе 1937 года три литературно-артистических общества Греции передали полпреду СССР в Афинах венок из лавровых ветвей с просьбой возложить его на памятник А. С. Пушкину в знак признательности греческого народа великому русскому поэту за его симпатии к их родине в ее памятной борьбе за свою независимость.

В том же настроении написан отрывок «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» Недоконченный фрагмент не оставляет сомнения в его основной мысли. В стихотворении противопоставлены в лице Александра и Наполеона не только две основные силы, два главных имени международной политики того времени, но и два крайних течения власти: замкнутая восточная деспотия и пробудившаяся на Западе освобожденная мысль народов. Владыка Севера надменен и самоупоен своей безграничной мощью, сковавшей дух западной революции. Неумолимый голос мировой реакции звучит из Петербур-

га: «Целуйте жезл России — И вас поправшую железную стопу». И в ответ на этот вызов является венчанный воин, строитель мировой империи на основе великих идей французской революции, —

Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь — исчезнувший как сон, как тень зари.

Он изображен носителем силы и победы перед мрачным поработителем европейских народов: «Во цвете здравия, и мужества, и мощи — Владыке полунощи — Владыка Запада грозящий предстоял». Тема поставлена совершенно четко. Мысль Пушкина ясна, несмотря на незаконченность отрывка. Пафос новой вольности и свободного гражданства — вот что неминуемо сокрушит железного владыку Севера.

Понемногу Пушкин втягивается в одесское общество. Во главе его стояла жена наместника Елизавета Ксавериевна Воронцова. Она любила развлечения, путешествия, приемы, спектакли, балы. «Мы много резвились на маскараде, который сделала для нас графиня, — писал из Одессы Туманский, — и в котором сама умно и щеголевато дурачилась, т. е. имела прелестное карикатурное платье и всех в нем интриговала». Воронцова, видимо, любила также стихи, музыку, живопись. Художник Лауренс, стремившийся дать по тогдашнему обычаю в аксесуарах портрета характеристику персонажа, изобразил ее у органа. Пушкин восхищался тем, как однажды, глядя на море, она повторяла строфу из баллады Жуковского:

Будешь с берега уныло
Ты смотреть: в пустой дали
Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?

Она внимательно следила за новейшей русской поэзией, охотно играла на домашней сцене и несколько позже выступала на благотворительных спектаклях в пьесах Скриба и Загоскина. Все это предопределило ее интерес к необычайному архиварпусу дипломатической канцелярии ее мужа. Пушкин должен был привлечь ее всем своим обликом гениального поэта.

Они постоянно встречались в непринужденном и непритязательном одесском обществе. В городе, где почти отсутствовало дворянство, Воронцовы стремились в то время придать своим приемам и вечерам характер благодушных купеческих вечеринок. Ничего от чопорности и холодного блеска петербургских салонов. На вечера к генерал-губернатору приглашались одесские негоцианты разнообразных национальностей, студенты, служащие торговых домов и греческих контор. Ничто не нарушало естественной пестроты одесского общества и «вольности» его тона. Здесь «каждый поступает по-своему, говорит по-своему, не принуждая себя к строгому порядку столичных гостиных», записывает Маркевич. Играли в патриархальный ломбер. Говорили о денежном курсе в Генуе, Ливорно и Трисете. Проходили семейным полонезом по приемным комнатам; рано ужинали (и, по свидетельству того же наблюдателя, «неизменно скверно», так как «ни граф, ни графиня ничего не понимали в кухне»). В танцах и развлечениях участвовали молодые чиновники воронцовской канцелярии — люди, вопреки легенде, с весьма скромными именами и званиями: Казначеев, Левшин, Лекс, даже барон Брунов только начинали свою государственную карьеру. Как и титулованная хозяйка дома, они охотно смешили южных коммерсантов своими неожиданными выходками. На одном из костюмированных вечеров Туманский появился в виде арлекина, на другом — в виде «современного амура». «Мне понравилась непринужденность, царствующая в одес-

Е. К. ВОРОНЦОВА (1792—1880).

С рисунка Лауренса.

ЕВПРАКСИЯ ВУЛЬФ (1809—1883).

Портрет маслом неизвестного художника

Ей посвящены стихи:

Если жизнь тебя обманет... (1825)

ских обществах и между знакомыми,— писал в 1827 году один путешественник.— Никто не важничает неуместным своим званием или богатством: иностранный купец дружелюбно подает руку русскому чиновнику, и польская помещица, не обижаясь, садится за обед ниже молодой негоциантки. Этикета в гостиных мало».

Эти свободные от национального гонора польские помещицы были весьма заметны в южном городе, куда они охотно наезжали из своих киевских и подольских имений и где подчас весьма прочно оседали. Поэта Батюшкова поразило здесь «множество польских барынь». Потоцкие, Ржевуские, Понятовские, Собаньские, Ганские считали Одессу своим городом.

В поэзии Пушкина начинает звучать новая тема, которая получит впоследствии углубленное и даже боевое значение. Это вопрос о взаимоотношениях России и Польши. Именно в Одессе было написано послание к Олизару, с которым Пушкин встречался еще в 1821 году в Киеве и Кишиневе. С тех пор польский патриот пережил драматический роман, безнадежно увлекшись Марией Раевской. Отец девушки ответил на его предложение сердечным письмом, в котором все же совершенно категорически указал на непреодолимую преграду к браку в различии исповеданий и национальностей.

Олизару и его несчастной любви посвящено стихотворение Пушкина:

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена...

Отмечая в нем историческую рознь двух славянских наций, упоминая мимоходом и Кремль, и поражение «Костюшкиных знамен», поэт находит в искусстве примиряющее начало («Но огнь поэзии чудесной — Сердца враждебные дружит...»).

На высказывания Пушкина в их дружеских беседах

Олизар ответил прекрасным посвящением «поэту могучего Севера». Он восхищается «солнечным блеском» его таланта, глубиной поэмы «Разбойники», напоминает ему, что «искра гения возрождает народы и видоизменяет столетья».

В польском обществе Одессы главенствовала красавица Каролина Собаньская (которой Пушкин в 1830 году посвятил стансы «Что в имени тебе моем?..»). Она была фактической женой начальника военных поселений в Новороссии, генерала Витта, крупнейшего политического сыщика и провокатора, известного предателя декабристов. В своей темной деятельности Витт имел в лице Собаньской верную и ловкую сотрудницу.

Все это было, конечно, окутано глубочайшей тайной, и никто не догадывался о закулисной активности грациозной польки. Пушкин, видимо, увлекся ею. В доме Собаньских он познакомился и с ее младшей сестрой Эвелиной Ганской, получившей в обществе прозвище шатобриановской героини Аталы; ей суждено было впоследствии прославиться своим вторым браком с Бальзаком, имя которого в то время еще никому не было известно. Судя по письмам Пушкина, Ганская вела романическую игру с его другом и «демоном» Александром Раевским; поэт упоминает здесь и мужа Эвелины, крупного украинского помещика Вацлава Ганского, прозванного — вероятно за его ипохондрию — именем байроновского Лары. Польское общество Одессы сообщило Пушкину материал для позднейшей творческой зарисовки типов Смутного времени (шляхтич Собаньский, Мнишки) и оставило некоторый след в его языке («падам до ног», пишет он в письме к брату, шутливо воспроизводя говор своих одесских знакомых из салона Каролины Собаньской).

В январе 1824 года поэт узнал от гостившего в Одессе Липранди, что в Бендерах живет крестьянин Никола Искра, помнящий Карла XII. Пушкин решил с помощью этого 135-летнего старца разыскать следы могилы Мазепы.

Вскоре он был на Днестре в сопровождении Липранди, захватившего с собой несколько старинных книг о пребывании шведского короля в Бендерах — фолианты Нордберга с ландкартами и путешествие де-ла-Мотрея с гравюрами.

«Мы отправились, — рассказывает в своих воспоминаниях Липранди, — на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нордберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII. Рассказ Искры о костюме этого короля поразительно был верен с изображением его в книгах». Пушкин «добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе», «не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы», и пр.

Такая настойчивость поэта объясняется рядом литературных впечатлений, готовых к этому моменту переродиться в самостоятельный замысел. Один из кумиров его отроческих и юношеских чтений, Вольтер, впервые вскрыл драматизм гетманской судьбы и как бы указал поэтам затерянный образ украинской старины. В своей «Истории Карла XII» Вольтер описывает польского шляхтича Мазепу, который был пажем Яна-Казимира и при его дворе приобрел некоторый лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского дворянина. Муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к горячей лошади и выпустил ее на свободу. Бешеное животное, родом из Украины, поскакало на свою родину, притащив с собой Мазепу, полумертвого от ужаса и

голода... Впоследствии Мазепа «благодаря превосходству своего ума и образования пользовался большим почетом среди казаков, и царь принужден был объявить его украинским гетманом». В дальнейшем Вольтер описывает бегство Мазепы вместе с раненым Карлом XII в Бендеры после полтавского поражения. Эти страницы Вольтера вдохновили Байрона на замечательную поэму «Мазепа», в которой оба вольтеровских эпизода — скачка на бешеном коне и бегство с Карлом в Бендеры — получили резкое, трагическое освещение. Наконец, незадолго до поездки в Бендеры Пушкин прочел отрывки из поэмы Рылеева «Войнаровский», с художественной стороны высоко им оцененной («Войнаровский полон жизни»). Мазепа в этой поэме выступает великим патриотом, борцом за независимость, мятежным героем, мрачным и суровым протестантом. Такая трактовка Мазепы, как «величайшего, хотя и несчастного, героя Украины», была присуща польской и украинской интеллигенции, с представителями которой общался Рылеев. Многое побуждало Пушкина взяться за разработку этого интересного образа на фоне героической эпохи, но к осуществлению своего замысла он приступил только через четыре года.

Зимою 1824 года Пушкин читал Шекспира, Гёте и библию. Как и во время создания «Гавриилиады», он продолжает находить в этой древней книге народных сказаний богатый источник поэтических тем. Но сильнейшее впечатление производят на него трагедии Шекспира, особенно те, в которых разрабатывается мотив узурпаторской власти. Может ли верховный повелитель приносить пользу народу, если преступно само происхождение его господства? Клавдий, убивший своего брата Гамлета, только «король-паяц, укравший диадему». Ричард III, ре-

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564 — 1616).

«Что за человек Шекспир! Я не могу прийти в себя от него...» (1825).

шивший пробивать путь к власти «кровавым топором», гибнет от ожесточения и бешеной ненависти к своему победоносному сопернику Генриху Тюдору. Такова же участь смелого Макбета. Не в подобном ли сплетении исторических судеб подлинная тема для национальной трагедии? Вопрос, повидимому, решался утвердительно, но образ и драматический узел еще отсутствовали.

Помимо обширной темы, раскрывающей законы исторического процесса и личной совести, в шекспировской драматургии поражала та свобода композиции, присущая его «публичному», «городскому», народному театру, которая в корне видоизменяла изысканный «придворный спектакль», предназначенный для королевской семьи, аристократии и елизаветинских сановников. Установленным правилам дворцового представления, с его пристрастием к драме ученой или классической, труппа знаменитого шекспировского «Глобуса» противопоставляла драматургическую систему, утвержденную вкусами лондонской улицы: свободное от правил античной драмы бурное и увлекательное течение действия, независимый от академических требований сочный и вольный народный язык, смелую и мощную лепку характеров, изменчивую и пеструю вереницу героев, жадно вбирающую в свой поток горожан, царедворцев, воинов, шутов, ремесленников, актеров, беспрерывно переносящихся из чертогов в харчевни, из келий в парки, из тесных лондонских переулков на поля исторических сражений. В этой многолюдности и многоплановости действия таилась целая философия драмы, восходящая к народному зрелищу, к площадному представлению и одновременно обновляющая все приемы придворного спектакля с его жеманным этикетом, придирчивым вкусом и педантичной эрудицией.

Перед Пушкиным, воспитанным на классической традиции Расина, Вольтера и Озерова, открывался новый

путь: найти в родной истории плодотворные аналогии междоусобиям Англии Плантагенетов и развернуть историческую борьбу в широком и вольном потоке всеобъемлющей драматической хроники.

В том же направлении действовали на него и драмы Гёте. Исторические трагедии веймарского поэта — «Гец фон-Берлихинген» и «Эгмонт» — продолжали традиции Шекспира. Сильные личности европейского XVI века показаны участниками бурных событий наравне с крестьянами, латниками, бюргерами, ремесленниками; на первый план исторического действия выдвигается новый герой — народ [1]. Живо интересует Пушкина «Фауст», вызывающий вскоре в его творчестве оригинальный и смелый вариант, привлекший к себе сочувственное внимание самого Гёте. Но и в этом плане пока только возникают творческие впечатления и намечаются первые замыслы будущих творений.

Наряду с чтением идут, как всегда у Пушкина, живые беседы с одаренными и начитанными людьми, нередко не менее ценные для него, чем страницы великих книг. Рядом с Шекспиром и Гёте Пушкин упоминает в своем письме одного англичанина — глухого философа и умного атеиста. Это был врач Воронцова доктор Вильям Гутчинсон — тот самый, о котором говорит Вигель, побывавший летом 1823 года в Белой Церкви: «Предметом общего, особого внимания гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов, как соотечественнику [2], поручил наблюдение за здравием жены и малолетней дочери; перед ним только одним стояла бутылка красного вина».

---

[1] Впоследствии Пушкин писал, что историческая драма создана «Шекспиром и Гёте (Литературная газета», 1830, стр. 96).

[2] Воронцов рос и воспитывался в Англии.

Титульный лист и фронтиспис к книге Нордберга «Жизнь Карла XII». Под заглавием подпись (по-французски): «Де Лиранди». Экземпляр, которым пользовался Пушкин, хранится в Ташкентской публичной библиотеке.

Он был не только медиком, но еще ученым и писателем. «Он исписал, — свидетельствует Пушкин, — листов 1 000, чтобы доказать, что не может быть разумного Существа, управляющего миром, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души»[1]. У него-то Пушкин и берет зимою 1824 года «уроки чистого афеизма». Это был незаурядный европейский ученый: Гутчинсон состоял членом английского Линнеевского общества, учрежденного в честь великого шведского натуралиста, участвовал в виднейших медицинских объединениях Лондона и Парижа, написал большое судебно-медицинское исследование «О детоубийстве», посвященное известному публицисту и политику Макинтошу, получившему в 1793 году от Национального собрания французское гражданство за свою «Апологию французской революции».

Встретившись в Одессе с философом-материалистом, написавшим огромный трактат в опровержение идеи бога и бессмертия души, Пушкин с обычной для него потребностью расширять свои познания начинает «брать уроки» у этого «умного афея». Вольнодумство Пушкина, основанное на традициях французского просвещения с его компромиссными моментами «деизма», могло получить теперь новое углубление от вольных лекций мыслителя-англичанина, вероятно, развивавшего перед ним критическую доктрину своих великих соотечественников. Из этих живых философских диалогов Пушкин вынес впечатление «чистого афеизма», то-есть абсолютного, безусловного безверия, освобожденного от всех смягчающих оговорок и нейтрализующих уступок.

---

[1] Фраза о «разумном Существе», подчеркнутая нами, представляет собою французскую вставку в основной русский текст.

XI

ГНЕВ ТИВЕРИЯ

Об увлечении Пушкина атеистической философией вскоре узнал и Воронцов. За поведением поэта он следил чрезвычайно пристально и получал о нем сведения сразу из нескольких источников — от одесского градоначальника, от полицеймейстера, от правителя своей канцелярии и, наконец, от столичной полиции, представлявшей губернаторам выписки из перлюстрированной корреспонденции.

К этому времени мнение Воронцова о Пушкине уже сложилось окончательно и от первоначальных намерений «мецената» не осталось и следа. Богатейший вельможа и высокопоставленный администратор, уже успевший продать свой европейский либерализм за новороссийское наместничество, быстро почувствовал в новом служащем своей канцелярии представителя враждебного ему лагеря. Пушкин представлялся ему вульгарным разночинцем, пишущим для черни: «Я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта», пишет Воронцов 6 марта 1824 года начальнику штаба Второй армии П. Д. Киселеву. «Он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорда Байрона)», сообщает он через две недели свое мнение о Пушкине графу Нессельроде. В среде британской аристократии, с представителями которой Воронцов через графа Пемброка был связан родственными узами, поэзия и личность Байрона вызывали глубочайшее возмущение. «Слабый подражатель» этого порочного мятежника, выступавшего в парламенте в защиту восставших ткачей и осмеявшего в своих памфлетах коронованных учредителей «Священного союза», не заслуживал покровительства государственных деятелей, еще так недавно пытавшихся «дать его таланту раз-

витье». «Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одой», писал вскоре сам Пушкин, едва ли ошибавшийся в характеристике скрытых расчетов Воронцова.

Личные дела поэта приняли к зиме 1823/24 года новый оборот. Мучительный роман с Амалией Ризнич заканчивался. Поздней осенью она все реже стала появляться в обществе; в начале января у нее родился сын, после чего здоровье ее совершенно расстроилось. Ее непрерывно истощали приступы «длительной лихорадки, постоянного кашля, подчас и кровохарканья» (по свидетельству ее мужа). В начале мая 1824 года Амалия Ризнич выехала в Швейцарию, чтоб провести зиму в Италии. В Одессу ей уже не суждено было вернуться.

В зимние месяцы 1824 года развертывается роман Пушкина с Воронцовой, о котором настойчиво свидетельствуют современники; этого не могла вполне скрыть сама Елизавета Ксаверьевна (в письме к Пушкину от 26 декабря 1833 года под условной подписью она многозначительно говорит о своих прежних «дружеских отношениях» с ним и о своем мысленном «возвращении к прошлому»).

Воронцов был поклонником Макиавелли, широко представленного в его библиотеках многочисленными изданиями. В борьбе с противниками он допускал любые приемы. В начале весны Воронцов решает выслать Пушкина из Одессы. В частном письме от 6 марта он пишет, что был бы в восторге отослать его, но сознается, что не имеет для этого достаточно данных. Но уже через две недели он официально просит Нессельроде переместить Пушкина в какую-нибудь другую губернию, дипломатически подчеркивая, что он не «приносит жалоб», но тут же весьма недвусмысленно намекая на недостаточную «благонадежность» поэта, которому должны повредить «сумасбродные и опасные идеи», распростра-

нейные на юге. 2 мая он снова просит Нессельроде «избавить его от Пушкина» в связи с притоком в южные губернии греческих повстанцев, «подозрительных для русского правительства».

Такое отношение Воронцова не могло остаться тайной для Пушкина. Наместник стал явно избегать бесед с ним («Я говорю с ним не более четырех слов в две недели», писал 6 марта Воронцов). «Он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением», сообщал несколько позже Пушкин Вяземскому. Поэт не получил приглашения в Крым, куда отправились вместе с генерал-губернатором большинство его служащих. Наконец, Воронцов, не сообщая пока никаких подробностей, все же не скрывал от жены своего мнения, что Пушкину больше в Одессе делать нечего. Поэт понимает, что с ним ведется скрытая борьба, и отвечает на нее своим единственным оружием — пером.

Еще в октябре 1823 года, во время «высочайшего» смотра войск в Тульчине, Александр I сообщил своей свите только что полученную им от французского министра иностранных дел Шатобриана депешу об аресте Риэго. Среди всеобщего молчания прозвучал голос Воронцова: «Какое счастливое известие, государь!» Эта угодливая реплика чрезвычайно пошатнула общественную репутацию новороссийского губернатора, еще так недавно щеголявшего своим либерализмом. Пушкин вспомнил теперь этот случай и сделал его сюжетом коротенького политического памфлета («Сказали раз царю...»). Заключительные строки: «Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить — И в подлости осанку благородства», сообщили исключительную силу сатирическому удару.

Пушкин обычно не утаивал своих политических эпиграмм, и неудивительно, что новый памфлет вскоре стал известен самому Воронцову (как, вероятно, и другие ана-

логичные опыты). По сообщению В. Ф. Вяземской, получившей сведения об этом конфликте непосредственно от Пушкина, «он захотел выставить в смешном виде важную для него особу — и сделал это; это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно». Со свойственной Воронцову сложной маскировкой своих намерений и действий он нанес весьма тяжелый ответный удар: не ожидая распоряжений из Петербурга, он своею властью попытался хотя бы на время удалить противника из Одессы [1].

22 мая 1824 года Пушкин получил за подписью Воронцова отношение, в котором ему предлагалось отправиться в уезды «с целью удостовериться в количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равно и о том, с каким успехом исполняются меры к истреблению оной».

---

[1] Разрыв Пушкина с Воронцовым нередко объясняют и вмешательством Александра Раевского, влюбленного в свою кузину Воронцову и якобы заставившего Пушкина играть роль ширмы для прикрытия романических планов его коварного друга. Такая версия исключается последующей перепиской Раевского и Пушкина. На высылку поэта из Одессы Раевский реагировал поразительным по сердечному тону письмом (от 21 августа 1824 г.), в котором просил политического изгнанника не опасаться скомпрометировать его своей корреспонденцией: «Помимо моего преклонения перед вашим прекрасным и высоким талантом, я с давних пор питаю к вам чувство братской дружбы, которую никакие обстоятельства не смогут поколебать». Пушкин отвечает таким же искренним и глубоким чувством. «Мне сказывали, что А. Раевский под арестом, — пишет он в январе 1826 года Дельвигу. — Не сомневаюсь в его политической безвинности, но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня». Следует отказаться от приурочения к Раевскому пушкинской «Коварности»: речь в ней идет не о любовной интриге, а о политической и общественной вражде («злобное гонение», «презренная клевета» — характерные выражения Пушкина для обрисовки обстоятельств его ссылки). Поэт протестовал против высылки Александра Раевского из Одессы в 1828 году и помогал в 1832 году Николаю Раевскому в хлопотах о снятии опалы с его брата.

Поэт воспринял это распоряжение, как оскорбительный вызов. Ему были совершенно очевидны скрытые причины, которые могли руководить Воронцовым. Пушкин считал себя всегда только номинальным служащим, на что ему давал право непрерывный и упорный творческий труд. Как раз в это время поэт работал над третьей главой «Евгения Онегина», включающей знаменитое письмо Татьяны. Натура великого художника протестовала против насильственного отрыва от единственно близкого ему творческого дела, где он был незаменим, ради общей работы, доступной любому чиновнику. «Поэзия бывает исключительной страстью немногих родившихся поэтами, — писал впоследствии Пушкин. — Она объемлет и поглощает все усилия, все впечатления их жизни...»

Пушкин сделал официальную попытку уклониться от поручения. Он обратился с письмом к правителю канцелярии Воронцова А. И. Казначееву, который попытался помочь поэту. Очевидно, благодаря такому посредничеству произошло объяснение Пушкина с Воронцовым, после которого поэт увидел себя вынужденным хотя бы внешне подчиниться и, вероятно, в тот же день выехал из Одессы в указанные ему уезды.

Но внутренний протест оставался в полной силе, и фактически поручение не было выполнено. Пушкин с молниеносной быстротой объездил Херсон, Елисаветград и Александрию, потратив на собирание сведений в уездных присутствиях и личный осмотр мест, пораженных саранчой, всего четыре-пять дней (вместо потребного на то месяца). В последних числах мая Пушкин был уже в Одессе. Не станем повторять распространенного анекдота о стихах «Саранча летела...», якобы представленных Пушкиным Воронцову. На самом деле в начале июня Пушкин вручил ему несравненно более важный документ — свое прошение «на высочайшее имя» об отставке.

Чтение иностранных газет и журналов, которыми была полна Одесса, давало Пушкину и некоторые материалы для его творчества. В мае он прочел в парижской «Газете прений», что венский капельмейстер Сальери «признался на смертном одре в ужасном преступлении» — отравлении своего друга Моцарта[1]. Это свидетельство современной хроники о трагической участи гениев обращало Пушкина к теме, разработанной уже в его раннем стихотворении «К другу стихотворцу» и связанной с его раздумьями об Овидии, Байроне и Андре Шенье. Гибель великого композитора, умерщвленного завистью своего сотоварища по искусству, обновляла драматическую тему о судьбе художника и приобретала в сознании поэта характер большого творческого замысла.

1 июня Пушкин, просматривая маленький листок одесской французской газеты, обычно заполненной коммерческими сведениями, был поражен неожиданным сообщением о кончине великого поэта. На первом месте в отделе политической хроники было помещено известие из Лондона от 14 мая:

«Англия теряет со смертью лорда Байрона одного из своих замечательных поэтов. Он скончался 18 апреля в Миссолонги после десятидневной болезни, от последствий воспаления».

Следовал полный текст прокламации временного правительства Греции о национальном трауре и глубочайшей народной скорби перед гробом «знаменитого человека», разделившего с греками опасность их борьбы за свободу.

4 июня «Journal d'Odessa» поместил краткую биографию Байрона из иностранной печати. Она заканчивалась указанием на увлечение великого поэта Грецией:

---

[1] Статья была напечатана в «Journal des Débats» 17 апреля 1824 г. Автор ставил себе задачей оправдать Сальери от обвинений в убийстве.

Село Михайловское. Еловая аллея. *(Фото.)*

...Люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами. (1819)

Парк и пруд в селе Тригорском. *(Фото.)*

Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслею всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней. (1825)

«Эта новая земля, которую он воспринимал в ее поэтической сущности, увеличила его восхищение классической страной. В смутах, раздирающих этот прекрасный край, он усматривал лишь новый посев ораторов и поэтов, которые должны возвратить счастливые дни античного красноречья и поэзии».

Пушкин записал дату смерти Байрона на переплетной крышке своей рабочей тетради. Друзья ожидали от него отклика на это событие, взволновавшее весь европейский мир, и Вяземский не переставал призывать его к «надгробной песне Байрону».

Об этом же просила Пушкина жена Вяземского, приехавшая с детьми в Одессу на купальный сезон. Вера Федоровна застала поэта в самом разгаре его служебных треволнений и приняла ближайшее участие в его судьбе. Будучи старше его на девять лет, она вносила в свои отношения к Пушкину чувство материнской заботливости. «Я пытаюсь приручить его к себе, как сына, — сообщает В. Ф. Вяземская своему мужу, — но он непослушен, как паж; если бы он был менее дурен собою, я дала бы ему имя «Керубино»; право, он только и делает, что ребячества...» И в другом письме: «Мы с ним в прекрасных отношениях; он забавен до невозможности. Я браню его, как будто бы он был моим сыном...»

Душевное одиночество Пушкина было под конец его пребывания на юге рассеяно и согрето дружбой с этой умной и сердечной женщиной, отличавшейся неистощимой веселостью (в письме к брату он называет ее «доброй и милой бабой»). Поэт откровенно рассказывал ей «о своих заботах и о своих страстях», бродил с ней по побережьям, читал свои последние рукописи, сопровождал в театр.

С дачи Ланжерона, где жила Вяземская, в Итальянскую оперу отправлялись «по-венециански» — морем. На гребном ялике плыли от ланжероновского берега к сход-

ям каботажной гавани. Отсюда уже виднелась на холме колоннада театра.

По временам Пушкин читал Вяземской отрывки из «Онегина». «Это полно нападок на женщин, — пишет Вяземская 27 июня, — но в некоторых описаниях узнаешь прелесть его ранних стихов». Следует заключить, что Пушкин читал Вяземской третью главу «Онегина», над которой работал весною и летом 1824 года, и слушательница его в своем отзыве имеет в виду строфы XXII—XXVIII («Я знал красавиц недоступных», «Кокетка судит хладнокровно» и пр.). Сочувствие же ее, быть может, относится к письму Татьяны, которому предшествуют иронические строфы о женщинах.

Этот знаменитый фрагмент свидетельствует, что увлечение Пушкина Овидием еще не прошло. Если «Послания с Понта» ощущаются в посвящениях Чаадаеву и самому Овидию, — в письме Татьяны слышатся отголоски знаменитых «Героинь». В этой книге римский поэт дает ряд посланий влюбленных и несчастных женщин, тщетно жаждущих утоления своего всепоглощающего чувства. Таковы обращения Пенелопы, Федры, Медеи, Сафо к отсутствующим или равнодушным героям — Одиссею, Ипполиту, Язону, Фаону. Многое в построении этих трагических любовных элегий словно возвещает знаменитое письмо русской девушки.

«Я колебалась вначале, писать ли; любовь мне сказала: Федра, пиши; ты письмом склонишь суровость его».

«Пусть порицают, что я непорочные юности годы, —
Жизни былой чистоту первым пятнаю грехом...»

«Просьбу слезами свою орошаю я. Просьбу читая, —
Думай, что между письмен видишь и слезы мои...»

Здесь чувствуются мотивы, пронизавшие основную мелодию письма Татьяны, и еще больше — глубокий тон любовной жалобы, так гениально переданной древним поэтом в посланиях его героинь. Письмо Татьяны, не-

сомненно, относится к жанру так называемых «героид», получивших широкое развитие в XVIII веке.

Вяземская подружилась в Одессе с княгиней Софьей Григорьевной Волконской и ее дочерью Алиной, восхищавшей Пушкина. К княгине Волконской наезжал гостить горячо любивший ее брат, тридцатишестилетний генерал Сергей Григорьевич Волконский. С Пушкиным у него было много общих приятелей и знакомых — Раевские, Орловы, Давыдовы, Пестель. К Марии Раевской молодой генерал питал чувство особенного благоговения.

Это был серьезный и увлекательный собеседник, объездивший всю Европу, побывавший в английском парламенте. Он был известен открытой смелостью своих высказываний. Когда в 1821 году Александр I наставительно заметил ему в ответ на его оппозиционные речи: «Вы принадлежите к русскому дворянству», Волконский, не колеблясь, ответил: «Государь! Стыжусь, что принадлежу к нему». Все это внушало Пушкину искреннюю симпатию к передовому военному (который был в то время одним из виднейших деятелей Южного общества). Но беседы с Волконским длились сравнительно недолго. Вскоре он отплыл на Кавказ, рассчитывая осенью снова свидеться с Пушкиным.

В это тревожное для него время Пушкин несколько рассеивается в необычной и новой для него среде — в порту, на кораблях в обществе моряков.

«Иногда он пропадал, — рассказывает Вяземская. — «Где вы были?» — «На кораблях. Целые трое суток пили и кутили».

Но дело было не в кутежах, а в близости к отважным мореходам, от которых веяло воздухом далеких стран.

В то время морское дело еще было полно опасности и

авантюризма. Пристани больших городов изобиловали привлекательными и смелыми фигурами иностранных моряков. Одесские газеты двадцатых годов полны сведений о кораблекрушениях и нападениях пиратов на торговые суда. Достаточно известна дружба Пушкина с «корсаром в отставке», мавром Али.

В одесском порту стояли суда различных национальностей. Готовые к отплытию, они словно манили к далеким иноземным причалам. Здесь, несомненно, обсуждался план побега поэта в Константинополь. Когда положение Пушкина определилось, Вяземская со свойственным ей умом и чуткостью поняла, что лучший исход для поэта — бегство за границу. Она начинает искать деньги на это предприятие. 25 июля возвращается в Одессу из Крыма Воронцова и сейчас же вступает в заговор. Это был план, который привел бы к осуществлению заветных помыслов поэта об Италии, Париже, Лондоне. Но стремительный ход событий помешал его исполнению.

29 июля Пушкин был экстренно вызван к одесскому градоначальнику Гурьеву. Поэт был лично знаком с ним по службе и по гостиной Воронцовых. На этот раз его встретили с предельной сухостью и строгой официальностью. Пушкину была предъявлена «богохульная» выдержка из его письма, в котором он называл себя сторонником чистого атеизма. «Вследствие этого, — сообщал Нессельроде, — император, дабы дать почувствовать ему всю тяжесть его вины, приказал мне вычеркнуть его из списка чиновников министерства иностранных дел, мотивируя это исключение недостойным его поведением». Пушкина предлагалось немедленно выслать в имение его родителей и водворить там под надзор местных властей.

Завершался один из важнейших периодов биографии Пушкина. Год в Одессе был исключительно богат переживаниями; он составил целый этап в личной жизни поэта. И не только потому, что здесь он был «могучей

страстью очарован», но и в силу того, что Одесса была городом, где ему открылись новые обширные и глубокие области искусства — Россини, Гёте, Шекспир. Михайловское одиночество в значительной степени питалось этим наследием одесского периода; книги, заронившие на юге новые творческие замыслы, отразились в его первой трагедии, в сцене из Фауста, в «Пророке»; личные переживания одесского года дали «Сожженное письмо», «Ненастный день потух...», «Под небом голубым...».

Ряд образов и выражений в стихах михайловского периода также напоминает вольную гавань, ее быт и наречия: «корабль испанский трехмачтовый» или «груз богатый шоколата» — все это напоминает термины черноморской корабельной хроники и прейс-курантов одесского порто-франко.

Пушкин в Одессе прислушивался к разным наречьям и запоминал слова различных жаргонов: «язык Италии златой», греческая и польская речь, испанский и английский сообщали ему свои обороты и звучания, как и особый говор дипломатической канцелярии, одесской улицы, гавани, кофейни, оперного партера. Все характерные иностранные выражения в «Путешествии Онегина», как prima donna, речитатив, каватина, casino, карантин, фора, своеобразно окрашивают строфы об Одессе и напоминают ее интернациональный быт и полуевропейскую речь.

В день отъезда Пушкина одесское общество было в отсутствии — кто в Крыму, кто на приморских хутэрах. Город опустел. Не было друзей, которые проводили бы его в новую ссылку, как в 1826 году Дельвиг. Но оставался один друг, с которым потянуло проститься: Пушкин в последний раз сбежал с крутого берега к морю. В каботажной гавани грузились три бригантины, отплы-

вающие в Италию, — «Пеликан», «Иль-Пьяченте» и «Адриано» — и одна — «Сан-Николо» — принимала пшеницу Джованни Ризнича для доставки в Константинополь. Через два-три дня эти парусники будут в Босфоре... Последний соблазн, на этот раз уже напрасный! Справа от карантинного мола открытое море расстилалось широкой и спокойной пеленой, как всегда в конце июля, блистая «гордою красой». Легкий плеск воды у самого побережья прозвучал печальным «ропотом друга» перед наступающей разлукой. В последний раз раздавался голос как бы живого собеседника, увлекавшего своим призывным шумом, манившего вдаль, внушавшего мысль о побеге из царского плена на мировые просторы. С ним, с этим верным и могучим другом, было связано представление о последних мятежных гениях европейского мира — о великом завоевателе, о гневном поэте, воспевшем океан и «оплаканном свободой». Как раз в это утро местная газета поместила сообщение из Лондона о похоронах Байрона, собравших несметную толпу на Джордж-стрите у открытого гроба поэта, героически павшего в освободительной войне. Его великий завет неукротимого протеста и борьбы за свободу ощущался теперь до боли долголетним изгнанником, менявшим только места своей ссылки и покидавшим своего друга — южное море — с грустью, приветом и надеждой:

Прощай, свободная стихия!

Этой безграничной лазурной свободе космоса противостоял неумолимый гнет личной судьбы. В среду 30 июля 1824 года коллежский секретарь Пушкин выехал из Одессы на север по маршруту, предписанному генерал-майором и кавалером графом Гурьевым, дав обязательство нигде не останавливаться в пути, а по приезде в Псков немедленно явиться к местному гражданскому губернатору барону фон-Адеркасу.

XII

СЕВЕРНЫЙ УЕЗД

Рессорная коляска одесского каретника, расшатанная ухабистыми трактами Новороссии и Украины, скрипя и покачиваясь, въезжала 9 августа 1824 года под вековые усадебные липы сельца Зуёва, Михайловского тож. В дедовских рощах стоял полумрак и веяло сыростью. Приземистый древний домик с покосившимся крыльцом — приют одряхлевших Ганнибалов — принял поэта под свою «обветшалую кровлю». Почернелый от времени тес, побуревшая солома, громоздкая и убогая мебель, сработанная крепостными плотниками еще во времена Семилетней войны, — все это было неуклюже, безрадостно, угрюмо. «И был печален мой приезд», вспоминал впоследствии Пушкин этот тягостный переломный момент своей биографии, когда на него внезапно обрушились «слезы, муки, измена, клевета»:

...Я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Утраченной в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость.
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.

Михайловское действительно оказалось резким повышением наказания. Изгнание превращалось в заточение. Вместо пестрого Кишинева и полуевропейской Одессы — глухая деревня. Пушкин быстро почувствовал то, о чем с такой горечью писал его друг Вяземский, называя ссылку поэта в Михайловское «бесчеловечным убийством».

Отношения с родителями после четырехлетней разлуки не могли наладиться. Встреченный сначала по-родст-

венному всей семьей, Пушкин по мере выяснения его нового политического состояния вызвал серьезные опасения отца. Легко раздражавшийся, Сергей Львович в свои пятьдесят лет искал полного покоя, устранялся от всяких дел, стремясь только обеспечить себе досуг для чтения, визитов и стихотворства. Внезапное исключение Александра со службы и ссылка в деревню по «высочайшему» повелению представлялись ему семейным бедствием, угрожающим всем членам фамилии. Сергей Львович плакал и уверял, что старший сын окажет своими беззаконными воззрениями гибельное воздействие на своего брата и сестру. От этих семейных укоров, жалоб и подозрений Пушкин стремился бежать куда-нибудь подальше: обстановка родительского дома становилась тягостнее южнорусских канцелярий.

Оседлав коня, он выезжал аллеями усадебного парка в густой михайловский бор и берегом широкого озера Маленца, печально напоминавшего ему «иные берега, иные волны», поднимался по крутому подъему; на возвышении три сосны словно сторожили рубеж родовых владений. Отсюда расстилался широкий и живописный вид. Пять лет тому назад Пушкин с любовью зачертил его в своей «Деревне». Но после южного моря осенний пейзаж лесистой местности угнетал его: «свинцовая одежда неба», изрытые дождями дороги, полутемные рощи, глухо стонущие под ударами северного ветра, — «все мрачную тоску на душу мне наводит...» От пограничных сосен дорога ровной местностью шла на городище Воронич — древний укрепленный пригород Пскова, видевший некогда в своих стенах Иоанна Грозного, но давно уже разрушенный и представлявший теперь унылый сельский погост. За ним над извилистой и ленивой Сротью высились три холма, от которых получило свое название соседнее сельцо.

Подружившийся с владелицей Тригорского еще в свои

первые посещения родной деревни, Пушкин и теперь находил некоторое утешение в ее доме. Впрочем, и здесь далеко не все дышало идиллией. Между матерью и детьми ощущался постоянный разлад. Властная, энергичная, даже суровая и резкая в обращении с детьми, Прасковья Александровна не сумела внушить им привязанность к себе. Сын ее, Алексей Николаевич, с детства привык видеть в матери «строгого и неумолимого учителя», дочери считали ее деспотичной ревнивицей и открыто заявляли, что она «исковеркала их судьбу». Семейная атмосфера Тригорского не была свободна от сцен и драм [1].

К тому же ни мать, ни дочери не могли увлечь Пушкина своей внешностью и обращением. После южных увлечений поэта обитательницы Тригорского показались ему на первый взгляд провинциальными и немного смешными. Впрочем, понемногу он научился ценить тригорских девушек, как и картины псковской природы, и стал относиться и к тем и к другим не без некоторой нежности.

Но на первых порах его привлекал в Тригорское гораздо сильнее женского общества молодой Алексей Вульф. Он был студентом Дерптского университета, сохранившего европейские обычаи и представлявшего в то время крупный научный центр. От Вульфа Пушкин узнал о своеобразном и колоритном быте дерптских буршей, ко-

---

[1] «О Прасковье Александровне Осиповой-Вульф народное предание не сохранило добрых воспоминаний. О ней отзываются, как о строгой, жестокой помещице. И знавшие ее слуги старого поколения и даже внучки ее ужасно не хвалили; она с хлыстом выходила на кухню наказывать людей за шум. А. Н. Вульфа народная память ценит особенно за то, что он усмирял жестокие порывы своей матери, которая его за это не любила. Она без него много секла (В. И. Чернышев, «Пушкинский уголок, его быт и предания». «Известия Государственного русского географического общества», 1928, X, 353).

торый в 1827 году он так пластически изобразил в своем «Послании Дельвигу» («Короткий плащ, картуз, рапира», «Творенья Фихте и Платона», витая трубка, пиво, Лотхен и пр.). Алексей Вульф унаследовал фамильные интересы к литературе, много читал и несколько позже обнаружил несомненное дарование в литературном жанре дневника. Пушкин сблизился с ним на почве бесед на научные темы, быть может, еще более на почве легких бесед на любовные темы, а всего сильнее, обсуждая план своего побега за границу. Дерпт лежал у самых ворот в Европу, на большой дороге в чужие края, и Алексей Вульф был рад содействовать знаменитому поэту в деле его освобождения.

В новой ссылке Пушкин стремится поддержать в себе бодрость воспоминаниями о юге. Он выписывает партитуры Россини, которые разыгрывают ему тригорские барышни, развертывает одесскую тетрадь своих поэтических записей и в начале октября заканчивает третью главу «Онегина» и поэму «Цыганы». Размышления о труде и заработке литератора, столь отчетливо прозвучавшие в одесских письмах к Казначееву в мае 1824 года, отстаиваются теперь в «Разговоре книгопродавца с поэтом», где с поразительной силой развернуты размышления словесного труженика на тему о вдохновении и плате. В обществе вельмож, бюрократов и душевладельцев Пушкин заявляет о своем праве строить жизнь на творческом труде.

В этом стихотворном диалоге поэт обращает несколько строф к образу Марии Раевской:

Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей;

Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужны ей [1].

Пока Пушкин наново переживал впечатления юга, местные органы власти не переставали разрабатывать систему наблюдения за ним. Духовный надзор за безбожником поручается игумену Святогорского монастыря — отцу Ионе. Губернские власти пытаются усилить общий надзор при помощи общественной полиции: Адеркас предлагает губернскому предводителю дворянства Пещурову назначить «одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина». Пещуров выбирает для этой щекотливой обязанности бывшего служащего иностранной коллегии, помещика Рокотова, который предпочел отказаться от столь затруднительной функции. Адеркасу приходится обратиться к отцу «преступника». Сергей Львович выдерживает официальный допрос «об учиненном сыном его преступлении», оправдывается «неизвестностью», но чувствует себя совершенно подавленным и обреченным. Он выслушивает резолюцию самого генерала-губернатора, маркиза Паулуччи: «Если статский советник Пушкин даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, то в сем случае последний может оставаться под присмотром своего отца и без избрания особого к такому надзору дворянина». Старик принимает это поручение, по его словам, в интересах сына, что естественно вызывает сильнейшее раздражение последнего.

Отношения быстро доходят до крайней степени напряжения. Наконец, в середине октября произошел взрыв. Возмущенный поэт в припадке гнева («голова моя кипела») высказал со всей резкостью свое негодование родителям. Потрясенный Сергей Львович решился обвинить сына в попытке прибить отца, после чего Пушкин напи-

[1] На те же мотивы написано посвящение «Полтавы».

сал бумагу псковскому губернатору, прося о своем переводе из отчего дома в одну из государственных крепостей. Это был высший момент конфликта. Друзьям и родным удалось несколько снизить напряжение семейной вражды, и недели через две отец и сын расстались в отношениях сдержанной неприязни.

Все это оставило заметный след в памяти поэта. Бурные осенние сцены в Михайловском отчасти послужили Пушкину материалом для одной из его маленьких трагедий, написанной через шесть лет в отцовском Болдине. Но уже к михайловскому периоду относится краткая запись о графе, его сыне и ростовщике [1].

Устойчивость поэта среди всех этих треволнений поразительна. Он не изменяет общему ходу своих раздумий и влечений. В октябре 1824 года на текст древнего историка Аврелия Виктора он пишет одну из самых трагических своих поэм — «Египетские ночи».

Несмотря на личные огорчения, Пушкин с присущей ему отзывчивостью на горести и страдания окружающих обращается в конце октября к Жуковскому с просьбой устроить судьбу «восьмилетней Родоес Сафианос, дочери грека, павшего в Скулянской битве»: «Нельзя ли сироткy приютить?»

Вскоре он узнает о петербургском бедствии — наводнении. 7 ноября 1824 года, когда город был залит водою, деревянные дома близ Невы были смыты, пловучие мо-

---

[1] Следует отметить, что в годы южной ссылки Пушкина Сергей Львович, вопреки биографической традиции, не относился к сыну безразлично: он посылает ему в Кишинев одежду, передает через Липранди 500 рублей; именины ссыльного Александра празднуются в семье в присутствии всех друзей поэта. Во время пребывания Пушкина в Михайловском Надежда Осиповна обращается в 1825 году к Александру I, а в 1826 году к Николаю I с просьбами о помиловании сына. Не лишено интереса, что лучший друг Пушкина Дельвиг стал в распре сына с родителями на сторону последних. Жуковский и Осипова считали, что вина здесь делится пополам.

С. Л. ПУШКИН,
отец поэта.

Рис. Карла Гампельна (1824).

сты сорваны, — человеческие жертвы насчитывались сотнями. В начале декабря Пушкин пишет брату, что петербургский потоп у него «с ума нейдет»: «Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег».

От южных друзей приходили письма, несколько оживлявшие деревенское заточение. Осенью Пушкин получил письмо от Сергея Волконского, дружески сожалевшего о новых гонениях «баловника муз». В некоторых его замечаниях чувствовался деятель Южной армии: «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий...»

Письмо заканчивалось кратким сообщением, которое заставило Пушкина задуматься: «Имев опыты вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Мариею Николаевною Раевскою. Не буду вам говорить о моем щастии, будущая моя жена была вам известна».

Несколько слов письма возродили чувство поэта к этой прелестной русской девушке. Такие дружеские сообщения невольно напоминали о неудачах личной судьбы вечно гонимого «баловника муз», мимо которого неизменно проходило счастье жизни, оставляя в душе только затаенное и горькое ощущение проигранной «бедной юности». В таком настроении вскоре были написаны щемящие строфы «Зимнего вечера» с их гениальной передачей удручающей музыки разыгравшейся вьюги и безотрадным обращением молодого поэта к дремлющей старушке.

В первых числах декабря из Петербурга вернулся в Михайловское крепостной приказчик Калашников, сопро-

вождавший туда Ольгу Сергеевну. Он привез Пушкину от брата некоторые вещи и пакет книг. Среди них находились два новых тома «Истории» Карамзина, вышедшие весной 1825 года. В них излагались события времен Федора Иоанновича и царствования Бориса Годунова.

Если первые восемь томов «Истории» вызвали в Пушкине в 1818 году восхищение и даже «трепет вдохновенья», новые томы Карамзина увлекли своей связью с политической современностью. «Что за чудо эти два последние тома Карамзина! — писал вскоре Пушкин, — какая жизнь! C'est palpitant comme la gazette d'hièr» («Это трепещет, как последний номер газеты»).

Продолжение карамзинского труда разрешало труднейшую творческую задачу, уже несколько лет томившую Пушкина: найти материал для национальной трагедии в новом стиле, романтическом или шекспировском. История царя Бориса несла в себе все элементы для такого творческого опыта.

Это отчасти объяснялось тем, что историк Карамзин был первым русским шекспирологом. В 1787 году он выпустил в Москве «Юлия Цезаря» с обстоятельным предисловием, в котором произнес похвалу английскому поэту за его дар изображать человеческие характеры во всей их жизненной силе. Он прославляет его и в своей оде «Поэзия» и в своих путевых письмах, где описывает постановку «Гамлета» в Гаймаркетском театре и гробницу Шекспира в Вестминстерском аббатстве.

Историк-художник намеренно придал своей концепции Борисовой судьбы характер шекспировской хроники. Приняв политические памфлеты Шуйских (в которых они возводили на Годунова обвинения в убийстве царевича Дмитрия), как подлинный исторический документ, Карамзин в духе Шекспира изображает выборного царя московского одаренным властителем, деятельность которого опорочена «злодейством» и в силу этого несет в себе

зародыш гибели. В сплетении исторических событий раскрывается начало отвлеченного и условного «морального возмездия»: «Имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, было и будет произносимо с омерзеньем во славу нравственного неуклонного правосудия».

Но, пленившись шекспировской исторической философией, Карамзин выразил ее в форме живописных и драматических анналов Тацита. Идея же знаменитых хроник требовала и соответственного воплощения. Шекспировский замысел мог получить полную силу развития лишь в законах трагедийной композиции, в напряженном единоборстве диалога и мощных ритмах сценического стиха. Эта задача увлекла Пушкина в начале декабря 1824 года, как самый верный путь к созданию национальной трагедии. К началу 1825 года были написаны вчерне первые пять сцен «Бориса Годунова».

Между тем Пушкина ожидала в его «забытой глуши», «в обители пустынных вьюг и хлада» неожиданная радость дружеского свидания и задушевной беседы.

11 января 1825 года Пушкин проснулся в восемь часов утра от звона колокольчика. Он бросился в одном белье на крыльцо. Выскочивший из саней лицейский Жанно Пущин схватил его в охапку и потащил в комнату. Арина Родионовна бросилась обнимать приезжего; слуга Пущина, Алексей, знавший наизусть многие стихи Пушкина, кинулся целовать поэта. Начался один из немногих праздничных дней в Михайловском, увековеченный пушкинскими стихами. Кофе, трубки, рассказы о пережитом за пять лет разлуки, о ревности Воронцова и подозрительности Александра I, о судейской службе Пущина; «много шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной...»

АЛЕКСЕЙ ВУЛЬФ (1805 — 1881).

Акварель Григорьева (1828).

Вскоре беседа приняла политическое направление. Особенно существенным оказался разговор о тайном обществе. На этот раз Пущин не скрывал, что он принадлежит к политической организации: «Не я один поступил в это новое служение отечеству».

«Верно все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!» воскликнул Пушкин.

И он не ошибся в своем предположении. Но член «Союза благоденствия» не мог вдаваться в подробности, даже в беседе с лучшим другом. Пушкин снова почувствовал больную сторону своей политической биографии.

«Я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть ты и прав, что мне не доверяешь. Верно я этого доверья не стою — по многим моим глупостям».

Пущин молча расцеловал друга.

Другим событием дня было чтение запрещенной комедии «Горе от ума», которую Пущин в рукописи привез ссыльному поэту. Пушкин еще в Одессе чрезвычайно заинтересовался слухом, что Грибоедов «написал комедию на Чаадаева». Сейчас же после обеда с тостами за Русь, за лицей, за друзей и за «нее» Пушкин стал читать вслух рукопись. Она вызвала ряд его критических замечаний, наряду с хвалебными оценками. Пушкин оспаривал в комедии Грибоедова наличие плана, главной мысли, истины; отказывал в уме Чацкому и в цельности характера Софье, но восхищался некоторыми типами и яркой картиной нравов: «Фамусов и Скалозуб превосходны...» Бальные разговоры, сплетни, рассказ Репетилова, Загорецкий — «вот черты истинно комического гения». «О стихах я не говорю: половина должна войти в пословицу», вскоре писал Пушкин Бестужеву. Замечания поэта при первом чтении пьесы, по словам Пущина, «потом частью появились в печати».

Живая, увлекательная декламация Пушкина была прервана нежданым и незваным гостем. Кто-то подъехал к крыльцу. Бросив взгляд в окно, Пушкин оставил запретную рукопись и торопливо раскрыл четьи-минеи. В комнату вошел низенький, старенький монах, с рыжеватыми прядями, выбивавшимися из-под клобука.

«Настоятель Святогорского монастыря, игумен Иона» — отрекомендовался новоприбывший Пущину.

Последовал обряд благословения. Взявший на себя полицейские обязанности наблюдения за михайловским ссыльным, монах не счел нужным скрывать, что был извещен о приезде к своему поднадзорному его приятеля Пущина.

«Узнавши вашу фамилию, — продолжал отец Иона, — я ожидал найти здесь моего старинного знакомого, уроженца великолуцкого, его превосходительство генерала Павла Сергеевича Пущина, коего давно уже не видел».

Было ясно, что старик хитрил.

Подали чай с ромом. Святогорский отшельник оказался любителем крепких напитков. Он заметно развеселился и стал сыпать прибаутками, которыми богат народный язык северо-западного края, вроде «Наш Фома пьет до дна; выпьет да поворотит, да в донышко поколотит». Когда Пущин читал впоследствии «Бориса Годунова», игривый язык чернеца Варлаама мог напомнить ему говор монаха Ионы [1].

Отдав должное рому и убедившись, что Пущин состоит на государственной службе, настоятель откланялся. «Горе от ума» было извлечено из-под «святоотеческих житий», и чтение комедии продолжалось. Но вскоре манускрипт Грибоедова сменила черная кожаная тетрадь Пушкина с недавно лишь законченными «Цыганами»

---

[1] В бумагах Пушкина сохранилась запись: «А вот то будет, что и ничего не будет. Пословица Святогорского игумена».

(друзьям в столицах уже были известны отрывки из поэмы). Пущин привез другу небольшое письмо от Рылеева, в то время издававшего «Полярную звезду»: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца». Письмо заканчивалось, как и недавнее сообщение Волконского, призывом Пушкину вдохновиться Псковом: «Там задушены последние вспышки русской свободы». Пущин тут же записал под диктовку автора начало поэмы для «Полярной звезды».

Поздний ужин, несмотря на бокалы шампанского, прошел грустно: «Как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку». В три часа ночи Пущин убежал в сани. Когда кони уносили его по сугробам в ночь и в лес, до него донеслось: «Прощай, друг!..» Пушкин со свечой в руке стоял на крыльце.

Вскоре Пушкин написал посвящение Пущину, полное признательности и дружеской любви. Стихотворение исполнено горьким чувством уходящей молодости, грустной думой о распаде дружной семьи царскосельских школяров:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где молодость? где ты, где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде твоей...

Беседа с Пущиным, столь оживившая «вольнолюбивые надежды», вскоре отразилась на поэтической работе михайловского узника. Он обращается к темам Великой

французской буржуазной революции. В событиях конца XVIII века его привлекает трагический образ поэта. Один из его любимейших лириков, над текстами которого он не мало поработал, становится в центр элегии «Андрей Шенье». Революционная тема здесь дана в плане основного мотива раздумий Пушкина о призвании художника и отчасти о своей личной судьбе: поэт в изгнании, в заточении, в борьбе с окружающим миром. Пушкин не ставит себе задачей изобразить политические силы эпохи в их столкновении 1793 года (что привело бы к выводу о противодействии Шенье передовым течениям революционного процесса), а в согласии с общим своим воззрением на французскую революцию рассматривает образ автора «идиллий и буколик» с точки зрения его личного мужества в момент преждевременной гибели.

Поэма открывается любимой темой революционных строф Шенье: «Но лира юного певца — О чем поет? — Поет она свободу...» Это основная идея героических од Андре Шенье, в которых говорится о разрушении Бастилии, о созыве Национального собрания, о торжественной присяге депутатов. Выступления Мирабо и торжество перенесения праха Руссо и Вольтера в Пантеон упоминаются в революционной оде Шенье «О восставших швейцарцах». Прощанье с друзьями и ответ врагам, как и заключительный стих элегии «Плачь, муза, плачь!», обращают к тюремным ямбам Шенье. Не прибегая к бытовой реставрации или эффектам стилизованного языка, Пушкин сосредоточивает свое творческое внимание на драме героя и раскрывает до конца весь трагизм исторического события.

Элегия об Андре Шенье начинается с воспоминания о траурной «урне Байрона», воспетого «хором европейских лир». Пушкин принес на эту гробницу и свою поэтическую дань в известных строфах 1824 года «К морю». Образ поэта, «оплаканного свободой», все еще сохранял

свое очарование. Под этим воздействием весною 1825 года Пушкин как бы предвосхищает тему новеллы Бальзака «Обедня атеиста».

«Нынче день смерти Байрона, — писал Пушкин 7 апреля Вяземскому. — Я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее тебе». Поп Ларивон, по прозвищу «Шкода», произносил на погосте Вороиче имя мирового поэта, а опочецкие крестьянки поминали в это весеннее утро творца «Дон-Жуана» и «Каина».

Понятно удивление отца Шкоды. Насчет «божественного» он никак не сходился с «михайловским барином», которого нередко навещал. Пушкин, видимо, интересовался этим характерным народным типом попа-балагура, весельчака и приверженца «зелена вина». По словам близко знавших его лиц, он «был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь и всякие крестьянские пословицы и приговоры весьма примечательно знал». «Случалось подчас, что даже в храме, во время службы, он не мог удержаться от своих юмористических выходок, — сообщает собиратель святогорской старины, — являя собой живую фигуру в жанре монахов Рабле. Недаром его прозвали «Шкода».

В конце апреля приехал на несколько дней Дельвиг. С Пущиным речь шла главным образом о политике, тайных обществах, о Воронцове, Грибоедове. Беседы же с Дельвигом касались преимущественно поэзии: как раз в это время Пушкин готовил к изданию свой первый сборник лирики. Лучшего советчика, чем Дельвиг, трудно было найти.

Друзья-поэты перечитывали и обсуждали старинные и

новейшие поэтические тексты, спорили о Державине и читали его стихи. Много говорили о Рылееве (незадолго перед тем Пушкин получил «Войнаровского» и «Думы»). В только что появившейся «Полярной звезде» был напечатан отрывок из рылеевского «Наливайки», озаглавленный «Смерть чигиринского старосты»; он привел Дельвига в восхищение. Это стихотворение чрезвычайно понравилось и Пушкину. Он прочел другу свои новые произведения: первые главы «Онегина», несколько сцен «Бориса Годунова».

Старый михайловский биллиард из карельской березы несколько отвлекал от литературных бесед. Вечера проводили в Григорском, где на сцену появлялись альбомы в сафьяновых переплетах с золотым обрезом. Дельвиг обогатил коллекцию автографов Осиповой своим стихотворением «Застольная песня» и вписал в заветную тетрадь Анны Вульф лирические стансы. Стихи и поэт понравились тригорским затворницам. «Наши барышни все в него влюбились, — писал Пушкин Льву Сергеевичу про Дельвига, — а он равнодушен, как колода». Впрочем, через год Дельвиг написал Анне Николаевне Вульф несколько строк, которые привели ее в восхищение.

Так протекали первые месяцы в михайловском заточении. Судьба, казалось, собрала все свои силы, чтобы лишить поэта живых источников его творческой деятельности и окончательно отнять у него бодрость и вкус к жизни. Здесь он почувствовал себя впервые «вне закона», на бесплодной почве «безводного острова», затравленным «изменниками и врагами», охваченным «бешенством скуки».

Каким же образом гибель все же миновала осужденного? «Поэзия, — по словам самого Пушкина, — спасла меня, и я воскрес душой...» Невзгоды жизни снова были преодолены творческим трудом.

XIII

ЛЕТОПИСЬ О МНОГИХ МЯТЕЖАХ

Няня рассказывала поэту сказку о семи Симеонах:

«Как на том ли Окиане-море глубоком стоит остров зелен; как на том ли на острову стоит дуб зеленый, от того дуба зеленого висит цепь золотая, по той по цепи золотой ходит черный кот. Как и тот ли черный кот во правую сторону идет — веселые песни заводит, как во левую сторону идет — старые сказки сказывает».

Пушкин был в восхищении от таких устных «поэм» и запоминал их для своего ямбического пересказа.

Помимо легенд и песен, няня развлекала и своими рассказами «про стародавних бар» (как передавал поэт Языков). Арина Родионовна была от рождения крепостной Абрама Петровича Ганнибала и хорошо помнила своего первого владельца. Она была уже взрослой женщиной, когда скончался ее барин-арап, так что почти вся жизнь грозного генерал-аншефа в годы отставки была ей хорошо знакома. Пушкин в Михайловском стал собирать материалы о своем прадеде для воплощения его необычайного образа и судьбы в романе из петровской эпохи: рассказы лично знавшей его, живой и разговорчивой старушки были для него исключительно драгоценны. Отсюда возникает черновая запись 1825 года о брачных намерениях Ибрагима:

Черный ворон выбирал белую лебедушку.
Как жениться задумал царский арап.
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышень арап поглядывает...

В рассказах няни светилась простая и ясная мудрость жизни. О михайловских беседах с доброй подругой своей «бедной юности» вспоминал впоследствии Пушкин:

«...бывало — Ее простые речи и советы — И укоризны, полные любовью, — Усталое мне сердце ободряли — Отрадой тихой». Сколько признательности и какая глубокая похвала человеку в этих нескольких бесхитростных словах!

Народный говор, стиховые размеры крестьянской поэзии открывались Пушкину, быть может, еще обильнее и разнообразнее на шумных святогорских ярмарках, обычно в начале лета. В 1825 году ярмарка была в конце мая. Пушкин любил посещать эти торговые съезды и народные празднества. Он входил под арку восточных ворот монастыря, расписанную древним славянским текстом, проходил на задний двор, где в два ряда были вытянуты лавки. Тут же были раскинуты временные балаганы, а за ними на монастырском поле располагались возы. Вокруг вращались расписанные карусели, взлетали качели, шли кулачные бои. Здесь Пушкин ловил разнообразные речения и возгласы, столь нужные ему для создания «площадного и низкого» языка в массовых сценах своей трагедии. К этому он стремился по образцу испанских и английских драматургов.

Монастырский двор пестрел крестьянскими товарами. Расписная деревянная и глиняная посуда, ситец, холсты, шелк, деготь, яйца, масло — все это было живописно разложено в просторной ограде. Деревенская молодежь одевалась на эти съезды по-праздничному, и многие девушки из соседних деревень, разукрашенные серебряными монетами, возвращались отсюда невестами. Их выбор, впрочем, подлежал господскому утверждению, которое далеко не всегда имело место. «Неволя браков (в народе) — давнее зло», писал впоследствии Пушкин. «Несчастья жизни семейственной есть отличительная черта в нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа

постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный».

В противоположном конце ярмарки раздавались протяжные и печальные духовные стихи о Лазаре, о «страшном суде», об архангеле Михаиле, об Алексее человеке божьем. У западных ворот монастыря, выходивших на слободу Тоболенец, собирались странники, нищие, слепцы, калики перехожие. Богомольцы подходили к этим старцам и горбунам в лохмотьях, с посохами и на костылях. Крестьяне и крестьянки слушали, иногда со слезами на глазах, заунывные напевы, исполненные горестного и ясного народного жизнепонимания, быть может, пленявшего и поэта своей глубокой и утешительной правдой:

Тебе спасибо-удача, добрый молодец,
Что носил горюшко — не кручинился,
Мыкал горькое — сам не печалился[1],

Пушкин любил подсесть к группе народных певцов, вслушиваться в их слова и напевы, записывать их образные сказания. Он знал, что «Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре». Быть может, не одно из речений народных поэтов запомнилось автору «Русалки» и дало впоследствии свое новое цветение в дивных русских сказках — «О царе Салтане», «О золотом петушке», «О попе и о работнике его Балде».

Это чрезвычайно обогащало языковые средства поэта и раскрывало ему самые истоки народной речи. Именно в Михайловском Пушкин продумывает основные вопросы о природе своего родного слова, о его истории, судьбе и превосходных изобразительных свойствах; он признает теперь «простонародное наречье» в его сочетании с

[1] Записано в восьмидесятых годах со слов крестьянина Псковского уезда, Логазовской волости, деревни Ритома, Ефима Федорова.

книжным языком той стихией, которая «дана нам для сообщения наших мыслей».

Святогорские ярмарки познакомили поэта с различными народными типами, разнообразным укладом жизни населения, с его характерной сословной пестротой. Провинциальное купечество, мещанство монастырской слободы и безуездных соседних городков, бездомные нищие-странники, крепостное крестьянство, бесправное с «юрьева дня», — все это давало широкое представление о разных слоях народа. После Крыма, Кавказа и Бессарабии, где картины природы и нравов восполнялись поэтическими легендами и песнями, святогорская ярмарка развернула перед Пушкиным картину народной жизни, сообщавшую резкие черты и живые краски площадным сценам его трагедии.

Анна Николаевна Вульф рассказывала Пушкину о своей кузине, красавице Анне Керн, с которой поэт как-то познакомился в Петербурге у Олениных. Он не забыл своей мимолетной знакомой 1819 года, — «она слишком блистательна для этого», сказал он Анне Вульф. Оказалось, что кузины переписываются. На полях одного из тригорских писем к Анне Керн Пушкин приписал по-французски стих «Чайльд-Гарольда»: «Образ, мимолетно явившийся нам, который мы однажды видели и не увидим более никогда». Анна Керн, столь сдержанно отвечавшая Пушкину в гостиной Олениных, успела с тех пор прочесть «Кавказского пленника» и «Бахчисарайский фонтан». Это в корне изменило ее отношение к маленькому светскому балагуру, дразнившему ее нескромными намеками. У них завязалось нечто вроде переписки через третьих лиц, в шутливом тоне, в стихотворной форме. Когда однажды в июне 1825 года Пушкин пришел в час обеда в Тригорское, Прасковья Александровна предста-

вила ему приехавшую к ней погостить племянницу. Это была Анна Керн. Пушкин низко поклонился. Оба были смущены новой встречей и долго не могли прервать молчания.

Понемногу Пушкин оживился. В следующие встречи он стал разговорчив и старался развлечь общество — рассказывал сказку о поездке чорта в извозчичьих дрожках на Васильевский остров, читал «Цыган».

Поэма глубоко взволновала Керн: она лично пережила уход от «старого мужа» к молодому возлюбленному, и ее не могло не встревожить оправдание в поэме права женщины на свободное чувство —

Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?..

Через несколько дней, накануне своего отъезда, Керн посетила Михайловское, куда все тригорское общество вместе с поэтом отправилось лунной ночью в экипажах. Пушкин не повел гостей в свое «бедное жилище», а предпочел принимать их под вековыми липами ганнибаловского парка. Это было в субботу 18 июля 1825 года — дата, замечательная в истории русской поэзии. Прасковья Александровна предложила поэту показать приезжей даме свой сад. Пушкин быстро повел Анну Петровну по густым аллеям, восхищенно вспоминая их первую встречу у Олениных.

Вскоре колеса экипажей зашуршали по лесной дороге. Пушкин остался один, взволнованный и возрожденный этим необычным посещением.

Впервые запущенный «старый сад», глухое место его изгнания, посетила прекрасная, юная женщина, избалованная успехами и вызывавшая неизменное поклонение. На столе лежала веточка гелиотропа, которую поэт только что попросил у Керн на прощанье. Крепкий запах цветов чуть кружил голову. Какой прекрасной повестью

веяло от их редких жизненных встреч! В июньскую лунную ночь, в тишине старой усадьбы невидимо слагался один из величайших любовных гимнов мировой поэзии:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...

В нескольких строфах развертывается драма одной бурной жизни и мятущейся судьбы — от первой встречи, через «тревоги шумной суеты», падения и забвение, через мрак изгнания и душевное бесплодье — к великому освобождению, когда вновь воскресают в усталом сознании «И божество, и вдохновенье, — И жизнь, и слезы, и любовь...»

На другое утро, в воскресенье 19 июля, Пушкин принес в Тригорское и вручил уезжавшей Керн первую напечатанную главу «Онегина» с вложенным в книгу листком бессмертного посвящения.

В сентябре 1825 года Пушкин неожиданно получил записку из соседнего села Лямонова; у владельца поместья, опочецкого предводителя дворянства Пещурова,

остановился проездом его племянник Горчаков, бывший лицеист, теперь первый секретарь посольства в Лондоне. Он захворал в пути и хотел видеть у себя царскосельского товарища. Пушкин поторопился в Лямоново, захватив с собой рукопись «Бориса Годунова». Горчаков был одним из самых убежденных ценителей его поэзии, неутомимо переписывал еще в лицее стихи Пушкина и собирал все его творения (литературному интересу Горчакова мы обязаны поэмой «Монах», обнаруженной в 1928 году в его архиве).

Пушкин расстался с Горчаковым в 1820 году, когда тот только начинал свою государственную карьеру. Теперь его встретил совершенно сложившийся дипломат, уже прошедший свой стаж на мировых конгрессах и в первых европейских посольствах, где он вращался среди таких деятелей, как Шатобриан и Веллингтон.

Пушкин читал лицейскому товарищу отрывки из своей трагедии. Он привез в Лямоново большую тетрадь с густо исписанным заглавным листом. Своей исторической трагедии он хотел дать название в стиле средневековых «действ» или монашеских трактатов. Такие многочленные наименования прилежно выписывались киноварью и золотом с волютами и цветистыми росчерками на титульном пергаменте старинных рукописей. В пушкинской заглавной формуле на первом месте выступило чисто жанровое обозначение: «Драматическая повесть». Поэт как бы подчеркивает хроникальный характер своего произведения, наличие в нем исторического повествования, близость всего изложения к старинным анналам, точно расчисленным по датам знаменитых событий (отдельные сцены пушкинской трагедии по летописному датированы). Но за этим следует сейчас же собственно драматургическое обозначение: «Комедия о настоящей беде Московскому государству» и пр. Затем в заглавную

А. М. ГОРЧАКОВ (1798—1883).

С акварели Полнезича (1841).

формулу вводится политический момент в перечислении главных героев действия — царя и самозванца. На одной из страниц рукописи Пушкин записал старинный заголовок: «Летопись о многих мятежах». Речь идет не об одном событии, а о целой эпохе восстаний и гражданских битв. Это трагедия, охватывающая различные стадии династического кризиса, вбирающая в себя долголетнее течение смуты.

Горчаков слушал народную трагедию Пушкина без особенного увлечения. Исторические вопросы, волновавшие его друга, не вызывали сочувствия у первого секретаря Лондонского посольства. Его естественное недовольство вольными тенденциями драмы выразилось в отрицательной критике отдельных приемов и даже выражений, особенно в площадных сценах.

Автору пришлось апеллировать к Шекспиру. В Горчакове уже было нечто «воронцовское», и Пушкину он показался чрезвычайно «подсохшим» в своих дипломатических депешах и протоколах. Встреча с ним не была лицейским праздником, как недавние беседы с Пущиным и Дельвигом.

Из Лямонова Пушкин вернулся в Михайловское заканчивать «Бориса Годунова». Любимое время года — осень, проясняющая сознание и возбуждающая творческие силы, располагала к работе. Прозрачное небо над сияющими рощами, яркие пятна цветов на газонах михайловского парка. Даже в убогой рабочей комнате поэта свежие букеты с разноцветными головками на длинных стеблях. Заботливость Осиповой о Пушкине выразилась в ее стремлении как-нибудь украсить его изгнаническую жизнь, чем-нибудь оживить его «бедную лачужку». «Благодаря вам у меня всегда цветы на окне», писал ей Пушкин 8 августа 1825 года. Это внимание друга вызывало ответное приветствие. 16 октября 1825 года Пушкин срезал поздние осенние астры, большие и

яркие, и послал их П. А. Осиповой, написав на листке несколько строк посвящения:

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

В молодом тригорском обществе было много шуток, увлечений, дружеской влюбленности, «игры в любовь». Но подлинной женою Пушкина в михайловские годы и даже матерью его ребенка стала крестьянская девушка— дочь крепостного приказчика Ольга Калашникова.

Мы мало знаем о ней, но знаем наверное, что она искренно нравилась Пушкину. «Не правда ли, она мила?» с непосредственным восхищением пишет он Вяземскому, называя ее своей Эдой, по имени героини Боратынского:

Отца простого дочь простая,
Красой лица, души красой
Блистала Эда молодая.

Боратынский отмечает в ней и душевные качества: «Готовность к чувству в сердце чистом...» Об этом же свидетельствует и единственное дошедшее до нас письмо Ольги Калашниковой.

Пушкин впоследствии говорил, что законная жена — это шапка с ушами, в которую «вся голова уходит». Не такой была его михайловская подруга, работавшая над пяльцами в соседней девичьей, смиренно вышивавшая свои узоры, пока развертывались под его пером пестрые строфы «Онегина» и летописные заставки «Комедии о настоящей беде Московскому государству». Душевное спокойствие и творческая сосредоточенность были так полны, что летом 1825 года Пушкин мог написать другу Раевскому: «Я чувствую, что мои духовные силы достигли совершенной зрелости, я могу творить».

В октябре 1825 года «Борис Годунов» был вчерне закончен, а к 7 ноября переписан набело. Пушкин мог поздравить Вяземского с первой у нас «романтической трагедией», то-есть драматургическим произведением, которое сбрасывало строгие предписания придворного французского спектакля и стремилось отразить в себе само течение жизни во всей ее прихотливой пестроте, изменчивости и отрывочности. Это была борьба за отражение на сцене подлинной исторической действительности, не прикрашенной и не связанной правилами придворной поэтики. Из личных столкновений и придворных интриг встает целая эпоха, жадно вобравшая в себя «крамолы и коварство и ярость бранных непогод» (по позднейшему выражению Пушкина); за отдельными политическими деятелями выступает подлинный двигатель этих марионеток истории — народ, определяющий их движение и решающий их судьбы. В центре трагедии — идея «суда мирского» и «мнения народного».

Пушкин вложил в свою драму огромный личный опыт художника, сообщивший живые краски всем летописным и книжным данным. Польские типы трагедии — от патера Черниковского до Марины и Рузи — созданы под впечатлением недавних бесед и встреч в салоне Каролины Собаньской. Святогорские и вороничские клирики, с их веселыми прибаутками и откровенной склонностью к вину, воплотились в сочные фигуры странствующих монахов. Монастырские ярмарки, с их нищими певцами и крестьянским говором, дали материал для народных сцен трагедии с ее пестрым этнографическим составом и разнохарактерной московской толпой, за которой ощущается все население государства. Коллективный главный персонаж трагедии, самый могучий рычаг ее действия — народ русский. Смысл исторической драмы в народном мнении, выраженном лучшим представителем тогдашней письменности.

Ни Борис, ни самозванец не являются носителями той правды, которую стремился отстоять поэт. Она сосредоточена на образе, оставленном в стороне от главного потока событий и как бы пребывающем в тени. Это, как почти всегда у Пушкина, деятель мысли и слова, в данном случае старинный писатель, ученый средневековой Руси, историк, биограф и мемуарист — летописец Пимен. В первоначальной редакции его монолога еще рельефнее сказывалось художественное влечение ученого монаха к творческому воссозданию прошлого:

Передо мной опять выходят люди,
Уже давно покинувшие мир, —
Властители, которым был покорен,
И недруги, и старые друзья,
Товарищи моей цветущей жизни...

Подлинный герой Пушкина не на троне и не на коне — он в полутемной келье склоняется над хартией, без бунчука и без порфиры, но с пером в руке. Среди козней и жестокостей великой смуты он остается верен своему «книжному искусству» и «правдивым сказаниям». Над стихией мятежей и нашествий он незаметно господствует со свитком своих повестей, закрепляя для будущих поколений быстротечную смену событий, рисуя для них исторические портреты вождей, сохраняя улики времени и показания очевидца для будущего окончательного суда истории.

Это был родственный образ. Сам автор «Бориса Годунова» не раз зачерчивал в своих стихах профиль современного императора и в своей трагедии отчасти отразил в облике старинного властителя черты монарха, чья ущемленная совесть и мрачный мистицизм грозили новыми бедствиями стране и народу. Но когда Пушкин заканчивал «Бориса Годунова», Александр I умирал в Таганроге.

XIV

«В ПЕТЕРБУРГЕ БУНТ»

В последних числах ноября в глухом затишье Опочецкого уезда стали ходить слухи, что царь умирает. Это были отголоски поступавших с 17 ноября в Петербург из далекого Таганрога известий о болезни Александра I, которые вскоре приняли угрожающий характер. 25 ноября вечером семейные сообщения сменило письмо «начальника главного штаба его императорского величества» барона Дибича об «опасном положении» больного. А 27 ноября утренний молебен в Зимнем дворце о выздоровлении Александра был прерван полученным известием о его смерти, наступившей в Таганроге утром 19 ноября.

В самодержавной империи смерть царя была крупнейшим политическим событием, с которым обычно связывалось изменение всего правительственного курса. Четыре последних царствования — от Петра III до Александра — являли картину последовательной резкой смены характера управления страной. Михайловский изгнанник мог ожидать от нового самодержца изменения своей участи.

С живейшим интересом прислушивается Пушкин к известиям о событиях. Умер ли царь? Скрывают ли его смерть в Петербурге? Выясняется ли вопрос о престолонаследии? Поэт снаряжает кучера Петра в Новоржев проверить полученную весть. «Он в эфтом известьи, — вспоминал впоследствии Петр, — все сомневался, очень беспокоен был, да прослышал, что в город солдат пришел отпускной из Петербурга, так за этим солдатом посылал, чтоб от него доподлинно узнать».

Между тем, несмотря на отсутствие официальных сообщений, в обществе создается уверенность, что царь

умер и государство лишено представителя верховной власти. В столицах растет волнение, которое передается в губернии и уезды; в стране междуцарствие. Сколько оно будет длиться и к чему приведет?

В начале декабря Пушкин начинает подумывать о тайной поездке в Петербург для переговоров с братом и друзьями о своей дальнейшей судьбе. Озабоченность высшей администрации сменой царствований могла бы отвлечь внимание властей от такой самовольной отлучки ссыльного. Но в это время (около 5 декабря) до Пушкина доходит официальное сообщение о смерти Александра I и о присяге сената на верность «его императорскому величеству Константину Павловичу». Необходимо было отказаться от риска и ждать дальнейших событий.

Рабочий стол поэта освободился от рукописей «Бориса Годунова». Какой новой работой заполнить это томительное затишье Опочецкого уезда? Пушкин раскрывает Шекспира. Он перечитывает его лироэпическую поэму «Лукрецию», в которой излагается легендарный повод смены властей в Риме.

Но историософия древних летописцев и поэтов — Тита Ливия и Овидия, которым следовал в своей поэме Шекспир, представляется Пушкину слишком сказочной и фантастичной. Согласно этой версии, Секст Тарквиний предательски овладел женою своего друга Коллатина, целомудренной матроной Лукрецией, не сумевшей преодолеть насилия и в отчаянии заколовшейся. Возмущение Коллатина и его друга Брута вызвало бегство Тарквиния со всем его родом из Рима. «Что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? — ставит вопрос Пушкин. — Брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те».

И вот, в период междуцарствия, наступившего в России, Пушкин решает «пародировать историю и Шекспи-

ра». Он вспоминает кстати «соблазнительное происшествие», которое случилось недавно по соседству в Новоржевском уезде, и в два утра, 13 и 14 декабря, пишет шутливую поэму «Новый Тарквиний», впоследствии переименованную в «Графа Нулина».

Короткая повесть замечательна живыми и верными картинами поместного быта Псковской губернии — сборов на охоту, усадебного хозяйства, забот и развлечений помещицы. Здесь обрисована и библиотека Тригорского с многотомными старинными романами, которыми зачитывалась в молодости Прасковья Вындомская; и рог на бронзовой цепочке, который незадолго перед тем подарил Пушкину один из его соседей по имению. Картина получилась живая, внешне комическая, а по существу безотрадная, поскольку она вскрывала всю безнадежную пустоту этой среды, такой же неприглядной, как изнанка ее парадного быта. В забавных стихах чувствуется местами горестное участие к тем,

Кто долго жил в глуши печальной...

В своей шутливой повести Пушкин отчасти исходил из пародийной поэмы Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон», представлявшей собою карикатуру на Василия Львовича Пушкина. Автор «Графа Нулина» чрезвычайно ценил эту шутку Дмитриева и впоследствии даже предполагал дать о ней статью в «Современнике». В образе российского графа, увлеченного европейскими модами, чувствуется отражение остро очерченного Дмитриевым типа «русского парижанца» с его пристрастием к модным фракам и последним новинкам книжного рынка.

Работа над «Новым Тарквинием» не отрывает Пушкина от посещений Тригорского, где он попрежнему бывает почти ежедневно.

15 декабря семья Осиповых собралась вечером в гостиной. Пушкин с друзьями обсуждали доходившие до них слухи о странном новом царе Константине I, который продолжал жить в Варшаве и отказывался от короны. Неожиданно хозяйке доложили, что спешно вернулся из Петербурга посланный туда за провизией повар Арсений и рассказывает о каких-то необыкновенных происшествиях. Общество насторожилось. Вызванный в гостиную Арсений сообщил, что «в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и сломя голову [1] прискакал в деревню...»

Это был первый очевидец событий 14 декабря, с которым беседовал Пушкин. Известие поразило поэта. Очевидно, пришли в действие скрытые пружины тайного общества, работу которого он так явственно ощущал в Петербурге, Каменке, Кишиневе. Недомолвки Пущина, откровенные высказывания майора Владимира Раевского, речи Михаила Орлова, Николая Тургенева, Якушкина, Василия Давыдова, решительные мнения Пестеля и Сергея Волконского — все это неожиданно слагалось теперь в единое движение и связывалось с ошеломляющей вестью о восставшей столице. Пушкин страшно побледнел (по свидетельству М. И. Осиповой) и заговорил о тайном обществе.

В состоянии глубокой задумчивости он вернулся в Михайловское. В Петербурге бунт! Не раскрывалась ли ему снова, как четыре года перед тем, в Каменке. «высокая цель», способная облагородить целую жизнь? Со свойственной ему стремительностью решений Пушкин собрался в дорогу.

Но этой порывистой внезапности намерений соответствовала и резкая изменчивость его характера. Поэт

---

[1] Это дает возможность датировать момент, когда Пушкин узнал о восстании декабристов. При быстрой езде расстояние от Петербурга до Тригорского покрывалось в 30—35 часов.

нередко поражал окружающих быстрой сменой своих настроений и поразительными переломами в своем поведении. Так случилось и на этот раз. Доехав до погоста Врева, Пушкин изменил свое решение. Полная неосведомленность о ходе событий, а главное — о результатах восстания должна была остановить его. При неудаче петербургских друзей шаг его мог оказаться для них бесполезным, а для него самого безнадежно гибельным. Не юношеской бравадой нужно было реагировать на большие исторические события, развернувшиеся в Петербурге, а разумным и зрелым шагом. Положение вещей обязывало спокойно выжидать. Пушкин совладал с первым порывом и вернулся в Михайловское.

А через день или два он уже читал манифест о воцарении Николая I, опубликованный в газетах 16 декабря. Междуцарствие окончилось. Только через три дня был напечатан отчет о событиях 14 декабря, сообщавший о возмущении рот Московского полка, построившихся под начальством семи или восьми обер-офицеров в батальон-каре перед сенатом. «Виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость... Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками бывших беспорядков».

Вскоре стали известны имена арестованных. В последних числах декабря Пушкин с глубокой болью прочел в перечне «важнейших государственных преступников» имена своих товарищей, задушевных собеседников. На первом же месте: «в чине подпоручика Кондратий Рылеев, сочинитель». Это был прямой и смелый поэт, лишь месяц назад призывавший Пушкина к мужеству и борьбе: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин». Несколько ниже в списке — имя соредактора Рылеева по «Полярной звезде» и его лучшего друга: «Адъютант герцога Виртембергского Бестужев». Живой и остроумный кор-

респондент Пушкина, тонкий и культурный критик, автор увлекательных повестей, Бестужев-Марлинский всегда пленял его «краснопречьем сердечным», «кипучестью мысли», «необыкновенной живостью» [1]. Совсем недавно — 30 ноября — поэт спрашивал его о Якубовиче, «герое своего воображения». И вот холодный ответ власти на этот дружеский вопрос: «Нижегородского драгунского полка капитан Якубович, провинившийся в злодейском намерении».

Но самое страшное значилось в конце зловещего списка: «Коллежские советники Пущин, приехавший из Москвы, и Вильгельм Кюхельбекер, безумный злодей, без вести пропавший». Это был удар по братьям, по друзьям-лицеистам, по товарищам детских игр и школьных треволнений. В этих именах история уже непосредственно задевала его самого, грозя и причиняя глубокую боль.

1826 год наступал среди всеобщей подавленности и тяжелых предчувствий. Начались аресты. Втихомолку, но повсеместно только и говорили, что о Петропавловской крепости, о личных допросах арестованных царем, о следственной комиссии и предстоящих карах. Пушкин бросил в огонь свои записки, которые вел с 1821 года. Беглые характеристики, отрывки разговоров, зарисовки выдающихся современников в Кишиневе, Каменке, Одессе — все эти непосредственные записи были принесены в жертву времени.

Углубленное и зоркое восприятие поэтом действительности нередко приводило его к безошибочному определе-

---

[1] «Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты, — писал в свою очередь Бестужев в 1825 году, — язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучьи стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом».

нию надвигающихся событий. Элегия о французской революции, написанная весною 1825 года, оказалась в свете последующих событий верным предвиденьем декабря. «Пророк свободы» — метко назвал впоследствии Пушкина Языков, узнавший его как раз в 1826 году, и сам автор «Андрея Шенье» признавал за своим творчеством такое значение (в письме к Плетневу от 3 марта 1826 г. Пушкин писал: «Ты знаешь, что я пророк»). В современной политике такие чуткие и точные предсказания се дальнейшего хода напоминали легенды о прорицаниях библейских мудрецов. «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, — писал впоследствии Пушкин. — Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем...» В 1826 году Пушкин сближает эту повышенную впечатлительность и острую зоркость поэта с даром «боговдохновенных» прорицателей древнего мира. Высшая обостренность зрения и слуха при неугасимом пылании сердца — вот что открывает гениальному избраннику все звучания, все движение, весь сокровенный трепет вселенной и одновременно обогащает его даром воспламенять человеческие души своим огненным словом. Это вызывает у Пушкина, быть может, самый сильный и прекрасный стих во всей русской поэзии:

Глаголом жги сердца людей.

Такой строкой заканчивалось стихотворение «Пророк»[1].

---

[1] Известный вариант «Восстань, восстань, пророк России», отсутствующий в рукописях Пушкина, едва ли можно рассматривать, как продолжение «Пророка» (первые сведения об этой строфе появились лишь в 1880 г.). Следует признать весьма убедительным указание Б. Мейлаха на близость строфы о «пророке России» к стихотворению Кюхельбекера «Пророчество», где имеются строки: «Восстань, восстань, пророк свободы, — Воспрянь, взвести, что я вещал!..» («Пушкин и русский романтизм», стр. 181.)

Н. М. ЯЗЫКОВ (1803 — 1846).

Литография с портрета А. Д. Хрипкова (1828).

Языков, кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое! (1826)

Но жизнь продолжалась. В «татьянин день», 12 января, в Тригорском справляли семейный праздник — именины Евпраксии Вульф. Пушкин присутствовал на торжестве. Оно имело для него значение и как новый бытовой материал для только что начатой пятой главы «Онегина». В гостиной «Тригорского замка» поэт мог наблюдать все уездное общество и свободно «чертить в душе своей карикатуры всех гостей». По свежим и непосредственным наблюдениям он дает в очередной главе своего романа развернутую картину сельского бала и галлерею провинциальных типов: здесь и «хозяин превосходный — владелец нищих мужиков», и «чета Скотининых», и «отставной советник Флянов, — Тяжелый сплетник, старый плут, — Обжора, взяточник и шут». Все это, несомненно, характерные фигуры псковских душевладельцев. Безнадежное мнение о российском дворянстве, которое Пушкин за два-три года до того высказывал в Кишиневе, нисколько не изменилось к лучшему. Он выводит представителей поместного круга, как пустых, нелепых и жестоких паразитов.

Словно в параллель к гротескным фигурам Пушкин изображает в этой главе старинную картину, висевшую в гостиной Вульфов, где собирались на семейные торжества господа Рокотовы и Пещуровы — «Скотинины» и «Фляновы». Это было «Искушение святого Антония» школы Мурильо: «перед св. Антонием представлен бес в различных видах и с различными соблазнами». Вспоминая эту картину, Пушкин, как сам сознавался хозяйкам, «навел чертей в известный сон Татьяны». Многое в этом описании исходило от родных сказаний, но предания русской старины и мотивы разбойничьих песен здесь сочетаются с какими-то зловещими образами европейской фантастики.

Не успели отпраздновать именины Евпраксии, как узнали о новом событии. В приказе начальника штаба ба-

рона Дибича от 8 января объявлялось о возмущении на юге Черниговского полка. Мятежная часть была окружена правительственной конницей; главный зачинщик и возбудитель восстания подполковник Муравьев-Апостол был взят в плен после тяжелого ранения.

Это был ближайший родственник, «кузен» Прасковьи Александровны Осиповой, тот самый Сергей Иванович Муравьев-Апостол, который подарил ей в 1816 году черный сафьяновый альбом, украшенный теперь автографами Пушкина и Дельвига. Политическая хроника эпохи становилась семейной драмой передового русского дворянства.

С начала 1826 года Пушкин в переписке с друзьями стремится выяснить перспективы своей участи.

В феврале Плетнев сообщает ему поручение Жуковского, «чтобы ты написал к нему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь играть словами, которые противоречили бы всеми принятому порядку. После этого письма он скоро надеется с тобою свидеться в его квартире». Пушкин почти буквально выполняет это указание, а в мае 1826 года, снова по совету друзей, обращается к Николаю I с просьбою о позволении выехать для лечения в столицы или Европу.

В июне в Тригорское приехал вместе с Алексеем Вульфом и долгожданный Языков. Студент философии, изучавший «этико-политические науки», мог сообщить Пушкину новые знания, которые так ценились поэтом-скитальцем и вечным слушателем живых «университетов». Языков жил в Дерпте, «любя немецкие науки и немцев вовсе не любя...» Он слушал курсы по государственным и экономическим дисциплинам, проходил историю живописи и архитектуры, эстетику, русскую литературу. Все это оживляло его беседы с Пушкиным.

Языков приехал в Тригорское в самые тяжелые дни политической жизни страны: к первому июня было закончено следствие над декабристами и начался Верховный уголовный суд. Угрозы тягчайших кар, провозглашенные в манифестах, вызывали всеобщую подавленность и тяготили безнадежностью ожиданий. Молодежь Тригорского, естественно, не могла питаться исключительно политической хроникой и жить только мрачными предчувствиями. Дерптские студенты и тригорские девушки увлекали Пушкина в прогулки, пирушки под открытым небом, в атмосферу песен, вина и стихов; это был шум молодой жизни, заглушающий на время тяжкий и неуклонный шаг зловеще слагающейся истории.

Но ни беззаботности, ни беспечности летом 1826 года Пушкин и Языков не испытывали... Ни «брашна» Арины Родионовны, ни жженка Зины Вульф не могли отвлечь от основной заботы, от главной думы о судьбе друзей, братьев, товарищей. «Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю», писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 года. Неизменная независимость воззрений Пушкина от позиций царизма ощущалась всеми окружающими и вызвала характерный отзыв о нем Языкова: «Вольномыслящий поэт — наследник мудрости Вольтера...» С этих позиций Пушкин воспринимал и возникающую николаевскую государственность.

Студенческим увлечением «вольностью высокой» был охвачен и молодой Языков. Дерптский студент был настроен весьма радикально, любил воспевать «реку, где Разин воевал». Он выступал против феодальных и церковных основ Российской империи, рад был жить в атмосфере, сохранявшей некоторые черты автономии, в стране, «где поп и государь не сковали муз», «где царь и глупость — две чумы еще не портят просвещенья», где вольный гений «не привязан к самодержавному столбу». Он любил в своих стихах презрительно шутить над

К. Ф. РЫЛЕЕВ (1795—1826).

С рисунка неизвестного художника двадцатых годов.

На рисунке Булгарин сделал надпись: «Портрет Кондратия Федоровича Рылеева, найденный после его смерти в принадлежавшей ему книге и подаренный мне его женою».

знатью и царем, не уважать «дурачеств и в короне». Неудивительно, что в самом начале 1826 года Языков пишет сатирические строфы «Вторая присяга», в которых отмечает разительную весть, «Что непонятная судьбина — Не допустила Константина — С седла на царство пересесть». Можно не сомневаться, что разговоры «пирующих студентов» летом 1826 года обильно питались современной политической трагедией. Особенно волновала их судьба Рылеева.

Около 20 июля Языков уехал в Дерпт. В провинции это еще были дни тревожного ожидания развязки декабрьской драмы. Пушкин в своих письмах не переставал высказывать надежды на «милость» в отношении заговорщиков.

24 июля в опочецкое затишье пришел приговор Верховного суда. К вечной или долголетней (преимущественно на двадцать лет) каторге были присуждены Пущин, Кюхельбекер, Николай Тургенев, Александр Бестужев, Никита Муравьев, Сергей Волконский, Якушкин, Лунин, Одоевский (большинство из них первоначально было приговорено к смертной казни через отсечение головы). Это был разгром целого общества в лице самых передовых его представителей.

Одновременно протокол сообщал и о царской «милости», обращенной к «Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому»: вместо мучительной смертной казни четвертованием «сих преступников за их тяжкие злодеяния — повесить». В высочайшем манифесте указывалось, что «преступники восприняли достойную их казнь...»

Этот неожиданный приговор оказал потрясающее действие на русское общество, «словно каждый лишался своего отца или брата». Погибали друзья, родные, близ-

кие, юные смелые люди, полные энергии, мужества, творческих дарований. В Тригорском раскрыли печальную реликвию: черный сафьяновый альбом, подаренный некогда Сергеем Муравьевым-Апостолом своей псковской кузине. Под первой записью Прасковьи Александровны следовали две французские строчки Сергея Муравьева: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти. Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым. 16 мая 1816 г.» Через десять лет героический предводитель восставших черниговцев доказал правдивость этой альбомной записи. В начале августа у Языкова гневно вырвались поминальные строки:

...Рылеев умер, как злодей,
О вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Пушкину вспоминались его встречи и беседы с пятью казненными. Так недавно еще вел он с Пестелем в Кишиневе увлекательные философские споры, с юношей Бестужевым-Рюминым встречался в кабинете Оленина, с Муравьевым-Апостолом и Каховским общался в среде петербургских «молодых якобинцев», с Рылеевым был в близкой творческой дружбе, в постоянной переписке.

Сколько бодрости, сколько веры в его силы и в его будущее исходило от этих рылеевских почтовых листков и какую отраду проливали они в унылую тишину его «опального домика»!..

Урна Байрона, урна Андре Шенье уже получили венки надгробных строф... Известие о смерти Рылеева застало Пушкина за работой над шестой главой «Онегина», где он как раз изображал бессмысленное убийство молодого поэта. Рассказ об этой прерванной жизни приобретает

новый тон, личная горесть звучит в вопросе: «Друзья мои, вам жаль поэта?»

В стихах о смерти Ленского, где намечается безотрадная перспектива медленного разложения поэта в бытовой повседневности, слышится все же и отзвук томительных переживаний Пушкина в дни, когда, узнав о казни пяти революционеров, он рисовал на своих рукописях виселицы с повисшими телами, мысленно и к себе применяя возможность такой гибели... В черновиках этих строф он высказывает мысль, что его Ленский мог итти в жизни особыми опасными путями поэтов — он мог бы умереть «в виду торжественных трофеев»,

Иль быть повешен, как Рылеев...

Вслед за вестью о петербургской казни Пушкин узнает о смерти Амалии Ризнич.

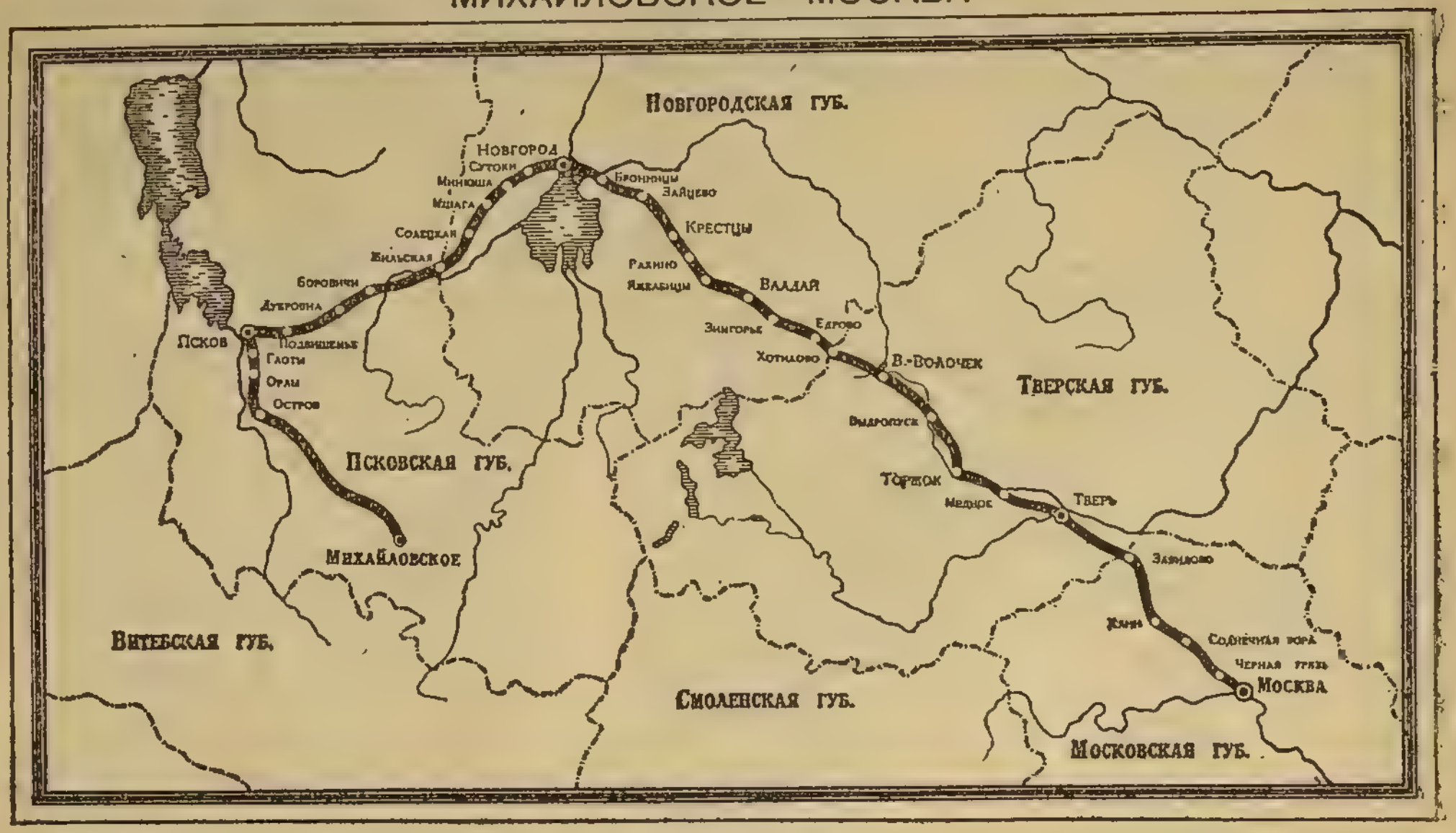
По кратким зашифрованным записям поэта можно заключить, что это известие дошло до него 25 июля 1826 года с запозданием на год: Ризнич умерла в июне 1825 года. Сообщение о смерти любимой женщины, к собственному изумлению Пушкина, не вызвало в нем отчаяния. Сказалось ли в этом гнетущее впечатление от полученной накануне страшной вести о казни, или прошедшее двухлетье успело угасить в сердечной памяти близкий некогда образ, но только стихотворение «Под небом голубым» (озаглавленное в рукописи «29 июля 1826 г.») отличалось холодной ясностью ранней осени:

Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

Но уже через несколько дней Пушкин нашел слова исключительной проникновенности для этой «легковерной тени» и оставил в рукописях «Онегина» одну из са-

НАРТА ПУТИ

МИХАЙЛОВСКОЕ—МОСКВА



—1826 г.—

мых драматических строф всего романа, звучащую горькой жалобой и глубокими нотами «Реквиема»:

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!

Где-то на генуэзском кладбище высилась белоснежная гробница Амалии Ризнич, а в далеком северном уезде слагались бессмертные эпитафии, которым суждено было увековечить ее имя не на мраморной плите Кампо-Санто, но в прекраснейших элегиях русской поэзии.

В тягостных раздумьях поэт доживал это душное лето 1826 года. С отъездом дерптских гостей общество его снова составляли старая няня и тригорские приятельницы.

3 сентября, в полночь, Пушкин вернулся от Осиповых и застал у себя только что прибывшего курьера от псковского гражданского губернатора. В краткой записке фон-Адеркас сообщал о «высочайшем» разрешении по «всеподданнейшему» прошению Пушкина и предлагал немедленно же прибыть в Псков. В приложенной копии отношения начальника главного штаба барона Дибича к Адеркасу между прочим значилось: «г. Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде аре-

станта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться к дежурному генералу главного штаба его величества».

Таким порядком — в сопровождении фельдъегеря и для доставки в главный штаб императора — возили арестованных по политическим преступлениям. Понятны слезы няни и ужас Анны Вульф. Процедура «увоза» была похожа не на «разрешение», а скорее на приказ, и не столько предоставляла возможность располагать собой, сколько предписывала беспрекословное повиновение.

Но Пушкина и в эту минуту не оставляет его сознание поэта; он увозит с собой в неизвестность и, может быть, в новые скитания и заточения самую драгоценную часть своего «бедного» бытия: рукописи «Онегина», «Бориса Годунова», «Андрея Шенье».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЕРХОВНЫЙ ЦЕНЗОР

Москва гудела от несметных толп, собравшихся на редкостное зрелище коронационных празднеств. Тройка с трудом пробиралась сквозь плотную массу народа, запрудившего все проезды к Кремлю. С помощью конной полиции и казаков фельдъегерский экипаж докатился до канцелярии дежурного генерала императорского штаба. Должность эту выполнял один из членов следственной комиссии по делу 14 декабря генерал Потапов.

Он принял Пушкина с официальной сдержанностью, подобающей члену верховного политического органа, и немедленно же написал о новоприбывшем отношение начальнику штаба. Вскоре бумага вернулась с небрежной резолюцией Дибича: «Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни».

Пушкин был доставлен к Дибичу. Это был видный боевой генерал и ставленник Аракчеева на высших административных постах, вошедший теперь в большую

силу: он присутствовал при смерти Александра I и раскрыл заговор на юге России.

Наружность Дибича никак не соответствовала его внушительной государственной известности. Пушкин увидел перед собой малорослого человека с тучным корпусом на толстых ногах и с большой головой на короткой шее. Пронзительный взгляд и растрепанные зачесы придавали ему вид хохлатого хищника. Он еле взглянул на поэта, считая его, вероятно, весьма подозрительным «фрачником», и отдал краткое распоряжение. После новых закулисных действий «чиновник 10-го класса» Александр Пушкин был проведен в покои его величества.

Несмотря на умение позировать и разыгрывать венценосца, новый царь еще не вполне вошел в свою роль. Подавленность событиями последнего года, тревога и растерянность явственно ощущались под натянутой маской величественного спокойствия. Ни очистительный молебен по поводу пяти повешенных, ни фантастическая пышность коронации не могли сгладить в обществе тяжелого и мучительного впечатления от всего пережитого. Это вызывало ответную настороженность и подозрительность. «Император был чрезвычайно мрачен, — сообщает один из очевидцев московских торжеств, — вид его производил на всех отталкивающее действие».

Николай I был немногим старше Пушкина. Сухой, длинный, безусый, с прямым профилем и тяжелым взглядом, он проявлял в разговоре решительность, властность, деспотичность.

Знаменитый русский поэт по многим причинам занимал и заботил его. Николай I вообще не признавал поэзии, но имя Пушкина было известно ему задолго до последнего следствия. Пушкин-лицеист не раз привлекал внимание царской семьи, Пушкин-ссыльный уже несомнен-

но был известен Николаю. Сохранилось свидетельство о его «литературной» беседе со своим старшим братом как раз в этот период: «Прочел ли ты «Руслана и Людмилу»? — спросил его однажды Александр. — Автор служит по Коллегии иностранных дел, — это негодяй, одаренный крупным талантом».

Эта высочайшая оценка запомнилась Николаю. Уже в июле 1826 года было произведено особое расследование в Псковской губернии о «поведении известного стихотворца Пушкина», который, по слухам, возбуждал к вольности крестьян. Тайный розыск не подтвердил подозрений правительства, но как раз в это время до сведения властей дошли списки элегии «Андрей Шенье» с выпущенными цензурою стихами: «Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор» и пр. Если вспомнить, что 13 июля были казнены декабристы, а отрывок из элегии Пушкина распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря», — станет понятным возникший в августе 1826 года чрезвычайно острый интерес правительства к поэту. На прошении Пушкина о сложении с него опалы Николай I через несколько дней после своего коронования налагает резолюцию о доставке Пушкина в Москву. Он решает лично допросить поэта и по мере возможности использовать в своих целях его необычайную популярность.

Имя Пушкина в середине двадцатых годов, когда к «Руслану и Людмиле» уже присоединились две южные поэмы и первая глава «Евгения Онегина»[1], было силой, с которой новое правительство должно было всемерно считаться. Пушкин пользовался исключительным признанием прежде всего в литературной среде, которую он, бесспорно, возглавлял даже в своем изгнании. «Имя твое

---

[1] Вторая глава «Евгения Онегина» вышла из печати в октябре 1826 года, «Цыганы» и «Братья разбойники» — в 1827 году.

сделалось народной собственностью», констатировал Вяземский в сентябре 1825 года. «Тебе первое место на русском Парнасе», писал ему Жуковский в 1824 году. «У тебя в руке резец Праксителя», отзывается на первую главу «Онегина» Бестужев. Рылеев преклоняется перед этим чудотворцем и чародеем. Для Языкова он один — «Вольтер и Байрон и Расин». Измайлов пишет ему в сентябре 1826 года: «Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса...»

Правительство Николая I, пришедшее к власти в момент военного восстания, сочло необходимым сделать жест великодушия по отношению к крупнейшему поэту страны, несмотря на то, что наличие революционных строф Пушкина в бумагах «государственных преступников» необычайно подчеркивало широкое пропагандное значение его поэзии. Вызов его из ссылки для политического допроса был превращен царем в средство некоторой дани подавленному общественному мнению после виселицы 13 июля и разгрома передового дворянства. Высочайшее прощение национального поэта в самый разгар коронационных празднеств было, видимо, рассчитано на такое впечатление и должно было сыграть роль обычных широких амнистий, сопровождавших манифесты о вступлении на престол (на этот раз, как известно, царская милость была простой видимостью). Всесторонне осведомленное о близости Пушкина к декабристам и не питающее никаких иллюзий насчет его верноподданности, правительство Николая I решает все же предпринять неожиданную диверсию «высочайшего прощения» с расчетом на определенный публичный эффект.

Для этого необходимо было тонко разыграть сцену «прощения» и прежде всего пленить самого поэта. Николай I умел играть. Это был актер, питавший больше вкуса к театральным эффектам, чем к событиям исторической драмы, писал впоследствии Гизо. Еще наследником

он проявил свой вкус к французской сцене и сам стал пробовать силы в легком жанре. Он даже взял несколько уроков у первых артистов французской комедии — Сенфаля и Батиста, научивших его декламировать стихи Мольера, Реньяра и Детуша. Во время следствия над декабристами он обнаружил исключительную способность применяться к личным свойствам каждого подследственного, всячески разнообразя способы воздействия — от крайней строгости и устрашения до притворной мягкости и фальшивой ласки. Эту гибкость необходимо было в полной мере проявить и в первой беседе с поэтом. Роль была, несомненно, тщательно продумана и четко намечена. Предстояло разыграть нечто вроде модного тогда «Титова милосердия» — трагедии Метастазио, на текст которой была написана популярная опера Моцарта: римский император великодушно прощает заговорщиков-патрициев и заменяет им кару отеческими наставлениями. Таким «милосердным Титом» решил явиться Николай I перед первым писателем своей страны.

Сложны были и чувства Пушкина в день 8 сентября 1826 года. Он, конечно, стремился вырваться из заточения, но не любой ценою — предельной уступкой для него был отказ от антиправительственной пропаганды. Внутреннюю свободу своих убеждений он тщательно оберегал и рассчитывал, что сможет сохранить независимость. Всякое сотрудничество с палачом Рылеева и Пестеля для него было исключено (в письме к Вяземскому он ясно дает понять, что никакого прошения на высочайшее имя он после 13 июля не подал бы). К самому себе он хотел и мог применить свои недавние строки:

Гордись и радуйся, поэт!
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет!
Ты проклял мощного злодея...

В состоянии такой внутренней борьбы и с такими иллюзиями о возможности «безвозмездного» прощения Пушкин вступил в кабинет нового царя.

Поэт почти ничего не записал об этом свидании, кроме двух-трех строк в письмах к Осиповой и Языкову (о «любезности» приема и о решении царя быть его цензором). Рассказы о встрече в Кремле, записанные другими лицами, не могут считаться вполне достоверными. Но свидетельство второго собеседника, самого Николая I, представляет значительный интерес. Его известный рассказ Модесту Корфу свидетельствует, что поэт держал себя в эту трудную минуту с исключительным мужеством. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. — «Стал бы в ряды мятежников», отвечал он». Так же примечателен и другой момент этой беседы: на вопрос царя, «переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и действовать иначе, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим».

Дополним эти скудные сведения рассказом о первой беседе царя с Пушкиным, не известным до сих пор в русской литературе. Он был сообщен Николаем I одному из «остроумнейших европейских дипломатов» (так впоследствии характеризовал его Бальзак), князю Козловскому, который пользовался признанием и в русских литературных кругах (он был впоследствии сотрудником пушкинского «Современника»). О нем сохранились весьма хвалебные отзывы Вяземского, Плетнева и даже Пушкина, который обратился к нему с фрагментом:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов Англии, любовник муз латинских...

Знаток римских поэтов, Козловский особенно ценил

Ювенала и горячо рекомендовал Пушкину переводить его. Естественно, что он интересовался биографией знаменитого русского поэта, а как видный дипломат получил возможность беседовать на эту тему и с царем. Разговор с Николаем I он занес в свой дневник, откуда эта страница попала в шестидесятых годах во французскую печать. Официально почтительный в отношении царя тон этого рассказа не заслоняет общей достоверности изложенного.

«Пушкин легко отклонил подозрения, которые в разных случаях проявлялись относительно его поведения и которые были вызваны приписанными ему неосторожными высказываниями; он изложил открыто и прямо свои политические убеждения, не колеблясь заявить, что, если бы и был адептом нововведений в области управления, он никогда не был сторонником беспорядка и анархии. Он с достоинством и искренностью приветствовал императора за мужество и великодушие, проявленные им на глазах у всех 14 декабря[1]. Но он не мог не выразить своего сочувствия к судьбе некоторых вождей этого рокового восстания, обманутых и ослепленных своим патриотизмом и которые при лучшем руководстве могли бы оказать подлинные услуги своей стране.

Николай выслушал его без нетерпения и отвечал ему благосклонно. Заговорив в свою очередь об этом ужасном заговоре, который подготовлял цареубийство, крушение общественного порядка и отмену основных законов империи, он нашел те красноречивые и убедительные слова, которые глубоко тронули Пушкина и взволновали

---

1 Такова была, вопреки фактам, официальная версия. Возможно, что в беседе с царем ее нельзя было миновать. В рассказе Николая I, записанном Модестом Корфом, имеется аналогичное место.

его до слез. Император протянул ему руку и проникновенным голосом сказал:

«Я был бы в отчаянии встретить среди соучастников Пестеля и Рылеева того человека, которому я искренно симпатизировал и которого теперь уважаю от всего сердца. Продолжайте оказывать честь России вашими произведениями и считайте меня своим другом».

Император прибавил, что он разрешал ему отныне жить в обеих столицах или в любом другом месте государства, по собственному выбору; он прибавил к этому, что произведения Пушкина будут иметь отныне единственным цензором самого царя» [1].

Рассказ этот, записанный со слов самого Николая, естественно, выставляет его в самом выгодном свете, но в основном, поскольку он поддается сверке с другими данными, его следует признать во всяком случае весьма близким к истине.

Основной расчет правительства на общественный эффект «царской милости» оказался безошибочным. Коронационная Москва, занятая празднествами и официальной суетой, отметила возвращение поэта, как крупнейшее событие.

Но некоторые «жесты» императора встретили критику в писательской среде: «Государь обещался сам быть его цензором, — писал вскоре Вяземский. — Какое противоречье! Одно из двух: или цензура притеснительна, тогда отмени ее, или она истинный страж, не пропускающий заразы, и тогда как можно давать кому-нибудь право миновать ее?»

Противоречий в новых взаимоотношениях поэта с верховным правительством было, действительно, немало.

---

[1] Paul Lacroix, Histoire de la vie et du règne de Nicolas I. P., 1864, II, 398—399.

Поэт почувствовал себя в ловушке и сразу же решил отстаивать во что бы то ни стало свою внутреннюю независимость.

Торжественную пышность царского кабинета сменяют домашние пенаты московского писателя и ближайшего родственника — Василия Львовича. Завезя вещи в гостиницу «Европа», Пушкин отправился в дальний район Москвы, где провел свои детские годы, — на Старую Басманную. Здесь доживал свой век, уже приближаясь к седьмому десятку, некогда столь резвый творец Буянова.

Василий Львович сильно постарел. Он страдал подагрой, поседел, облысел, задыхался, еле двигался, но сохранил в неприкосновенности свой культ поэзии и дар остроумной беседы. В последнее время он несколько дулся на племянника за сатирическую эпитафию его любимой сестре: «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна», где сильно доставалось и ему. Но «арзамасский староста» не умел долго сердиться, особенно на племянника-поэта, пред гением которого преклонялся. С удивительной молодостью сердца и свежестью умственных интересов Василий Львович старался не отставать от новейшего движения поэзии, интересовался романтизмом, писал «подражания Байрону», готовился дать повесть в стихах. Приезд к нему Александра, к тому же освобожденного от ссылки, был для старика подлинным праздником. Ребенок, учившийся некогда стихам по его басням и сказкам, мальчик, которого он отвозил к министру на вступительный лицейский экзамен, стал автором «Евгения Онегина», первым русским поэтом, пред обаянием имени которого склоняется вся страна.

Василий Львович усадил племянника за ужин и повел с ним живой, игривый французский диалог, в котором — сквозь все увлечения новейшей поэзии — мерцали тон-

кие и изысканные афоризмы XVIII века. Это был, как сказано в последней главе «Онегина»,

Старик, по-старому шутивший
Отменно тонко и умно, —
Что нынче несколько смешно.

Здесь Пушкин принял своего первого московского гостя — Соболевского, друга Льва Сергеевича по царскосельскому благородному пансиону и ученика Кюхельбекера, Куницына и Галича. Это был гигант, богач, кутила, но одновременно страстный книголюб, преданнейший друг писателей, выдающийся языковед и даровитый эпиграмматист (многие экспромты Соболевского приписывались Пушкину). С бала у французского посла маршала Мармона, где Николай демонстрировал «Титово милосердие», то-есть сообщил Блудову, что беседовал «с умнейшим человеком в России», — Соболевский немедленно же бросился к Василию Львовичу разыскивать поэта. Старинные приятельские отношения были сразу закреплены и вскоре перешли в близкую дружбу. Соболевский, с его практическим умом и властным характером, оказал несколько крупных услуг своему новому приятелю. Он начал с того, что умело расстроил поединок поэта с Толстым-Американцем; Пушкин чуть ли не с первых же слов пригласил Соболевского в секунданты. Этот мимолетный эпизод свидетельствует лишь о том, как мучительно переживал поэт «неотразимые обиды» 1820 года.

Вместо дуэли Соболевский предпочел устроить у себя первую встречу Пушкина с его старыми друзьями и молодыми почитателями. Уже через день после приезда, 10 сентября, поэт читает у Соболевского «Бориса Годунова». Здесь он встречается с Чаадаевым, только что вернувшимся из длительного путешествия по Европе, пережившим немало внутренних бурь с 1820 года, надломленным и болезненно разочарованным в людях, обще-

стве и даже в смысле своего существования. Здесь же были Михаил Виельгорский и молодые любомудры — поэт Веневитинов (отдаленный родственник Пушкина по бабушке Чичериной) и Иван Киреевский. На другой день Веневитинов познакомил его с молодым историком Погодиным.

В обществе московских знакомых — Соболевского, Погодина, Мельгунова — Пушкин отправился 16 сентября смотреть большое гулянье на Девичьем поле. «Сегодня у нас большой народный праздник, — не без иронии сообщает Пушкин Осиповой. — На Девичьем поле расставлены столы на три версты; пироги приготовлены саженями, как дрова; испеченные несколько недель тому назад, они представят большую трудность для глотания и переваривания, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтоб смочить их...» В обществе шли толки, что царь будет раздавать крепостным отпускные и награждать деньгами государственных крестьян.

Поэт увидел посередине огромного поля круглый павильон — «ротонду в стеклах и с камином для их императорских величеств», как сообщали официальные реляции. От центрального здания тянулись во все стороны четыре галлереи с колоннами для дипломатического корпуса, придворных, высших сановников и генералитета. В особой галлерее для зрителей разместились приехавшие литераторы. Отсюда была видна вся площадь, уставленная длинными столами, на которых сгрудились яства: цельные жареные бараны с позолоченными рогами и посеребренной головой, разноцветные корзины с калачами, ведра пива и меду. Все это было грубо и аляповато — чувствовалось полное презрение устроителей к народным вкусам и нравам. Видимо, стремились только поразить «гостей» количеством и размерами трапезы. Позаботились и о том, чтобы «споить» народ, по всему полю били каскады и фонтаны красного и белого вина. Для

развлечений были устроены качели, горы для катанья, эстрады для акробатов, манеж для вольтижеров; несколько в стороне медленно наполнялся газами огромный воздушный шар; войско, полиция и конная стража с трудом удерживали у протянутых канатов натиск несметных толп; на «царское угощение» собралось свыше двухсот тысяч народа. Коронационное празднество грозило превратиться в массовую катастрофу.

В двенадцать часов прибытие «высоких» гостей было возвещено музыкой двадцати оркестров и поднятием белого флага на главном павильоне. Николай I поднялся на возвышение и дал знак пропустить толпу.

Мгновенно все огромное поле заполнилось людьми, потерявшими от усталости и длительного ожидания даже чувство самосохранения. В это время поднявшийся над землею баллон лопается, окутывая всю окрестность густым черным дымом; оболочка шара падает, покрывая своей широкой тканью часть толпы, которая не в состоянии выбраться из-под этого гигантского савана. Испуганные зрители отброшены к трибунам, где уже кипит схватка толпы с полицией. Сановники, придворные, генералы, само «августейшее» семейство в панике покидают свои кресла и под охраной растерянных жандармов стремятся вырваться из неудержимого человеческого потока. В этот стихийный разлив массы внезапно врезается казачий эскадрон во главе с обер-полицеймейстером Шульгиным, щедро угощающий народ нагайками. Царские гости — крестьяне, городское мещанство, старики, женщины — мечутся и падают, обливаясь кровью. Негодующая толпа с гулом и ропотом продолжает наступать и грозит совершенно захлестнуть полицейские и казачьи отряды, вместе с оберегаемыми ими высшими сановниками государства и его верховным повелителем. Идея о народе и власти, столь занимавшая Пушкина над рукописями «Годунова», получала разительное воплощение.

Примирение поэта с властью было чисто внешним. С обеих сторон продолжалось скрытое недоверие, чувствовалась затаенная неприязнь, готовность ежеминутно продолжать прерванное наступление. Сейчас же после свидания в Чудовом дворце в сентябре 1826 года начался большой и длительный политический процесс, главным героем которого был Пушкин... «Отрывки из его элегии Шенье, — сообщал Вяземский 29 сентября 1826 года, — не пропущенные цензурой, кем-то были подогреты и пущены по свету под именем «14 декабря». Несколько молодых офицеров сделались жертвою этого подлога, сидели в заточении и разосланы по полкам». В тот самый день, когда Вяземский писал об этом Александру Тургеневу и Жуковскому, военно-судная комиссия приговорила штабс-капитана Алексеева за распространение названных стихов к смертной казни. Аудиториатский департамент предложил дополнительно отобрать показания еще у трех лиц, в том числе и у автора стихов. Только что освобожденный от долголетней государственной кары, Пушкин сразу же попадал в тиски нового инквизиционного следствия.

Но это нисколько не побуждало его ускорить свой переход на правительственные позиции или отречься от своих оппозиционных высказываний. Через несколько дней после свидания с царем Пушкин увидел в тетради молодого Полторацкого недоконченный список своего «Кинжала». Он не только не сделал попытки уничтожить свое самое революционное стихотворение, но тут же дописал недостающие семь стихов, прославляющих Карла Занда, чье имя способствовало шесть лет тому назад созданию антиправительственной репутации автора «Вольности». Это был шаг большой смелости, который сразу мог раскрыть высшей полиции подлинное отношение поэта к новому царю.

II

ПОЭТЫ И ЛЮБОМУДРЫ

В середине сентября Пушкин получил письмо от Анны Вульф. Девушка была глубоко встревожена его отъездом, столь похожим на арест. «Боже правый, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас, рискуя жизнью, с каким удовольствием я бы ею пожертвовала и одной только милости просила бы у неба — увидать вас на мгновенье перед тем как умереть».

Получив это письмо, поэт, вероятно, «живо тронут был», как и его любимый герой в аналогичном случае; но письмо девушки, даже искренне любившей его, уже прозвучало голосом из другого мира. Москва успела увлечь новыми встречами и знакомствами, оглушить грохотом официальных празднеств, утомить пестрой сменой развлечений. Балы московского барства, где его непрерывно вовлекали в котильоны и кадрили; литературные салоны, где развлекали стихами и пением; гулянья под Новинским, где толпа с восхищением следила за своим любимым поэтом; образцовые столичные театры, где он снова смотрит «колкого Шаховского» и «Итальянку в Алжире»; ресторан Яра, где цыганский хор воскрешает перед ним бессарабские таборы и буйных певиц Варфоломея, наконец, новые светские красавицы — Римская-Корсакова, Зинаида Волконская и особенно «саксонская статуэтка» — Софья Пушкина, которой поэт после двух встреч в обществе предлагает стать его женой, — все это после михайловского затишья взвинчивало нервы, возбуждало психику, привлекало соблазнами городского блеска и навсегда отводило в прошлое Тригорское и его скромных обитательниц.

Но особенно тепло встретила Пушкина литературная Москва. Он всегда высоко ценил писательский круг

старой столицы. «Московская словесность выше петербургской, — писал он впоследствии: — ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы».

В родном городе сохранялись старые литературные знакомства и связи — Вяземский, Чаадаев, Дмитриев, дядя Василий Львович; но уже выступало и молодое литературное поколение, нарождалось самобытное движение русской мысли. Пушкин впервые познакомился с ним в кружке Веневитинова.

«Юный даровитый поэт вроде Андре Шенье» — так характеризовал Веневитинова один из участников литературной Москвы двадцатых годов. Он служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел и объединил в кружок своих молодых сослуживцев, получивших прозвание «архивных юношей». Лирик-философ, искавший новых путей для русской поэзии, прекрасный оратор, приводивший слушателей в восторг своими «жаркими диссертациями», к тому же музыкант и живописец, Веневитинов увлекал своей разносторонней одаренностью и, казалось, был призван руководить новым умственным движением. До 14 декабря он готовился к открытой борьбе с правительством и даже учился с юношеским увлечением фехтованию и верховой езде, чтоб успешнее действовать в обстановке уличного восстания. Но в момент встречи с Пушкиным, когда освободительное движение русского общества было грубо подавлено, он принял новую тактику — «план Сикста V»: «Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь больший круг действий». Во всем этом еще сказывалось брожение молодой одаренной натуры, которая в литературе уже проявляла свою зрелость. Веневитинов успел заявить о себе в печати рядом первоклассных лирических и критических выступлений. Он напечатал незадолго перед тем

в «Сыне отечества» этюд о первой главе «Евгения Онегина», отстаивая свою любимую идею о переходе литературной критики на философскую основу. Он заявлял себя горячим ценителем Пушкина:

Волнуясь песнию твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала...

Так писал Веневитинов автору знаменитых строф об Овидии, Байроне и Шенье, призывая его воспеть и современного поэта-мыслителя Гёте.

Философские искания определяли направление литературного объединения, руководимого Одоевским и Веневитиновым, — московского «Общества любомудрия». Но после 14 декабря председатель Одоевский торжественно сжег в камине устав и протоколы дружеского союза, и члены его общались теперь лишь на почве литературных чтений и споров. В основу своей поэзии и критики они полагали некоторое умозрительное начало, обращаясь для выработки его к античным мудрецам и современным западным мыслителям, особенно Шеллингу. Пушкину, воспитанному на классиках и скептиках Франции, идеализм московских любомудров был глубоко чужд. «Немецкую метафизику... я ненавижу и презираю», писал он Дельвигу 2 марта 1827 года. Впрочем, некоторые критические течения новейшей мысли, принятые и московскими «архивными юношами», значительно ослабляли «метафизику» членов кружка, а подчас совпадали и с основами воззрений Пушкина. «Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров, — писал Кошелев. — Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний». Все это могло привлечь сочувственное внимание Пушкина и вызвать его живейший интерес.

Любомудры давно уже мечтали о журнале. Веневити-

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ (1805 — 1827).

С портрета Ансельма Лагрене (1826).

нов разработал основные принципы программы будущего издания, выдвигая главной его задачей «просвещение», или «самопознание народа». Необходимо создавать в России творения, которые бы носили на себе «печать свободного энтузиазма и истинной страсти к науке...» Так, искусство древней Греции неразрывно связано с мыслью Аристотеля. Новое просвещение в России должно опираться «на твердые начала философии», а лучшим выражением его во всем многообразии художественных и научных явлений мог бы явиться журнал.

Планы такого издания отвечали и замыслам Пушкина. При первой же встрече с Веневитиновым он заговорил о необходимости перейти от альманахов к большому периодическому изданию. Осенью 1826 года создалось ядро нового журнала — редакция «Московского вестника». Его участники стремились достигнуть высшей зрелости в художественном творчестве и дать углубленное философское обоснование критической и научной прозе. Так намечалась борьба за высокую поэтическую и философскую культуру, за полноценное искусство слова.

Соболевский ввел Пушкина в салон Зинаиды Волконской. Это было «римское палаццо у Тверских ворот» или академия искусств среди фамусовской Москвы.

В особняке имелся большой театральный зал с латинским девизом на фронтоне сцены: «Смеясь высказывать истину». Портреты Мольера и Чимарозы с двух сторон украшали просцениум.

В одной из ниш зрительного зала высилась огромная статуя Аполлона. Пушкин дал вскоре лучшее в мировой поэзии описание этого дельфийского кумира:

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

Скульптурность и ослепительность этой строфы тем поразительнее, что она составляет часть эпиграммы на одного из посетителей салона Волконской — А. Н. Муравьева, отбившего по неосторожности руку у мраморного бога и пытавшегося оправдаться стихами, написанными на цоколе статуи.

Здесь, среди изображений богов и драматургов, Пушкина познакомили с женщиной уже не первой молодости (в момент знакомства с поэтом Зинаиде Волконской было тридцать четыре года), но с пленительной и утонченной внешностью. Ее «задумчивое чело» Пушкин вскоре запечатлеет в своем посвящении «царице муз и красоты». Волконская приветствовала поэта исполнением романса на его слова. Замечательная музыкантша, композитор и певица, обладавшая первоклассным контральто, воспитавшая свои вокальные и сценические дарования у таких мастеров, как Россини и знаменитая Марс, Зинаида Волконская зачаровала слушателей и самого поэта пением его «морской» элегии, написанной некогда на палубе брига между Кафой и Гурзуфом. Московскому композитору Гениште удалось передать шум бриза, волн и парусов, а глубокий грудной голос певицы придавал подлинный драматизм взволнованному строфическому рефрену:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, глубокий океан...

Один из слушателей этого концерта — Вяземский, — следивший за впечатлением Пушкина, уловил на его лице «детский и женский признак сильной впечатлительности» — смену красок от радости и смущения...

Поэт высоко оценил и это «обольщенье тонкого и художественного кокетства» (по словам Вяземского) и замечательную личность Волконской. Это была, несомненно, самая значительная из всех жизненных «спутниц»

Пушкина, самая культурная русская женщина его эпохи и, вероятно, одна из наиболее одаренных. Излюбленным обществом ее были писатели, ученые и артисты. В Италии она объединила кружок иностранных и русских художников, куда входили Торвальдсен и Канова, Брюллов и Сильвестр Щедрин. В Москве у нее бывали крупнейшие ученые и писатели и первые певцы-итальянцы. Под влиянием Карамзина она заинтересовалась русскими древностями, народными песнями, обрядами, легендами и приступила к исследованию языческого быта древних славян. В связи с историей России она изучала скандинавскую археологию. По примеру европейских учреждений, она разработала план русского «эстетического музея» при Московском университете и общества для издания хартий и монографий по истории и древностям. Волконская дала в России первые опыты искусствоведения и сравнительной критики художников. Изощрив в Италии свой вкус, она научилась сближать явления различных творческих планов, сопоставляя, например, разработку одной темы — страшного суда — в итальянской живописи, поэзии и ваянии — у Джотто, Данте и Микельанджело. В беседах с ней Пушкин мог обильно питать свои исконные интересы к европейской художественной культуре, к западному театру, к живописи Ренессанса.

В салоне Волконской Пушкин встречался с одним из друзей Чаадаева — ученым Гульяновым, скромным и выдающимся русским филологом, который выступал с критикой учения знаменитого египтолога Шамполиона о иероглифах и трудился над большими исследованиями о происхождении языков и общей грамматики. Это был один из незаметных в биографии Пушкина искренних и горячих его друзей: с обычной своей скромностью он доставил впоследствии поэту минуту глубокой внутренней радости.

Ощущая потребность ознакомить литературных друзей со своими произведениями последних лет, Пушкин охотно выступает перед избранной аудиторией поэтов, историков и философов. Он широко и щедро расточает себя перед лучшими представителями научной и творческой мысли России.

29 сентября Пушкин читает «Бориса Годунова» у Вяземского, где его слушают Блудов и Дмитриев, помнившие автора еще мальчиком в матросской курточке. «Представьте себе Дмитриева при чтении этой трагедии, действительного тайного советника и генерал-прокурора классицизма, — писал Вяземский. — Впрочем, надобно ему отдать справедливость: он явил большую терпимость и уступчивость». Сам Вяземский признавал «Бориса Годунова» зрелым и возвышенным произведением, в котором Пушкин явил в полной мере историческую верность нравов и языка и «вознесся до высоты, которой он еще не достигал». Но тут же Вяземский ставил вопрос: «трагедия ли это или более историческая картина?»

Главное чтение «Бориса Годунова» происходило 12 октября в доме Веневитиновых. С утра собралась обширная аудитория, как на концерт или лекцию. Веневитинов пригласил своих сослуживцев по архиву иностранных дел и сотрудников по московским изданиям. Здесь были поэты и ученые — Боратынский, Мицкевич, Хомяковы, Киреевские, Погодин, Шевырев и другие представители московского «любомудрия» и «любословия».

Пушкин появился в большом белом зале Веневитиновых ровно в полдень. Он был в черном сюртуке, высоком жилете, застегнутом наглухо, свободно повязанном галстуке. Поэт развернул объемистую тетрадь. «Наряжены мы вместе город ведать», начал читать он своим сдержанным, необыкновенно благозвучным, чуть поющим голосом.

Первые сцены, отрывочные и короткие, еще не захватили аудиторию. Кремль, Красная площадь и Девичье поле, по позднейшему воспоминанию Погодина, даже вызвали недоумение слушателей. Новаторство Пушкина в драме смущало учеников Сумарокова и Озерова. Но ночная беседа в Чудовом монастыре сразу же поразила и увлекла всех. С необычайной жизненностью и драматизмом выступали исторические портреты старинных властителей, иногда очерченных в нескольких стихах, развертывалась древняя хроника преступлений и битв. Аудитория ожила, стала вибрировать в ответ чтецу, прорываться восклицаниями и восхищенными возгласами. «Сцена у фонтана», развернутая в психологическом плане, полная внутреннего напряжения, вызвала дружный взрыв восторгов. Перед такой взволнованной и возбужденной аудиторией Пушкин дочитал свою рукопись с ее заключительной краткой и леденящей ремаркой: Народ в ужасе молчит. — Кричите да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует».

Долгое безмолвие было ответом и Пушкину. Лишь понемногу вышли из своего оцепенения завороженные слушатели и бросились к чтецу с восклицаниями и приветствиями. Пушкин, по свидетельству Погодина, продолжал в увлечении читать слушателям и другие свои произведения. Здесь в рассказе мемуариста, вероятно, вкрадывается неточность: едва ли он слышал в тот день «У лукоморья», так как этот пролог был, видимо, написан лишь два года спустя. Но естественно предположить, что после чтения раздались в зале Веневитиновых отзывы и мнения о прочитанной трагедии (вскоре они появились в печати).

Особенно сильное впечатление произвела сцена в келье. По мнению Шевырева, «это создание есть неотъемлемая собственность поэта, и что еще отраднее — поэта русского, ибо характер Пимена носит на себе бла-

родные черты народности». «Мне показалось, — вспоминал впоследствии Погодин, — что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена, мне послышался живой голос русского древнего летописателя...» Веневитинов в своем отзыве правильно наметил разрешение вопроса о роли Карамзина в истории замысла Пушкина: «Эти два гения, точно из соревнования, рисуют нам одну и ту же картину, но в различных рамках и каждый со своей точки зрения. Если историк смелостью колорита возвысился до эпопеи, то поэт, в свою очередь, внес в свое творение величавую строгость истории». Пройдет десять лет, и Мицкевич, вспоминая «Бориса Годунова», напишет о Пушкине: «Ты стал бы Шекспиром, если бы судьба тебе благоприятствовала».

Но судьба не благоприятствовала. Перед отъездом двора и гвардии в Петербург по окончании коронационных празднеств Пушкин получил письмо от начальника нового учреждения высшей политической полиции — «III отделения собственной его императорского величества канцелярии» — генерала Бенкендорфа. Под учтивой формой в нем скрывался ряд язвительных замечаний и строгих предписаний. Поэту ставилось на вид, что он не счел нужным представиться шефу жандармов («Я ожидал прихода вашего... но не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить» и пр.). По поручению царя начальник высшей полиции назначал поэту некий политический экзамен — написать трактат «о воспитании юношества». Лестная фраза об «отличных способностях» автора сопровождалась бесцеремонным выпадом: «Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». Письмо заканчивалось уверением «в истинном почтении и преданности».

Это был подлинный голос новой власти; уже не «Гитово милосердие», а облеченное в холодную форму официальной учтивости строжайшее распоряжение, еле прикрывающее лощеными выражениями недовольство и подозрительность начальства. Такой именно тон прочно установится в отношениях николаевского правительства к поэту и сохранится до самого конца. «Вы всегда на больших дорогах», лично заявит Бенкендорф Пушкину, а царю сообщит о нем свое подлинное мнение: «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно».

Заняться в суете московской жизни трактатом о воспитании Пушкин не мог; он решил выполнить заданный урок в михайловском уединении, куда необходимо было вернуться для устройства дел перед окончательным переездом в Москву. На прощальном обеде, устроенном в его честь друзьями, он выносит незабываемое впечатление от поэтической импровизации Мицкевича. К этому времени он уже успел сблизиться с польским поэтом, который судьбой своей напоминал отчасти его собственную биографию. Политический изгнанник, оставивший по приказу петербургского правительства свою родину для скитаний по югу России, Мицкевич развернул в ссылке свое выдающееся поэтическое дарование и дал за последние годы «Крымские сонеты» и поэму «Конрад Валленрод» (которую Пушкин начал вскоре переводить). Мицкевич прибыл в Одессу через полгода после отъезда Пушкина (в феврале 1825 г.), пережил здесь мучительный роман с Каролиной Собаньской, а в своих южных сонетах зарисовал столь знакомые Пушкину места, как аккерманские степи, Черное море, Бахчисарай, гробницу Потоцкой, Кикинеиз, Аю-Даг. Все это должно было сразу сблизить двух поэтов, которые высоко оценили друг друга и заключили своеобразный дружеский союз. Впоследствии Пушкин изобразил в одном стихотворении

личность и чарующие беседы Мицкевича, который в свою очередь оставил одну из самых замечательных характеристик своего русского друга-поэта.

На прощальном обеде 24 октября Мицкевич в полной мере проявил свой выдающийся дар импровизации. Обычно он изумлял свободным развитием любой трагической темы. «Выражения его сжаты, но исполнены страсти и силы», писала о его устном творчестве Зинаида Волконская. На этот раз Мицкевич импровизировал французской прозой. «Можно было думать, что он читает наизусть поэму, им же написанную», записал свое впечатление Вяземский. Образ гениального поэта-импровизатора навсегда запомнился Пушкину.

В начале ноября, числа седьмого, Пушкин приехал в Михайловское. Его искренно растрогала встреча с няней и крестьянами, о чем сохранился известный рассказ в его письмах. Но необходимо было спешно писать порученный ему доклад о воспитании. Это был акт первого открытого наступления николаевского правительства на «вольнодумного» поэта.

Пушкин понял, что высочайшее «прощение» было даровано ему не безвозмездно, а предполагало ряд ответных действий и выступлений, глубоко враждебных его личности.

Пушкин не был педагогом, никогда не служил по ведомству народного просвещения, ничего не писал о воспитании. Естественно было бы запросить его мнение по вопросам печати, цензуры, журналистики, то-есть попытаться наладить с ним сотрудничество в кругу близких ему вопросов. Но преследовалась, видимо, другая цель— получить от него декларацию о негодности воспитательной системы, приведшей его поколение к 14 декабря, а его самого «на край пропасти» (как писал ему вскоре

Бенкендорф). Царский манифест, изданный в самый день казни декабристов, выдвигал эту тему, которая могла послужить наилучшей пробой государственному публицисту.

Но творческая натура Пушкина сопротивлялась подобным поручениям. В самой методике построения своей записки он как бы выразил свой протест против «высочайше» навязанной темы. Замечательный писатель-труженик, умевший прилежно подготовлять материал для своих работ и тщательно отделывать его, на этот раз выполнил задание без обращения к литературе вопроса, в виде беглой сводки отдельных мыслей и случайных замечаний, не приведенных в систему, не объединенных общей идеей, не облеченных в обычную законченную форму его писаний.

Между тем в среде новых московских друзей Пушкина вопросы теоретической педагогики вызывали живой и глубокий интерес. Здесь было решено «перевести со всех языков лучшие книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий». Большие современные проблемы «свободного воспитания», «социализирования детского существа», провозглашенные педагогической мыслью XVIII века, особенно в лице Песталоцци, должны были бы отразиться в докладе об образовании юношества, написанном в 1826 году. Не может быть сомнения, что эти новейшие идеи были бы учтены Пушкиным, если б он разрабатывал такую важную тему в духе философского сотрудничества с литературными друзьями, например, для «Московского вестника»[1].

Но от поручения Бенкендорфа необходимо было отделаться как можно скорее. 15 ноября, через неделю после приезда Пушкина в Михайловское, трактат о воспи-

[1] Несколько позже в библиотеке Пушкина имелась и книга Ансильона «Мысли о человеке», где шла речь о методе Песталоцци.

тании был уже закончен. Он представляет собой коротенькую статью без общего плана, без заботы о композиции и стройном развитии темы, без обычных качеств пушкинской прозы, с ее энергичными и окончательными формулировками, с ее остроумием и изяществом. Чувствуется, что манифест 13 июля, который цитируется в одном из первых абзацев записки, господствует над всем изложением и сообщает ему свой официозный стиль. Все эти «преступные заблуждения», «злонамеренные усилия», «возмутительные песни» и пр. ставят эту статью и в стилистическом отношении неизмеримо ниже всех прочих опытов Пушкина в жанре философской прозы.

Сам поэт не придавал своей записке творческого значения и никогда не пытался довести ее до печати и читателей. Это, конечно, не «Эмиль» Руссо, не «Мысли о воспитании» Льва Толстого. Свою докладную записку царю сам автор называет «вверенное мне препоручение». Именно этим объясняются такие положения статьи, как запрет для школьников литературных занятий и литературных обществ, лишение их права печататься в журналах, предложение «тягчайшего наказания» за эротическую рукопись и «за возмутительную [1] — исключение из училища» и пр.

Следует все же признать, что и в таком вынужденном заявлении Пушкин сумел сохранить некоторые живые и ценные положения. Он горячо отстаивает «просвещение», защищает ланкастерские школы, отмену телесных наказаний, преподавание политической экономии по системе Сея и Сисмонди, тщательное изучение русской истории (правда, по Карамзину). Он призывает педагогов «не хитрить, не искажать республиканских рассуждений». Основная политическая позиция Пушкина в этой статье отвечала его сложившимся за последние годы воззрениям о не-

1 То-есть возбуждающую к возмущению.

ходимости творить историю с полным учетом реальных сил и фактических возможностей, она только получала здесь более резкое и несколько официальное выражение [1].

Пушкину это давалось не легко. Недаром перед отъездом из Михайловского, 23 ноября 1826 года, он записывает строки, с поразительной ясностью и полнотой выражающие чувство, которое уже до конца не перестанет владеть им; — потребность побега от официальных почестей в творческое одиночество:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод...

Но жизнь деспотически разрушала эти влечения. Закончив записку «О народном воспитании», Пушкин собирается в отъезд и в конце ноября уже находится в Пскове. Здесь он получает через Адеркаса письмо Бенкендорфа. По существу это был выговор за оставление без ответа сентябрьского письма начальника III отделе-

[1] Записка «О народном воспитании» — одно из самых спорных произведений Пушкина. Долгое время ее толковали, как наиболее резкое отклонение его мировоззрения в сторону реакции; в последние годы ее толкуют, напротив, как одно из самых передовых его высказываний. Не примыкая ни к одному из этих крайних толкований, мы признаем в этом официальном документе ряд положений, действительно свидетельствующих об искреннем намерении автора «не пропустить случая, чтобы сделать добро», но не можем отнести ее к разряду наиболее передовых страниц Пушкина. Здесь ощущаются первые признаки того психологического состояния, о котором с большой зоркостью писал Н. А. Добролюбов: «В последние годы его жизни мы видим в нем какое-то странное борение, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе сомнения, проникнуться как можно полнее заданным направлением, все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений первых лет».

ния и за общественные чтения в Москве «Бориса Годунова». Пушкин в ответ и оправдание отсылает Бенкендорфу рукопись своей трагедии «в том самом виде, как она была читана», для заключения о судьбе его произведения.

Игра в штосс и безденежье задерживают Пушкина в Пскове; только 19 декабря вечером он приезжает в Москву. Здесь происходит второй акт начавшейся драмы— «дружбы» с правительством, которая уже становилась непрерывной борьбой за независимость, самостоятельность и писательское достоинство.

Обращаясь весной 1826 года из Михайловского к верховной власти, Пушкин рассчитывал в лучшем случае на освобождение в обычном, общепринятом порядке путем соответствующей резолюции. Он не мог предвидеть той «личной милости», в какую намеренно превратили этот официальный акт с целью покрепче связать его моральными обязательствами. Тяжесть подобного правительственного метода вскоре сказалась полностью. «Помилование» Пушкина, возвещенное ему самим императором, обязывало поэта реагировать на этот жест стихотворной благодарностью. Отступление от такого обычая становилось невозможным после недавних писем Бенкендорфа с выговорами за недостаточную оценку царских милостей, с намеками на неблагодарность, с еле прикрытыми требованиями ответных заявлений своей верноподданнической активности. С точки зрения правительственных кругов, Пушкин как поэт был обязан «воспеть» своего верховного благодетеля. В обществе, хорошо знавшем эти неустранимые правила общения с двором, даже ходили слухи, что Пушкин в самом кабинете Николая, узнав о своем прощении, тут же экспромтом написал ему хвалебное посвящение. Но ни в этот момент, ни в ближайшие месяцы Пушкин не смог заставить себя выполнить эту тяжелую обязанность. Александру I он «подсвистывал до

гроба», о Николае I он соглашался молчать, сохраняя про себя образ своих мыслей. Теперь же, после приема 8 сентября, он не имел права хранить молчание. Но только в конце декабря Пушкин решается, наконец, на этот мучительный для него шаг и пишет свои «Стансы».

Как и в лицейские годы, когда ему предлагали писать «оды» принцам, он обратился к истории и сосредоточился на замечательном героическом образе прошлого. Пусть аналогия с Петром I здесь грешила крайней натяжкой, все же она освобождала автора от необходимости дать персональную характеристику «царствующего монарха» и писать его парадный портрет в бенгальском освещении придворной лести. Пушкин в трех строфах дает выпуклый образ Петра-правителя и завершает свою хвалу любимому герою простым и сугубо лаконическим выводом: «Семейным сходством будь же горд»; за этим уже следовали собственно некоторые советы поэта царю всячески укреплять это счастливое сходство. Трудно было в подобном жанре быть менее льстивым.

Лишь значительно позже это стихотворение было понято, как заступничество за декабристов и призыв к реформам [1]. Современники же Пушкина этих нот не расслышали. Напротив, оптимизм поэта («В надежде славы и добра — Гляжу вперед я без боязни...») находился в противоречии с настроением передовых кругов, разгромленных Николаем. «Будущее являлось более чем грустным и тревожным», характеризует общие переживания осенью 1826 года Кошелев; стансы Николаю I расходились с этим подавленным настроением и не могли встретить общественного сочувствия. Многие современники, в том числе и кое-кто из ссыльных декабристов, признали «Стансы» компромиссом. На такие упреки Пушкин отве-

---

[1] Впервые, если не ошибаемся, указано Стоюниным («это был и призыв милости к падшим» и пр. («Пушкин», стр. 294).

тил в 1828 году новыми стансами, посвященными «Друзьям» («Нет, я не льстец...»). Это было ответом обществу, но отчасти и актом самооправдания. Ведь совсем недавно, в августе 1826 года, Пушкин отказывался от всякого обращения к Николаю I, а к концу года был вынужден посвятить ему хвалебные строфы. Этим нарушалось требование его писательской программы, неоднократно выраженное им формулой «непреклонная лира» [1]. Пушкин болезненно и тяжело переживал всякое отступление от этого принципа, которому до конца стремился оставаться верным. Так открывается один из глубоких источников внутренней драмы поэта в последнее десятилетие его жизни [2].

---

[1] Еще в 1818 году Пушкин прекрасными стихами выразил это направление своей поэзии:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей...

[2] Искания и даже сомнения были свойственны Пушкину и раньше, но они не вызывались принудительно и не знаменовали того состояния кризиса и внутренней борьбы, какими отмечен последний период его биографии. Стихотворение 1823 года «Свободы сеятель пустынный» еще не выражало мировоззренческого перелома с его драматизмом и болью. Пушкин не без шутливости сообщает в своих письмах о написании этого отрывка: «На днях я закаялся — и, смотря и на Запад Европы, и вокруг себя, обратился к евангельскому источнику и произнес сию притчу...» Отказ от «либерального бреда» по условиям текущего политического момента нисколько не колебал его ранней верности идее «свободы». К 1823 году относятся стихи: «Где ты, гроза, символ свободы? — Промчись поверх невольных вод...» К 1824 году: «Рекли безумцы: нет Свободы, — И им поверили народы...» Если Пушкин до конца сохраняет верность этой идее, то в тридцатые годы он уже пронесит ее через приступы мучительной борьбы.

Между тем в Петербурге решалась судьба «Бориса Годунова». Николай I не любил трагедий, которые обычно раздражали его своим вольным обращением с владыками. 14 декабря 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину заключение царя о необходимости переделать трагедию «в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». Сдержанное возмущение слышится в ответе поэта на «всемилостивейший отзыв его величества»: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

Среди этих напряженных тревог произошла встреча, глубоко взволновавшая поэта. 26 декабря Пушкин застал у Зинаиды Волконской юную попутчицу своей поездки по Кавказу и Крыму — Марию Николаевну Раевскую, ставшую в 1825 году женой Сергея Волконского. Девушка, внушавшая ему чувство живой и нежной преданности, вдохновительница его первых южных элегий, встретилась с ним теперь в самый разгар захватившей ее трагедии. Беспечная девочка, игравшая с прибоем азовских волн или называвшая своим именем таврическую звезду, обрекала себя теперь на скитания по Сибири и на жизнь у каторжных рудников. Москва для нее была только первым этапом по пути следования в Нерчинск. Эпоха неожиданно раскрывала в людях героизм, о котором до 14 декабря трудно было догадываться. Музыкой и пением знаменитых итальянцев «Северная Коринна» хотела в последний раз развлечь и утешить добровольную изгнанницу, отъезжавшую в ледяную пустыню и ужасающую безвестность. Пережитая катастрофа не сломила ее. Когда заговорили о правительственных неприятностях, которым подверглись устроители концерта в пользу одного заключенного, Мария Николаевна с жаром прервала рассказ: «Их признали слишком свободомыслящими...»

На фоне суеты и лжи современного общества образ

М. Н. ВОЛКОНСКАЯ
в 1827 году перед отъездом в Сибирь
Карандашная зарисовка Зинаиды Волконской.

этой женщины казался единственным выражением подлинной героической правды. Пушкин был глубоко взволнован. «В эпоху добровольного изгнания нас, жен ссыльных, в Сибирь, — записала впоследствии Волконская, — он был преисполнен искренним восторгом». Ему хотелось в последний раз согреть ее бодрой мыслью, утешительными словами. Он рассказал ей о своем стихотворном послании к сибирским каторжникам, среди которых у него такие близкие и дорогие друзья:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

В самих образах и ритмах этих немногих строф о «скорбном труде» и неизбежном грядущем избавлении звучало действительно нечто гордое и бодрящее, слышалась непоколебимая и убеждающая уверенность в конечном торжестве свободы. Пушкин не хотел прощаться навсегда с подругой своих юных лет. Расставаясь, он обещал навестить ее в Нерчинских рудниках, куда он хотел направиться с Урала, с мест пугачевского восстания, о котором собирался писать книгу. Мария Николаевна благодарила поэта, зная и чувствуя, что им больше не придется свидеться. Пушкин запомнил «последний звук» ее речей и через два года запечатлел их в одном из своих самых проникновенных и прекрасных посвящений. С момента этой последней встречи Мария Волконская стала большим и глубоким событием его внутренней жизни.

III

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

18 января 1827 года Пушкин неожиданно получил срочный вызов к московскому обер-полицеймейстеру. На другой же день его принимал генерал Шульгин,—тот са-

мый, который во время народного гулянья на Девичьем поле предводительствовал казачьим отрядом, избивавшим нагайками толпу. Разговор с главой московской полиции представлял собою продолжение сентябрьского процесса о распространении стихов на 14 декабря, то-есть запрещенного отрывка из «Андрея Шенье». Теперь к следствию привлекался сам автор стихов, распространение которых уже вызвало один смертный приговор (пока, правда, еще не приведенный в исполнение).

Обер-полицеймейстер сообщил Пушкину запросы военно-судной комиссии: «им ли сочинены известные стихи, когда и с какой целью» и «почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в сих стихах изъясненное»? Под «злоумышленниками» имелись в виду руководители восстания 14 декабря. Пушкину, таким образом, высказывалось подозрение правительства в его осведомленности о готовившемся военном покушении на самодержавие.

«Александр Пушкин не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть», написал поэт против первого пункта, а на второй ответил: «Он не помнит стихов, могущих дать повод к таковому заключению».

27 января Шульгин представил Пушкину в запечатанном конверте отрывок из «Андрея Шенье», известный в обществе под заглавием «На 14 декабря».

Пушкину оставалось только восстановить историю своей элегии и указать на подлинный смысл фрагмента.

Он объяснил, что стихи написаны им задолго до «последних мятежей», что относятся они к французской революции и имеют в виду взятие Бастилии, присягу в манеже, ответ Мирабо, перенесение тел Вольтера и Руссо, казнь Людовика XVI, деятельность Робеспьера и Конвент. Такое обилие исторических имен и фактов исключало возможность приурочения этих стихов к современности. «Все сии стихи, — заключал Пушкин, — никак б е з я в-

ной бессмыслицы[1] не могут относиться к 14 декабря».

Независимость и резкость последней формулы звучала вызовом власти, и так именно она и была воспринята высшими инстанциями. «Дерзость» поэта, брошенная прямо в лицо органам верховного допроса, отразилась на окончательном приговоре по этому делу, которое тянулось еще полтора года.

Все более ощущая себя в кольце правительственного надзора и сыска, Пушкин не порывает своих связей с политическими ссыльными. В январе 1827 года он посещает в Москве находившуюся там проездом по пути в Сибирь Александру Муравьеву, жену и сестру декабристов; он вручает молодой женщине, которой через несколько лет суждено было погибнуть в Сибири, свое послание «Во глубине сибирских руд...» Одновременно он просит друзей уплатить вдове Рылеева шестьсот рублей (что и было вскоре выполнено).

Среди писем от литературных друзей Пушкин получает в эту зиму и сообщения от Арины Родионовны, уже доживающей свой век, но не перестающей хлопотать о своем питомце, его книгах, здоровье и делах. Одно из таких писем пришло в начале марта. В нем наивно и трогательно перемешивались официальные формулы почтительности с непосредственной материнской нежностью; няня обращалась то на «вы», как полагается в разговоре с барином, то попросту на «ты», как к питомцу и ребенку. «Милостивый государь» или «любезный друг» сменялись неожиданным «мой ангел». Благодарность за милости переходила в просьбу поскорее приехать в Михайловское — «всех лошадей на дорогу выставлю...» Пушкин был глубоко тронут этими простыми, нескладными и

---

[1] Разрядка наша. — *Л. Г.*

ласковыми словами. Не заслуживает ли эта любящая старушка его стихотворного посвящения, не меньше, чем Зинаида Волконская или Анна Керн? Он взял перо и ответил Арине Родионовне стихами, которым суждено было остаться в ряду его прекраснейших строф:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня...

Но другие встречи и образы отвлекали Пушкина от поездки в деревню. Он все более тяготится одиночеством и стремится ограничить, наконец, «домашним кругом» свою жизнь. Об этой поре своего существования он набросал несколько позже отрывок:

«Женись». — На ком? «На Вере Чацкой».
— Стара. «На Радиной». — Проста...

Этот набросок о калейдоскопе невест отчасти соответствует светскому быту поэта в 1826—1828 годах. После Софьи Пушкиной он делает предложение семнадцатилетней Екатерине Ушаковой, веселой и бойкой красавице, отличной певице и остроумной собеседнице. Пушкин узнавал ее «по веселой остроте», «по приветствиям лукавым» и «по насмешливости злой». Он любил бывать на Пресне в семье Ушаковых. Мать семейства пела ему народные мотивы, а две сестры — Екатерина и младшая Елизавета — вели с ним непрерывный турнир остроумия, шуток, взаимных сатирических характеристик, юмористических записей и пр. У Елизаветы Ушаковой остался на память альбом, весь испещренный острыми и характерными рисунками Пушкина, его легкими и меткими карикатурами, блестящими автопортретными эскизами, шутливыми изречениями и забавными стихами.

К концу весны Пушкин получает разрешение на поездку в Петербург, но с обычным начальственным назиданием «вести себя благородно и пристойно». После семи лет перед ним снова

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид...

Два летних месяца в Петербурге были ознаменованы полным примирением с родителями. «Надо было видеть радость матери Пушкина, — писала 25 мая своей подруге жена Дельвига, — она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала». Впервые после долгих лет Пушкин отпраздновал свои именины 2 июня в родительском доме.

На обеде присутствовала Анна Керн. С момента приезда Пушкина в Петербург возобновилась прежняя дружба, хотя и в несколько иных тонах. Поэт теперь был не чужд некоторого скептического холодка, который никак не соответствовал новым чувствам его поклонницы. «Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта А. С. Пушкина, с которым она давно в дружеской связи, — записал один молодой приятель Керн 24 мая 1827 года. — Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения». В день именин она подарила Пушкину кольцо своей матери. На другой день Пушкин привез ей в обмен бриллиантовый перстень. Они отправились кататься в лодке на Фонтанке. «Я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском, — вспоминала Керн. — Он шутил с лодочником, уговаривал его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове (который скончался 15 марта в Петербурге).

«Зачем вы допустили его умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?..»

Пушкин внимательно слушал рассказ Кери и говорил о своем огорчении, «что так рано умер чудный поэт...»

Николаевская эпоха продолжала «шествовать путем своим железным» (Боратынский). Процесс об элегии «Андрей Шенье» продолжался. 29 июня Пушкину пришлось снова давать по этому поводу объяснения, на этот раз по запросу Аудиториатского департамента военного министерства. Указав, что его элегия была разрешена цензурой 8 октября 1825 года, то-есть за два месяца до 14 декабря, и повторив, что она имеет в виду события и деятелей французской революции, Пушкин высказался и о самом восстании: «Что ж тут общего с нещастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков?» Следует, конечно, иметь в виду официальность такого показания, но мысль о неравенстве сил, предопределившем исход восстания, лежала в основе всех высказываний Пушкина на эту тему. Безнадежность борьбы нисколько не снижала в глазах Пушкина ее правоты и героичности.

Почти одновременно с этими показаниями Пушкин пишет 16 июля 1827 года свое стихотворение «Арион», где с глубоким сочувствием изображает декабрьское движение в виде плывущей ладьи, воспевает «дружные» усилия гребцов и осторожное водительство «умного кормщика». Здесь впервые Пушкин объявляет себя поэтом декабризма:

А я, беспечной веры полн,
Пловцам я пел...

Одновременно прокламируется и верность спасенного певца общему делу потерпевших кораблекрушение, как и вольным песням, вдохновлявшим их: «Я гимны прежж-

и не пою...» Схваченный тисками политического допроса, поэт словно стремится противопоставить гнетущей враждебной силе свою преданность делу свободы и революционного действия.

Новое наступление правительства оставляет горький осадок: «пошлости и глупости обеих столиц» Пушкин, согласно его признанию Осиповой, предпочитает Тригорское...

В конце июля он уже в Михайловском. Это пребывание в деревне в августе — сентябре 1827 года связано с работой Пушкина над его первым прозаическим произведением, которое осталось одним из наивысших его достижений в этом жанре. Сжатость и блеск исторического изложения, при его драматизме и выразительности, сообщают «Арапу Петра Великого» значение одного из лучших образцов художественного воссоздания прошлого. Это не просто исторический роман, это первый у нас опыт романа биографического. Пушкин решил изобразить необычайную судьбу своего сказочного прадеда, в жизненной обстановке которого так фантастически сочетались абиссинский принц, французский гвардеец и русский военный строитель. Тщательно изучив фамильную хронику и старинные записки, поэт сочетает здесь биографию своего предка с крупными событиями и общей картиной эпохи. Политическая тема звучит наравне с романической. Эпиграф к роману показывает, что одной из его господствующих тем должна была стать ломка и строительство государства. В центре романа — две подлинные фигуры, данные самой историей и уверенно прокламированные в заглавии: молодой инженер Ибрагим и государственный реформатор Петр. Искусство выразительного и четкого исторического портрета, очерчивающее одной фразой фигуру во весь рост, здесь достига-

ет высшего мастерства. («...В углу человек высокого роста в зеленом кафтане с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты... — Ба, Ибрагим! — закричал он, вставая с лавки: — здорово, крестник!») Прилежно изученные Пушкиным свидетельства современников, отбрасывают легкий налет хроникального рассказа на картину Парижа эпохи регентства, когда «французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей». Уверенно и четко вычерчены костюмы и бытовые детали — от красных каблуков, перчаток и шпаги «парижанца» Корсакова до канифасных юбок и красных кофточек на женах голландских шкиперов. Дым, глиняные кружки и шахматы ассамблеи создают колоритнейшую жанровую картину российского барокко начала XVIII века. Романическая биография пушкинского предка развертывает целую полосу европейской жизни с парадными ужинами, оживленными остроумием Вольтера, с выходами герцога Орлеанского, испанской войной и первыми торговыми судами на Неве. Повесть об отдельной жизни развертывается в широкую фреску эпохи, раскрывая перспективы в дальние страны и охватывая арену действия мировым ветром.

Историческая картина вырастала из фамильного предания. «Главная завязка романа, — сказал Пушкин Алексею Вульфу, — будет неверность жены арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь». Так преломлялась в плане романической композиции судьба несчастной красавицы — гречанки Евдокии Диопер, испытавшей до конца трагическую суровость ганнибаловского темперамента.

Работая над историческим романом, Пушкин продолжает в лирической форме решать проблему о современном поэте; после «Ариона» он отстаивает свою творческую свободу в стихотворении «Поэт», где снова

уверенно звучит тема непреклонного певца («К ногам народного кумира — Не клонит гордой головы...»). Тот же мотив раздается и в элегической вариации на тему Шенье («Близ мест, где царствует Венеция златая...»). Певец под голос жестоких бурь продолжает обдумывать свои «тайные стихи».

В середине октября Пушкин оставил Михайловское. По пути в Петербург, на станции Залазы, между Боровичами и Лугой, он неожиданно нашел на столе «Духовидца» Шиллера. Поэт раскрыл книгу и невольно зачитался этой увлекательной повестью с ее быстрым ходом событий и драматическим описанием инквизиционного трибунала. Он с интересом пробегал страницы, когда под окном раздался грохот и звон правительственных троек: служителей венецианской инквизиции внезапно сменили фельдъегери и жандармы. Это везли политических преступников, вероятно, поляков. Здесь пролегал тракт из Шлиссельбурга на Динабург. Пушкин вышел взглянуть на арестантов.

Он увидел среди них странную длинную фигуру в убогой фризовой шинели, в косматой меховой шапке. «Преступник? шпион, быть может?» Но в это время он уловил на себе горящий взгляд долговязого арестанта, обросшего черной бородой. «Мы пристально смотрим друг на друга, — записал на другой же день Пушкин, — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг к другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали». Через два года в письме из Динабургской крепости Кюхельбекер изумлялся, как Пушкин мог узнать его в «таком костюме» после долгих лет разлуки.

Встреча эта чем-то напомнила прошлогоднее прощание с Марией Волконской. И теперь Пушкин пережил то

Ф. В. БУЛГАРИН (1789 — 1859).
С рисунка Зиновского.

же необычное ощущение: давно знакомый человек неожиданно вырастал в его глазах в героическую фигуру. «Внук Тредьяковского Клит», к которому Пушкин так широко применял право старого школьного товарища на шутку и пародию, был одним из тех, кто просто и мужественно осуществил то, о чем в свои молодые годы мечтал сам поэт: он вышел с оружием в руках бороться против царизма, он закрепил силу своих вольнолюбивых речей и стихов революционным действием. Он сделал то, что считал нужным выполнить, — по официальной формуле, он «лично действовал в мятеже с пролитием крови, и мятежников, рассеянных выстрелами, старался поставить в строй». Вечный объект для эпиграмм, он вызвал судорогу ужаса у петербургского правительства, приговорившего его к смертной казни через отсечение головы.

Теперь этого «злоумышленника», угрожавшего российскому самодержцу, мчали фельдъегерской тройкой из одной политической тюрьмы в другую. Через несколько дней в стихотворении, посвященном лицейской годовщине, 19 октября 1827 года, Пушкин пошлет свой бодрящий привет двум школьным товарищам — Кюхельбекеру и Пущину, искупавшим свой подвиг безнадежным заточением «в мрачных пропастях земли».

В Петербург Пушкин прибыл к именинам другого друга-лицеиста. 17 октября он поднес Дельвигу череп, привезенный Вульфом в Тригорское для хранения табаку и породивший затейливую легенду, якобы поэт Языков похитил его для своих научных занятий из рижского склепа баронов Дельвигов. Пушкин и решил поднести издателю «Северных цветов» мертвую голову его предка для превращения ее в застольную чашу, по примеру Байро-

на. Но главной ценностью подарка было приложенное к нему стихотворение Пушкина с живой зарисовкой каморки дерптского студента и феодальных гробниц готической Риги.

Дельвиг познакомил Пушкина с новыми деятелями петербургской журналистики — Булгариным и Гречем, в то время еще не окончательно скомпрометированными в литературных кругах. Правда, было известно, что Рылеев однажды сказал Булгарину:

«Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим».

Но все же Булгарин еще мог щеголять своим знакомством с Гнедичем, Карамзиным, Грибоедовым. Вскоре, особенно после польского восстания 1830 года, ему пришлось навсегда принять клеймо продажного ренегата и стать в ряды людей, которых Пушкин открыто презирал.

Булгарин был типичным авантюристом от журналистики. После ряда житейских неудач он погрузился в болото официальной публицистики, сохраняя здесь свои аппетиты азартного игрока и цепкого карьериста. Снизив размах и ношиб авантюризма XVIII века, он сохранил в неприкосновенности его циническую сущность. Недаром в своих «Воспоминаниях» он с увлечением говорит о Казанове и восхищается старинным типом искателей приключений. Но после буйной молодости кавалерийского офицера Булгарин опустился на дно правительственной прессы. Сюда перенес он свои инстинкты прирожденного проходимца, неутомимого в погоне за успехами, деньгами, влиянием и властью. Этот военный, служивший трем нациям, этот темный ходатай по наследственным процессам и главный редактор продажной газетки, стал непримиримым врагом Пушкина. Офицер-перебежчик, служивший попеременно враждебным странам, делец, опускавшийся до самых подонков отвратительного мира судейских крюч-

ков и сутяг, литературный предприниматель, строящий свой успех на рекламе, взятках, шантаже и обслуживании тайной полиции, — таков был в своей жизни и деятельности Тадеуш Булгарин, получивший от Пушкина бессмертное прозвище Видока Фиглярина по имени французского сыщика и из-за шутовского характера своей журнальной деятельности.

Отношения их, впрочем, не сразу стали враждебными. Булгарин, всегда льнувший к знаменитостям, посвящает в это время свою историческую повесть «Эстерка» «Поэту А. С. Пушкину», а «Северная пчела» помещает хвалебные отзывы о «Евгении Онегине».

Но Пушкин не обольщается этой сомнительной дружбой: «Пора Уму и Знаниям вытеснить Булгарина», пишет он Погодину 1 июля 1828 года и предлагает ему в другом письме (19 февраля 1829 г.) «плюнуть на суку «Северную пчелу».

Политически новые знакомцы стояли на крайних позициях. Когда во время следствия над декабристами Николай I потребовал справки о «капитане французской службы» Булгарине, который общался с Рылеевым и Бестужевым, встревоженный редактор «Северной пчелы» поторопился представить высшему начальству особую записку «О цензуре в России и о книгопечатании вообще»; доклад понравился Дибичу и заинтересовал Николая I. Когда же во главе III отделения стал Бенкендорф, с которым Булгарин по своей военной службе был знаком еще с 1807 года, он стал сотрудником шефа жандармов, поставляя ему доносы на крупнейших писателей. Весьма характерно его позднейшее «донесение» Дубельту (это было уже в 1846 г.) под заглавием «Социализм, коммунизм и пантеизм в России в последнее 25-летие» с попыткой дать историю революционных и атеистических идей в Европе и у нас. Очагами и агентами «заразы» в России Булгарин называет «Союз благоденствия», мо-

сковских любомудров, декабристов, то-есть кружки и объединения, неизменно близкие Пушкину.

В момент полного преуспеяния этого нового правительственного агента автор «Андрея Шенье» продолжает пребывать под политическим следствием. Дело о распространении стихов «На 14 декабря» должен был разбирать верховный трибунал, в состав которого входили виднейшие представители дворянства, судившие недавно декабристов: князья А. Куракин, Д. Лобанов-Ростовский, Александр Голицын, Алексей Долгорукий, Кутузов, графы В. Кочубей, П. Толстой, А. Чернышев, Строганов. К ответственности привлекались учитель Леопольдов, прапорщик Молчанов, штабс-капитан Алексеев и «сочинитель» Пушкин, главный виновник процесса, дерзко подрывающий престиж государства и церкви своей революционной поэзией. 28 июня 1828 года государственный совет дал заключение «в отношении к сочинителю Пушкину», «что по неприличному выражению его в ответах своих насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения поручено было иметь за ним секретный надзор». Заключение это было утверждено Николаем I.

Одновременно с органами политического следствия выступает против Пушкина и официальная церковь. На этот раз обвинение в государственных преступлениях возбуждает против него «первенствующий иерарх православия» — петербургский митрополит Серафим. Его предшественника Амвросия Пушкин назвал в 1817 году «бесстыдным хвастуном» и дряхлым сладострастником. Нового российского папу он мог бы еще резче заклеймить за его беззастенчивое политиканство и воинствующий фанатизм. Сын калужского дьячка, будущий Серафим успешно и быстро поднялся по ступеням духовной карье-

ры, прославившись своими строгими наблюдениями за жизнью монашествующих и беспощадной борьбой за «чистоту» веры. Натура активная и страстная, он проявил себя боевым политиком, решив вступить в борьбу с министром духовных дел и народного просвещения Голицыным. Заручившись поддержкой Аракчеева и весьма влиятельного архимандрита Фотия (заклейменного эпиграммой Пушкина), Серафим представил в 1824 году Александру I свои соображения о необходимости удалить от власти Голицына, «колеблющего православную церковь» еретическими книгами. Голицын пал; неугодные митрополиту сочинения были сожжены. Сам он выступил 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в облачении и с крестом, стремясь удержать революционное наступление восставшей гвардии.

К такому-то суровому и властному главе православной церкви поступили 28 мая 1828 года списки «Гавриилиады». Можно представить себе, с каким негодованием воинствующий монах читал иронический рассказ о том, как —

во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей...

Грозный митрополит, подвергавший беспощадному сожжению богословские трактаты за малейшее отклонение от буквы священных текстов, увидел в пушкинской поэме дьявольское преступление, о котором счел необходимым немедленно довести до сведения самого царя. В тот же день Серафим обратился к статс-секретарю Муравьеву с письмом, в котором сообщал о доносе дворовых на отставного штабс-капитана Валерьяна Митькова, читавшего своим людям «Гавриилиаду» Пушкина, «чтоб внушить им презрение к религии».

В своем письме митрополит делал первый опыт крити-

ческого анализа «Гавриилиады»: «Я долгом своим почел прочитать сию поэму, но не мог ее всю кончить, ибо она исполнена ужасного нечестия и богохульства... Господь-бог — страшно и писать, — архангел Гавриил и Сатана влюбились в пресвятую деву Марию и пр. По истине сам Сатана диктовал Пушкину поэму сию. И сия-то мерзостнейшая поэма переходит из рук в руки молодых благородных юношей. Какого зла не может причинить она, тем паче, что Пушкина выдают нынешние модные писатели за отменного гения, за первоклассного стихотворца». Серафим умолял верховную власть «как можно скорее остановить сию страшную заразу».

Николай I распорядился о совместном допросе петербургским военным генерал-губернатором и митрополитом Серафимом прежде всего главного распространителя богохульной поэмы штабс-капитана Митькова, взятого под арест. Дальнейший ход дела был поручен особой верховной комиссии, имевшей в то время исключительное значение в государственном управлении. Незадолго перед тем, — в апреле 1828 года, Николай I, уезжая в армию, передал в Петербурге свою власть триумвирату в составе П. А. Толстого, А. Н. Голицына и В. П. Кочубея. Этому верховному органу поручалось теперь раскрытие «крупнейшего государственного преступления».

Высокие сановники поручили произвести первый допрос поэта петербургскому военному генерал-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову.

Не подозревавший о новой беде, Пушкин летом 1828 года, по словам Вяземского, «кружился в вихре петербургской жизни». Он много играл в карты, и к этому времени относится его «баллада об игроках» («А в ненастные дни...»). Одновременно он увлекся женщиной бурного характера и больших страстей — Аграфеной Закревской, которую Боратынский называл Магдалиной, а Пушкин «беззаконной кометой...» Среди этих развлече-

ний он неожиданно получает в начале августа вызов к петербургскому военному генерал-губернатору.

Сразу вспомнилась несчастная весна 1820 года. Вызов к Милорадовичу, толки о крепости, о Сибири и Соловках, ссылка на юг... О чем теперь его будут допрашивать?

Кабинет Голенищева-Кутузова ничем не напоминал собрания художественных редкостей Милорадовича. Новый генерал-губернатор был чужд всякой театральности. Сухо и строго, держа перед глазами документ, он предложил Пушкину «во исполнение высочайшей воли» дать ответ власти: им ли писана поэма, известная под названием «Гавриилиады»?

Положение оказывалось не менее серьезным, чем в 1820 году. За оскорбление церкви закон угрожал ссылкой в отдаленные места Сибири [1]. О своей внутренней борьбе на этом допросе Пушкин вскоре писал:

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду...

После некоторой паузы решительно и твердо раздается ответ:

«Не мною».

Генерал явно не удовлетворен таким «запирательством» подследственного:

«И сочинение это вам вообще неизвестно?»

Вопрос заставлял насторожиться. Ведь власть могла располагать и неопровержимыми сведениями о чтении и

---

[1] По воинскому уставу Алексея Михайловича, злостное богохуление каралось смертной казнью, легкомысленное — шпицрутенами; по позднейшему законодательству — лишением всех прав состояния и ссылкой на поселение в отдаленные места Сибири.

распространении им «кощунственной поэмы»; необходимо было избежать такой ловушки.

«В первый раз видел я «Гавриилиаду» в лицее».

Генерал, при всей официальной сдержанности, не может скрыть некоторого оживления в голосе — в сущности, он добился полупризнания. Следовало уточнить достигнутое:

«В котором году?»

Ясно, что только ранний возраст мог несколько смягчить прегрешение.

«В 1815 или 1816».

«Только видели рукопись?»

Уж не располагает ли правительство авторскими списками поэмы? Следовало предупредить и такую возможность:

«И переписал ее».

Допрос приступал вплотную к основному заданию:

«Имеете ли вы и ныне у себя экземпляр этой поэмы?»

«Не имею. Не помню, куда дел свой список, но с тех пор не видал его».

Генерал не скрывает, что признает эти колеблющиеся ответы полным сознанием вины:

«Извольте дать подписку впредь подобных богохульных сочинений не писать под опасением строгого наказания».

Это, конечно, еще не означало конца дела. Полный сомнений и тягостных предчувствий («Рок завистливый бедою — Угрожает снова мне...»), Пушкин все же обращается к своему любимому творению. Седьмая глава «Онегина» вырастала медленно. Поэт сосредоточенно работал над углублением характеров главных героев. В онегинской библиотеке — «в келье модной» — над страницами Байрона, Шатобриана и Бенжамена Констана Татьяна умственно зреет, приучает себя критически относиться к людям, уверенно разбирается даже в самом сложном

современном характере, еще недавно столь пленявшем ее. Чутьем любящего сердца она замечательно понимает драму яркой и одаренной личности, обреченной в условиях окружающего быта на бесплодное прозябание, на «призрачность», подражание, пародийность. Для полного раскрытия сущности этого «надменного беса» Пушкин решил ввести в роман «альбом Онегина», его личные записи, афоризмы и наблюдения. После зловещего допроса у военного генерал-губернатора Пушкин набрасывает прозрачные строфы этого блестящего и печального дневника, довольно четко отражающего увлечения и горести поэта в тревожный 1828 год.

Цветок полей, листок дубрав
В ручье кавказском каменеет;
В волненьи жизни так мертвеет
И ветреный и пылкий нрав.

Через две недели после первого допроса Пушкин снова был вызван к петербургскому военному губернатору.

«Государь император соизволил поручить мне спросить у вас, — заявил Голенищев-Кутузов, — от кого получили вы в 1815 или 1816 году в лицее поэму «Гавриилиаду», ибо открытие автора уничтожит всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под вашим именем».

Высочайшее недоверие к его показанию выражалось довольно открыто. Но изменять данные сведения было уже поздно. Пушкин дал письменный ответ: «Рукопись ходила между офицерами Гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 1820 году».

Одновременно Пушкин пытается способствовать «открытию автора». В черновике своего последнего показания он сообщает о рукописи «Гавриилиады»: «...знаю только, что ее приписали покойному поэту кн. Дм. Горчакову». Такое же указание имеется и в письме к Вяземско-

му. В ответ на требование Николая Пушкин решает назвать того самого Горчакова, которым восхищался в лицейских стихах и который присутствовал на его знаменитом торжестве 1815 года. Умерший в 1824 году, Горчаков был известен как атеист, и это делало правдоподобным такое предположение.

Но следственное упорство Николая I не так легко было сломить. Получив новое «запирательство» поэта, он отдает приказ о вызове Пушкина уже не к генерал-губернатору, а к председателю верховной комиссии для прочтения ему новой «высочайшей» резолюции.

Пушкин предстал перед главнокомандующим Санкт-Петербурга и Кронштадта графом П. А. Толстым. Сановный старец объявил ему высочайшую резолюцию — «призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».

Это было выражением «высочайшего» недоверия и одновременно требованием полного сознания. Толстой попытался убедить поэта, «видя к себе такое благоснисхождение его величества, не отговариваться от объявления истины».

Пушкин погрузился в долгое размышление. Необходимо было сознаться; но как итти на это после прежних официальных показаний? Единственный выход — непосредственный ответ Николаю I.

«Позволено ли будет написать прямо письмо царю?» задал он вопрос Толстому. Получив утвердительный ответ, Пушкин написал письмо на высочайшее имя.

Из двух возможных гипотез (Пушкин мог назвать либо Д. П. Горчакова, либо себя) не приходится колебаться в выборе второй; первую не пришлось бы облекать такой торжественной тайной; только вторая давала тре-

буемое «сознание». Взятый Николаем I курс на строгую маскировку всех репрессий, предпринимаемых против Пушкина, привел и на этот раз к демонстративному жесту «прощения»: дело о «Гавриилиаде» было прекращено. Правительство получило сознание поэта и знало, от кого могла исходить «страшная зараза» антицерковной пропаганды. Сознание давало в руки власти документ, который в случае нового выступления его автора бил наверняка.

Но не только власть судила поэта, — свершался и обратный суд. По карандашному тексту чернового показания Пушкина о «Гавриилиаде» (сохранившегося в его тетрадях) сделан чернилами набросок «Анчара». 9 ноября 1829 года Пушкин написал это сдержанно гневное стихотворение — один из самых сильных протестов против угнетения человека человеком:

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Тираническое единовластие, беспощадно попирающее права личности и жизнь народов, бросающее на верную смерть «рабов» во имя укрепления своей мощи кровопролитнейшими завоеваниями, — в таких немногих чертах раскрывалась коренная сущность «неправедной власти», тяготевшей над судьбами страны и ее первого поэта.

IV

ПОЭМА О ПЕТРЕ

Весь период процесса о «Гавриилиаде» Пушкин провел безвыездно в Петербурге. Разгром передового дворянства и вольных объединений в 1826 году совершенно видоизменил облик столицы. Из собеседников своей моло-

дости Пушкин здесь уже почти никого не застал: Николай Тургенев, Михаил Орлов, Чаадаев, Катенин, Пущин, Лунин, Никита Муравьев, Якушкин — все были рассеяны по свету — кто в Москве, кто в деревне, кто в чужих краях, кто в Сибири. Никаких объединений вроде «Арзамаса», «Зеленой лампы» или «Общества 19 года», никаких «партий» в театральных залах. «Петербург стал суше и холоднее прежнего, — писал Вяземский 18 апреля 1828 года, — общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет». Все стало чинным, однообразным, настороженным, даже частная жизнь, казалось, восприняла общую мундирность правительственного быта с штампованным вензелем Николая I.

После лицея Пушкин щедро расточал свою поэзию в петербургских кружках. Теперь он стал сдержаннее. Столичный общественный круг 1828 года — от сановных следователей до пресмыкающихся журналистов — представляется ему сплошным сборищем ничтожных и низменных искателей, помышляющих лишь о «единой пользе». Этой «черни» противопоставляет себя Пушкин в знаменитом стихотворном диалоге 1828 года. Бездушной и тусклой обывательской среде во всех ее отслоениях — от салонов до редакций — поэт согласен дать единый урок: заявить ей, что художник создан «не для корысти», не для развлечения и потехи рабского и «хладного» мещанства, а для вдохновенного труда. Служение «чистому искусству» приобретало в условиях этой рабьей действительности и отсталых воззрений некоторый характер общественного протеста. Он был одинаково направлен против угодливых требований «Северной пчелы», ожидающей от поэта специфических «восхвалений», и против реакционного учения устарелых риторик, признающих целью художества нравоучение. «Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риторами, будто бы польза есть условье и цель изящной словесно-

сти, сама собою уничтожилась», писал Пушкин в тридцатых годах. Но в 1828 году он еще борется за высокие творческие права художника, нисколько не отрывая его при этом от задач общего дела и широких человеческих интересов.

Заключительные строки стихотворения «Поэт и толпа» («Для звуков сладких и молитв») перекликаются с вариантом позднейшего «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел...

Народ преклоняется перед поэтом за его строгий творческий подвиг, свершенный им для народа и во имя любви к нему. Пушкин не отказывался от этого служения, не освобождал писателя от таких жизненных задач. «Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления, — писал о нем Мицкевич. — Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гёте». Но это убеждение в социальном призвании поэта он выразил со всей полнотой лишь в последнюю эпоху своей жизни.

Из этой столичной «черни» гостиных и кружков Пушкин выделял немногих друзей — в первую очередь Дельвигов [1]. У них бывали Гнедич, Плетнев, М. И. Глинка, литератор Орест Сомов, Анна Петровна Керн, М. Л. Яковлев (лицеист), Сергей Голицын (поэт-любитель и музыкант). По свидетельству Керн, Дельвиги были большими любителями музыки; молодые композиторы выступали здесь со своими новыми произведениями, «а иногда и все мы хором пели какой-нибудь канон бравурный, модный романс или баркароллу». На другой же день после своего возвращения в Петербург, 25 мая 1827 года, Пушкин читал у Дельвигов «Бориса Годунова».

[1] В 1825 году Дельвиг женился на С. М. Салтыковой.

LE ROUGE
ET LE NOIR

CHRONIQUE DU XIX^e^ SIÈCLE,

PAR M. DE STENDHAL.

TOME PREMIER.

PARIS.

A. LEVAVASSEUR, LIBRAIRE, PALAIS-ROYAL.

1831.

Титульный лист романа Стендаля «Красное и черное».
Экземпляр пушкинской библиотеки.

Из старых петербургских знакомых Пушкин продолжал посещать Олениных. Знаток искусств и древностей продолжал свою художественную и коллекционерскую работу. Кабинет его попрежнему напоминал своими эстампами и вазами музей искусств; здесь, как и встарь, собирались поэты и артисты. Но девочка-подросток Анна успела превратиться в двадцатилетнюю красавицу с огромными задумчивыми глазами. «...Но то ли дело — глаза Олениной моей!» писал зачарованный поэт, одно время прочивший себе в жены дочь знаменитого археолога.

Среди новых знакомых Пушкина особенное значение имела Елизавета Михайловна Хитрова, дочь фельдмаршала Кутузова и мать известной красавицы Долли Фикельмон, жены австрийского посла. Дом их представлял в Петербурге политический салон западноевропейского типа, где в то же время ревностно сохранялся культ славного русского прошлого — «доблестные кутузовские традиции». Потеряв первого мужа в Аустерлицком сражении (его подвиг на Праценских высотах описан Толстым в знаменитой главе «Войны и мира» о ранении Андрея Болконского), Елизавета Михайловна вышла замуж за дипломата Хитрова. Прожив несколько лет в Италии, она навсегда сохранила живой интерес к европейской политической и художественной жизни. Парижская хроника, иностранные газеты, новинки западной литературы — со всем этим Пушкин мог знакомиться в доме своей новой почитательницы. Их переписка свидетельствует о прочном дружеском чувстве и несомненном интересе поэта к уму и знаниям этой европейски образованной женщины. Именно она познакомила Пушкина со Стендалем и доставила ему один из лучших романов XIX века— «Красное и черное».

«Умоляю вас прислать мне второй том «Rouge et Noir», я от него в восторге», писал Пушкин в мае 1831 года

Хитровой. Стендалевская «Хроника XIX века» вышла с эпиграфом из речей Дантона: «Истина, суровая истина». Романист стремился с беспощадной правдивостью изобразить Францию эпохи Реставрации во всей безотрадности ее реакционного и клерикального режима. «Это живопись общества, созданного иезуитами и эмигрантами», писал современный критик; роман смахивал на социальный памфлет и свидетельствовал о подлинной ненависти автора к королевской монархии и католической конгрегации. Главный герой — Жюльен Сорель, выходец из народа, бунтарь и протестант, ненавистник титулов и богатств, является носителем той энергии, которая создает «великих людей». Он стремится во что бы то ни стало выйти из нищенского состояния и сравняться с миром благоденствующих и господствующих. Монолог Жюльена в тюрьме призывает к восстанию и полному уничтожению общества, прикрывающего преступления ложью. Нет ни бога, ни религии, ни права — есть только «сила льва» и потребность стать им у всех испытывающих голод и холод. Поклонник энергии и сил эпохи Возрождения, Стендаль воскресил в мужественном герое своего романа титанические образы итальянских хроник Чинквеченто. В авторе «Красного и черного» Пушкин должен был почувствовать выученика материалистов XVIII столетия и знатока кровавых нравов старой Италии.

Из театралов 1818 года Пушкин встретился снова с Грибоедовым. 14 марта 1828 года Петербург с необычайной торжественностью, непрерывными пушечными салютами, не смолкавшими весь день, встречал приезд молодого дипломата, посланного Паскевичем в Петербург с текстом Туркманчайского мира. Договор этот, в значительной степени составленный блестящим драматургом, заканчивал весьма выгодно для России персидскую войну. На другой же день Грибоедов был принят Нико-

лаем I, награжден чином, алмазным крестом и четырьмя тысячами червонцев. Судьба его казалась многим легендарной: лишь два года тому назад он сидел арестованный под крепким караулом в главном штабе по делу о 14 декабря и был на сильнейшем подозрении у самого царя. А 14 апреля 1828 года он был назначен полномочным посланником российского императора в Персии. Несмотря на служебные хлопоты в связи с высоким назначением, автор «Горе от ума», как поэт и музыкант, широко общался с артистическими кругами столицы.

После десятилетней разлуки «персидский Грибоедов» показался Пушкину сильно изменившимся: он обгорел под южным солнцем, пожелтел от лихорадки, утратил живую веселость взгляда. «Я там состарился, — говорил он друзьям о своем пребывании в Тегеране, — не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости». Это был близкий Пушкину герой его поколения, как Чаадаев и Александр Раевский, человек выдающегося ума, с охлажденными чувствами. «Это один из самых умных людей в России, — говорил о нем Пушкин Ксенофонту Полевому. — Любопытно послушать его».

В доме издателя «Отечественных записок» Грибоедов в присутствии Пушкина читал отрывок из своей новой трагедии «Грузинская ночь». Автора «Бориса Годунова» должна была заинтересовать общность их творческих исканий: это была романтическая трагедия на основе народных сказаний Грузии, оформленная по законам «отца нашего Шекспира», особенно же его «Макбета». Некоторые слушатели этой последней драмы Грибоедова считали, что, если бы эта вещь «была так окончена, как начата, она составила бы украшение европейской литературы... Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своего господина...»

Вскоре Грибоедов услышал авторское чтение «Бориса Годунова». Оно происходило 16 мая в особняке графини Лаваль, рядом с сенатом. Знаток русской истории сказался в отзыве драматурга о новой трагедии. «Грибоедов критиковал мое изображение Иова», писал Пушкин Раевскому, признавая правильность возражения и свой «недосмотр в трактовке исторического лица».

Произошло и некоторое сотрудничество Грибоедова с Пушкиным. Оба они общались в то время с молодым музыкантом Глинкой, «одним из первых наших пианистов» (говорили о нем в конце двадцатых годов). По приезде в Петербург Пушкин слушал его импровизацию, подробно описанную Керн: «У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки...» Замечательный музыкант, Грибоедов сообщил Глинке тему одной грузинской песни, которую композитор стал разрабатывать на рояле. Мотив увлек Пушкина; он «нарочно под самую мелодию» написал слова:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной...

Совместное творчество Грибоедова, Глинки и Пушкина создало один из прекраснейших русских романсов.

Вскоре Грибоедов простился с Пушкиным. Новый пост предвещал министру-резиденту в Персии неминуемую катастрофу. Как первоклассный дипломат, Грибоедов безошибочно предвидел, что персидское правительство жестоко отомстит ему за Туркманчайский договор. «Он был печален и имел странные предчувствия, — записал впоследствии Пушкин. — Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez, qu'il faudra jouer des couteaux»[1].

---

[1] «Вы не знаете этих людей вы увидите, что придется пустить в ход ножи».

Это был последний разговор двух поэтов, но по случайному совпадению обстоятельств не последняя их встреча.

На чтении «Бориса Годунова» у Лаваль присутствовал Мицкевич. Возникшая в Москве дружба с Пушкиным получила теперь заметное развитие и углубление.

Впоследствии Мицкевич, вспоминая свои беседы с Пушкиным, отметил близость русского поэта к писателям передового Запада. «Что делалось в его душе? — спрашивает Мицкевич о Пушкине конца двадцатых годов. — Зрел ли там, в глубине, тот дух, что живет в творениях Манцони или Пеллико, оплодотворяет размышления Томаса Мура? Может быть, мысль его работала, чтобы воплотить в себя идеи Сен-Симона, Фурье? Не знаем. В его воздушных стихах, в его разговорах обозначались уже следы обоих направлений».

В Демутовом трактире Мицкевич однажды импровизировал Пушкину на большую социальную тему — о будущем соединении всех народов в одну братскую семью. Польский поэт, призывавший на французском языке русских писателей — Пушкина, Вяземского, Плетнева — противопоставить вражде государств дружбу наций, выражал своей поэтической проповедью великую идею международного братства. Импровизация произвела сильнейшее впечатление на слушателей и надолго запомнилась. О ней Пушкин упоминает в своих знаменитых стихах 1834 года:

...Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Беседы их касались и других исторических тем. В стихотворении «Памятник Петра Великого» Мицкевич дал

АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798 — 1855).

С рисунка Ваньковича.

знаменитое описание дождливых сумерок на Сенатской площади, когда два поэта, прикрывшись одним плащом, стояли у Фальконетова монумента:

Сгущалась ночь над Петроградом.
Под острым ветром и дождем
Два юноши стояли рядом,
Одним окутаны плащом
И взявшись за руки. Безвестен
Был первый, с Запада пришлец —
Глухая жертва царской мощи.
Другой — по странам полуночи
Гремел гармонией песен —
Народа русского певец.
Они недавно подружились,
Но быстро души их сдружились,
Как две альпийские скалы...

В этом стихотворении Мицкевич описывает сокрушительную скачку царского коня к обрыву пропасти: «Но в эти мертвые пространства, — Лишь ветер Запада дохнет, — Свободы солнце всем блеснет — И рухнет водопад тиранства...» Тема Петра в этот необычайный петербургский вечер волновала мысль обоих поэтов. Оба в то время обращались к истории. «Тогда много толковали о местном колорите, — вспоминал впоследствии Мицкевич, — об историческом изучении, о необходимости воссоздавать историю в поэзии».

В России Мицкевич усиленно работал над своей поэмой «Конрад Валленрод». Этот борец за освобождение Литвы от прусского ига рано стал образцом для поэта. Еще находясь в заточении, в келье Базильянского монастыря, превращенного царскими агентами в тюрьму, Мицкевич записал в своем дневнике: «Первого ноября во мне умер мечтатель Густав и родился боец Конрад». Через пять лет, в феврале 1828 года, поэма о Валленроде вышла в свет в Петербурге. Она вызвала всеобщее признание в русских литературных кругах. Пушкин сейчас

же поручил изготовить для себя подстрочный перевод поэмы, чтобы «в изъявление своей дружбы к Мицкевичу перевести всего Валленрода». Уже в марте он приступил к работе и перевел все вступление:

Сто лет минуло, как Тевтон
В крови неверных окупался...

Пушкин замечательно передал и сочувствие автора к «литовцам юным», оберегавшим заповедные рощи на правом берегу Немана, и вражду поэта к немецким крестоносцам. Но он не смог «подчинить себя тяжелой работе переводчика» и остановился на вступлении.

Самый жанр исторической поэмы в романтическом стиле, блестяще разработанный Мицкевичем, впервые обращает и Пушкина к этому роду. В 1828 году он приступает к разработке замысла, давно уже привлекавшего его; именно к этому времени относятся первые наброски «Полтавы». Тема «Конрада Валленрода» отчасти отразилась на трактовке образа Мазепы — «изменника Петра перед его победою, предателя Карла после его поражения». Пушкин однажды «объяснял Мицкевичу план своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желаньем передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица».

К этому образу уже обращались любимые европейские поэты Пушкина — Вольтер в «Истории Карла XII» и Байрон в поэме «Мазепа». Их традицию обновил в 1824 году Рылеев, изобразив знаменитого гетмана, впротивовес официальной трактовке его личности, в виде народного

героя и отважного предводителя в «борьбе свободы с самовластием». Пушкин не согласился с этой концепцией: он возражал против тенденции некоторых изобразителей Мазепы «сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого».

Побежденному мятежнику Пушкин противопоставляет подлинного строителя новой государственности — Петра. Это соответствовало преклонению декабристских кругов перед личностью реформатора. «Петр, слава русского имени», писал Николай Тургенев. «Россия обязана вечной благодарностью Петру I». «Мы прославляем патриотизм Брута, но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву отечеству».

Такая оценка вполне соответствовала представлению Пушкина о Петре. Он обратился к поэме для прославления «героя Полтавы», уже очерченного в набросках романа о Ганнибале.

Историческая тема для своего воплощения требовала у Пушкина любовной фабулы. Верный формуле Вальтера Скотта, он строил художественную историю на развертывании похождения двух влюбленных в условиях бурной политической эпохи. Так подошел он и к теме Мазепы и Карла. Обольщение гетманом дочери Кочубея представилось Пушкину «разительной чертой» и «страшным обстоятельством». От семейной драмы композиция поэмы ведет к политическим конфликтам: от сватовства Мазепы, отказа родителей и похищения Марии к мести оскорбленного отца, доносу Петру, пытке и казни Искры и Кочубея. Смутный бендерский замысел поэмы о гетмане начал теперь слагаться в романическую композицию. Владея нитью сюжета, Пушкин приступил к своей «петровской» поэме. Через две-три недели «Полтава» была написана.

Но романическая тема, столь глубоко разработанная в южных поэмах Пушкина и в «Онегине», не получила в

«Полтаве» углубленного развития[1]. Она носит здесь явно служебный характер, призванная только связать и объединить самоценные для поэта исторические образы и картины для придания им необходимой композиционной цельности. Перефразируя известный афоризм Дюма, можно было бы сказать, что роман Марии и Мазепы является для Пушкина тем гвоздем, на который он вешает свою историческую баталию. Весь смысл и ценность сюжета для него — в петровской эпохе, в политической борьбе Швеции, Украины и России, в образах Петра, Карла, Мазепы — в Полтаве, Бендерах и будущем Петербурге «Медного всадника», уже прозреваемом в эпилоге поэмы 1828 года. Пушкин в «Полтаве» прежде всего — поэт-историк. Драматизм и живописность даны здесь в конфликте государств, армий, наций. Героем поэмы является не Мазепа и Мария, даже не Петр и не Полтава, как плацдарм для исторического боя, а целая эпоха великих преобразований —

Та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

В этом центральный замысел и патетика поэмы. Пушкин, как исторический живописец, в ней необычайно вырастает сравнительно с «Русланом» и «Бахчисарайским фонтаном». Это крупный этап на пути эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям тридцатых годов. Гений Пушкина-историка также «мужал» и вырастал из пленявшей его еще недавно формы байронической поэмы. Поэт словно торопится отойти от романической

---

[1] Вскоре, в 1829 году, Пушкин писал по поводу «Бориса Годунова»: «Безлюбовная трагедия манила мое воображение». В «Полтаве» он не ставил себе аналогичной задачи, но в процессе его работы над поэмой авторский интерес от «любовной» темы явно склонился к исторической.

фабулы, чтобы полным голосом заговорить там, где в сюжет его вступает история, подлинная вдохновительница его замысла.

Стих его сразу достигает необыкновенной энергии и выразительности, как только большая государственная тема, оттесняя любовную фабулу, начинает вести его поэму.

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.

Фигуры исторических деятелей писаны смелой и сочной кистью. Петр I дан последовательно — в утро сражения, в полдень перед боем и вечером в шатре. Три сжатых зарисовки незабываемыми чертами фиксируют во весь рост историческую фигуру. Изображение намеренно выдержано в стиле придворного портрета XVIII века, с его торжественностью, героичностью, хвалебностью и апофеозом, но замечательный мастер исторической живописи сквозь все атрибуты парадного стиля дает ощущение живой фигуры, дышащей энергией и силой.

Так же выразительны облики Карла XII, Мазепы, Кочубея, Палея, Орлика, резко выделяющие характерные и крупные черты исторических лиц.

Обращаясь к теме петровской эпохи, Пушкин замечательно выдерживает ее в стиле искусства того времени, с его декоративной торжественностью, победной орнаментикой, грузной пышностью триумфальных арок и общим художественным принципом тяжеловесных форм, брошенных в стремительный круговорот. Пейзаж в «Полтаве» заметно отличается от картин Тавриды и Бессарабии в южных поэмах Пушкина. Художник кровопролитной эпохи Северной войны любил оживлять холмы и до-

лы воинственными деталями сражений. Война диктовала живописцу петровской эпохи темы для государственных эмблем и требовала от искусства воинствующих аллегорий и ратных сцен. Этому стилю соответствуют в «Полтаве» звенящие гулом сражений строфы о бранном звоне литавр и кликах —

Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки...

Полного расцвета этот стиль достигает в превосходной картине Полтавского боя, выдержанной в манере старинной батальной живописи. Это особый военный жанр, парадный, синтетический, намеренно театральный и при этом гравюрно точный во всех деталях. Это героический спектакль сражения с аксесуарами знамен, орудий, дымящихся жерл и катящихся ядер, среди смыкающихся ратей и гарцующих полководцев с протянутыми саблями и фельдмаршальскими жезлами в руках. Это сама сущность искусства эпохи Карла и Петра — массивность и движение. У Пушкина «тяжкой тучей» срываются «отряды конницы летучей», «шары чугунные повсюду — Меж ними прыгают, разят, — Прах роют и в крови шипят». Динамика и тяжеловесность господствуют в описании Полтавского боя.

Старинные литераторы отмечали в своих записках, что в XVIII веке поэзия тянулась за живописью, и такие авторы, как Державин и Дмитриев, увлекались передачей в поэзии картин и красок. Сражение со шведами в «Полтаве» также выдержано в традиции старинных баталистов[1].

---

[1] Пушкин был знаком с живописью одного из крупнейших баталистов XVII века — Сальватора Розы. Автор многочисленных «битв»: «Нападение кавалерии», «Встреча с конницей», «Эпизод сражения», «Атаки всадников» и других военных картин, Сальватор Роза был представлен в Петербурге рядом своих знаменитых полотен. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин называет его, описывая привод казаками пленных турок в штаб Паскевича: «огонь

И в соответствии с этим, порывая с элегическим стилем романтической поэмы, Пушкин обращается к старинным хвалебным одам на взятие крепостей или прославление победоносных полководцев, намеренно вводя в свои описания ломоносовские формулы.

Все это дает поразительное ощущение эпохи в ее конкретных проявлениях и формах. В «Полтаве» Пушкин изображает сражение, как большое и торжественное зрелище, протекающее по точному плану знаменитых полководцев. Полтавский бой начинается «звучным гласом Петра», и, развернувшись во всех эволюциях, он завершается заздравным кубком, поднятым в царском шатре за «славных пленников». Это почти празднество. Победоносный Марс выступает в блеске своих трофеев. Госпиталей не видно. Есть героическая симфония войны и триумфальная арка герою Полтавы. И в соответствии со всей великолепной фреской торжественно и мощно звучат стихи о «гражданстве северной державы», поднимая романтическую поэму до масштабов большой эпопеи в рельефном и монументальном стиле русского барокко [1].

К моменту написания «Полтавы» Пушкин получил неожиданную весть из дальней Сибири от Марии Волконской. Еще в январе 1828 года, узнав о смерти ее двухлетнего мальчика, оставленного у родственников в Петербурге, поэт послал в Читинский острог свою «Эпитафию младенцу Волконскому» — сердечный привет друга сибирскому каторжнику и его героической спутнице.

освещал картину, достойную Сальватора Розы». В библиотеке Пушкина имелась книга Сидней Морган (на французском языке): «Мемуары о жизни и времени Сальватора Розы», Париж, 1824 (два тома).

1 Основной художественный стиль Полтавского боя верно почувствовал Белинский, описывая «появление Петра» в «Полтаве»: «Как будто бы некий бог, в лучах нестерпимой для взоров смертного славы, проходит перед ним, окруженный громами и молниями».

До поэта дошел теперь отрывок женского письма: «В моем положении никогда не знаешь, доставишь ли удовольствие, напоминая о себе старым знакомым. Но все же напомните обо мне Александру Сергеевичу. Прошу вас передать ему выражение моей благодарности за эпитафию Николино; умение утешить скорбь матери — лучшее доказательство его таланта и сердечной чуткости».

Несколько строк, в которых чувствовалось сдержанное волнение, вызвали ответную творческую реакцию. Поэт решил посвятить свое новое создание — «Полтаву» — Марии Волконской. 27 октября было написано посвящение к поэме.

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?..

Это одна из прекраснейших страниц пушкинской лирики по глубине затаенного в ней чувства. В краткой элегии отражены этапы необычных отношений — далекий Крым (непризнанная любовь), прощание в Москве («последний звук твоих речей») и, наконец, «Сибири хладная пустыня...»

Посвящение «Полтавы» было написано 27 октября в имении Алексея Вульфа Малинниках Тверской губернии, куда Пушкин выехал из Петербурга по окончании своей поэмы. Здесь его внимание привлекла скромная и милая русская девушка — Маша Борисова. Мимолетная встреча оставила заметный след в творческой памяти поэта и отпечатлелась впоследствии в образе Маши Мироновой в «Капитанской дочке» (в черновых планах к роману невеста Гринева носит имя Марии Борисовой).

Пушкин слегка увлекся этой сиротой, жившей в семье тверских Вульфов, дружившей с такой же смиренной де-

вушкой-«поповной» Катей Смирновой. «Доношу вам, что Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне,—писал Пушкин 27 октября 1828 года А. Н. Вульфу из Малинников, — и что я намерен на-днях в нее влюбиться». Полушутливое намерение было, видимо, приведено в исполнение, так как вскоре Алексей Вульф отмечал в своем дневнике: «...Машенька Борисова, прошлого года мною совсем почти незамеченная, теперь заслужила мое внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу». Но в настоящую славу Пушкин ввел ее только через восемь лет, увековечив образ этой привлекательной провинциальной девушки в своем знаменитом историческом романе.

Сохранилось живое свидетельство и о впечатлении, какое Пушкин производил на этих «уездных барышень». В то время, как Ксенофонт Полевой нашел Пушкина в 1828 году «по наружности истощенным и увядшим», с резкими морщинами на лице, «поповна» Катя Смирнова выносит совершенно иное впечатление: «Пушкин был очень красив; рот у него был прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание... Показался он мне иностранцем, танцует, ходит как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает; весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках...» Это один из лучших мемуарных портретов Пушкина, простодушно зачерченный его сельской знакомкой 1828 года.

Разъезды по северным уездам вводят в поэзию Пушкина новую тему — большую русскую дорогу. В конце

ЕЛИЗАВЕТА УШАКОВА (1810—1872).

С акварели Вивьена (1833).

Владелица «ушаковского альбома» с рисунками Пушкина.

Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была... (1829)

двадцатых годов, а затем и в тридцатые годы, в его лирике, новелле, романе начинал звучать мотив примитивного путешествия на почтовых и перекладных по размытым трактам, вдоль полосатых верст, шлагбаумов с инвалидами и станционных домиков с их забитыми смотрителями. Этой докучной теме «дорожных жалоб» придает неожиданный драматизм главная угроза зимних поездок — метели. С исключительной силой раскрыты тоска и тревога путника, захваченного снежной бурей, в знаменитых «Бесах» (1829 г.), где мотив народных поверий, простодушно высказанный ямщиком («в поле бес нас водит видно»), вырастает в жуткую звуковую и зрительную картину зимней выюги, сказочно одушевленной диким хороводом бесовских орд. Это один из гениальнейших опытов Пушкина в плане переработки фольклорной фантастики, развернутой здесь на привычном фоне зимнего пейзажа северных равнин.

В начале декабря Пушкин уже был в Москве. Недолгое пребывание в ней оказалось на этот раз переломным в его «изменчивой судьбе» и определило все дальнейшее направление его жизни.

Вскоре после приезда на одном из балов Пушкин увидел девушку замечательной красоты. Это была шестнадцатилетняя Наталья Гончарова, которую только что начали вывозить в свет. Классическая правильность ее черт и глубокая задумчивость взгляда производили на всех неотразимое впечатление; в ней вскоре стали отмечать «страдальческое выражение лба» и особый характер «красоты романтической». Такая внешность всегда увлекала Пушкина (как это явствует из его стихов, посвященных Керн и Олениной: «гений чистой красоты», «ангел Рафаэля» и пр.). Но в Гончаровой этот тип достигал высшей выразительности. Трогательная элегичность вы-

ражения придавала ей сходство с итальянскими мадоннами (так названа она в знаменитом сонете, ей посвященном). «Голова у меня закружилась», писал впоследствии Пушкин, вспоминая этот декабрьский вечер 1828 года.

«Страдальческое выражение лба» не было случайной деталью этого точеного облика. Красавица-девушка росла в тяжелой обстановке. Огромное состояние калужских купцов и заводчиков Гончаровых было вконец промотано дедушкой Афанасием Николаевичем. Это ставило всю семью в трудное и ложное положение. Отец прелестной Натали, Николай Афанасьевич Гончаров, с ранних лет страдавший меланхолией, впоследствии заболел острой формой умопомешательства с буйными припадками и нечистовыми криками по ночам. До шести лет Наталья Николаевна росла у дедушки на Полотняных заводах, а затем попала в тяжелую обстановку московского родительского дома, где детей приходилось подчас удалять в мезонин с железными дверями, чтобы обезопасить от диких припадков отца. Мать семьи, Наталья Ивановна, отличалась в молодости замечательной красотой (судя по сохранившейся миниатюре) и даже отвоевала у императрицы Елизаветы Алексеевны ее возлюбленного Охотникова; с годами она стала невыносимым деспотом и наводила своим взбалмошным характером трепет на всю семью. По фамильным преданиям, «в самом строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых». Характеру младшей это сообщило черты замкнутости и робости, рано подмеченные Пушкиным; но, судя по ее сохранившимся письмам (более позднего периода), она проявляла большую сердечность к близким, много душевного тепла и внимания к ним. Эти документы семейной переписки опровергают традиционное мнение о Наталье Николаевне, как о пустой и бездушной женщине, и объясняют тот искрен-

ний тон привязанности и теплой дружбы, которым неизменно проникнуты все письма поэта к жене.

Познакомившись с Гончаровыми, Пушкин начал бывать в их доме, где молодое поколение относилось к знаменитому автору с живейшим интересом, а одна из дочерей, восемнадцатилетняя Александра, по преданию, знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Но бедная девушка была некрасива и не могла претендовать на успех у поэта. Мать семьи нисколько не разделяла восхищения своих дочерей Пушкиным: в качестве соперницы Елизаветы Алексеевны она относилась с благоговением к личности Александра I, историю которого Пушкин в те годы собирался писать «пером Курбского», то-есть в резко памфлетическом тоне. Насквозь проникнутая ханжеством, вечно окруженная монахинями и странницами, помешанная на церковной обрядности, она не выносила вольнодумных речей и скептических острот своего будущего зятя. Что же касается младшей дочери, то она была чрезвычайно застенчива, «скромна до болезненности», «тиха и робка». Успех у знаменитого писателя (по позднейшему свидетельству ее дочери) подействовал на нее подавляюще. «Я надеюсь приобрести ее расположение со временем, но во мне нет ничего, чем бы я мог ей нравиться», таково было мнение самого Пушкина.

Но и его отношение к шестнадцатилетней девушке было полно застенчивости, робости и благоговейного восхищения. Он, как художник, преклонялся перед такой совершенной красотой в жизни, воспринимал ее, как явление из мира искусства. Недаром его первое посвящение невесте открывается такой характерной «артистической» строфой:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

На первых порах Пушкин полон нерешительности, весь погружен в созерцание, мечтает навсегда остаться зрителем «одной картины...»

Тем не менее, в конце апреля 1829 года он просит Толстого-Американца (с которым помирился к тому времени) быть его сватом у неприветливой и строгой Натальи Ивановны. 1 мая Толстой сообщает ему дипломатическую резолюцию матери-Гончаровой, оставляющую вопрос вполне открытым. «Этот ответ не есть отказ, — писал ей в тот же день Пушкин. — Вы позволяете мне надеяться». Но ответ все же не был согласием. Пушкин счел необходимым поступить так, как это принято при отказе: в тот же день он выехал из Москвы в далекую Грузию, где уже второй год шла война России с Турцией.

V

«АРЗРУМ НАГОРНЫЙ»

От «милости» властей и «популярности» в столичном обществе Пушкин испытывал непреодолимую потребность бежать — в деревню, в чужие края, в Париж или в Пекин, — лишь бы освободиться от обступившей его «тупой черни». Давно замышленный «побег» отчасти получил свое осуществление в самовольной и стремительной поездке на турецкий фронт. В стратегический план главнокомандующего отдельным кавказским корпусом — Паскевича — входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было «поехать посмотреть на Константинополь». Такая возможность, видимо, снова, как и в 1824 году, соблазняет поэта. Во всяком случае путешествие в действующую армию давало хотя бы временное избавление от Петербурга.

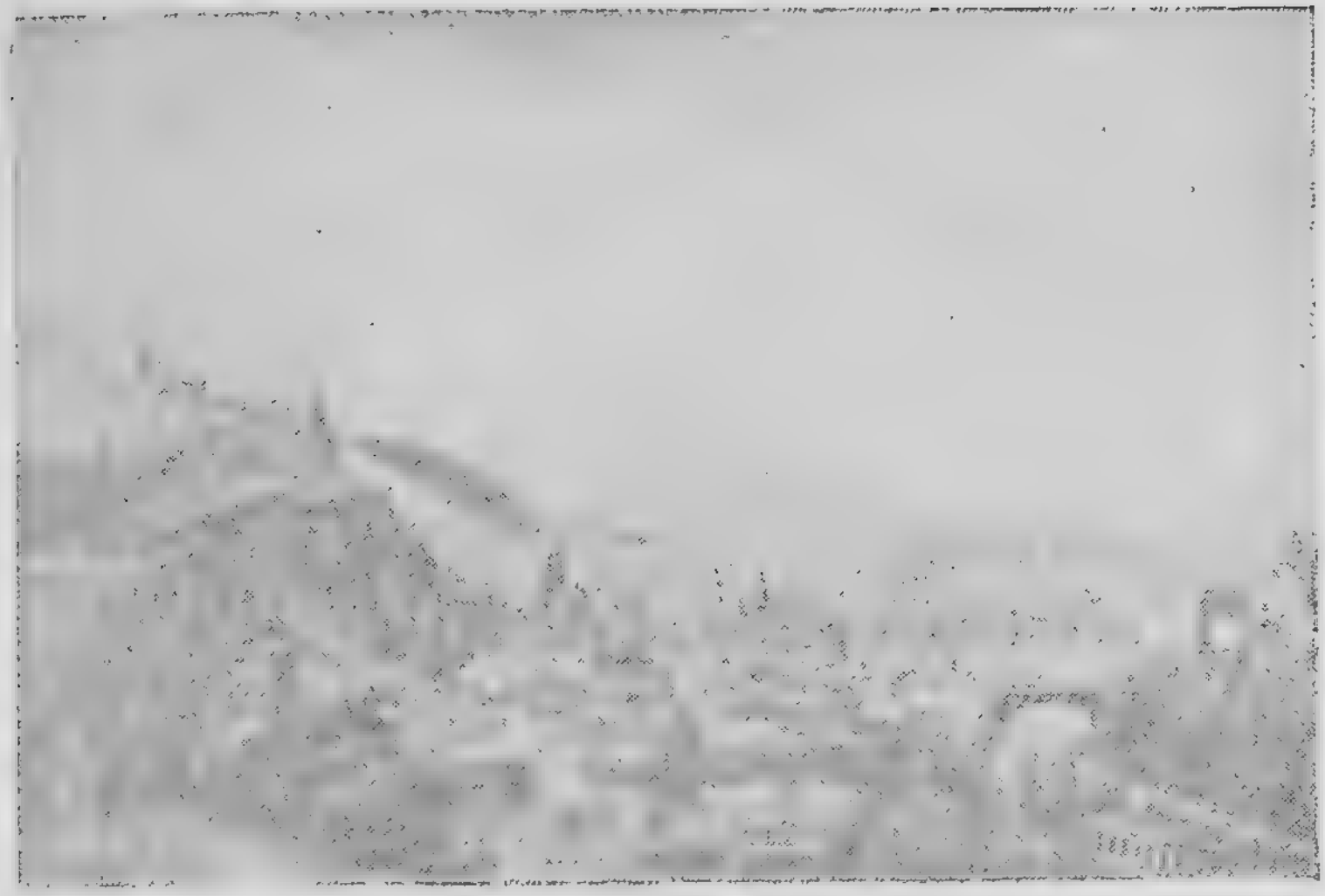
Пушкин сам рассказал в 1836 году по записям своего путевого журнала 1829 года всю эту замечательную гла-

ву своей биографии: посещение под Орлом опального Ермолова (вызвавшее в дорожном дневнике поэта изумительный портрет: «Голова тигра на геркулесовом торсе»); пребывание в калмыцкой кибитке под Ставрополем (получившее отражение в степном мадригале: «Прощай, любезная калмычка!»); переезд по Военно-Грузинской дороге, две-три недели в Тифлисе, где местное общество венчало «русского Торквато»; встречу с телом Грибоедова, военные действия Паскевича, посещение арзрумского гарема и чумного лагеря. Одна глава автобиографии Пушкина написана им и не нуждается в пересказе. Она может быть только дополнена материалами, освещающими те моменты, которые по ряду соображений поэт не захотел включить в свой рассказ или изложил намеренно сжато. «Путешествие в Арзрум» известно каждому, но на его полях можно сделать несколько заметок.

Накануне тридцатых годов, с их заботами, обязательствами, тисками и гнетом, летом 1829 года в последний раз блеснула молодость Пушкина. Красочность и удаль азиатской войны, живописность утесов и пропастей горной дороги, восточные бани и грузинские песни, воздушные строфы самого путешественника о «шатре» Казбека и холмах Грузии — все это кажется продолжением далеких южных лет с их скитаниями, таборами, черкесскими песнями, мечтой о заморских краях и бессмертными поэмами.

Путешествие в Арзрум было возвратом к лучшей поре, новым свиданием с Николаем Раевским, новым созерцанием Эльбруса, непосредственным наблюдением Пушкина над жизнью, нравами и песнями горных народов и, наконец, творческим воспоминанием о Марии Раевской, неизменной Беатриче его жизненного пути:

Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.



Тифлис в 30-х годах прошлого столетия.

«Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев». («Путешествие в Арзрум».)

Стихотворение было написано на Северном Кавказе, в местах, памятных по путешествию с Раевскими в 1820 году.

Столь ценивший «сладостный союз поэтов», Пушкин в новой поездке чрезвычайно расширил круг своих личных общений с мастерами размеренной речи. Недалеко от Казбека он встретил поезд иранского принца Хосрев-Мирзы, посланного в Петербург с извинениями за убийство Грибоедова и всей русской миссии. Принца сопровождал знаменитый иранский поэт и ученый Фазиль-хан. Пушкин просил представить его тавризскому писателю и

был очарован простотой его обращения и «умной учтивостью» его беседы. Сохранились наброски его стихотворного посвящения Фазиль-хану, в котором русский поэт несколько по-восточному благословляет день и час, когда судьба его соединила в горах Кавказа с собратом по искусству, благословляет новый путь тегеранского лирика «на север наш суровый, — Где кратко царствует весна, — Но где Гафиза и Саади — Знакомы имена...» Среди этих неотделанных черновиков блещет великолепная строфа:

Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след в своих стихах.
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.

В Тифлисе Пушкин познакомился с крупнейшими поэтами современной Грузии — Александром Чавчавадзе (тестем Грибоедова) и Григорием Орбелиани. Это были знатоки русской и европейской поэзии (их перу принадлежит и ряд переводов из Пушкина); они способствовали знакомству странствующего поэта с народным творчеством своей родины.

В Тифлисе в честь Пушкина был устроен праздник с музыкой, пением, танцами. В загородном винограднике за Курою были собраны «песенники, танцовщицы, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии, — сообщал впоследствии устроитель этого празднества. — Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песнь, и Ахало, и Алаверды, и Якшиол...» Пел имеретинский импровизатор под аккомпанемент волынки. Национальное искусство еще ярче выступало на фоне сменявшего временами грузинских музыкантов европейского оркестра, игравшего марш из «Белой дамы» Боальдье. «Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской

песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предавался ребячьей веселости!» «Голос песен грузинских приятен», записал Пушкин в своем «Путешествии», а один из романсов, прозвучавших на этом вечере, «Ахал агнаго сулo», он перевел и поместил в своей книге. Это «Весенняя песнь» поэта Димитрия Тумашвили, расцвеченная восточными орнаментальными образами и красивым строфическим рефреном: «От тебя ожидаю жизни!» Можно поверить мемуаристу, что под утро, взволнованный этим богатством красочного искусства Грузии и горячими приветствиями тифлисских друзей, венчавших поэта живыми цветами, Пушкин сказал им: «Я не помню дня, когда был веселее нынешнего...»

Дальнейшее путешествие дало новые встречи уже с азербайджанскими поэтами: в Кахетии Пушкин познакомился с Мирза-Джан Мадатовым, автором анакреонтических песен; в штабе Паскевича ему представили одного из крупных писателей Азербайджана Абас-Кули-Ага Бакиханова, сына изгнанного бакинского хана Мирза-Мухамед-хана. Он хорошо владел восточными и западными языками — фарсидским и французским. Эти встречи не прошли бесследно. Личность и творчество Пушкина были горячо восприняты азербайджанской поэзией, через несколько лет раскрывшей свою любовь и поклонение убитому русскому певцу элегическою поэмою молодого Мирза-Фатали Ахундова.

В эти летние месяцы 1829 года сбылась давнишняя мечта Пушкина увидеть войну и даже принять в ней участие.

Его лицейские мечтания о военной деятельности, его стремление броситься в борьбу Греции с Турцией, его

прошение о поступлении в действующую армию в 1828 году — все это свидетельствовало о какой-то прочной склонности характера. Интерес к идее «вечного мира» аббата Сен-Пьера никогда не угашал в нем влечения к военной профессии, возбужденного «грозой двенадцатого года» и окрепшего в среде царскосельских гусар и кишиневских штабных. Один из них — полковник Липранди, умный и зоркий наблюдатель, категорически утверждал, что Пушкин, с его «готовностью на все опасности», был бы выдающимся военным и прославился бы на этом поприще, как и на своем поэтическом.

Пушкину предстояло увидеть настоящую «большую» войну. Как раз в июне 1829 года начинала развертываться сложная, трудная и весьма ответственная кампания. С весны новое расположение турецких войск довольно отчетливо раскрывало намеченный неприятелем план генерального летнего наступления на русскую армию. Из Арзрума, центра военных сил Турции и ставки главнокомандующего, или «сераскира», Хаджи-Магомета Салех-паши, решено было произвести одновременное наступление по всей линии русского фронта, то-есть на Гурию, Карс, Ахалцых и Баязет. Отдельный Кавказский корпус, сравнительно немногочисленный, находился под серьезной угрозой. Необходимо было предупредить намерение сераскира и сохранить за собой инициативу наступления, угрожая таким важным неприятельским пунктам, как Арзрум и Трапезунд.

В середине мая Паскевич выступил из Тифлиса в поход, а в начале июня уже находился в окрестностях Карса. Здесь, у самой подошвы Саганлугского хребта, на берегу Карс-чая, при разоренном селении Котанлы, Пушкин нагнал русский отряд утром 13 июня за несколько часов до его выступления на Арзрум.

Начинался первый военный поход Пушкина.

В пятом часу дня корпус двинулся на Саганлугские высоты — «древний Тавр», по обозначению Пушкина. Небольшой отряд с целью демонстрации был направлен влево на главный турецкий авангард. Колонной командовал генерал Бурцов, видный член «Союза благоденствия», приобщивший лицеистов — Пущина, Кюхельбекера и Вольховского — к своей вольнолюбивой «артели». С тех пор он отбыл тюремное заключение в 1826 году и был переведен на Кавказ, где его выдающиеся военные дарования вскоре доставили ему генеральский чин. Это был один из самых талантливых командиров Кавказского корпуса, которому Паскевич неизменно поручал ответственнейшие задания. Имя его было знакомо Пушкину со школьной скамьи, а развернутая им политическая пропаганда через друзей-лицеистов оказывала свое воздействие и на подраставшего поэта.

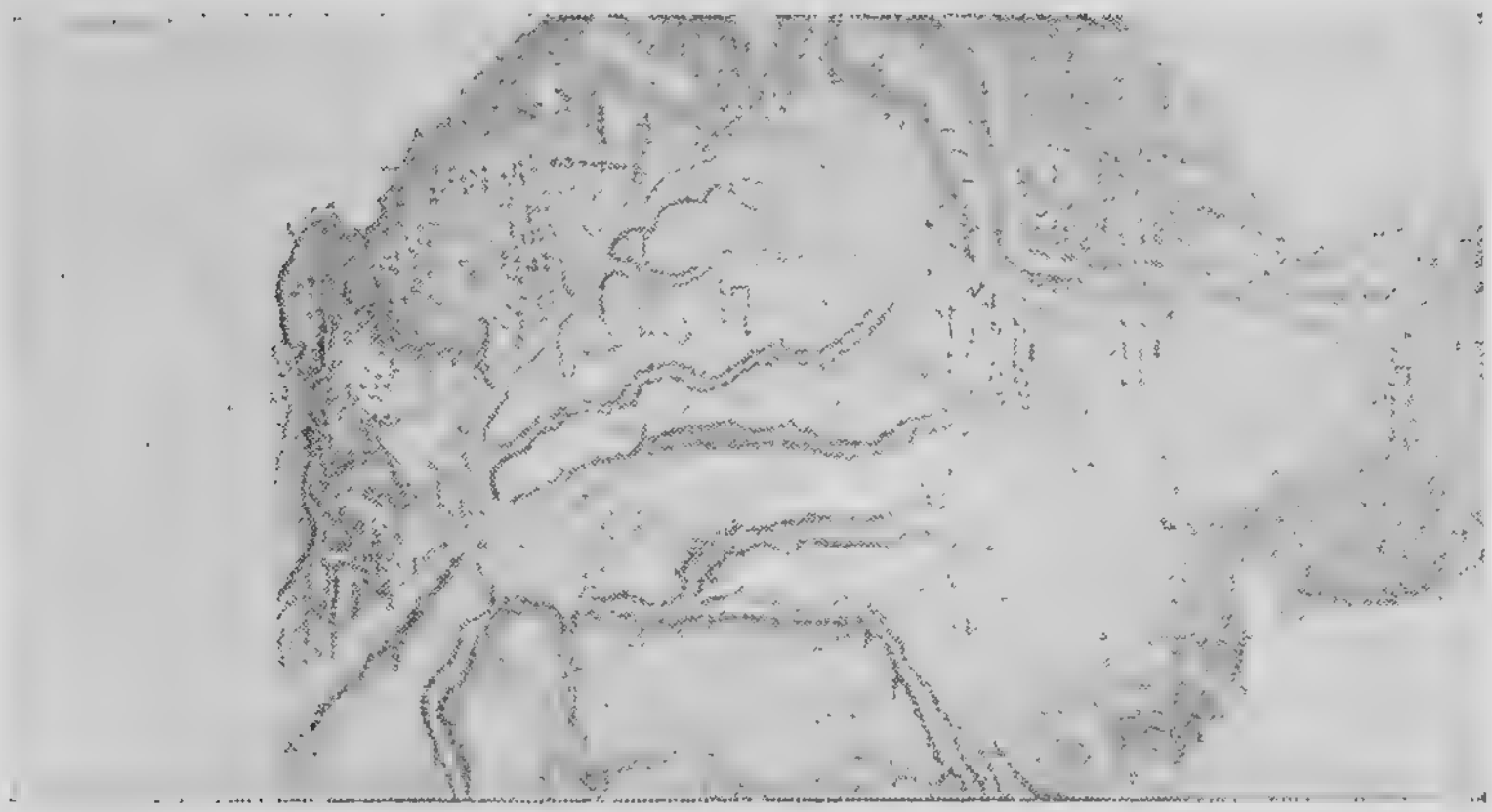
Но Пушкин примкнул теперь не к Бурцову, а к другу горячеводских и гурзуфских дней — Николаю Раевскому, командующему нижегородскими драгунами. «Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку», вспоминал впоследствии поэт (в этой же части служил и его брат Лев Сергеевич). Полк находился в резерве — друзья неторопливо вслед за главными колоннами двигались по горным дорогам, ведя дружескую беседу после долгой разлуки.

Хотя Николай Раевский считался «прикосновенным» к делу о 14 декабря, но в корпусе Паскевича он командовал в решительных сражениях всей кавалерией. Пушкин был рад, что к военному делу его приобщит этот умный друг, кому он посвятил «Кавказского пленника» и «Андрея Шенье».

К 8 часам вечера войска расположились привалом в лощине, прикрытой холмами от неприятельских разъездов. Здесь у бивачных огней Пушкин был представлен Паскевичу.

Это был один из известнейших современных полководцев. Мнения о нем, правда, расходились, он имел многочисленных недоброжелателей и критиков, но несомненным фактом оставались его удачные военные операции, которых нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом был, несомненно, отличным организатором походов. В александровское время Паскевич считался одним из передовых военных. Как и другие участники европейских кампаний, он был решительным противником аракчеевской муштры, заботился об улучшении быта и образовании солдат, боролся с жестоким произволом их начальников. За ним числился ряд бесспорных военных заслуг — почетное участие в таких сражениях, как Бородино, Малоярославец, Лейпциг, Париж. Боевой генерал был ценим Багратионом и Барклаем, упрочившими за ним репутацию «неизреченной храбрости». Даже весьма мало расположенный к Паскевичу Денис Давыдов, не пощадивший красок для изображения его недостатков (самонадеянность, тщеславие, самовластье и пр.), считал своим долгом «отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанным во многих случаях, и вполне замечательной заботливости его о нижних чинах».

К желанию Пушкина совершить поход в рядах его войск Паскевич отнесся с полным сочувствием, быть может, рассчитывая на соответственные «отзвуки» поэта. Еще в мае главнокомандующий получил от Бенкендорфа извещение, что Пушкин «по высочайшему его императорского величества повелению состоит под секретным надзором», каковой надлежит сохранить над ним и «по прибытию его в Грузию». Ослушаться «высочайшего» приказа Паскевич, конечно, не мог, и соответственное извещение было сделано тифлисскому военному губерна-



План сражения на Саганлугских высотах 19 июня 1829 года, в котором принимал участие Пушкин.

«19-го одна пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение Генералы поехали к своим постам Полки строились; офицеры становились у своих взводов». («Путешествие в Арзрум».)

тору. Лично же командир Кавказского корпуса стремился выказать Пушкину полное радушие. «Он был весел и принял меня ласково», писал Пушкин о их первой беседе. Паскевич даже предложил гостю расположиться палаткой у своей ставки.

В штабе главнокомандующего Пушкин увидел своего лицейского товарища Вальховского, не раз воспетого в знаменитых лицейских строфах. Пушкин увидел его в ночь на 14 июня «запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ», вспоминал впоследствии Пушкин.

В штабе Паскевича поэт встретился и с братом своего лучшего друга—декабристом Михаилом Пущиным, толь-

ко что вернувшимся с рекогносцировки неприятельских позиций.

«Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их, — обратился к нему новоприбывший. — Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал».

Михаил Пущин мог пообещать поэту самую скорую встречу с неприятелем. Только что законченное им обследование лагерного расположения турок на высоте Милли-Дюз побуждало к неотложному выступлению. Паскевич чрезвычайно ценил мнение М. И. Пущина: «В своей солдатской шинели Пущин распоряжался в отряде, как у себя дома, переводя офицеров и генералов с их частями войск с места на место по своему усмотрению», свидетельствовал декабрист Гангеблов [1]. Так было и на этот раз.

Ранним утром 14 июня отряд двинулся дальше и вскоре расположился на левом берегу речки Инжа-Су, уже на поверхности Саганлугского хребта, в восьми верстах от неприступного лагеря знаменитого турецкого полководца — трехбунчужного Гагки-паши.

После полудня большая партия куртинцев и делибашей атаковала передовую цепь казаков. Это и была «перестрелка за холмами», описанная Пушкиным. Поэт вскочил на лошадь и бросился в свой первый бой. Раевский сейчас же отрядил майора Семичева сопровождать Пушкина и удерживать его воинственные порывы. Выехав из ущелья, поэт увидел на склоне горы синюю казачью шеренгу, выгнутую дугой, а на вершине хребта — гарцующих турецких всадников в высоких чалмах и пунцовых доломанах:

---

[1] В момент приезда Пушкина М. И. Пущин уже был восстановлен в младшем офицерском чине.

На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Турки поразили поэта дерзостью своего наездничества. Увлеченный картиной сражения, он схватил пику одного из убитых казаков и — в своей круглой шляпе и бурке — бросился на неприятельских всадников. Майор Семичев почти насильно вывел его из передовой цепи. Вокруг происходили удалые стычки и молниеносные смертельные встречи; одну из них Пушкин запечатлел в неподражаемых по своей динамичности стихах:

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

Паскевич решил разрезать растянутую неприятельскую линию и опрокинуть разделенные части противника. Маневр удался. Разбитая беспрерывным и сосредоточенным артиллерийским огнем надвое, турецкая конница метнулась в противоположные стороны. «Картечь хватила в самую середину толпы», описал это военное зрелище Пушкин. Немедленно же в обоих направлениях были посланы сильные части для преследования.

Но в это время на скате горы появились густые колонны турецкой пехоты и кавалерии: сам сераскир арзрумский во главе своего тридцатитысячного корпуса спешил на помощь Гагки-паше. В 6 часов вечера русские войска двинулись на турок тремя колоннами, из которых одной, состоявшей из всей кавалерии, командовал Николай Раевский. Произошел один из самых решительных боев всей Арзрумской кампании — сражение при селении Каинлы. Войска сераскира были разбиты и к ночи опрокинуты за Саганлугские горы.

«На другой день, — писал Пушкин, — в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего

прежде всех. Он увидел меня[1]. «Не утомил ли вас вчерашний день?» — «Немного, пожалуй, граф». — «Огорчен за вас, ибо нам предстоит переход, чтоб подойти к паше, а затем и преследовать неприятеля десятка на три верст».

В девятом часу утра корпус уже находился против Милли-Дюза, у лагеря «первого сановника по сераскире». Обрывистые берега речки Ханы-Су и глубокие скалистые овраги делали его неприступным. Но после безрезультатных переговоров о сдаче Паскевич повел пятью колоннами войска на неприятеля. Поражение сераскира предопределило исход нового наступления. Турки бросились бежать врассыпную. Гагки-паша со своим штабом сдался в плен. Путь на Арзрум был открыт.

В эти дни решительного сражения Пушкин разъезжал по горным вершинам, наблюдая отдельные моменты боя: марш Бурцова на левый фланг, артиллерийскую подготовку Муравьева, Паскевича среди своего штаба, налет турецкой конницы, контратаку татарских полков. Пушкину удается спасти раненого турка, которого хотели прикончить штыками; он наблюдает агонию татарского бека, рядом с которым неутешно рыдает его любимец.

«Лошадь моя... остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет осьмнадцать; бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом...»

Это было новое ощущение войны, первое подлинное представление о ней. Не парадная и театральная героика Полтавского боя, а действительная война, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная, — «война в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти»

---

[1] Дальнейший разговор у Пушкина по-французски.

План Арзрума в 1829 году.

1 — цитадель; 2 — город; 3 — сады; 4 — таможня; 5 — кофейня и фонтан; 6 — фонтан; 7 — мавзолей; 8 — гора Тавр; 9 — часовня; 10 — рукав Евфрата Кара—Ермак. (Пушкин обозначил это место «лагерь при Евфрате».)

(так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой). Главы «Путешествия в Арзрум», где дана глубоко правдивая картина боя во всей его неприкрашенной трагической сущности, — первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденной в мировой литературе «Войной и миром».

21 июня Паскевич вступил в арзрумский пашалык, а 23 июня, в 9 часов вечера, занял древнейшую крепость Турецкой Армении, воздвигнутую римлянами, — Гассан-Кале, передовой оплот горной столицы Анатолии.

27 июня, в день Полтавской победы, русские войска вступили в Арзрум. В плен сдались сам сераскир и трое его пашей — трехбунчужный Осман-паша и двухбунчужные Абут-Абдулла-паша и Ахмет-паша. Один из них вскоре встретил Пушкина пленительным восточным приветствием: «Благословен час, когда мы встречаем поэта». Пушкин был тронут и восхищен этим лестным приветствием. Он живо обрисовал этого восточного оратора в своих путевых записках и воспел стихами его «многодорожный» город:

В нас ум владеет плотью дикой,
А покорен Корану ум,
И потому пророк великий
Хранит, как око, свой Арзрум.

Плоские зеленые кровли, извилистые и тесные улицы, высокие минареты, шумная толпа армян — все это было ново, неожиданно, заманчиво по своей «чужеземности». Пока в завоеванном городе учреждалось областное правление с военным губернатором, русские войска расположились лагерем на северо-востоке от города, в долине Евфрата. Именно здесь в «лагере при г. Арзруме», как он официально именовался, или в «лагере при Евфрате», как назвал его Пушкин, он обратил внимание на татарского юношу Фахрат-бека, входившего в состав мусульманских частей русской армии. «Сардар» Паскевич, как его называли в этих полках, усиленно вербовал новобранцев в каждой завоеванной области. Под Арзрумом в его войска входили и регулярные части из тюрок, курдов, армян, греков, жителей Карабаха и других провинций. Пушкин, видимо, пожалел юного рекрута из татарской «дистанции», обреченного на кровавую борьбу с единоверцами в рядах враждебной завоевательной армии. 5 июля было написано стихотворное приветствие молодому беку: «Не пленяйся бранной славой...» Восточный колорит образов здесь сочетается с проникновенным

А. С. ГРИБОЕДОВ (1795—1829).

С портрета Горюнова.

«Все в нем было необыкновенно привлекательно... Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами». (1829—1835)

ЕКАТЕРИНА УШАКОВА (1809—1872).

С акварели Ф. Берже.

Ей посвящены стихи Пушкина: «Когда бывало в старину», «В отдалении от вас» (1827), «Я вас узнал, о мой оракул». (1830)

преклонением поэта перед юным и прекрасным существом, захваченным трагическими событиями:

Знаю: смерть тебя не встретит;
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!

Это один из лучших фрагментов в «ориенталиях» Пушкина.

В лагерях он не переставал работать; его постоянно видели с тетрадями и записными книжками. Помимо лирики и дорожного дневника, он занят замыслами новых поэм. Слагается сюжетный вариант к раннему «Кавказскому пленнику»: русская девушка-казачка спасает пленника-черкеса. Еще сильнее увлекает тема столкновения суровых горных нравов с проповедью миссионеров; увлекает образ «черкеса-христианина», отвергающего неумолимый родовой обычай кровавой мести. Образ был связан с раздумьями Пушкина о средствах умиротворения черкесов[1]: поэту представлялось разумным укрощать горцев «влиянием роскоши» и ослаблять их мстительность моралью «прощения». Психологический конфликт от столкновения двух этических систем соблазнял художника и вызвал замечательные диалоги Гасуба-старика и юного Тазита. Младший сын горного узденя отказывается стать «могучим мстителем обид». На такой драматической внутренней антитезе строилась новая поэма.

Она давала широкий простор для воплощения путевых впечатлений 1829 года. Верховые игры молодых чеченцев, похороны Гасубова сына (описанные по личным на-

---

[1] Стихотворение «Кавказ» заканчивалось в черновой рукописи строфой, в которой негодование теснимых племен сравнивалось с буйством Терека: «Так буйную вольность законы теснят, — Так дикое племя под властью тоскует, — Так ныне безмолвный Кавказ негодует, — Так чуждые силы его тяготят».

блюдениям автора над осетинским погребением в одном из аулов Кап-Коя), быт, обряды, нравы, предания «адехов», их похоронные и венчальные обычаи — все это уже воплощено в отрывке поэмы о юноше Тазите, изгнанном из патриархальной среды своих соплеменников и гибнущем на войне.

В поэме чувствуется приток новых слов в поэтический лексикон Пушкина, восприятие целого ряда речений кавказских народностей, придающих живописность и звучность описанию. Прелестны по своей мелодичности отдельные образы, например, черкесской девушки у водопада:

И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла.

Пушкина привлекали и русские на Кавказе — военные, ссыльные декабристы, представители его поколения, участвующие в гибельной войне, как Раевский, Вальховский, Пущин, Бурцов, блестящий писатель Александр Бестужев (с которым Пушкин мечтал встретиться на Кавказе), прапорщик Молчанов, осужденный за хранение отрывка из пушкинского «Андрея Шенье», и многие другие (Захар Чернышев, В. Д. Сухоруков, Н. Н. Семичев, А. С. Гангеблов, А. О. Корнилович, П. П. Коновницын). Некоторых из них Пушкин уже не застал на Кавказе, с другими не мог свидеться, но личные встречи достаточно обрисовали перед ним тип нового русского молодого человека, новый этап в развитии его поколения. «Евгений Онегин», который представлял собою творческий дневник Пушкина, видимо, готов был обогатиться новой главой — кавказской, военной. В лагерных палатках Пушкин рассказывает своему брату и молодому Юзефовичу (адъютанту Николая Раевского), что «Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». Замысел этот еще будет занимать Пушкина и получит свое частичное осуществление.

7 июля Паскевич перешел из «лагеря при Евфрате» в Арзрум и занял дворец сераскира. Он пригласил Пушкина поселиться в том же дворце. Считаясь с интересами творца «Бахчисарайского фонтана», он устроил ему посещение гарема Османа-паши, где поэт впервые увидел одалисок, лишь по рассказам описанных им в его крымской поэме.

Древний город с его пестрым населением продолжал свою обычную жизнь. Пушкин оценил организаторские дарования Паскевича — «тишину мусульманского города, занятого 10 000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата»; «во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен». Это было новое понимание войны: не «божия гроза» и ад Полтавы определяют ее ценность, а образцовый порядок в занятой местности и неприкосновенная целостность корпусного хозяйства.

Три недели пробыл Пушкин в лагере и городе, наблюдая его оживленную восточную жизнь. 14 июля Пушкин узнал, что в Арзруме чума. «Мне тотчас открылись ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию». Разговоры о медицинских осмотрах, сожжении вещей, карбункулах и опухолях производили удручающее впечатление. Начинала сказываться скрытая «добавочная» опасность восточной войны — риск ужасной заразы при оккупации неприятельской территории. Так в 1799 году французская армия заразилась чумою в Сирии при взятии Яффы; одним из высших проявлений мужества Бонапарта было посещение чумного госпиталя, где он жал руки больным, стремясь внушить им бодрость и веру в исцеление [1]. Этот ли образ вспомнился Пушкину,

[1] «Бурьен в записках своих отрицает сказание о том, что Бонапарте, посетив в Яффе госпиталь зараженных чумою, прикоснул-

непосредственное ли чувство пренебрежения опасностью овладело им, но 15 июля он посетил с лекарем лагерь зачумленных. Это мрачное место вспомнилось ему через год, когда он изображал Наполеона в Яффе: «Одров я вижу длинный строй, — Лежит на каждом труп живой, — Клейменный мощною Чумою, — Царицею болезней...» Герой сражения,

Нахмурясь, ходит меж одрами
И хладно руку жмет Чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость...

Пушкин заставил себя осмотреть одного больного, выведенного из палатки, и «обещал несчастному скорое выздоровление».

19 июля Пушкин пришел проститься с Паскевичем и застал его «в сильном огорчении»: генерал Бурцов был убит близ селения Харт, в пятнадцати верстах от Байбурта, который незадолго до того был им взят вместе с соседним медным заводом. Это был путь на Трапезунд, который по плану кампании подлежал взятию после Арзрума. Бурцов погиб, пробиваясь к Черному морю, что представляло стратегическую необходимость для русского корпуса в Турции, так как давало ему надежную опору.

ся к некоторым для ободрения их» (примечание «Современника» к стихотворению Пушкина «Герой»). Опровержение «строгого историка» вызвало знаменитую строфу Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!..

По существу был прав Пушкин, так как мемуары Бурьена оказались поддельными.

Битва при Байбурте в 1829 году.

Литография с рисунка В. Машкова.

«19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом». («Путешествие в Арзрум».)

Потеряв своего начальника, отряд Бурцова отступил от Харта к Байбурту. Это была, по словам Пушкина, «первая неудача» турецкой войны, опасная для всего нашего малочисленного войска. При вести о событиях под Байбуртом среди арзрумского населения вспыхнуло возбуждение: в народе распространялись воззвания к всеобщему ополчению и «священной войне», шли слухи о концентрации крупных турецких сил на правом фланге Паскевича и о предстоящем вмешательстве Англии и Франции в пользу Турции. Неподалеку от театра войны, на озере Ван, действительно находились в то время английские дипломатические агенты.

«Итак, война возобновлялась!— вспоминал этот переломный момент Пушкин, — граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию...»

На прощание Пушкин принял в подарок от Паскевича турецкую саблю. «Она хранится у меня, — писал он в 1836 году, — памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». Паскевич вошел в галлерею военных портретов Пушкина не только в его арзрумских мемуарах, но и в хвалебной строфе 1831 года:

Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому Суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

К похвалам полководцу Пушкин добавил личное воспоминание о взятии Саганлугского хребта — «вершины Тавра», развернутое им впоследствии в драматические страницы его дорожного журнала «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». Самое заглавие показывало, что путевые записки здесь соприкасаются с военной корреспонденцией и батальным этюдом.

1 августа Пушкин уже был в Тифлисе. Он посетил здесь свежую могилу Грибоедова. На склоне горы св. Давида, над извилистым лабиринтом старого Тифлиса, который весь, как на ладони, расстилался перед ним, он принес последний поклон трагическому и прекрасному образу поэта-дипломата.

«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни, — записал Пушкин в своем «Путешествии». — Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна...»

Встреча с телом Грибоедова у Гергерской крепости и посещение его могильного холма вызвали новые раздумья Пушкина о судьбе дарований в царской России («способности человека государственного оставались без употребления, талант поэта был непризнан»). Но в краткой записи нет и следа жалоб, безнадежности, лирических сетований. Это мужественные строки. В них слышится преклонение перед цельной и сильной личностью, способной к углубленному труду и коренной внутренней ломке.

В этом отзыве (записанном, быть может, позже) чувствуется бодрый тон всей летней поездки 1829 года. Она была временным освобождением для Пушкина, новым обогащением его творческих возможностей. Тяжелой поступью приближались тридцатые годы. Путешествие в Арзрум — последняя глава пушкинской молодости.

VI

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»

По пути из Арзрума Пушкин нашел во Владикавказе последние книжки русских журналов. Ему сейчас же попалась на глаза статья о «Полтаве» в «Вестнике Европы».

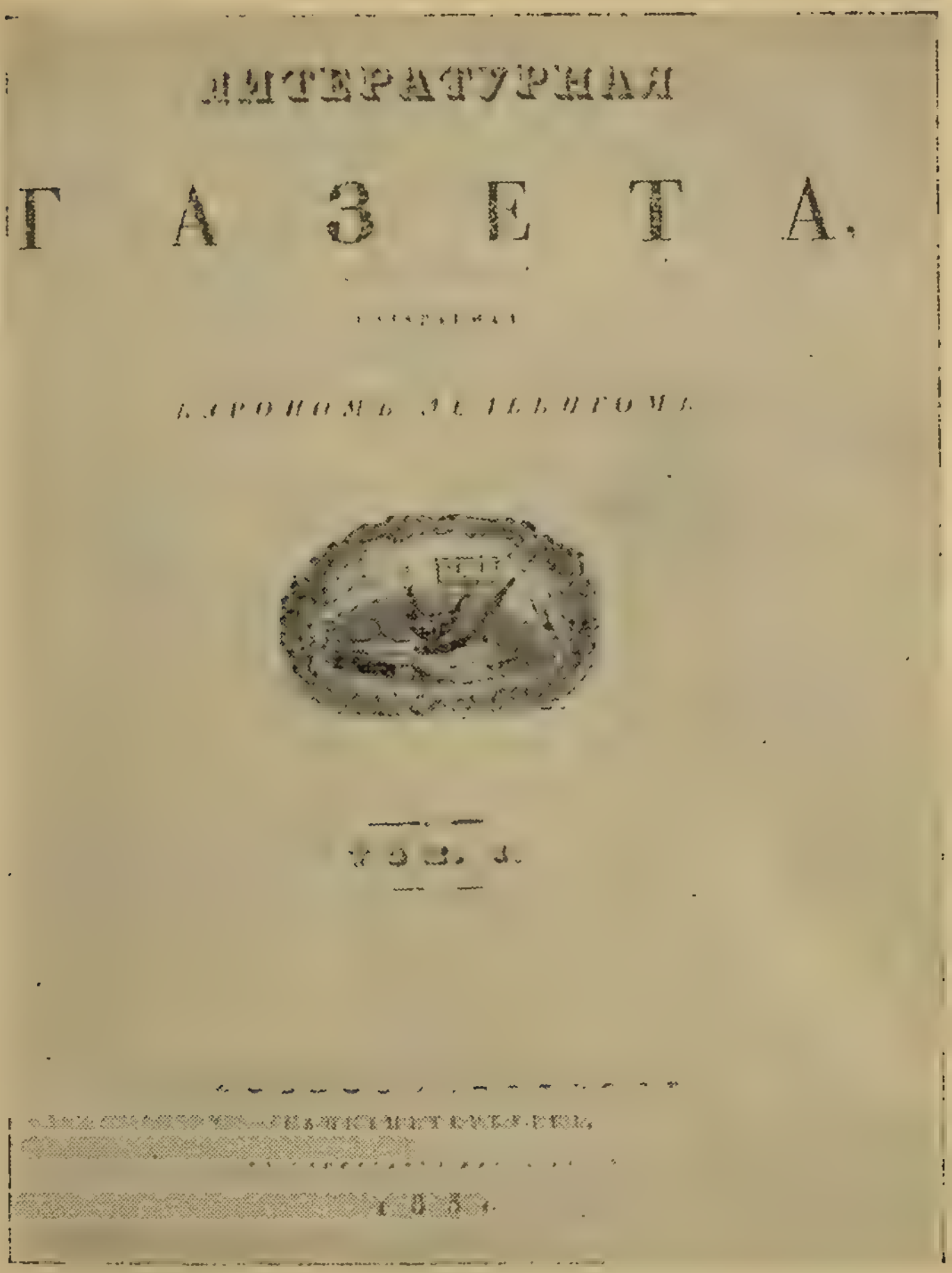
«В ней всячески бранили меня и мои стихи», вспоминал впоследствии Пушкин. Статья была подписана «С Патриарших прудов» и принадлежала перу Н. И. Надеждина. Автор весьма отважно отстаивал свой парадоксальный тезис: «Поэзия Пушкина есть просто пародия». Иронически признавая вершиной его творчества «Графа Нулина», критик с большой развязностью утверждал, что именно здесь «пародиальный гений автора является во всем своем арлекинском величии...»

С конца двадцатых годов рядом с «коммерческой» журналистикой начинает слагаться и ранняя разночинная критика. Это вызвало осенью 1829 года некоторое объединение пушкинской группы, то-есть небольшого круга наиболее культурных писателей эпохи, сочетающих дарования поэтов и ученых, знатоков античной и новейшей литературы. К этому кружку принадлежали Жуковский, Вяземский, Боратынский, Дельвиг, Плетнев, Гнедич.

Это был самый глубокий и самый блестящий слой тогдашней литературы. Неудивительно, что враждебные журналисты пытались обесценить значение этой плеяды ироническим прозвищем «литературной аристократии». Этой группе поэтов и критиков нужен был свой орган для отражения атак Надеждина и Полевых, особенно для борьбы с петербургскими «промышленниками пера» и казенными публицистами — Булгариным и Гречем. Так возникла «Литературная газета».

«Цель сей газеты — знакомить образованную публику с новейшими произведениями литературы Европейской, а в особенности Российской», сообщала программа нового издания.

Активнейшими членами редакции были Пушкин, Вяземский и журналист Орест Сомов. Редактором был выделен Дельвиг, литературный вкус которого признавался всеми. Жуковский брал на себя обозрение английских


ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГАЗЕТА.

ИЗДАВАЕМАЯ

БАРОНОМЪ ДЕЛЬВИГОМЪ.

Титульный лист «Литературной газеты» (1830 — 1831).

журналов, особые сотрудники были приглашены для отделов естественных наук и «художеств».

Помимо основного ядра, которое составили сотрудники «Северных цветов», в газете печатались Крылов, Языков, Денис Давыдов, Одоевский, Подолинский, Туманский, Катенин, Хомяков. В отделе рецензий любопытно отметить среди разнообразных тем отзыв самого Дельвига о стихотворениях крестьянина Егора Алипанова.

Ряд крупных иностранных имен — Бальзак, Ламартин, Гюго, Шатобриан, Гофман, Тик, Байрон, Вашингтон-Ирвинг, Шарль Нодье, Манцони, Вальтер Скотт — прошел в отзывах или фрагментах перед читателем газеты. Примечательно, что даже малоизвестные на Западе Мериме и Стендаль были представлены в «Литературной газете». Несколько отрывков из «Прогулок по Риму» Бейля-Стендаля сопровождались небольшой редакционной заметкой об этом «остроумном французском писателе». Это едва ли не первое упоминание Стендаля в русской печати.

Пушкин заведывал редакцией «Литературной газеты» в январе 1830 года. Он деятельно участвовал во всех отделах издания. В первых номерах были напечатаны строфы из «Путешествия Онегина» («Прекрасны вы, брега Тавриды...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «В часы забав иль праздной скуки...», «Когда твои младые лета...», отрывок из «Путешествия в Арзрум» («Военная Грузинская дорога»), отрывок из «Арапа Петра Великого» («Ассамблея при Петре I»), ряд анонимных заметок, анекдотов и статей Пушкина. Его беглые критические очерки казались многим событиями. По поводу его отзыва о переводе «Илиады» Гнедич писал ему: «Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так утешительно и сладко! Это лучше царских перстней...»

Впротивовес грубой полемике, личным выпадам, пере-

бранке, вызываемой коммерческими интересами петербургских журнальных предпринимателей, «Литературная газета» стремилась создать подлинную художественную критику.

26 декабря 1829 года были написаны стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» с замечательной по своей сжатости и выразительности первоначальной строфой:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой —
Но мысль о смерти неизбежной
Всегда близка, всегда со мной.

Последующие строфы дают постепенное развитие этого вступления и заключаются радостным обращением к молодой жизни, приветствием нетленной красоты мира даже «у гробового входа». Трудно назвать во всей мировой лирике, посвященной теме смерти, более оптимистический заключительный аккорд.

В «Литературной газете», где были напечатаны эти «Стансы», Пушкин поместил и свое «Послание к к[нязю] Н. Б. Ю[супову]», впоследствии озаглавленное «К вельможе». Оно вызвало резкие нападки и даже обвинения автора в низкопоклонстве, хотя представляло собой, по позднейшему безошибочному мнению Белинского, «одно из лучших созданий Пушкина». В классической форме послания XVIII века Пушкин дает портрет вельможи на широком культурно-историческом фоне его эпохи. Тонко использованы подлинные черты жизни Юсупова в сочетании с политическими и художественными событиями его времени. Этот собеседник Бомарше, Вольтера и Дидро был посетителем королевского Версаля накануне французской революции. Разъезжая по Европе, он всюду живет интересами искусства, собирая для Петербурга коллекции камей, заказывая копии с рафаэлевых лож Ватикана, знакомясь с Грезом, Давидом, Кановой и составляя картинную галлерею из произведений Рембранд-

та, Теньера, Рубенса, Клода Лоррена. В своем подмосковном Архангельском, устроенном в стиле знаменитых итальянских вилл, Юсупов воздвиг театр, собрал редкую библиотеку и ценнейшую картинную галлерею. Несмотря на свойственные ему пороки его среды, это был все же замечательный представитель русской дворянской культуры XVIII века, достойный пушкинского описания:

... Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады...

Но поэт не ограничился статической характеристикой вельможи. Он показал бурную жизнь эпохи, драматическую смену идей и поколений. Шумные забавы французского двора сметает вихрь революции:

Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон...

Проповеди Дидро отходят в прошлое, их заглушает «звук новой чудной лиры — Звук лиры Байрона...»

Такова пластическая картина, восхитившая впоследствии первого классика русской критики. В современной журналистике она заслужила Пушкину несколько плоских пасквилей. Редактор «Московского телеграфа» Николай Полевой в прибавлениях к своему журналу изобразил некоего знатного князя Беззубова, приглашающего к себе на обеды сочинителя, польстившего ему стихами о его встречах с Вольтером и Бомарше. По свидетельству самого Пушкина, его «несчастное послание предано было всенародно проклятью...»

Участие в газете не отвлекало Пушкина от его обычных мыслей и настроений. 7 января 1830 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему пу-

тешествие во Францию или в Италию, либо отпустить с особым посольством в Китай.

Планы таких поездок, отчасти связанные в этот момент с неудачами личного романа, неизменно сочетались и с культурными интересами поэта. В конце двадцатых годов он знакомится в петербургском обществе с выдающимся знатоком Китая — Иакинфом Бичуриным, личностью весьма своеобразной. Начальник Пекинской духовной миссии, он был сослан за какие-то провинности на Валаам, а по возвращении из ссылки в Петербург стал переводчиком министерства иностранных дел и видным посетителем столичных гостиных. Этот монах-атеист, ставивший Христа не выше Конфуция, привлекал к себе любителей искусств своими драгоценными коллекциями азиатских редкостей и восточных манускриптов. Иакинф Бичурин поднес Пушкину экземпляры своих сочинений «Описание Тибета» и «Сан-Цзы-Цзинь и троесловье» и даже предоставил в его распоряжение свои рукописи, за что Пушкин вскоре выразил ему печатную благодарность в «Истории Пугачева». План Пушкина отправиться в Китай с ученой экспедицией министерства иностранных дел, в состав которой входил Иакинф Бичурин, был, вероятно, внушен поэту этим замечательным китаеведом. К концу декабря 1829 года относится элегический отрывок о готовности поэта бежать от «гордой мучительной девы» в любые страны —

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец...

Но «высочайшая воля» наложила свой неизменный запрет на все зарубежные маршруты Пушкина — в Пекин, Венецию или Париж.

16 сентября 1829 года скончался генерал Раевский, сломленный разгромом декабристов; его родной брат

Василий Давыдов и зять Волконский были сосланы в Сибирь, другой зять, Михаил Орлов, исключен со службы, любимая дочь Мария Николаевна последовала по каторжному пути за своим мужем. Глядя на ее портрет, умирающий произнес: «Вот самая замечательная женщина, которую мне пришлось встретить в жизни!..» Вскоре вдова Раевского обратилась к Пушкину с просьбой отстоять перед высокими инстанциями материальные интересы семьи. Поэт написал прекрасное письмо Бенкендорфу, выражая свою надежду на сочувствие воина «к судьбе вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а смерть столь печальна...»

Вокруг «Литературной газеты» разгоралась борьба. Конкурирующий орган — «Северный Меркурий» — вступил в полемику с изданием Дельвига. Журналы Булгарина и Греча — «Сын отечества» и «Северный архив» — ожесточенно напали на руководителей новой газеты, выводя их в пародиях и памфлетах под вымышленными, но довольно прозрачными именами.

Полемика с Николаем Полевым разгорелась по поводу его «Истории русского народа», встретившей отрицательную оценку Пушкина на столбцах «Литературной газеты». Не примыкая к резкой журнальной кампании, направленной против книги Полевого, поэт довольно сдержанно критиковал противопоставление автором своего исторического исследования труду Карамзина. Но к литературной стороне новой монографии он отнесся со всей строгостью. Понимая историю, как жанр художественной прозы, и всячески приветствуя воздействие Вальтера Скотта на новейшую школу французских историков, Пушкин отдавал решительное предпочтение «гармоническому перу» Карамзина перед «темным слогом» Полевого, которому совершенно чуждо «искусство пи-

ПРОСПЕР МЕРИМЕ (1803 — 1870).

С портрета Рошара.

«...Мериме, острый и оригинальный писатель, автор театра Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных...» (1832)

сать». Более передовые исторические воззрения этого ученика Тьерри не могли искупить в глазах Пушкина его литературной отсталости («в его сочинении все обезображено, перепутано и затемнено»). В ответ Полевой открыл целый поход на «аристократов» из «Литературной газеты». Возник оживленный обмен полемическими статьями между органом Дельвига, обвинявшим Полевого в якобинской демагогии, и «Московским телеграфом», протестовавшим против полемической ставки своих оппонентов якобы на правительственную бдительность.

Но гораздо ожесточеннее была борьба «Литературной газеты» с «Северной пчелой». Спор разгорелся по поводу устных заявлений Пушкина о заимствовании Булгариным для его «Дмитрия-Самозванца» ряда мест из «Бориса Годунова». С рукописью трагедии сотрудник Бенкендорфа мог ознакомиться в Третьем отделении, где новая драма рецензировалась для Николая I. Когда в «Литературной газете» от 7 марта появился анонимный отзыв о «Дмитрие-Самозванце», хотя и без обвинений в плагиате, но с указанием на польский патриотизм автора, Булгарин, ошибочно решив, что статья принадлежит Пушкину, обрушился на него сокрушительным пасквилем. Он вывел поэта под видом «природного француза, служащего усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины; который бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных», и пр. Выпад Булгарина с намеками на «Гавриилиаду», на отношение к правительству, на личную жизнь поэта, с оскорбительной оценкой его творчества глубоко возмутил Пушкина. Он решил ответить со всей резкостью. В «Литературной газете» появилась знаменитая статья о Видоке, полицейском сыщике, отъявленном плуте и грязном доносчике. По ряду

Н. Н. ПУШКИНА (1812—1863).

Акварельный портрет, автором которого предположительно считается английский художник Гау.

...Моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец. (1830)

А. С. ПУШКИН.

С портрета Л. Ф. Соколова. 30-е годы (масло).

«Когда мне впервые показали акварель Соколова, я сразу сказал: это единственно настоящий Пушкин» (С. Л. Левицкий).

намеков (отсутствие отечества, бывшая военная служба, хвастовство дружбой с умершими знаменитостями, полицейское доносительство и пр.) не узнать в этом очерке Булгарина было невозможно. Прозвище Видока отныне прочно утвердилось за ним.

Булгарин ответил разносом седьмой главы «Евгения Онегина» и полемической статьей, снова направленной против «литературных аристократов» и особенно против Пушкина. «Жаль, что Мольер не живет в наше время! Какая неоцененная черта для комедии «Мещанин во дворянстве!» — восклицает Булгарин по поводу сотрудников «Литературной газеты», «заговоривших в своем листке о дворянстве». Следовал анекдот о поэте, происходящем «от мулатки» и возводящем свое происхождение к «негритянскому принцу», который на самом деле был обыкновенным негром, купленным в старину каким то шкипером за бутылку рома. Особые обвинения Пушкина в недостатке патриотизма вызвало в «Северной пчеле» путешествие поэта в кавказскую действующую армию: «Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин бледный, слабый...» Пушкину приходилось не только полемизировать с литературной критикой, но еще опровергать политические инсинуации.

Полемика снова обращает Пушкина к раздумьям о призвании и судьбе поэта. Нападкам критики («Услышишь суд глупца...») он мужественно и твердо противопоставляет незыблемое право творящего художника: «Ты сам свой высший суд». В знаменитом сонете 1830 года независимость поэта от мелкого деспотизма обывательской среды провозглашается так же, как и его свобода от железного гнета «венчанных солдат». Именно им противопоставлен творящий поэт-мыслитель:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Одиночество — единственное спасение для поэта в среде Романовых, Бенкендорфов, Серафимов, Булгариных; но это одиночество творческое, которое рано или поздно сольет его мысль с великой народной стихией, волю которой он стремится уловить и выразить в своих созданиях. Это чувство звучит в чудесном наброске начала тридцатых годов:

Пой: в часы дорожной скуки
На дороге столбовой
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц бледный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой...
Знаешь песню ты: Лучина?

Одновременно не прекращается общение поэта с великими классиками. Из мировых гениев прошлого в его творческой жизни все больше ощущается присутствие Данте. Пушкин рано узнал флорентинского поэта, читал его в подлиннике уже в южные годы, но к концу двадцатых годов проявляет к нему пристальный интерес. Именем Данте начинается перечень мастеров сонета, о нем благоговейно говорит Сальери. Характерен отрывок 1829 года:

Зорю бьют. Из рук моих
Ветхий Данте выпадает...

Пушкин оставил краткие, но поразительные по глубине оценки «Божественной комедии»: «Единый план Ада есть уже плод высокого гения». Это — «тройственная поэма, в которой все знания, все поверья, все страсти средних веков были воплощены и преданы так сказать осязанию в живописных терцинах».

Этот четкий и строгий размер дантовой поэмы органически сочетался для Пушкина с ее планом («тройствен-

ная поэма») и с духом создавшей ее эпохи. В этих тонах написаны и терцины Пушкина, воссоздающие в русской поэзии не только форму, но и глубокий поэтический стиль дантовой трилогии. Терцины «В начале жизни...» замечательно передают общий характер эпохи Возрождения с ее жаждой знаний и культом античности и в частности с ее тонким искусством садов. Три темы — школа, вилла, мифологические боги — развертывают основной замысел этого вступления к незаконченной поэме. Тенденциям средневековья («полные святыни словеса...») противопоставлено восхищение отрока созданиями античного ваяния, особенно Аполлоном [1].

Пушкин с замечательным искусством выдерживает труднейший принцип дантовской формы, согласно которой каждый терцин, как правило, представляет собой замкнутую строфу. Нет переносов, то-есть непосредственного продолжения стиховой фразы в следующем трехстишье. Каждое из них — завершенное целое. Даже сложнейшие задания — изображения и характеристики «двух бесов» — даны и исчерпаны в трех строках:

Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

---

[1] Одним из устойчивых недоразумений литературы о Пушкине является общепринятое пользование этими терцинами, как биографическим источником, вопреки очевидной невозможности приурочить их к фактам жизни Пушкина. Попытка истолковать «великолепный мрак чужого сада» в смысле Царскосельского парка опровергается тем, что никакая «жена» не надзирала за лицеем; видеть в стихах описание какой-то московской школы невозможно уже потому, что Пушкин в детстве получил исключительно домашнее воспитание. Но особенно противоречит представлениям о Москве до пожара и александровском интернате тот глубоко выраженный «флорентийский» стиль поэмы, который не оставляет сомнений в моментах изображаемой эпохи и места. К тому же форма терцин, при ее повышенной трудности, менее всего отвечала задачам свободного автобиографического рассказа.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Еще ближе по теме к «Божественной комедии» пушкинские терцины 1832 года «И дале мы пошли...» В обоих опытах русский стих впервые зазвучал, как настоящая итальянская «терца-рима», с торжественной плавностью ее ритмов и заостренной четкостью каждого образа.

Сложно развертывался в 1829—1830 годах роман Пушкина с Гончаровой. По возвращении из Арзрума поэт, казалось, получил разъяснение, что двусмысленный весенний ответ на его предложение следует понимать как отказ. «Сколько терзаний ожидало меня по возвращении, — писал он несколько позже Наталье Ивановне: — ваше молчание, ваше холодное обращение, прием mademoiselle Nathalie столь легкий, столь невнимательный. Я не имел мужества объясниться — я уехал в Петербург убитый, сознавая, что сыграл смешную роль: я был робок первый раз в жизни».

Только к весне положение заметно изменилось: «Один из моих приятелей, приехав в Москву, передает благосклонное слово вашей дочери по моему адресу — и оно возвращает мне жизнь...»

Ободренный, поэт срочно выезжает из Петербурга. «Третьего дня приехал я в Москву, — писал он Вяземскому 14 марта 1830 года, — и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были Наталья Гончарова и княгиня Вера (Вяземская)...» Поэт был встречен приветливо. Не откладывая решительного шага, он уже в начале апреля делает новое предложение, которое на этот раз было принято. «Наденька подала мне холодную, безответ-

А. Н. ГОНЧАРОВ (1760 — 1832),
дед Н. Н. Пушкиной.
С портрета маслом неизвестного художника.

«Благословив Наталию Николаевну, благословили вы и меня. Вам обязан я больше, нежели чем жизнью». (1830)

ную руку», отмечает Пушкин этот тревожный момент в автобиографическом очерке «Участь моя решена...»

Сам он, несмотря на увлечение, был полон сомнений: в согласии Натальи Николаевны он склонен был видеть только «свидетельство ее сердечного спокойствия и равнодушия». Томила также неопределенность материального состояния, сомнительное политическое положение. Поездка в Арзрум навлекла на Пушкина новый гнев правительства. В грозном письме Бенкендорф потребовал от имени государя объяснений: «...по чьему позволению предприняли вы сие путешествие? Я же со своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова...» Официальный запрос еле маскировал личное оскорбление.

Тем не менее, в апреле Пушкин извещает родителей и друзей о своем обручении. «Прозаическая сторона брака — вот чего я боюсь для вас, — писала ему из Петербурга его приятельница Хитрова. — Я всегда думала, что гений поддерживает себя полной независимостью и развивается только в беспрерывных бедствиях, я думала, что совершенное, положительное и от постоянства несколько однообразное счастье убивает деятельность, располагает к ожирению и делает скорее добрым малым, чем великим поэтом...» Пушкин просит ее не судить о нем слишком «поэтически».

В мае он выезжает с невестой в имение Гончаровых для представления главе семейства — дедушке Афанасию Николаевичу.

Майоратное гончаровское поместье — Полотняный завод—было расположено в Медынском уезде Калужской губернии. Местность понравилась Пушкину своей живописностью, а усадьба — монументальными строениями. По неровным булыжникам заводской мостовой коляска

подкатила к ленным воротам усадьбы Гончаровых, пронеслась под сводом и мимо старинной семейной усыпальницы по свежему дерну двора подъехала к огромному трехэтажному дому. Перед главным фасадом здания раскинулся парк с подстриженными липами, беседками, прудами. Вдоль двора вытянулись заводские постройки, вокруг амбары, ананасные оранжереи, конный завод, манеж, псарни, оленьи загоны. Все свидетельствовало о широком размахе и праздничной жизни богатейших промышленников XVIII века.

Пушкина поместили в резиденции самого дедушки Гончарова — в красном доме, воздвигнутом на обрыве над прудами. Широкие каменные ступени, хрустальные люстры на золотых снопах — все напоминало дворцовое убранство. В гостиной висел портрет основателя гончаровских богатств — калужского посадского Афанасия Абрамовича Гончарова, сумевшего выйти из торговых мещан в потомственные дворяне. Смышленый взгляд, энергичный подбородок; белые букли парика, черный бархатный камзол с кружевными манжетами; в левой руке он держит письмо Петра I, который покровительствовал предприимчивому купцу и сообщал ему из Голландии, что подыскал для его дела «искусного плотинного мастера».

Местные предания восполняли живописную характеристику старинного портретиста. В духе эпохи, Афанасий Гончаров установил на своих заводах железную дисциплину, вызывавшую постоянные побеги фабричных, а в 1752 году и открытое их возмущение, сурово подавленное владельцем. Через два года был обнаружен «злой умысел» взорвать фабрику с помощью горшка с порохом. Афанасий Абрамович твердой рукой подавлял недовольство своих рабочих, а при Екатерине II, лично посетившей Полотняный завод, довел до небывалого расцвета все свои предприятия. К началу восьмидесятых годов XVIII века он владел бесчисленными парусными,

бумажными и чугунолитейными заводами в разных губерниях и насчитывал до семидесяти пяти вотчин.

Внук его и тезка Афанасий Николаевич Гончаров, дедушка Натальи Николаевны, не унаследовал хозяйственных дарований своего кряжистого предка. Пушкин увидел перед собой типичного русского барина екатерининского времени, изнеженного в наслаждениях и безделии, известного своим безудержным влечением к роскоши и женщинам, успевшего протратить на свои барские затеи многомиллионное состояние. Крупный богач и расточитель, он подносил великим князьям породистых коней, жил годами в Вене, восхищаясь парадами, придворными маскарадами и торжествами. В своих калужских поместьях он устраивал знаменитые охоты, отправляясь в дальние леса за Медынь, где зверя пугали оркестры роговой музыки, возглавлявшие отряды охотников со сворами. Балы его славились в губернии и в Москве. «Громко жил Афанасий Николаевич», вспоминали старики Полотняного завода.

Дед искренно хотел проявить былую щедрость в отношении любимой внучки, но мог создать только видимость свадебного дара. Он выделил ей в приданое часть нижегородского села Катунки с двумя сотнями крепостных; но имение было заложено в опекунском совете, и на «девицу Наталью» переводился вместе с даром и долг в сто восемьдесят тысяч рублей.

В дополнение к этому сомнительному подарку старик предоставлял в собственность внучке колоссальную бронзовую статую Екатерины II, отлитую в Берлине для украшения парков Полотняного завода. Старик уверял, что торговцы медью предлагали за памятник сорок тысяч. Он повел показать Пушкину многопудовую драгоценность, приобретенную Гончаровыми в память «высочайшего» посещения их заводов и фабрик в 1775 году.

Пушкин увидел гигантскую бронзовую Екатерину в

римском панцыре и просторной мантии, спадающей с плеча на невысокую колонну с раскрытой книгой законов. На подножии латинская надпись гласила «Мейер слепил, Наукин отлил, Мельцер отделал в 1786 году». В приданое Наталья Николаевна получила двести пудов меди, отлитых в пышную скульптуру XVIII века, которую мудрено было превратить в украшение молодого хозяйства и нельзя было расплавить, как изображение «высочайшей особы».

Пушкину пришлось повозиться с этой медной «бабушкой» (как называл ее поэт в своих письмах к невесте). Приехав в Петербург, он провел часть лета в хлопотах о расплавке бронзовой статуи.

В последних числах июля Пушкин узнал от Хитровой о внезапном «возмущении» в Париже. Первые сведения глухо сообщали о бегстве Карла X и о кандидатуре герцога Орлеанского на престол Бурбонов. В последующие дни экстренная дипломатическая почта, а затем и газеты сообщили подробности трехдневной французской революции, вызванной грубым попранием конституционной хартии, приказами короля об отмене свободы печати, избирательных законов и роспуске парламента. Борясь на баррикадах, парижский народ в три дня разбил правительственные войска и снова, как в 1793 году, низложил династию. «С престола пал другой Бурбон», вспоминал через год этот исторический момент Пушкин. Под свежим впечатлением событий он писал из Москвы Хитровой, что они переживают «самую замечательную минуту нашего столетья». Но на общем отношении его к событиям сказались отчасти воззрения политического салона Фикельмонов, где Пушкин получил первые известия об Июльской революции. Ироническое отношение к «королю-буржуа» и к таким его сторонникам, как Талейран, интерес

к Шатобриану, заявившему о своем отказе присягать Луи-Филиппу [1], — такова была оценка европейских событий в дипломатическом кругу, из которого поэт получал сведения о революции. Переписка Фикельмонов (позднейшей эпохи) развивает положения о современной Франции, напоминающие высказывания Пушкина в письме к Хитровой от 21 августа и позднейшие свидетельства Вяземского об отношении его друга к перевороту 1830 года. Но как поэт Пушкин первым делом отмечает, что новая революционная песнь «Парижанка» не стоит прежней «Марсельезы». Тем самым определяется его высокая оценка знаменитого республиканского гимна, ставшего выражением и символом европейской буржуазной революции.

В Москве Пушкина ожидали новые заботы — умирал Василий Львович. Старого поэта даже в тяжелом состоянии не оставляла любовь к поэзии. За месяц до смерти он еще был на концерте знаменитой Каталани и отблагодарил ее французским четверостишием. Тогда же он написал послание в стихах своему племяннику — восхищенный отзыв о его последних творениях и теплое поздравление с обручением:

Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер...
Ты остроумие и вкус его имеешь...

Следует просьба скорее напечатать «Годунова» назло всем парнасским пигмеям. Примечательно и последнее пожелание — отдаться жизненному счастью, но при этом «не забывать муз». Филолог XVIII века сказывается в его последнем завете гениальному поэту: «Язык обога-

---

[1] Речь Шатобриана в палате пэров 7 августа 1830 года была полностью перепечатана петербургскими газетами.

ШАТОБРИАН (1768 — 1848).

С портрета Жиродэ.

щай!» Трогательна французская приписка старого «арзамасца» к его посвящению, очевидно, читанному предварительно племяннику и вызвавшему критические замечания слушателя: «Направляю к тебе мое послание, с поправками, которые я только что внес в него. Сообщи мне, дорогой Александр, доволен ли ты ими? Я хочу, чтоб это послание было достойно такого поэта-чародея, как ты, и одновременно ударяло по глупцам и завистникам». Умирающий «Вот я вас» не сдавался. Недаром его «Эпитафия самому себе» гласила:

Он пел Буянова и не любил Шишкова...

Накануне смерти старика Пушкин застал его в забытьи, но с номером «Литературной газеты», в которой лишь недавно было напечатано одно из его последних стихотворений. «Как скучны статьи Катенина», заметил он племяннику по поводу тяжеловесных «Размышлений и разборов», заполнявших критический отдел дельвигова «Вестника». Так ли, мол, нападала легкая конница «Арзамаса»? Пушкин, видимо, вполне разделял мнение дяди и обессмертил его последний отзыв в своих письмах: «Каково? вот что значит умереть честным воином le cri de guerre à la bouche»[1]. По преданию, сообщенному Анненковым, утром 20 августа Василий Львович еще смог дотащиться до шкафов своей богатейшей библиотеки, отыскал своего любимого Беранже и через некоторое время, тяжело вздохнув, умер над французским песенником.

Пушкин принял на себя устройство похорон, разослал от своего имени траурные извещения, возглавлял литературную группу погребальной процессии, в которой участвовали Вяземский, Погодин, Языков, Дмитриев, братья Полевые, князь Шаликов и другие. «С приметной

[1] С воинственным кличем на устах

Июльская революция 1830 года. Призыв 27 июля.
Литография.

грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди», заметил один из участников кортежа. Поэт был привязан к Василию Львовичу гораздо более, чем к своему отцу, и помнил в нем своего первого наставника на путях в лицей, в «Арзамас» и в русскую поэзию. Это был не только ближайший родственник, но и «дядя на Парнасе», один из тех, кто входил в «сладостный союз поэтов...» Пушкин всегда живо ощущал эту неразрывную связь всех «питомцев муз и вдохновенья». На кладбище Донского монастыря, где похоронили Василия Львовича, он навестил могилу Сумарокова.

«Смерть дяди, — писал в те дни Пушкин, — и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства... На-днях отправляюсь я в Нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной». Речь шла о далекой Кистеневке, расположенной близ родового села Болдина и предоставленной Сергеем Львовичем старшему сыну по случаю его женитьбы. 31 августа Пушкин выехал из Москвы, захватив с собой английских поэтов и несколько тетрадей, заполненных планами, набросками и строфами.

VII

БОЛДИНСКИЙ КАРАНТИН

Нижегородская вотчина Пушкиных сильно отличалась от родового поместья Ганнибалов. Лукояновский уезд, где находилось село Большое, или Базарное, Болдино, ничем не напоминал Опочецкий округ Псковской губернии. Ни глубоких озер, ни высоких холмов, ни укрепленных городищ, ни зеркальной Сороти; вместо них —

...избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса,
Где речка?..

Если в «Михайловской губе» ощущалась близость старинных западных рубежей — Польши, Литвы, Ливонии, — то на границах Симбирской губернии давал себя знать Восток. Вокруг Болдина раскинулись мордовские деревни, а по соседней речке Пьяне тянулись татарские селения (в настоящее время с этой местностью соседствуют Чувашская, Мордовская и Татарская автономные социалистические республики). В XVII столетии эти разнопле-

мейные поселки средневолжского плёса поддерживали Степана Разина в его борьбе с правительственными войсками. От Жигулей и Самарской луки сюда шли сказания и песни поволжской вольницы. Неудивительно, что Пушкин в Болдине с увлечением отдавался своему любимому занятию — собиранию народного творчества.

На первый взгляд просторы безлесной местности понравились Пушкину. Судя по его письмам, «степь да степь» приглянулась ему. По крестьянским преданиям, он ездил верхом в Казаринские кусты и соседние рощи, записывая, «какие местам названия, какие леса, какие травы растут, о чем птицы поют...» Располагал к работе и прочный дедовский дом под деревянной крышей, обнесенный дубовым частоколом.

Но с переменой погоды Пушкин сильно заскучал в своем «печальном замке», где только и можно было наблюдать, что «дождь и снег, и по колени грязь...» Перед ним зловеще чернели ворота, на которых, по преданию, его самовластный дедушка повесил француза-учителя. За оградой усадьбы — убогая вотчинная контора, старая покосившаяся церковь. Здесь наблюдал поэт зачерченный им в «Шалости» сельский жанр: без шапки мужичок, «под мышкой гроб ребенка...» А дальше, у большой дороги, раскинулся печальнейший сельский погост, многократно зарисованный Пушкиным в его болдинских записях:

Немые камни и могилы
И деревянные кресты
Однообразны и унылы...

Кладбищенские мысли навевались и последними событиями: с персидской границы по Кавказу и Волге ползла «индийская зараза», или «сарацинский падеж», по образной терминологии поэта, а по тогдашнему латинскому произношению — к о л е р а-м о р б у с. Это была первая

в России эпидемия холеры; ее смешивали с чумой (в болдинских письмах Пушкина мор 1830 г. называется безразлично обоими этими терминами). Деревни оцеплялись, устанавливались карантины, к околицам приставляли караульных, отводились избы под больницы. Пушкин высменивал санитарные приказы графа Закревского[1] и произносил крестьянам речи о борьбе с холерой, над которыми сам иронизировал в своих письмах.

Осень выдалась хлопотливая и тревожная. В Болдине Пушкин узнал, что предоставленная ему земля с двумя стами крепостных не составляет особого имения, а является частью деревни в пятьсот душ; необходимо было приступить к разделу. Болдинский конторщик составил прошение в Сергачский уездный суд. Последовало соответствующее распоряжение земскому суду, и 16 сентября дворянский заседатель ввел Пушкина во владение сельцом Кистеневым, Темяшевым тож, при реке Чеке, впадающей в Пьяну.

Это был старинный опальный поселок. Сюда грозный барин Лев Александрович Пушкин выселял из Болдина крепостных «за самодурство и бунты». В своих необычных названиях — Самодуровка, Бунтовка — улицы деревни хранили воспоминания о своем прошлом. Крестьяне здесь жили в большой нужде, черно и грязно, в подслеповатых курных избенках.

Став владельцем этой бедной деревеньки, Пушкин был вынужден разбираться в документах вотчинной конторы, выслушивать претензии крепостных на разорившего их бурмистра, читать «смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом», «возиться с заседателями, предводителями и всевозможными губерн-

[1] В ряду предохранительных мер от холеры Закревский указывал «душевное успокоение, находимое в вере, в надежде на промысел божий и на попечение его помазанника».

Болдино.

скими чиновниками». Все это раскрыло перед ним особый мир провинциальных повытчиков, уездной ябеды, захолустного «крапивного семени». В качестве землевладельца ему приходилось просматривать хозяйственные книги, вникать в оброчные ведомости, сопоставлять размер недоимок и казенного долгу, знакомиться с «ревизскими сказками» и тетрадями расхода мирских денег. Документы эти оказались историческими источниками для полной кистеневской летописи. Пушкин привез с собой в Болдино второй том «Истории русского народа» Полевого, которая воспринималась им теперь в свете подлинной жизни одного глухого русского селения. Так возникла «История села Горюхина», в которой пародия на приемы и методы ученых историков нисколько не заслоняет живых и подлинных черт быта пушкинской вотчины, где в старину крепостных били «по погоде»[1], «забривали в рекруты», сажали «в железы»; с появлением же приказчика-кровососа «в три года Горюхино совершенно обнищало, приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Половина мужиков была на пашне, другая служила в батраках, ребятишки пошли по миру...» Горестный сарказм горюхинской истории, широко развернувший на нескольких страницах картину разнузданного произвола бурмистров и удручающего бесправия разоряемых крестьян, приводил к огромному и безотраднейшему обобщению всей жизни и всего строя крепостной России.

Наряду с такими зарисовками Пушкин работал и над первой серией своих новелл. В одном из болдинских писем он сообщает, что занялся сочинением «сказочек» (получивших впоследствии общее заглавие «Повестей Белкина»). Материалом для них послужили в большинстве случаев некоторые предания, воспоминания, житей-

---

[1] Знаменитая запись в дневнике горюхинского помещика XVIII века: «Тришка бит по погоде».

ские эпизоды, лично подмеченные или бытовавшие в устной (а подчас и книжной) традиции. Московская вывеска гробового мастера Адриана Прохорова на Никитской, по соседству с домом Гончаровых, навеяла Пушкину фабулу «Гробовщика». Воспоминание о старинном кишиневском приятеле — бесстрашном дуэлисте и боевом офицере полковнике Липранди — легло в основу «Выстрела». Разъезды поэта-странника, ожидания и ночевки на почтовых станциях сообщили бытовую оправу «Станционному смотрителю». В «Метели» и «Барышне-крестьянке» опыт личных наблюдений, видимо, сочетался с некоторыми литературными традициями. В сжатой и прозрачной форме большинство этих повестей вскрывает трагические противоречия человеческих отношений. Проза пушкинских новелл эскизна и легка, как его собственные рисунки пером, как беглые наброски «быстрых» рисовальщиков, которые он так любил за их воздушность и выразительность. Именно так сам он характеризует графические очерки Ленского, чертившего сельские пейзажи «пером и красками слегка...»

В Болдине Пушкин закончил в основном свой «труд многолетний» — дописал восьмую и девятую главы «Евгения Онегина» и набросал десятую главу, которая дошла до нас лишь в немногих отрывках. В этих главах характеры двух центральных героев получили окончательное раскрытие. Скитания Онегина по России с ее чудесными пейзажами, ярмарочной суетой и народными песнями о поволжской вольнице обнаруживают оторванность его от жизни родины, сознание внутренней опустошенности, непричастности к общему делу, обидной ненужности. Впротивовес этому поздняя вспышка его увлечения Татьяной до конца раскрывает в петербургской княгине все ту же пленительную, задумчивую, простую и любящую «прежнюю Таню»; от всех соблазнов блестящего великосветского адюльтера она уходит в личное строгое одино-

чество, свободное от сделок с совестью и лживой маскировки страстей. Из пестрой суголоки своего «модного дома» она рвется душой

В деревню, к розам и тюльпанам,
К своим возлюбленным романам,
В прохладу яблонных аллей [1].

Ее влечет в бедное жилище, в старый сад, под листву сельского погоста, где покоится хранительница народных поверий и сказаний — воспитавшая ее крепостная крестьянка.

Сохранилось свидетельство об одной беседе Пушкина с читательницами «Евгения Онегина».

— Зачем вы убили Ленского? — спросила Пушкина одна из барышень в соседнем Апраксине. — Варя весь день вчера плакала. (Это была шестнадцатилетняя хорошенькая девочка).

— Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили эту дуэль?

— Я бы только ранила Ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала бы рану, и они друг друга еще больше бы полюбили.

— А вы как бы кончили эту дуэль? — обратился Пушкин к старшей сестре.

— Я бы ранила Онегина, Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы ее и полюбил ее.

— Ну нет, он Татьяны не стоил, — ответил Пушкин.

И все же, как умный, одаренный и культурный представитель передового дворянского поколения двадцатых годов, Онегин до конца привлекал к себе симпатии Пушкина; так в жизни неизменно привлекали поэта блестяще одаренные, но обреченные эпохой на бездействие — Чаадаев, Александр Раевский, Николай Тургенев, Михаил Орлов и многие другие товарищи его молодых лет.

[1] Из черновика «Евгения Онегина».

БАРРИ КОРНУОЛЬ (1787—1874).

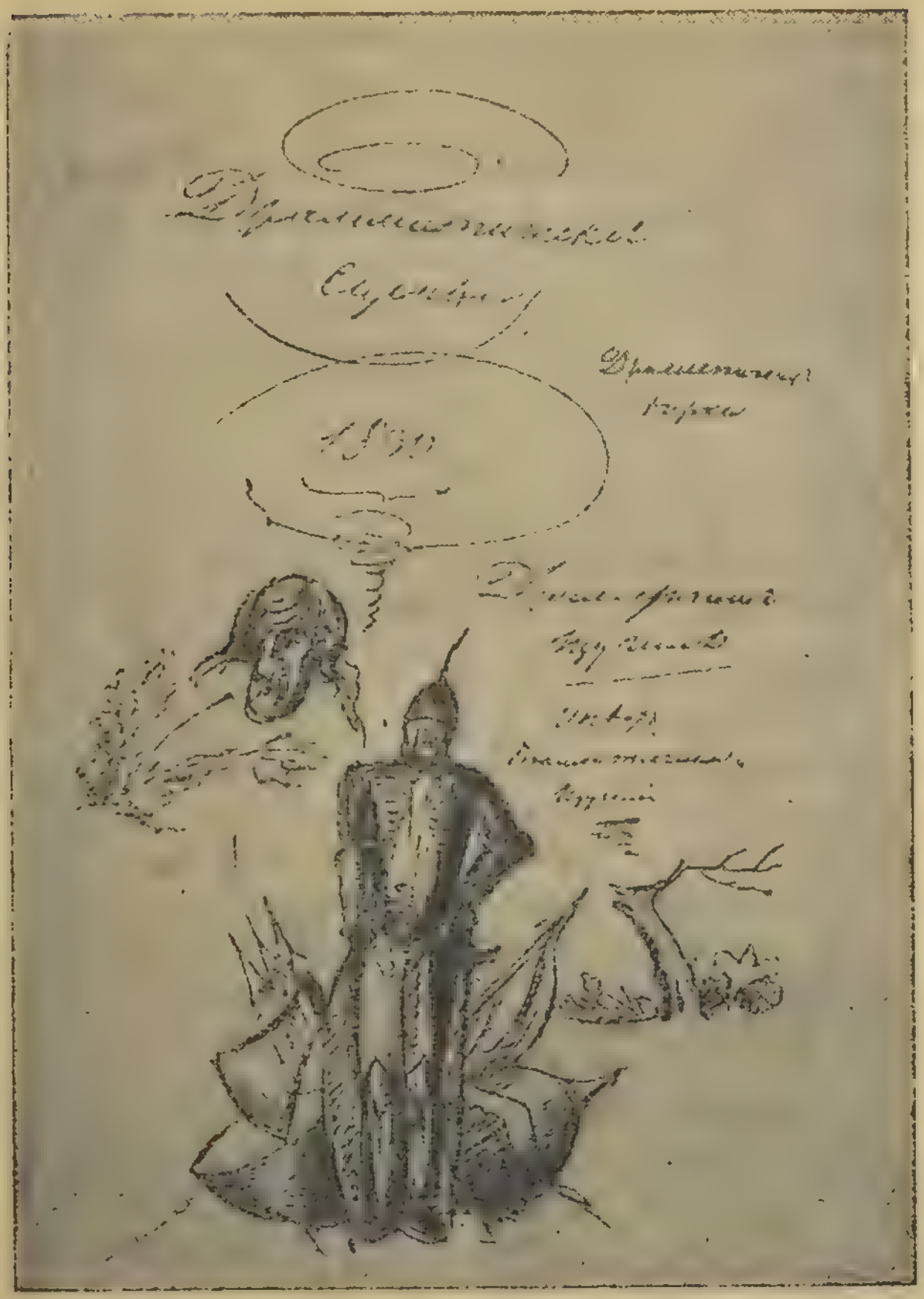
С гравированного титула «Поэтических творений Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуоля» (1829).

Пушкин ощущал потребность реабилитировать своего героя, оправдать его действием, борьбой, жертвенной активностью, быть может, провести его через очистительный апофеоз к трагической гибели. Пути к ней в то время пролегали либо через военную, либо через революционную деятельность. Эпилог Онегина намечался на Кавказе или на Сенатской площади.

Последний замысел — участие Онегина в подготовке 14 декабря и, вероятно, в самом восстании — Пушкин и стал разрабатывать, видимо, одновременно с окончанием восьмой (по существу, девятой) главы — разлуки Онегина с Татьяной (вероятно, осенью 1830 г.). В Болдине была написана часть десятой главы, в которой нравоописательный роман переходил в политическую хронику современности, развертывая события от наполеоновских походов, через европейские военные революции, к подготовке декабря. Здесь и собрания вольных петербургских кружков типа «Зеленой лампы», в которых «читал свои ноэли Пушкин», и очерк революционного движения на юге — в Тульчине и Каменке, и глубоко сочувственные упоминания имен казненных декабристов — Пестеля и Сергея Муравьева-Апостола. В начальных строфах давалась памфлетическая характеристика Александра I («властитель слабый и лукавый...»). Все это сообщало десятой главе резкий антиправительственный смысл, а при наличии зорких наблюдений за каждым стихом и жестом поэта вызывало настоятельную необходимость тщательно скрывать такое «крамольное» произведение. 19 октября в Болдине Пушкин сжег рукопись десятой главы (вероятно, к тому времени еще не оконченной), а для себя сохранил лишь шифрованную запись этой «хроники» [1].

---

[1] Ей суждено было в течение восьмидесяти лет оставаться под спудом. Только в 1910 году редактор Пушкина П. А. Морозов открыл ключ к пушкинскому шифру и впервые установил текст сохранившихся строф десятой главы.



Титульный лист к маленьким трагедиям. Пушкин предполагал озаглавить этот цикл «Драматические сцены», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». Виньетка, изображающая рыцарские доспехи, относится, вероятно, к «Скупому рыцарю».

Отрезанное карантинами от столиц и губернских городов, Болдино жило слухами и скудными сообщениями «Московских ведомостей». 2 октября Пушкин узнал, что холера дошла до Москвы.

Он немедленно же собрался в дорогу, чтобы разделить с невестой тревоги грозного времени, но в двадцати верстах от Болдина его задержала первая застава: «Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку...» Пушкину удалось преодолеть это первое препятствие и добраться до Лукоянова; но здесь предводитель дворянства отказал ему в выдаче паспорта, настаивая на выполнении поэтом обязанностей окружного инспектора над карантинами (согласно правительственному распоряжению все дворяне, проживавшие в пораженных губерниях, призывались к борьбе с эпидемией).

Пушкин вернулся в Болдино, несколько успокоенный слухами, что гражданское население оставило Москву. Но в конце октября он получает письмо от Гончаровой из «зачумленного города». Он снова пускается в путь, мечется по разным трактам между заставами, проделывает четыреста верст по ужасающим «ящикам грязи», чтоб снова вернуться «в свою берлогу» и томиться безвыходностью и неизвестностью «в этой прелестной стране грязи, чумы и пожаров...»

Но творческая работа продолжалась. Пушкин привез в Болдино несколько книг, в том числе Кольриджа и антологию современных британских лириков, изданную в Париже в 1829 году. Среди четырех авторов здесь был представлен и Барри Корнуоль. Таков был псевдоним Брайана Уоллера Проктера, поэта и драматурга, стремившегося создать на основе изучения трагиков елизаветинской эпохи и новеллистов итальянского Возрождения новый жанр коротких и напряженных сцен.

Эпоха Ренессанса продолжала увлекать Пушкина: «В «Ромео и Джульетте» отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti [остроумия]»[1].

Новый драматургический вид, в котором вольные просторы шекспировского театра сменяются предельной концентрацией действия, замечательно отвечал стремлениям самого Пушкина найти сжатое выражение для трагедийного изображения человеческих страстей; еще в середине двадцатых годов были задуманы «Моцарт и Сальери» и «Скупой рыцарь». Теперь раскрывалась новая лаконическая и выразительная форма для выполнения таких замыслов. Пушкин пробовал озаглавить их: драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, даже «опыт драматических изучений».

Маленькие трагедии Пушкина представляют собой как бы драматургические новеллы. И здесь, как в «Повестях Белкина», личный опыт автора своеобразно сочетался с поэтической традицией для создания новых художественных обобщений.

Семейный разлад Пушкиных — впечатления поэта от скупости Сергея Львовича — воскрешал в памяти классические образы скряг и намечал новый тип скупца. Сын никогда не отказывал отцу в некотором благородстве и даже признавал его единственным честным человеком среди русских помещиков. Психолога-художника должен был привлечь этот странный характер, сочетавший в себе мнительность и гордость, мелкую расчетливость и утонченную культурность, сознание собственного достоинства и готовность оклеветать сына; синтез скупости и «рыцарства» прельщал новизной литературного образа

---

1 Из статьи Пушкина в «Северных цветах» за 1830 год.

и богатыми возможностями его психологической разработки.

В процессе творчества материал действительности получил исключительную мощь выражения. Монолог барона о мрачной и всемогущей власти золота — одно из высших достижений Пушкина-трагика:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных...

Нельзя не согласиться с позднейшим отзывом И. С. Тургенева, что под монологом скупого рыцаря «с гордостью подписался бы Шекспир».

В «Каменном госте» традиционный образ любовного авантюриста, восходящий к Мольеру и Моцарту, приобретает новые черты, приближающие пушкинского Дон-Жуана к родственным героям Байрона и Гофмана: не обличение распутника, а раскрытие в нем драматических и пленительных черт прельщает Пушкина. Его Дон-Жуан — поэт, сочиняющий превосходные романсы Лауре и непринужденно выступающий «импровизатором любовной песни». Он славится своим красноречием («О, Дон-Жуан красноречив, я знаю!») и сразу же увлекает строгую вдову яркой образностью своих признаний:

...Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб
Пойдете кудри наклонять и плакать...

Интеллектуальный блеск и поэтическая одаренность в нем сочетаются с бесстрашием мысли и дерзкой независимостью поступков. Постигающая его катастрофа не является у Пушкина возмездием за греховность, а только раскрытием трагизма, заложенного в любовной страсти.

Прочитанный некогда на юге биографический анекдот об отравлении Моцарта музыкантом-соперником обращает мысль Пушкина к двойному трагизму судьбы художника: не только борьба с внешними силами, но и гонения в собственном артистическом кругу нередко готовят ему гибель. Первоначально драма была озаглавлена «Зависть». Композитор Сальери, который, по преданию, на премьере «Дон-Жуана» со свистом «вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью», должен был воплотить этот порок, порождающий столько драм в быту художников. «Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца», записал несколько позднее Пушкин. Но в самой драме тема зависти отступила перед другими, более глубокими заданиями. Пушкин не только в Моцарте, но и в Сальери изобразил замечательного мастера, подлинного «сына гармонии», выдающегося новатора, оценившего новые пути своего искусства — «глубокие, пленительные тайны», раскрытые великим реформатором оперы Глюком. Сальери — артист-исследователь, создающий образы искусства на основе точного труда. В его лаборатории анализ, наука, чертеж и формула предшествуют «неге творческой мечты».

Наряду с темой о двух художественных типах Пушкин ставит и моральную проблему — о «гении и злодействе». В сознании Сальери-отравителя, принесшего своего гениального друга в жертву «вольному искусству», возникает образ Микельанджело, который ставил творчество выше жизни:

А Бонароттн? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

В «Письмах русского путешественника» Карамзина Пушкин мог прочесть: «Показывая Микель-Анджелову

картину распятия Христова [в Дрезденской галлерее], рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью...»

Если в плане художественном Пушкин признает правоту обоих своих героев и приветствует «искренний союз, — Связующий Моцарта и Сальери — Двух сыновей Гармонии», то в плане этическом он всецело на стороне Моцарта с его светлой мудростью: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Проблеме смерти посвящен «Пир во время чумы», отчасти навеянный последними впечатлениями Пушкина.

Всеобщая тревога перед «индийской заразой», холерные карантины, бегство макарьевской ярмарки, бросившей свои барыши перед призраком грозного мора, — все эти события сообщили особый личный тон первоначальным вариациям на тему вильсоновской трагедии о чумном городе. Преодоление страха смерти безмерной любовью девушки Мери и вызывающим бесстрашием юноши Вальсингама, запечатленное в бессмертных строфах элегического романса и мощного гимна, придает «Пиру во время чумы» значение одного из величайших созданий Пушкина.

Почти во всех маленьких трагедиях звучит мотив освобожденной мысли Ренессанса. «Все говорят: нет правды на земле. — Но правды нет и выше», бросает свой вызов провидению Сальери, пытающийся своей волей при помощи склянки яда исправить враждебный ход судьбы. Дерзостный Дон-Жуан в духе нового атеистического бунта глумится над «священной» неприкосновенностью загробного мира. Эта тема с исключительной мощью развернута в гениальной песне председателя чумного пира, преодолевающего силой своей богоборческой мысли страх смерти и ужас перед повальной гибелью. Так, расставаясь с молодостью и вольной жизнью, на полпути

земного бытия, поэт неизгладимыми по глубине и силе чертами запечатлел свои раздумья о творчестве, любви и смерти в этих диалогических очерках, опытах, маленьких драмах, представляющих собой по существу мировые философские трагедии.

Несмотря на трудное время, хлопоты и тревоги, Пушкин не теряет своей обычной бодрости, мужественного оптимизма и неизменно свойственного ему спасительного юмора. В оцепленной холерными карантинами унылой деревне созданы такие блестящие и радостные строфы, как «Паж или пятнадцатый год», «Я здесь, Инезилья...», «Пью за здравие Мери...»

Здесь же Пушкин пишет октавами одну из своих лучших повестей, «Домик в Коломне», где забавный эпизод сочетается с живой журнальной полемикой и единственным пушкинским «трактатом о стихе». Русская литература еще не знала такой остроумной стихотворной «поэтики», где специальные вопросы метрической формы (упадок четырехстопного ямба, ломка классического александрийца, сложная структура октавы) получали бы такое живое и подчас забавное разрешение. Сам фривольный эпизод напоминал шуточные поэмы XVIII века, но манера повествования обличала особую зоркость художника к бытовым деталям убогих столичных окраин, хорошо знакомых поэту по годам его молодости (когда он жил в Коломне). Это сообщало лукавой повести ноты глубокого лиризма, особенно в октавах о «гордой графине», скрывавшей под маской блистательного тщеславия тяжелые унижения и страдания своей личной жизни. Это один из превосходнейших психологических этюдов Пушкина.

Его стиховое искусство достигает к этому времени высшей зрелости. Недаром в своем «Домике в Коломне» он роняет афоризм:

Блажен, кто крепко словом правит.

Лучшие знатоки поэзии не переставали отмечать высокие познания Пушкина в теории стиха. «Он знал очень хорошо технику стихосложения», писал Катенин. «Вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме», свидетельствует Мицкевич. Углубленность разработки и богатство стихотворной формы сказывается в различных жанрах и размерах, которыми пользуется Пушкин в 1830 году; он проявляет теперь повышенный интерес к сложной и разнообразной строфике:

Как весело стихи свои вести
Под цыфрами, в порядке, строй за строем, —

отмечает сам он преимущества четкого строфического построения поэмы перед сплошным потоком четырехстопного ямба. Помимо октав и дантовских терцин, его пленяют теперь вольные сонеты шекспировского типа, античные гекзаметры и белые стихи драматических сцен. Во всем этом чувствуется поэт-мастер в полном развитии своих сил, гнущий по своему произволу непокорный материал слова и легко овладевающий труднейшими задачами своего высокого ремесла, чтоб разрешить их с неподражаемой виртуозностью, глубиной и свободой.

Такими чертами отмечена и болдинская лирическая трилогия «В последний раз твой образ милый...», «Заклинание» и одно из самых глубоких лирических созданий Пушкина — «Для берегов отчизны дальней...» В некоторых строфах этих элегических гимнов сказывается влияние британских поэтов, которыми Пушкин зачитывался в Болдине, но всюду оно преодолевается личным трагическим опытом автора, запечатлевшего здесь воспоминания о своих мучительных южных увлечениях в образах высшей силы и предельной чистоты.

Еще в середине июля Пушкин получил анонимное стихотворное приветствие, в котором неизвестный автор выражал уверенность, что личное счастье станет для поэта

«источником новых откровений» (автором этого послания был тот самый скромный ученый И. А. Гульянов, с которым Пушкин встречался в салоне Волконской).

Поэт решил ответить на это «ласковое пенье». Написанный в Болдине 26 сентября знаменитый «Ответ анониму» представляет собой наиболее полное выражение пушкинской мысли о личной судьбе писателя в современном обществе:

Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылой,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, —
«Тем лучше, — говорят любители искусств: —
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...

В Болдине, как на юге и в Михайловском, Пушкин остается поэтом-этнографом; к песням о Разине, к свадебным и похоронным мотивам псковского края он присоединяет напевные сказания средневолжского бассейна. В Казаринских кустах, на «Поганом конце» Болдина, на Кривулице своего опального сельца, в чащах Лучинника и Осинника — он неизменно прислушивается к народному говору, запоминает своеобразные местные приветствия, отмечает особенности горюхинского языка, «исполненного сокращениями и усечениями», вслушивается в песни «Архипа Лысого», изучает кистеневский фольклор, идущий, по его определению, от солдат-писателей и боярских слуг. По-новому звучат для него болдинские песни, столь отличные от псковского фольклора: «Приведи-ка, матушка, татарина с скрыпкою, мордвина с волынкою».

В песнях упоминались и болдинский плот, и ковыль-трава, белеющая в степях Лукояновского уезда, и бурлаки, уплывающие «вниз по Волге по реке». С грустью, свойственной русской песне, здесь запечатлелись безотрадные черты крепостного и домашнего быта.

Из своего болдинского плена Пушкин выбрался в самом конце ноября. По пути ему пришлось еще пробыть четыре дня в Плотавском карантине, где он написал «Мою родословную». Еще в деревне в ответ на булгаринские инсинуации (о «мещанине во дворянстве», о негре, купленном за бутылку рома) Пушкин написал заметку, в которой возмущался «иностранцем», дерзающим «пакостить около гробов наших праотцев». На рукописи «Метели» сохранились последние строки превосходной эпиграммы:

Говоришь: за бочку рома —
Незавидное добро.
Ты дороже, сидя дома,
Продаешь свое перо.

Но сжатая форма эпиграммы не давала простора для ответа. Пушкин обращается к другому жанру, более свободному, но такому же острому и разящему. Его привлекает песенка Беранже, задорная, вызывающая, стремительно развертывающая свою сатирическую тему в нескольких куплетах с бойким ударным припевом. У знаменитого парижского песенника имелись полемические строфы о его социальном происхождении.

Не обладая «рыцарскими граматами на пергаменте», певец парижских мансард издевается над «господами дворянами по своему ордену в петличке», готовыми воспевать каждое восходящее светило. «Я же принадлежу к общей породе и приспособляюсь только к беде. Я мещанин...»

Эти саркастические строки замечательно отвечали заданию Пушкина. В гибкой форме беранжеровской песенки он дает обзор прихотливых судеб российского дворянства. В нескольких строфах «Моей родословной» Пушкин изображает два слоя русской аристократии: культурное, но обедневшее потомство «бояр старинных» и всемогущую знать, происходящую от случайных фаворитов императорского периода. Поэт отмечает преимущество своей древней фамилии, служившей русскому государству вместе с Александром Невским и Мининым, перед всеми выскочками последнего столетия, оттеснившими Пушкиных от политической активности и государственного влияния:

Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин...

Эта борьба двух течений в дворянстве новой эпохи, выдвинувшей умелых карьеристов на первые правительственные посты и обратившей в ничтожество исторических носителей государственной культуры, выражена в «Моей родословной» с исключительной силой обличения. Пушкин, приняв вызов «Северной пчелы», исходит из мольеровской формулы «мещанина во дворянстве», но в легких куплетах современного парижского песенника мощно очерчивает трагические годины России с ее «бранными непогодами» и массовыми казнями. Поразительны по своей предельной сжатости и могучей экспрессии исторические характеристики, вроде: «Гнев венчанный — Иван четвертый...» Журнальную полемику о русских дворянских родах Пушкин впервые облекает в острые строфы, приобретающие под его пером энергию и законченность актов исторической драмы.

5 декабря Пушкин возвращается, наконец, в Москву. Его ожидали вести о войне с Польшей и ледяной прием в доме Гончаровых.

VIII

ПЛЕН ВАРШАВЫ

Политическая новость, ошеломившая Пушкина, гласила, что ночью 17 ноября в Варшаве толпа завладела арсеналом, захватила Бельведерский замок и обратила в бегство ненавистного «вице-короля», цесаревича Константина. В последующие дни восставшие овладели государственной казной, войском, двумя крепостями, а 23 ноября было избрано временное правительство под председательством бывшего русского министра иностранных дел Адама Чарторижского.

Получив об этом сведения в конце ноября, Николай I тотчас же предпринял ряд военных мер. Юго-западные губернии были объявлены на военном положении, а главнокомандующим действующей армии был назначен фельдмаршал Дибич, которого победитель Наполеона, «железный герцог» Веллингтон, незадолго перед тем — после Балканской операции 1829 года — признал «великим полководцем».

У Пушкина уже в молодости сложилось мнение о взаимоотношениях России и Польши. Оно соответствовало воззрениям тогдашних патриотических кругов русского общества — в том числе и многих будущих декабристов — о необходимости противодействовать полонофильской политике Александра I, решившего присоединить к царству Польскому ряд западных областей империи. Против этой меры выступил в 1817 году Михаил Орлов, составивший особую записку на имя царя, а в 1819 году Карамзин, предостерегавший Александра I от дальнейших шагов в этом направлении.

В духе таких воззрений Пушкин расценивал и вспыхнувшие новые события. Верный друг его Е. М. Хитрова посылала Пушкину в Москву последние французские газеты. Сочувствие парижской прессы к восставшей Поль-

ше вызывает у Пушкина противоположную реакцию. Он осуждает полонофильство Александра I, основанное не на действительных нуждах страны, «а лишь на соображениях личного тщеславия, театральном эффекте и т. д.»; он не сомневается в победном завершении предпринятого похода. «Ничто не может спасти Польшу, кроме чуда, а чудес не бывает», пишет он Хитровой 21 января 1831 года.

В такой тревожной политической обстановке Пушкину пришлось разрешать сложную проблему своей личной судьбы. Он уезжал в Болдино, рассорившись с матерью Гончаровой и предоставив полную свободу ее дочери. В деревне он получал письма от отца с сообщениями о расстройстве его помолвки, а по возвращении в Москву «нашел тещу озлобленную» и, видимо, действительно готовую окончательно разорвать с ним. Но так как теперь неудовольствия Натальи Ивановны проистекали преимущественно из материальных соображений, Пушкину удалось довольно быстро «сладить» с ней. В качестве новоявленного владельца Кистеневки он получил возможность заложить свое нижегородское имение за тридцать восемь тысяч рублей и проделать своеобразную операцию, снимавшую с его невесты обидное звание «бесприданницы»: он вручил теще одиннадцать тысяч, которые якобы являлись приданым Натальи Николаевны, но на самом деле представляли собой скорее нечто вроде «калыма», то-есть выкупа невесты; деньги эти остались в виде безвозвратной ссуды за старухой Гончаровой («пиши пропало» — кратко и выразительно сообщал об этом Пушкин Плетневу).

По приезде из Болдина поэт с удивлением и досадой узнал о запрещении «Литературной газеты». Оказывается, в номере от 28 октября 1830 года Дельвиг поместил заметку, в которой выражалось сочувствие героям Июльской революции и приветствие освобожденной ими от

Бурбонов Франции: «Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27, 28 и 29 июля: «Франция, скажи мне их имена. — Я их не вижу на этом печальном памятнике: они так скоро победили, что ты была свободна раньше, чем успела их узнать...»

Заметка эта появилась в момент, когда запрещалось произносить слово «республика», когда слово «мятежник» требовалось заменять «злодеем», а сведения об Июльской революции могли печатать только петербургские официальные органы со слов реакционнейшей «Прусской государственной газеты».

Уже через два дня Бенкендорф потребовал от министра народного просвещения сведений «для доклада государю-императору, кто именно прислал сии стихи к напечатанию». На соответствующий запрос попечителя округа Дельвиг отвечал, что стихи доставлены ему «от неизвестного, как произведение поэзии, имеющее достоинство новости»; газета его печатает сообщения «чисто литературные, без всякого их применения к обстоятельствам», и, наконец, указанная заметка была разрешена к напечатанию цензурой.

Ответ этот вывел из себя Бенкендорфа. После грубого объяснения с Дельвигом он отдал распоряжение о закрытии «Литературной газеты». «Русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу», писал по этому поводу Пушкин Плетневу.

Распоряжение было, впрочем, вскоре отменено. После вмешательства влиятельных друзей к Дельвигу явился чиновник III отделения с извещением, что издание «Литературной газеты» будет разрешено, но под редакцией другого лица — Ореста Сомова.

Все это мало успокоило Дельвига. Всегда болезненный, он серьезно расхворался, «впал в апатию» и 14 января 1831 года скончался.

Битва под Остроленкою 26 мая 1831 года.

«Он был лучший из нас», писал глубоко огорченный Пушкин 21 января Хитровой. Он предлагает Плетневу и Боратынскому написать совместно с ним биографию покойного поэта и неоднократно вспоминает в стихах своего «милого Дельвига», «доброго Дельвига», друга и советника художников. Эта внезапная смерть отбросила тень на свадебные события 1831 года.

Пушкин расставался с вольной холостой жизнью не без сожаления и предстоящий семейный быт встречал с некоторой озабоченностью (о чем свидетельствуют его письма той поры). Тем не менее, легенда о его безнадежном настроении в момент женитьбы нуждается в пересмотре. Пушкин, якобы рыдающий у цыганок накануне свадьбы и смертельно бледнеющий перед алтарем от зловещих предвестий, — вся эта анекдотическая мелодрама весьма мало соответствует свидетельству современников об обычно бодром и сдержанном поведении поэта в обществе. Едва ли верен рассказ о тяжелой грусти, преследовавшей поэта на «мальчишнике» накануне его венчания, когда у него пировали такие веселые и остроумные люди, как Вяземский, Денис Давыдов, брат Лев Сергеевич, Нащокин. Гораздо правдоподобнее свидетельство о том, что в этот вечер непрерывно звенели бокалы, а Пушкин читал друзьям свои стихи, не лишенные светлых нот. И в последних болдинских элегиях звучали обычные мотивы его лирики: «Но не хочу, о други, умирать...» Вполне соответствует также характеру Пушкина и склонностям его невесты сохранившееся свидетельство о том, что «на свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша». О несомненной бодрости духа свидетельствует и то, что, вернувшись с венчания, Пушкин много говорил о любимом им народном творчестве.

«С жадностью слушал я, — вспоминал впоследствии П. П. Вяземский, — высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок и звучности народного русского стиха...» Быть может, в связи со своим венчанием Пушкин вспоминал свадебные песни, которые так прилежно заносил в свои записные книжки:

Как в долу-то березанька белехонька стоит,
А наша невеста белее ее...

В тот же вечер молодые угощали друзей ужином. Распорядителем был весельчак и каламбурист Лев Сергеевич, полувлюбленный в свою невестку. В ближайшие же дни после свадьбы Пушкины стали появляться на балах, маскарадах, санных катаньях, а 27 февраля опять принимали у себя московское общество. «Пушкин славный задал вчера бал, — писал один из приглашенных, — и он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка». В своих письмах после свадьбы Пушкин говорит о полном счастье — ощущении столь новом для него. Он словно применяет к себе взволнованные строки из «Каменного гостя» о душевном обновлении героя: «Мне кажется, я весь переродился...» Во всей переписке Пушкина можно сравнить с его февральскими признаниями 1831 года только восхищенные описания счастливых крымских дней в кругу Раевских.

Этой внутренней настроенности поэта мало соответствовали события политического мира. В конце января русская армия одиннадцатью колоннами перешла границы царства Польского. Пушкина интересовал не только ход военных действий, но также отношение к польским событиям всей Западной Европы, особенно же Франции, резко выступавшей в лице своих политических ораторов

и писателей против России. Ни для кого не было тайной, что после Июльской революции и отложения Бельгии от Нидерландов, то-есть в начале осени 1830 года, Николай I готовился к войне с Францией. Ноябрьское восстание в Варшаве заставило его отказаться от этого похода. Польша становилась авангардом конституционных стран Запада на территории Российской империи, и от исхода ее борьбы с Петербургом зависела отчасти и судьба Парижа. Отсюда исключительный интерес французской печати 1831 года к русско-польскому конфликту и ее всесторонняя моральная поддержка дела восставших поляков. В феврале член палаты Эдуард Биньон в горячей речи возражал против принципа невмешательства, сформулированного министром иностранных дел Себастиани. Тогда же знаменитый Лафайет, генерал Ламарк и депутат Моген потребовали вмешательства Франции и Англии в польские дела. В конце февраля огромная демонстрация развернулась у здания русского посольства в Париже с криками: «Да здравствует Польша! Война России!»

Такие же лозунги заполняли страницы всех парижских газет и журналов. Известные публицисты Арман Каррель и Ламменэ в своих органах вели страстную полонофильскую пропаганду. Журнал «Энциклопедическое обозрение» напечатал «Манифест польского народа» с резкой статьей против России; здесь же была помещена поэма Жюльена «Три столицы: Петербург, Варшава, Париж, или торжество свободы», где говорилось о «варварском тиране», «злодейском мече», «опустошительном бедствии».

Но еще в большей степени волновали Пушкина выступления публицистов и поэтов. В феврале Беранже и Казимир де-ла Винь выступили на торжественной мессе в память Костюшки с воинствующими полонофильскими строфами. Аналогичные мотивы раздавались в журнали-

стике Англии и «молодой Германии», где на ту же тему и в том же духе высказывался Берне.

Все это глубоко волнует Пушкина. Он читает иностранные газеты и журналы, беседует с московским историком Погодиным о судьбах славянства, дает в своих письмах отзвуки на важнейшие события русско-польской войны. Переезд в середине мая в Петербург заметно повышает интенсивность его реакции на ход современной политики.

Пушкины поселились на лето в Царском Селе, «в кругу милых воспоминаний». Недавно лишь поэт запечатлел в блестящих декоративных строфах свои «любимые сады», которые попрежнему —

Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Но сам он поселился в скромном деревянном доме вдовы придворного камердинера Анны Китаевой, на углу Колпинской и Кузьминской улиц. Это было новенькое строение с четырьмя ампирными колоннами на балконе и с мезонином, где Пушкин устроил свой кабинет: большой круглый стол, диван, книги на полках. А поблизости парк, знакомый и воспетый уже в отрочестве; сюда теперь поэт отправлялся по вечерам с женою бродить вдоль озера.

Но эта «тихая и веселая жизнь, будто в глуши деревенской», нарушалась тягостными событиями современной истории. С первых же дней пребывания в лицейском городке Пушкин посещает политические салоны летней резиденции, где отставные военные и старые придворные оживленно обсуждают последние события. «Здешние за-

лы очень замечательны, — сообщает Пушкин 1 июня Вяземскому. — Свобода толков меня изумила. Дибича критикуют явно и очень строго».

Пушкин разделяет эти мнения о главнокомандующем: «Он уронил Россию во мнении Европы (пишет он вскоре в другом письме) — и медлительностью успехов в Турции, и неудачами против польских мятежников». Затянувшаяся кампания, угроза всеевропейской войны, резкие антирусские выступления всей французской печати вызывают в сознании поэта мысль о великой национальной опасности. «Теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году», заявляет он одному из царскосельских жителей.

Следует думать, что в эти дни — в конце мая или в начале июня 1831 года — под влиянием резкой критики действий Дибича в полувоенном обществе Царского Пушкин написал стихотворение, обращенное к великому вождю отечественной войны — Кутузову:

Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой.

В начале июня до Пушкина дошло известие о внезапной смерти Дибича 29 мая от холеры. После небольшого зимнего перерыва «индийская зараза» с новой силой вспыхнула весной 1831 года. Минск, Варшава, Краков, Галиция, Рига, Ревель и, наконец, Петербург были захвачены эпидемией. 15 июня умер от холеры в Витебске великий князь Константин, а 4 июля в Петербурге — одесский собеседник Пушкина Ланжерон. Более всего страдала от болезни беднота, недостаточно обеспеченная санитарными и медицинскими мерами. «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу», писал один петербургский наблюдатель. Правительство растерялось, а его важнейшие представители панически бежали из зачумленного города.

Все это вызывало в столице глухое брожение, которое прорвалось, наконец, 22 июня открытыми беспорядками. Толпа задерживала и разбивала санитарные кареты, врывалась в лазареты, убивала врачей. Вскоре район холерных бунтов расширился, а самый характер волнений резко обострился, особенно в новгородских военных поселениях. «Солдаты взбунтовались и все под тем же нелепым предлогом отравления, — писал Пушкин П. А. Осиповой 29 июля. — Генералы, офицеры и врачи были умерщвлены с утонченной жестокостью».

Холера была действительно только предлогом к восстанию, вызванному глубокими социальными причинами. Согласно одной официальной записке, к моменту воцарения Николая I аракчеевские военные поселения представляли «самое несчастливейшее зрелище»: «рабочие батальоны замучены, и начальники их не стыдятся удерживать у них заработанные кровавым потом деньги...» Население изнемогало и гибло от шпицрутенов, розог, плетей. Ненависть ко всем начальствующим лицам не переставала расти. Возникновение холерной эпидемии послужило сигналом к общему восстанию 11 июля 1831 года в Старой Руссе военно-рабочих батальонов против местных властей — полицейских, офицеров, чиновников, а затем и помещиков. На городской площади был учинен суд над дворянами. Убили полицеймейстера и одного генерала. Это послужило началом широко раскинувшегося восстания против офицеров и чиновников военных поселений. В письме Пушкина к Вяземскому отчетливо сказывается восприятие событий в Старой Руссе, как движения антидворянского, новой «пугачевщины»: «Там четвертили одного генерала, зарывали живых и пр. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, Ваше сиятельство...»[1]

---

[1] Разрядка наша. — *Л. Г.*

Это уже было не выступление дворян во главе регулярных войск, как 14 декабря, а стихийное возмущение доведенного до отчаяния народа против представителей правящего класса и военного командования. Было над чем призадуматься и чему искать аналогии в социальном прошлом.

10 июля из Петербурга в Царское переехал двор, изгнанный оттуда холерой. Для Пушкина это обозначало прежде всего возобновление дружбы с Жуковским. Поэты решили устроить стихотворный турнир: состязание в написании русских сказок. Недавно лишь — в апреле 1831 года — Пушкин писал: «Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским». На основе своих прежних записей, преимущественно со слов Арины Родионовны, Пушкин разработал чудесную «Сказку о царе Салтане», расцвеченную всеми красками узорной росписи теремов. Вслед за ней, на основе антицерковных мотивов русского фольклора, была написана «Сказка о попе и о работнике его Балде». Как ни удачны сказки Жуковского о спящей царевне и о царе Берендее, победителем состязания остался, несомненно, Пушкин.

По утрам поэт читал свои сказки умной и культурной девушке, названной им в известном шутливом посвящении «черноокою Росетти». Пушкин ценил красавицу-фрейлину за уменье сохранять независимость ума и простоту характера «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора». По свидетельству Росетти (в замужестве Смирновой), Наталья Николаевна не имела основания ревновать к ней поэта, к которому новая знакомая относилась без тени влюбленности. Пушкин ценил Смирнову как просвещенного и остроумного собеседника, не внося также в эту литературную и светскую дружбу элементов романического увлечения.

Во время одной из прогулок по парку Пушкин встре-

тился с юным дерптским студентом, графом Владимиром Сологубом, который бывал у Карамзиных и Жуковского. Он заговорил об одном начинающем писателе, только входившем в известность. В Павловске у тетки своей, княгини Васильчиковой, Сологуб познакомился с двадцатидвухлетним педагогом и литератором, принявшим на себя тяжелую миссию давать уроки его слабоумному малолетнему кузену. Сологуб застал учителя с учеником за странным занятием: наставник, указывая на изображения разных домашних животных, блеял, мычал и хрюкал, старясь усиленным звукоподражанием оживить «мутную понятливость» своего питомца.

«Мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей его по имени: Николай Васильевич Гоголь».

Но через несколько дней молодой студент, проходя по коридору, услышал в одной из комнат выразительное чтение. Он решил войти и увидел перед собой молчаливую аудиторию из бедных девушек, компаньонок, приживалок своей тетки, которым Гоголь читал про украинскую ночь. Тонкость интонаций, юмор и лиричность передачи были неподражаемы:

«Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора... Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен, — мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место».

Бывая в Царском, Сологуб хлопочет за Гоголя у Карамзиных, у Жуковского. Встретив на гулянье Пушкина, он спрашивает его, знает ли он Гоголя. Пушкин только мельком видел молодого беллетриста в Петер-

бурге, но слышал о нем хвалебные отзывы Плетнева и Жуковского. Поэт выразил желание ближе узнать автора «Вечеров».

Вскоре наладились общие встречи и чтения при ближайшем участии Жуковского, весьма благоволившего к Гоголю. Пушкин внимательно всматривался в болезненного, застенчивого, невзрачного провинциала «с неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе (по свидетельству Сологуба) и быстро перебегавшими по его оригинальному остроносому лицу в то время, как серые маленькие глаза его добродушно улыбались и он встряхивал падавшими ему на лоб волосами».

Украинские повести пасичника Рудого Панька уже были сданы в набор. Вскоре (в августе 1831 г.) Пушкин писал о них: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился». Следует известный рассказ о том, как «наборщики помирали со смеху», набирая «Вечера».

Уединенная творческая жизнь Пушкина продолжалась недолго. При дворе сразу обратили внимание на пребывание в Царском Селе знаменитого поэта с красавицей-женой. Легендарная красота Натальи Гончаровой стала рано известна Николаю I. Ей было всего восемнадцать лет, когда Бенкендорф назидательно писал Пушкину по поводу извещения о его предстоящей женитьбе, что царь придает особое значение будущему счастью «такой милой и интересной женщины, как m-elle Гончарова».

Вскоре происходит официальное сближение. После нескольких встреч с «высочайшими особами» в парке, Наталья Николаевна, по свидетельству Ольги Сергеевны

Павлищевой, «была представлена императрице, которая от нее в восхищении». Это впечатление Александры Федоровны вполне разделялось и ее супругом.

Летом 1831 года происходит и новое привлечение Пушкина к государственной службе. В глазах Николая I «неслужащий дворянин» представлялся безобразным отклонением от общего правила. «Сочинительство» Пушкина не освобождало его, по мнению царя, от почетного долга всех представителей высшего слоя участвовать в правительственной деятельности. В духе этого принципа и, может быть, получив соответственное указание, Пушкин в июле 1831 года обращается к Бенкендорфу с официальным заявлением, что ему давно уже «тягостно бездействие». Предлагая заняться редактированием «Политического и литературного журнала», Пушкин заключает: «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках». Поэт выражает тут же свое «давнишнее желание написать историю Петра Великого».

Предложение о журнале было отклонено, но разрешение изучать государственные документы для написания истории Петра I было дано Пушкину вместе с зачислением его в министерство иностранных дел, при котором находился государственный архив. Таким образом, после семилетнего перерыва начальником Пушкина снова становится Нессельроде.

В середине лета наметился перелом в ходе польской войны. Назначенный на пост Дибича завоеватель Арзрума Паскевич довершает подготовленное его предшественником взятие Варшавы. Отступление польской армии вызывает в европейской прессе новый взрыв угроз по адресу России.

Беранже выпускает брошюру, посвященную президенту польского комитета Лафайету, с двумя политическими стихотворениями: «Понятовский» и «Скорее на помощь!» Казимир де-ла-Винь печатает «Варшавянку», в которой прославляет поляков, вспоминает Кремль, говорит о пространствах «От Альп до Табора, от Эбра до Понта Эвксинского». Некоторые из этих образов и формул находят полемический отзвук в стихотворном ответе Пушкина «Клеветникам России», написанном 2 августа 1831 года.

Здесь широко развернута мысль, выраженная незадолго перед тем в письме Пушкина к Вяземскому: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским». Текст знаменитого стихотворения свидетельствует, что оно направлено не против отважно сражавшихся поляков, а против политиков и публицистов Франции. Главный аргумент поэта — поражение Франции в 1812 году, «пылающая Москва», мертвецы великой армии «в снегах России».

На другой день Пушкин писал Вяземскому: «Кажется, дело польское кончается — я все еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело опасное».

Развязка действительно приближалась. 4 сентября внук знаменитого Суворова прибыл в Царское Село курьером от Паскевича с известием о падении Варшавы; оно произошло 26 августа, в день Бородинского сражения. Это означало конец войны. В стихотворении «Бородинская годовщина» Пушкин снова вспоминает старинный исторический спор:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?...

В своих откликах на польские события 1831 года Пушкин разделяет основную точку зрения Погодина и Жу-

ковского, занимавших консервативную позицию. Ей не сочувствовали другие представители русской мысли того времени, в частности такие друзья Пушкина, как Вяземский и Александр Тургенев. Но следует отметить, что и Пушкин в своей стихотворной публицистике 1831 года не выражает ненависти к польскому народу и даже особо отмечает в своих строфах, что падший в борьбе не услышит от него «песни обиды». Вспоминалось ли поэту замечательное обращение к нему Олизара («Не издевайся над побежденными судьбою, — Потому что потомство перечеркнет такие стихи...»), верное ли чувство историзма удержало в нужных границах, но так называемая «антипольская трилогия» Пушкина не носит следов его вражды к Польше, как нации. Первое стихотворение («Перед гробницею...») почетно свидетельствует о трудности борьбы с таким противником, как Польша; второе и третье обращены против парламентских деятелей французской буржуазной монархии («мутители палат...»). Непоколебленным остается и его дружеское преклонение перед гением Мицкевича, к которому он обратит в 1832 году строки, полные глубокого уважения. Ответ польского поэта до Пушкина уже не дошел: он прозвучал в замечательной некрологической статье Мицкевича, появившейся весной 1837 года и подписанной «Друг Пушкина». Так сбылось предсказание 1824 года из послания к Олизару:

Но огнь поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит.

В октябре Пушкины переехали в Петербург и поселились на Галерной улице. Начался новый период в жизни Пушкина, который, осложняя понемногу его взаимоотношения с окружающим миром, его планы спокойной жизненной обстановки и творческой работы, неуклонно вел к катастрофе. Но первые годы семейной жизни, не-

смотря на ряд забот и трудностей, не были лишены для Пушкина личных радостей и углубленного систематического труда.

IX

НА ПЕРЕПУТЬИ

Летом 1833 года Пушкин получил неожиданный и необычный подарок. Александр Тургенев прислал ему из Рима маленькую мраморную вазу, найденную при раскопках в Тускулуме. На письменном столе в доме на Гороховой, среди рукописей и книг, белела тысячелетняя реликвия исчезнувшей цивилизации, словно возрождая своими очертаниями формы и дух античного мира.

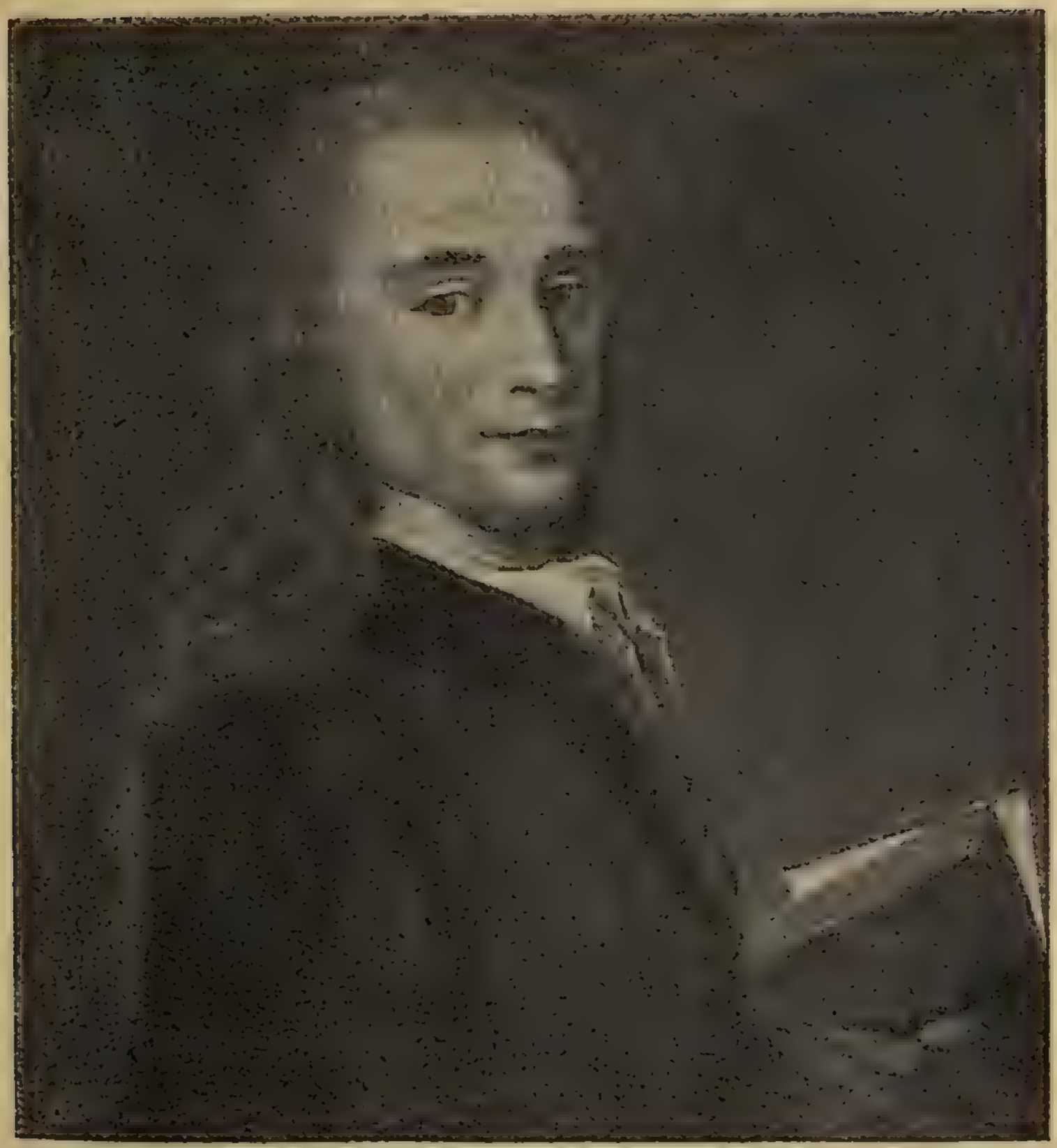
Она замечательно соответствовала последним творческим заданиям поэта. Еще в начале года он написал ряд «подражаний древним» — род вольных переводов из Ксенофана Колофонского, Иона Хиосского, Афенея:

> Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров
> Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил...

По свидетельству позднейших исследователей, эти опыты Пушкина более верны духу Греции, чем такие же стихотворения Гёте, и совершеннее их в метрическом отношении. До конца своей жизни Пушкин не перестанет обращаться к классическим преданиям и среди других работ отливать в совершенные гекзаметры и дистихи свои впечатления от искусства и жизни.

Но антологические произведения начала тридцатых годов сопутствовали другим темам и образам, уходящим всеми корнями в современность.

Первые годы семейной жизни Пушкина отмечены творческими исканиями и подготовительной работой к боль-



ВОЛЬТЕР (1694—1778).

Портрет маслом неизвестного художника около 1737 года.

«Все возвышенные умы следуют за Вольтером... Европа едет в Ферней на поклонение... Вольтер умирает, в восторге благословляя внука Франклина и приветствуя Новый Свет словами, доселе неслыханными». (1834)

шим и сложным замыслам, получающим свое воплощение лишь в конце 1833 года. Художественные задания и исторические разыскания тесно переплетаются с разрешением больших социальных проблем. В поэте все более ощущается исследователь, историк, публицист, ученый путешественник.

Роман об Онегине — о молодом человеке двадцатых годов — был закончен. «Спутник странный» уже не сопровождал поэта в его творческой жизни. От тяжелой николаевской современности Пушкин обращается к прошлому, к «векам старинной нашей славы», которую он так знал и ценил в ее государственных подвигах и героических фигурах. Его привлекают теперь Пугачев и Петр I; «Герой Полтавы», при всей сложности и двойственности своей личности, очевидной для Пушкина (он различал в Петре рядом с великим деятелем и «самовластного помещика»), все же носил в себе черты мощного «разрушителя» старых порядков, деятельность которого поэт определял, как «революцию», а личность сравнивал со Степаном Разиным, Робеспьером и Пугачевым. Подготовка к истории Петра, новая поэма о нем, монография и роман о пугачевском движении — вот что определяет характер творческих работ Пушкина в тридцатые годы.

И здесь его учителем остается Вольтер, один из первых историков Петра, корреспондент Екатерины в эпоху пугачевского восстания. Пушкин высоко ценил самый жанр вольтеровских исторических писаний, которым следовал в своей работе. «Вольтер первый пошел по новой дороге,— писал он еще в 1824 году, — и внес светильник философии в темные архивы истории». Одновременно Пушкина интересовала и сама методика исторических трудов знаменитого философа, и собранные им материалы по русскому прошлому, находившиеся, по счастью, в Петербурге. В феврале 1832 года Пушкин обращается к Бенкен-

дорфу с просьбой разрешить ему «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого». Разрешение было дано.

Просторными высокими залами, уставленными редкостными вазами и столами из разноцветных минералов, Пушкин проходил в нижнюю галлерею Эрмитажа, где полвека дремала библиотека Вольтера. У входа статуя философа, высеченная Гудоном, язвительной улыбкой встречала посетителя. Пушкин зарисовал знаменитую скульптуру в своей записной книжке.

Лаборатория вольтеровской мысли должна была увлечь поэта. «Рукописи, относящиеся к истории России петровской эпохи, путешествия, заметки о России, калейдоскоп имен, связанных с библиотекой самого Пушкина, с его собственными интересами: Альгаротти, Шекспир, Бэкон, аббат Шапп, история пап, история Камчатки, де-Бросс, Марциал, письма Шувалова, заметки Вольтера и Фридриха, письма Екатерины, фолианты монахов — и все это, освещенное именем бывшего хозяина этой библиотеки, статуя которого стояла здесь же и автографы которого глядели из многих книг», — таков был «этот запыленный пороховой склад вольномыслия XVIII века»[1], который раскрылся Пушкину весною 1832 года.

Несмотря на ряд критических замечаний Пушкина о философах XVIII века, Вольтер был ему близок до конца (в 1836 г. поэт пишет для «Современника» статью о творце «Кандида», в которой восхищается «его неподражаемым талантом»). Государственная служба, общение с Николаем I, Царское Село и правительственный Петербург — все это, видоизменяя житейский

---

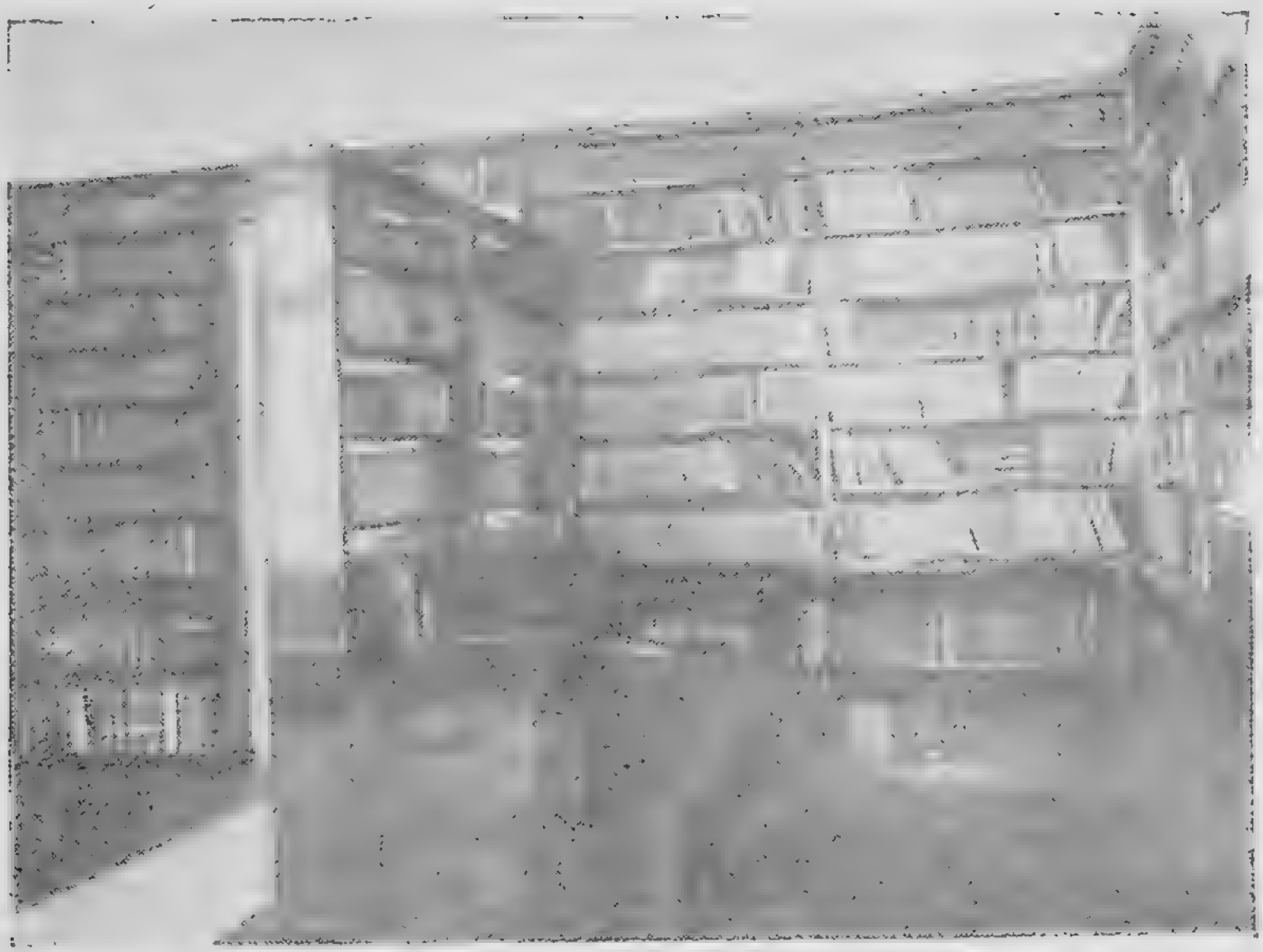
[1] Д. Якубович, Пушкин в библиотеке Вольтера. «Литературное наследство», XVI—XVIII, стр. 911—912, 1934.

быт и общественные отношения Пушкина, не колеблет глубоких основ его мировоззрения. Если в тридцатые годы пути пушкинской мысли пересекаются многими перепутьями, пред которыми сам он нередко останавливается в раздумьи, прямой выход к осуществлению его высших заданий и гениальных замыслов в конечном счете всегда безошибочно раскрывается ему. Неизбежные в практической жизни отступления от принятого им для своей деятельности принципа независимости и свободы носили случайный и временный характер, являясь подчас результатом сильнейшего давления и даже морального насилия, облеченного в безупречную форму «царской милости»; они могли даже в иных случаях представлять собою просто ошибки, свойственные и гениальному сознанию, и героическому характеру[1], — первоосновы его мировоззрения оставались незыблемыми. Пушкин и в последние годы своей жизни ощущает себя преемником европейских вольнодумцев, учеником великих скептиков Возрождения, последователем критической мысли энциклопедистов, прославляющим свободу «вслед Радищеву». Вот почему как раз в тридцатые годы он перечитывает «Опыты» Монтэня и «Мемуары» Дидро и учится ремеслу историка в библиотеке Вольтера.

Высоко расценивая раннюю французскую прозу, Пушкин называет в качестве лучших ее мастеров «скептика Монтэня и циника Рабле».

«Священные тексты» продолжают представлять для него чисто литературный интерес. В Италии в эпоху Возрождения впервые сложилось мнение, что значение «священного писания» чисто поэтическое. По мнению гуманиста Колуччьо Салутати, церковные тексты заклю-

[1] Так можно расценить попытку Пушкина издавать в начале тридцатых годов политическую газету или журнал (программа газеты «Дневник», планы преобразования «Сына отечества» и проч.),



Библиотека А. С. Пушкина.

чают в себе такие же безнравственные и преступные рассказы, как и творения светских авторов. Отцы церкви, читавшие язычников и постоянно цитировавшие их, прониклись их духом. Библейские и евангельские предания представляют собой поэтому подходящий материал для литературной пародии, которая, в свою очередь, может служить наилучшим оружием политической сатиры.

Пушкин правильно считал библию собранием поэтических легенд и сказаний еврейского народа, и этим фольклором он интересовался, как и всеми явлениями народной поэзии. О литературном характере таких интересов

Пушкина свидетельствуют постоянные его упоминания «священных» книг наряду с поэтическими именами и шедеврами: «библия и Шекспир», «библия и Вальтер Скотт», «Илиада и библия». Таков же его чисто литературный подход к четьи-минеям — «прелесть простоты и вымысла», словно речь идет о Декамероне или Кентерберийских рассказах. Интересует в первую очередь стиль старинного повествователя: «Я желал бы русскому языку оставить некоторую библейскую откровенность...»

Но подчас Пушкина занимает этический смысл текста. Так, в известном стихотворении «Отцы-пустынники» (1836) речь идет лишь о правилах практического поведения (осуждение праздности, призыв к уважению окружающих и пр.). Таков же смысл статьи «Об обязанностях человека» Сильвио Пеллико; в отзыве же о сочинении «великого историка» Украины архиепископа Георгия Конисского на первый план выдвигается «цель государственная». Пушкину, как это верно заметил Вяземский, «мистические теории были совершенно чужды и противны» [1].

Его привлекают исторические и социальные проблемы. В своей библиотеке он прилежно собирает крупнейших историков Франции. Здесь и мастер «художественно-прагматического» метода Барант, развертывающий прошлое в живописных картинах и драматических эпизодах; и ученый исследователь гражданского быта и «борьбы сословий» в процессе роста европейской цивилизации — Гизо, историк строгий и холодный, известный Пушкину и как биограф Шекспира, и как резкий политический памфлетист (граф Нулин возвращается в Россию «с ужасной книжкою Гизота»); здесь и автор «Истории цивилизации в Англии» Огюстен Тьерри, ко-

[1] По свидетельству Пушкина, «Подражания корану» были написаны им потому, что в этой книге «многие нравственные истины изложены сильным и поэтическим образом».

торый, по собственному свидетельству Пушкина в письме к жене (от 15 сентября 1834 года), сделал его «ужасным политиком». Это был сторонник эпической истории, возрождавший ушедшие века художественной трактовкой археологии и хартий. Исторические труды Тьерри представляли значительный интерес и по своему идейному направлению: он был родоначальником идеи классовой борьбы в научной истории Франции, отстаивал права угнетенных национальностей и видел моральную задачу историка в возбуждении сострадания к обездоленным и униженным. Долгое время он был личным секретарем и виднейшим сотрудником великого социального мыслителя Франции Сен-Симона.

В библиотеке Пушкина имелись основные труды по сен-симонизму: коллективное исследование «Доктрина Сен-Симона», в которой излагались перспективы социального будущего и освещалась выдающаяся роль поэта в создании новых общественных отношений. Другая книга из библиотеки Пушкина — «Сен-симоновская религия» была преимущественно посвящена роли художника и значению изящных искусств в жизни новых обществ. В экземпляре этой книги, сохранившейся в пушкинской библиотеке, ряд мест отчеркнут карандашом.

Такое разнообразие методов и направлений раскрывалось Пушкину в его историко-социальных чтениях. Аристократический либерализм Баранта, конституционный роялизм Гизо, широкая демократичность Тьерри, утопический социализм Сен-Симона — все это привлекает внимание поэта, не захватывая целиком его мысли и убеждений. Из современных французских историков в библиотеке Пушкина имелись также Тьер и Минье, которых он изучал в связи с планом работы о революции 1789 года, и Токвиль, сочинение которого «об американской демократии» Пушкин высоко ценил. Но все эти новейшие методы и жанры европейской историогра-

фии не в состоянии отвести его от особого «литературно-исторического» пути, намеченного им еще в годы молодости. Пушкин склонен был рассматривать историю, как сумму биографий, и своей задачей в этой области ставил монографическую разработку жизни отдельных крупных деятелей. Уже в кишиневские годы его привлекают «люди с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом», представляющие богатый материал для драматического изображения и увлекательного повествования. Его и позже неизменно занимают в истории

...тени великанов:
Завоеватель скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоаннов...

Только сильные личности с сюжетными биографиями привлекают внимание Пушкина-историка: Степан Разин («единственное поэтическое лицо русской истории»), Ермолов, Ганнибал, Петр, Пугачев. Биографическая хроника должна, по его мысли, развернуть в быстрой и точной композиции фактическую линию жизни героя, одновременно являясь введением к творческому воссозданию его личности в романе или поэме. По свидетельству современника, Пушкин как-то, «коснувшись Петра Великого, говорил, что, кроме деописания о нем, создаст и художественное в память его произведение». Так подходил он и к личности Пугачева, привлекавшего его еще в начале двадцатых годов. История оставалась лабораторией художника. Путь биографа вел к историческому роману.

Искания в разнообразных направлениях сказываются и в основном плане деятельности Пушкина — в художественной литературе. От Франции, чьи великие писатели были его первыми учителями, Пушкин все более склонен обратиться к Англии, высоко ценя Барри Кор-

нуоля и Вальтера Скотта. «Британия — есть мать поэтов величайших», говорил еще Карамзин, утверждая, что с арены поэзии должны уйти «священные тени Корнелей, Расинов, Вольтеров». В тридцатые годы Пушкин теоретически вполне разделяет это мнение, нередко отмечая глубокий упадок современной французской словесности, хотя на деле остается и теперь под ее обаянием. Стендаль, Мериме, Мюссе, Сент-Бев вызывают его похвалы и даже восхищение. Он, несомненно, интересуется Гюго и Бальзаком (хотя и с рядом оговорок). «Красное и черное» получает его высокую оценку задолго до признания этого романа европейской критикой. «Итальянские и испанские сказки Мюссе отличаются живостью необыкновенной, — пишет Пушкин в 1833 году. — Драматический очерк «Les marrons du feu» [«Жареные каштаны»] обещает Франции романтического трагика»[1]. Молодой Сент-Бев в своем стихотворном сборнике «Жизнь, стихи и мысли Жозефа Делорма» восхищает Пушкина «редкой искренностью вдохновения» и вызывает сравнение одной из его элегий с «лучшими произведениями Андрея Шенье». Наконец «острый и оригинальный писатель» Проспер Мериме раскрывает Пушкину основной источник для его «Песен западных славян».

В основном цикл этот представляет собою вольную передачу известных опытов Мериме, стремившегося воссоздать «местный колорит» придунайских народно-

---

[1] «Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил и faisait ses farces dans «Les contes espagnols» (выкидывал свои проделки в «Испанских сказках»), писал П. А. Вяземский 23 января 1836 года Александру Тургеневу. Приехав в Париж в 1838 году, Вяземский посетил «своего и Пушкинского любимого поэта: Альфреда Мюссе» (письмо Ал. Тургеневу, 3 сентября 1838 г.).

стей («Гузла, или антология иллирийских стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Кроатии и Герцеговине»). Но частично Пушкин пользовался песнями Вука Караджича и, вероятно, рассказами сербских воевод, посещавших в Кишиневе полковника Липранди. Возможно, что сыграли роль и воспоминания об одесских беседах с далматинцем Ризничем, издавшим в 1826 году «Сербиянку» Милутиновича. В этой поэме были разработаны некоторые эпизоды, послужившие и пушкинским песням, — убийство Кара-Георгием своего отца, прославление воеводы Милоша. Вообще темы героической борьбы за национальную независимость проходят основным мотивом через пушкинский цикл и придают ему подлинный исторический драматизм. Во всех песнях ощущается исконная близость поэта к языку, характеру, сказаниям, стиховому складу родственных балканских народностей, и это сообщает особую жизненность этнографической экзотике «Гузлы». Во всяком случае, романтические баллады Мериме зазвучали на русском языке в стихах Пушкина как подлинный эпос славянских народов.

Одной из этих песен — о Яныше-Королевиче — близка драма Пушкина «Русалка», не вполне свободная от автобиографических черт. Пусть Ольга Калашникова не превратилась в «наяду Сороти», разговоры князя с дочерью мельника и, может быть, его позднейшая тоска по ней, видимо, отражают подлинные черты отношений поэта к дочери крепостного бурмистра; расставшись с ней в момент, когда она готовилась стать матерью, Пушкин переписывался и, вероятно, встречался с ней значительно позже.

В своей разработке легенды о девушке-утопленнице Пушкин развернул тему старинной песни в подлинную народную трагедию. В немногих сценах мощно обрисованы главные характеры и раскрыт неумолимый ход их

жизненных судеб. Классическая сцена прощания князя с дочерью мельника — одна из самых сильных страниц Пушкина по глубине и проникновенности психологической драмы. Бред сумасшедшего старика — вероятно, высшее достижение Пушкина в изображении безумия. В «Русалке» народ заговорил о своих личных страданиях и интимных потрясениях с непередаваемой силой и лиризмом. Богатая народными мотивами и речениями, эта драма-сказка поражает хрустальной чистотой своего стихотворного диалога и мелодичностью своих песенных слов. Новые творческие планы и замыслы отвели Пушкина от завершения этого глубокого и яркого создания. Но сохранившийся фрагмент получил общенародное признание и вызвал к жизни в творчестве младшего современника поэта — композитора Даргомыжского — один из первых и лучших образцов русской национальной оперы.

Литературные труды Пушкина получают официальное признание. В начале 1833 года он был избран в члены Российской академии. Из тридцати голосов Пушкин получил двадцать девять. Отказался голосовать за него только один «академик» — митрополит петербургский и новгородский Серафим, возбудивший пять лет тому назад дело о «Гавриилиаде». Пушкин, по свидетельству Катенина, «сначала довольно усердно посещал собрания по субботам, но вскоре исключительные толки о Словаре ему наскучили». Сохранился ряд иронических отзывов Пушкина о деятельности Российской академии и ее президента Шишкова, чье имя давало еще Пушкину-лицеисту темы для его первых эпиграмм.

Но от всех официальных почестей Пушкин уходил теперь в тихую пристань своего семейного быта. Он понимал уже стремление зрелого возраста к «домашней тишине», ценил углубленность творческого труда в привычных рамках семейственности. 19 мая 1832 года у

Пушкиных родилась дочь Мария, 6 июля 1833 года—сын Александр. Наталья Николаевна еще с безразличием взирала на толпу своих великосветских поклонников, чувствуя к мужу прочную привязанность. Она стремилась, видимо, оберечь его от новых увлечений и не без ревности относилась даже к его прошлому. Свидетельством таких горестных укоров, вызывавших в Пушкине позднее сожаление о его бурной молодости, остается стихотворение 1831 года «Когда в объятия мои...» с его заключительными покаянными строфами:

Кляну коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

В эти годы архивной и библиотечной работы Пушкин продолжал в самой жизни черпать материалы для своих произведений. Укрепляется его дружба с П. В. Нащокиным — товарищем Льва Сергеевича по Благородному пансиону. Натура широкая и страстная, игрок и кутила, Нащокин вынес из своего громадного жизненного опыта немало ценных впечатлений. Он вращался в среде колоритных типов старой разгульной Москвы. В декабре 1831 года Пушкин, гостивший у Нащокина, сообщает жене, что в квартире его друга беспрерывно толпятся «игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы». Поклонник Бальзака, Нащокин и сам обладал даром увлекательного и живого рассказа. Восхищенный этими устными повестями, поэт настоятельно убеждал своего друга писать воспоминания. Характерно его сообщение жене из Москвы: «Слушаю Нащокина и читаю мемуары Дидро».

Один из увлекательных рассказов Нащокина привлек

АНРИ СЕН-СИМОН (1760 — 1825).

С портрета пастелью Гиар-Лабиль, написанного в эпоху Директории.

особенное внимание Пушкина. Со времен «Братьев разбойников» его занимала тема социального протеста в форме организованного нарушения государственных законов вольным сборищем людей под главенством отважного атамана. Принадлежность этого предводителя к просвещенной среде и к дворянскому классу заостряла ситуацию и придавала романтической теме о Ринальдо-Ринальдини глубину сложной общественной проблемы. В «Романе на Кавказских водах» Пушкин имел в виду разработать такой мотив, изобразив офицера Якубовича главой лесных наездников-грабителей. Подобный же случай рассказал ему и Нащокин.

Он знал одного мелкого белорусского дворянина, некоего Островского, которого богатый и влиятельный сосед лишил имения путем ловкой судебной волокиты. Обездоленный владелец стал во главе своих крестьян для мести государственным чиновникам и всем своим обидчикам. Поверенный Нащокина, чиновник опекунского совета, достал Пушкину документ аналогичного дела «о неправильном владении поручиком Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Крюкову». Этот материал уголовной хроники Пушкин решил разработать в романической форме. Вернувшись из Москвы, он приступает к работе над романом «Дубровский» и в три месяца заканчивает его (вернее, первые части романа, который в целом остался недописанным).

Вещь чрезвычайно удалась сюжетно. Избрав жанр приключенческого романа, Пушкин мастерски разрешил композиционную проблему. Все изложение строится на борьбе, то-есть на самом увлекательном принципе повествования. Судебная тяжба, чиновничий произвол, организация крепостных в отряд социальных мстителей, участие в этих событиях молодого гвардейца, ставшего атаманом своих людей и под видом француза-гувернера проникающего в дом обидчика, где он влюбляется в его

дочь и грабит его гостей, — все это полно движения, неожиданных и увлекательных конфликтов и беспрерывно держит в напряжении внимание читателя.

Но авантюрность фабулы нисколько не снижает обычной для Пушкина глубокой жизненности и яркой правды изображения. С портретной выразительностью выписаны разнообразные типы екатерининской России, словно выхваченные романистом из самой действительности. Всесильный генерал-аншеф Троекуров, с его связями при дворе и широкой жизнью, малообразованный, но отличавшийся «необыкновенной силой физических способностей», напоминает знаменитого Алексея Орлова, о котором сохранился ряд записей Пушкина. Орловы были счастливыми соперниками Пушкиных на государственном поприще (о чем имеется свидетельство в «Моей родословной»). Троекуровский быт отмечен чертами жизни видных псковских самодуров: Л. А. Львова, державшего в страхе и раболепии уездных чиновников, или Д. Н. Философова, имевшего большой гарем из крепостных девушек.

Другой вельможа, выведенный в романе, князь Верейский, напоминает рядом черт князя Юсупова, уже описанного Пушкиным в его стихотворном послании. Это богач, европеец, блестящий собеседник, обладатель замечательной галлереи картин, о которых он говорит с увлечением. Он живет в роскошном поместье, среди мраморных статуй и художественных памятников образцового парка.

Описание села Арбатова в «Дубровском» напоминает послание «К вельможе»:

К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались [1].

---

1 Воспоминание Пушкина о посещении юсуповского Архангельского ощущается и в описании замка Верейского: «...Потом они

По непосредственным наблюдениям описана группа губернских чиновников: заседатель Шабашкин, исправник, земские судьи. С такими подъячими Пушкин познакомился, когда входил во владение Кистеневкой (так называется и поместье Дубровских, где бесчинствуют приказные). Няня Владимира Дубровского названа Ориной Егоровной, а письмо ее к питомцу почти буквально воспроизводит послания к Пушкину Арины Родионовны. В процессе своего развития «Дубровский» из «разбойничьего» романа вырос в замечательную реалистическую картину крепостной России с ее самодурами, меценатами, канцеляристами и такими живыми народными образами, как Архип-кузнец.

Наконец, крупнейший социально-психологический интерес представляет главный герой романа Владимир Дубровский, «бедный дворянин», тяжело обиженный всесильным вельможей и государственной властью и восстающий с оружием в руках во главе своих крестьян против дворян, помещиков и чиновников. В какой-то степени он выражает протест самого Пушкина, который в кишиневской ссылке дерзко бросал в лицо крупным чиновникам и военным требования повесить всех дворян, уничтожить позорный деспотизм помещиков и дать свободу и права единственному почтенному классу — земледельцам. Образ дворянина, идущего в народ для борьбы с помещичьим государством, и был открытием того нового героя, который до конца будет занимать творческое внимание поэта. Гвардеец Владимир Дубровский, возглавляющий своих крестьян для борьбы с Троекуровыми и Ша-

---

занялись рассмотрением галлереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кирилловне их содержание, историю живописцев, указывал на достоинство и недостатки, он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением».

башкиными, приводит Пушкина к воссозданию еще более сложного исторического типа — к образу офицера-пугачевца.

X

ПО СЛЕДАМ ПУГАЧЕВА

Когда Пушкин заканчивал роман о мятежном дворянине Дубровском, до него дошли устные рассказы об офицере XVIII века Шванвиче, который перешел из команды полковника Чернышева на сторону Пугачева и служил ему «со всеусердием».

Такая историческая фигура чрезвычайно заостряла волновавшую в то время Пушкина тему о классовом отступничестве молодого барича в пользу подвластной ему крепостной массы. Гвардеец, участвующий в народной революции, выступал как совершенно новый романический герой. В правительственном сообщении 1775 года о наказании Пугачева и его сообщников имелась сентенция о подпоручике Шванвиче, которого предлагалось, «лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу», за то, что он, «будучи в толпе злодейской, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти».

31 января 1833 года Пушкин набрасывает план исторического романа из эпохи Пугачева с главным героем Шванвичем, сосланным за буйство в дальний гарнизон: «Степная крепость — подступает Пугачев — Шванвич предает ему крепость... делается сообщником Пугачева» и пр.

Через несколько дней, 7 февраля, Пушкин обращается к военному министру Чернышеву с просьбой предоставить ему следственное дело о Пугачеве. Обилие материалов и выдающийся интерес их заставляют Пушкина

отложить работу над романом для написания исторической монографии о Пугачеве, в которой могли бы быть использованы главнейшие документы о нем. «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся к временам Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю пугачевщины».

Драматические донесения увлекли поэта. В два-три месяца, весной 1833 года, он успевает изучить основные рукописные источники и набрасывает первую редакцию «Истории Пугачева». Но от архивов военного министерства его влечет к самой жизни — к живым свидетельствам современников, к непосредственному осмотру арены действия «пугачевщины», где он мог бы проверить «мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

Такие живые свидетели пугачевского восстания нашлись, прежде всего, в окружающей литературной среде. В архивных документах об обороне Яицкого городка неоднократно упоминалось имя капитана Андрея Крылова. Это был отец знаменитого баснописца, «самого народного нашего поэта», по отзыву Пушкина.

Крылов поделился с Пушкиным своими воспоминаниями о временах «пугачевщины». Он находился в то время с матерью в Оренбурге и запомнил обстрел города ядрами, голод, угрозы повешения, детские игры в бунт и казни. Сведения эти пригодились Пушкину и частично вошли в его «Историю».

Другой писатель — Дмитриев — был в молодости свидетелем казни Пугачева. Поэт рассчитывал на его сообщение и, действительно, получил от него несколько позже «яркую и живую страницу» о гибели Пугачева, которую и включил целиком в свое изложение.

Но необходимо было услышать на местах голос народа о памятных событиях, объездить Поволжье и При-

Л. Ф. КРУПЕННИКОВ.

С акварели Р. Ступина.

Казанский купец, попавший в молодости в плен к Пугачеву и сообщивший Пушкину свои воспоминания об этом эпизоде.

уралье, осмотреть города и крепости, конкретно и воочию изучить обстановку и условия великой социальной войны XVIII века.

17 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга и через имение Гончаровых Ярополец и Москву прибыл 2 сентября в Нижний Новгород — первое историческое место его маршрута и крайнюю грань разлива пугачевского восстания. Здесь пробыл он два дня и был любезно принят нижегородским губернатором Бутурлиным, решившим, что поэт разъезжает по губернии с правительственным поручением тайной ревизии. Так возник замысел веселой комедии о растерянной провинциальной администрации, который вскоре Гоголь ввел в мировой репертуар. На самом же деле Пушкин не только не выполнял в своей поездке обязанностей ревизора, но находился сам под секретным надзором.

В ночь с 5 на 6 сентября Пушкин приехал в Казань, где пробыл до восьмого. Он неожиданно застал здесь Боратынского, с которым провел день (перед его отъездом в деревню). Провожая автора «Эды», Пушкин познакомился с местным старожилом — доктором медицины Карлом Фуксом, нумизматом, этнографом и лучшим знатоком казанской истории и древностей. В своей «Истории Пугачева» Пушкин писал об этом враче и ученом: «Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных».

Именно доктор Фукс сообщил Пушкину случай, быть может, послуживший поэту ядром для сюжетной композиции большого исторического романа. В Казани привели к Пугачеву одного реформатского пастора: «Самозванец узнал его: некогда, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получал от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково и пожало-

вал в полковники. Пастор-полковник посажен был верхом на башкирскую лошадь и пр.

Этот исторический анекдот, изложенный Пушкиным в его «Истории» вероятно, и послужил созданию фабульной версии «Капитанской дочки» о помиловании Пугачевым офицера Гринева за пожалованный в свое время заячий тулуп.

Старая татарская столица, где Пугачев достиг своего крупнейшего успеха, представляла первостепенный интерес для ученого путешественника. Утром 7 сентября Пушкин съездил по Сибирскому тракту за десять верст от города к Троицкой мельнице, где стоял на берегу Казанки лагерь Пугачева; поэт объездил Арское поле, по которому пугачевцы со своей артиллерией двигались на главную батарею Казани, осмотрел кремль, где жители спасались от пожара. Особенный интерес представлял «Соколов кабак» в Суконной слободе, через которую пугачевцы прорвались в город.

«Пушкин здесь так близко, как никогда, подошел к рабочему классу, в то время немногочисленному, лишь нарождавшемуся в России и чрезвычайно далекому от обычных интересов поэта, знавшего главным образом крестьянские круги народа. Хотя мы располагаем сравнительно незначительными данными, все же можем сказать, что Пушкину в этом случае предстояло испытать меру своего сочувствия люду в его борьбе за свободу и что это испытание он выдержал с честью, достойною его проницательного ума и благородного сердца» [1].

---

1 Н. О. Лернер, Рассказы о Пушкине. Суконная слобода должна была привлечь внимание Пушкина и по позднейшему брожению в ней. С 1827 года казанские суконщики находились во власти арендатора Лобачевского, «завзятого тирана-крепостника. Окружив себя шпионами и такими же жестокими, как он сам, приказчиками и мастерами, он обратил фабрику в сущий ад. Рабочих не только донимали денежными штрафами, но истязали... Пушкин

Вернувшись из объезда города и окрестностей, Пушкин записывал в свои дорожные тетради первые наблюдения над историческими местами. Он работал здесь над седьмой главой своей истории — о Пугачеве в Казани (на черновом наброске этой главы имеется пометка: «Казань, 6 сент.»). Пушкин стремился писать свою хронику и по личным впечатлениям: события на Арском поле, в предместье города, в Суконной слободе и в казанской крепости изображаются со всей полнотой непосредственного наблюдения.

К вечеру доктор Фукс повез Пушкина к себе в «Забулачье», то-есть в часть города, расположенную за протоком Булаком, на границе русской и татарской Казани. В этом полуазиатском квартале Фукс поместил свою ценную библиотеку, собрание рукописей, коллекцию восточных монет с редчайшими золотоордынскими экземплярами, естественно-исторические раритеты и пр.

Это был не только научный кабинет, но и первый литературный салон Казани. Фукс был женат на писательнице Александре Андреевне Апехтиной, собиравшей у себя виднейших деятелей местной культуры. Разносторонний ученый направил интересы своей жены, писавшей стихи, водевили и сказки, к изучению истории и этнографии края. Все это представляло интерес для путешественника.

После чая доктор Фукс повез Пушкина к «патриарху казанского купечества» Леонтию Крупенникову, глубокому старику, попавшему юношей в плен к Пугачеву. Во время пожара города, когда часть жителей искала спасе-

---

посетил Казань в самое тяжелое время. Трудно допустить, что чуткий к социальным движениям поэт ничего не знал о печальном положении казанских рабочих, о непрекращающемся брожении в их среде». (Стр. 166, 170, 173.)

ния от огня на Арском поле, семнадцатилетний Крупенников был захвачен казаками.

«Недалеко от Царицына встретили мы Пугачева, ехавшего верхом в Казань с пятьюдесятью казаками, — вспоминал старик свое необычайное пленение. — Пугачев и его казаки были одеты в длинные синие кафтаны. Когда он с нами поравнялся, мы все упали на колени и кричали ура... Пока мы там стояли, привезли к нему пленных солдат, которые защищали накануне батареи на Арском поле. Он тотчас приказал им отрезать косы и оставил их в Царицыне, а барабанщиков взял с собою...»

Остаток вечера Пушкин провел у Фуксов. Как выяснилось, хозяйка дома приходилась родной племянницей автору «Громвала» Гавриле Каменеву.

«Пушкин, — вспоминала Фукс, — говоря о русских поэтах, очень хвалил родного моего дядю, Гаврилу Петровича Каменева: «Этот человек достоин был уважения; он первый в России осмелился отступить от классицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его памяти...» Он просил меня собрать все сведения о Каменеве и обещал написать его биографию».

В путешествии Пушкина исторические интересы все время переплетались с литературными. Симбирск, куда поэт приехал 12 сентября, не был узловым пунктом пугачевщины, но представлял интерес, как родина Карамзина. Пушкин зарисовал в своей дорожной записной книжке дом историка и окрестности.

18 сентября вечером он был у конечной цели своих странствий — в Оренбурге. Здесь у него нашлись знакомые: директор военного училища Артюхов, губернатор Перовский и состоявший при нем чиновником особых поручений военный врач и писатель Даль, издавший в Пе-

тербурге сборник сказок под псевдонимом «Казака Луганского». Главной целью Пушкина был осмотр казачьего села Берды, столицы Пугачева, где его еще могли помнить старики.

Даль повез Пушкина в историческую бердинскую станицу и показал сохранившиеся следы осады Оренбурга — Георгиевскую колокольню, на которую Пугачев поднимал пушку, остатки земляных работ между Орскими и Сакмарскими воротами, Зауральскую рощу, откуда пугачевцы пытались по льду ворваться в крепость. Он сообщил ему и о бердинских старухах, которые помнят «золотые палаты» Пугачева, то-есть обитую медною латунью избу.

Одну из таких древних казачек, «которая знала, видела и помнила Пугачева», разыскали в станице, и Пушкин провел с нею целое утро. Звали ее Бунтова, родом она была из Нижне-Озерной крепости.

На расспросы, помнит ли она Пугачева, отвечала [1]: «Да, батюшка, нечего греха таить, моя вина». — «Какая же это вина, старушка, что ты знала Пугачева?» — «Знала, батюшка, знала; как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода окладистая, ростом не больно высок и не мал... Как же! Хорошо знала и присягала ему вместе с другими. Бывало, он сидит, на колени положит платок, на платок руку; по сторонам сидят его енаралы: один держит серебряный топор, того и гляди, что срубит, другой — серебряный меч; супротив виселица; а около мы на коленах присягаем; присягнем да поочередно, перекрестившись, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу-то беспрестанно вздергивают».

Старуха рассказала Пушкину о расстреле Харловой и ее брата и спела ему несколько песен о Пугачеве, «как

---

[1] Последующая запись разговора сделана не Пушкиным, а другими посетителями Бердской слободы.

Общий вид Бердской слободы, в которой находился военный лагерь Емельяна Пугачева во время осады Оренбурга.

он воевал и как вешал». В одной из них имелся стих, обращенный, вероятно, к екатерининским генералам: «Не умела ты, ворона, ясна сокола поймать». Пушкин показал седой сказительнице портрет Натальи Николаевны.

«Вот она будет твои песни петь», сказал он старой казачке, подарив ей на прощанье червонец.

20 сентября Пушкин выехал в Уральск, где пробыл два дня, расспрашивая стариков и записывая сказания. В его оренбургской записной книжке сохранились тексты песен об уральских казаках, о капитане Сурине:

Из Гурьева городка
Протекла кровью река...

В своих заметках к «Истории Пугачева» Пушкин писал: «Уральские казаки (особливо старые люди) доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-тилетняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал. — Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович. Когда упомянул я о его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: не его воля была: наши пьяницы его мутили».

29 сентября Пушкин был в селе Языкове Симбирской губернии, где застал поэта Николая Михайловича и его братьев, читал им своего «Гусара» и рассказывал о комедии Гоголя «Чиновник» («Владимир 3-й степени»). Переночевав в Языкове, поэт выехал на другой день в Болдино, где на этот раз пробыл около шести недель.

Проведенное здесь время оказалось, как и в 1830 году, необычайно плодотворным. Вероятно, беседы в Оренбурге с замечательным сказочником «Казаком Луганским» снова обращают Пушкина к работе над сказочными сюжетами: в Болдине были написаны две сказки: «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне». В октябре 1833 года было написано одно из величайших созданий Пушкина «Медный всадник». В Болдине же Пушкин переработал в поэму «Анджело» шекспировскую драму «Мера за меру», снова развернув здесь близкую ему тему верховного помилования, быть может, связанную с его постоянной думой о смягчении участи сосланных декабристов. Не лишено интереса, что почти одновременно с Пушкиным, в 1834 году, молодой Рихард Вагнер работает над планом оперы на сюжет «Мера за

меру» Шекспира. В Болдине, вероятно, была написана и «Пиковая дама», вскоре появившаяся в печати.

Одной из главных работ Пушкина в нижегородской глуши была обработка собранных материалов по пугачевщине. Они были включены в черновую рукопись, которая и получила окончательную отделку. «История Пугачева» — первый ученый труд Пушкина и единственный, доведенный им до окончания. Исторический стиль Пушкина отмечен своеобразными чертами, характерными для всей его прозы. Его основное требование для прозаического жанра «мыслей и мыслей», при полном отказе от «украшений», отвело его от картинной или ораторской манеры Карамзина. Живописность минувшей эпохи он относит в поэмы, например, в «Полтаву», историческое же изложение строит прагматически — на фактах и документах. Образному и лирическому повествованию противопоставляется история, логически протокольная. В письме к И. И. Дмитриеву Пушкин отмечает, что в «Истории Пугачева» он «старался только об одном ясном изложении происшествий», что же касается до «анекдотов, черт местности и пр.», то автор намеренно «все это отбросил в примечания». Пушкин отчасти возвращается к исторической манере Вольтера (которого цитирует в «Истории Пугачева») — быстрому и четкому рассказу, избегающему всяких прикрас. Весь интерес повествования сосредоточен в композиции; тема берется монографическая, исследование пишется об отдельном лице, об одном герое («История Карла XII»). В основу изучения и воссоздания прошлого кладется биография, а литературное построение наиболее приближается к жанру классической трагедии: центральный герой ведет все повествование и целиком сосредоточивает на себе внимание читателя; события его жизни развертываются, как акты единой и цельной драмы. Быт, портреты, интимная жизнь, гипотезы — исключаются. Рассказать

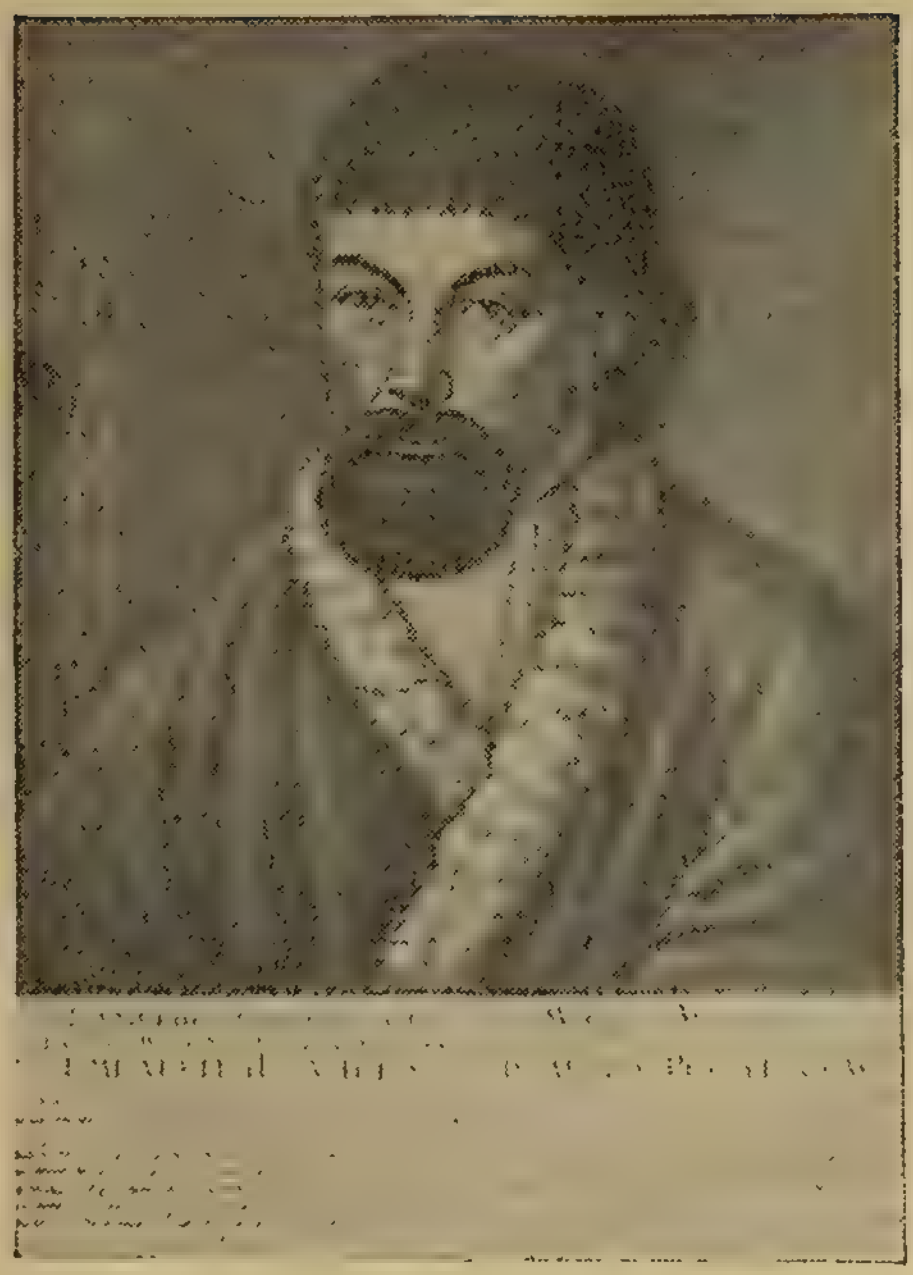
сложную и бурную судьбу с наибольшей простотой, сжатостью и стремительностью — таково задание историка.

Отсюда приближение у Пушкина рассказа о народном восстании к жанру точной военной истории XVIII века. Изображение пугачевского движения напоминает описание войны. Пушкин изучает в основном смену сражений, состав войск, характер осадных операций, «театр беспорядков».

К этому его отчасти обязывает вынужденный официальный подход к теме: верховным цензором и первым читателем поэта-историка оставался Николай I. При таких условиях первый биограф Пугачева проявил достаточную смелость и независимость, изобразив его мощным народно-историческим деятелем, выдающимся стратегом, «поколебавшим государство от Сибири до Москвы и от Кубани до муромских лесов». Это сильный народный боец, способный также героически оборонять родину от иноплеменного нашествия. В годину Отечественной войны он наносил бы с партизанскими отрядами сокрушительные удары французской армии. В послании к поэту-партизану Денису Давыдову Пушкин заявляет о Пугачеве:

В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Масштабы образа придают значение, силу и глубину всему его жизнеописанию. Необычайность выдающейся личной судьбы раскрывает во всей глубине драматизм политических конфликтов и государственной борьбы. История предводителя восставших казаков, крестьян, уральских горнорабочих, восточных племен Поволжья развертывается в народную трагедию, изложенную с бесстрастной точностью чертежа или отчета. Такова «История Пугачева». Бытовой колорит и психологический дра-



Титульный лист и фронтиспис «Истории Пугачевского бунта».

матизм эпохи получат свое воплощение в другом произведении — в историческом романе о взятии Белогорской крепости.

Неудивительно, что Николай I сделал на рукописи «История Пугачева» ряд критических заметок, прежде всего изменив заглавие (на том основании, что «преступник, как Пугачев, не имеет истории») и возражая против таких характеристик Пушкина, как «славный мятежник», «б е д н ы й колодник» и пр.

Наряду с Пугачевым Пушкина продолжал увлекать еще один исторический образ — Петр I. В Оренбурге он с увлечением говорил Далю о своем намерении изобразить «этого исполина». Поэт долго и мучительно разрешал для себя проблему этого сложного и противоречивого характера, поражавшего его своей новаторской мощью. Двойственность героя отмечена в записи Пушкина (1835): «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Эти резкие контрасты реформаторских замыслов с личными чертами «своевольства и варварства» Пушкин решил «внести в историю Петра, обдумав»; но в поэме, к которой вскоре обратили его изученные материалы (а отчасти и стихи Мицкевича о Петербурге и его основателе), необходимо было дать художественное обобщение героя и сохранить за ним монументальную целостность и монолитность. Вот почему, приступая в 1833 году к «Медному всаднику», Пушкин строит исторический образ не на раскрытии противоречий, а лишь на могучей творческой энергии петровского характера. В поэме о Петре «самовластный помещик» решительно преодолен

А. А. ФУКС (1805—1853).

С портрета маслом Персин.

П. В. НАЩОКИН (1800—1854).

С портрета акварелью К. П. Брюллова.

носителем государственной мудрости, творящим для будущего.

Понимание его личности связывается теперь у Пушкина с новой его концепцией великих политических переворотов. В отличие от его раннего преклонения перед образами одиноких самоотверженных и обреченных героев, как Занд, Лувель или Риэго, он считает теперь, что подлинный творец будущего это герой, выражающий «творящий дух истории», мощно поворачивающий колесо времени, отважно ведущий за собой труд и мысль своего поколения. Петр, поднявший Россию на дыбы, — спаситель России, хотя бы он и спасал ее «уздой железной». В этом его значение борца с темными силами и великого реформатора своей родины. Недаром в тридцатые годы Пушкин сближает имена Петра I, Разина и Пугачева, понимая их как разные типы русского революционного действия; Петр для него теперь «воплощенная революция». В западной истории его образу отчасти соответствуют, по мысли поэта, Робеспьер и Бонапарт. Не во всем сочувствуя этой революционности Петра, Пушкин преклоняется перед ее силой и действием. «Петр Великий один — целая всемирная история», пишет он в 1836 году Чаадаеву.

Эту основную идею «Медного всадника» верно отметил его первый критик — Белинский: «Эта поэма — апофеоза Петра Великого, самая смелая, какая могла только прийти в голову поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразователя».

Другой герой поэмы — Евгений, которому суждено вступить в борьбу с «мощным властелином судьбы», раскрывается автором как человек слабый и совершенно не подготовленный к трудному акту политического протеста. Он беден и лишен дарований, ему нехватает «ума и денег», то-есть основных двигателей окружающего общества. Все пути к успехам и широкой деятельности для

него закрыты: это не носитель новаторских идей, как Петр, не мыслитель, не строитель, не борец. Евгений показан вначале как маленький человек, для которого вопросы личного благополучия и семейного устройства важнее огромных жизненных заданий государства и великих целей национального роста. Петербургу Петра, грозящему Швеции и призывающему к себе все флаги мировой торговли, он противопоставляет только «свою Парашу». Созданный для сладостных мечтаний и домашней идиллии, он не понимает законов политической борьбы. Пути истории и великие задачи государственных строителей вне его кругозора.

Но пережитая Евгением катастрофа преображает его. Из глубины личного страдания возникает философское осознание мировых порядков:

...Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

Одновременно зарождается критическая мысль (об основании Петербурга) и растет смелый протест против «строителя чудотворного». Новое глубокое восприятие жизни приводит пассивного созерцателя к титанической схватке с «державцем полумира». Но первое же ответное движение медного исполина обращает его в бегство и бросает в безумие.

Так созревает общефилософская идея Пушкина. Теперь, в отличие от периода создания стихотворения «Кинжал», поэт осуждает все одиночные, не связанные с народом и значит безнадежные политические выступления. Книга Радищева, убийства Коцебу и герцога Беррийского, военные заговоры в Испании, Неаполе, Португалии, Петербурге, Варшаве — все это слагается в единое представление о «неравной борьбе», о мужестве отчаянном и безрассудном, обрекающем на гибель общее

Вид Сенатской площади в Петербурге.

С акварели Петерсона (1806)

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный... (1833)

великое дело. В своих письмах и записях 1826 года Пушкин говорит о «безумных» замыслах, о «несчастных» участниках восстания, о «ничтожности» их средств, о «необъятной силе» их противника. В 1830 году в статье о записках Самсона Пушкин говорит о «безумце Лувеле».

Такие определения уже подготовляют концепцию и терминологию «Медного всадника». Но, в отличие от реакционной Европы двадцатых годов, в центре пушкинской поэмы — великий герой государственного зодче-

ства. Трагизм раскрывающейся здесь борьбы в том, что против могучей передовой силы истории выступает обреченный на гибель одинокий бунтарь, убежденный в своей правоте и отстаивающий свое представление о справедливости и мудрости.

Такой образ привлекал внимание Пушкина; первоначально поэт даже предполагал связать судьбу Евгения с личностью его предков, которые в эпоху Петра мужественно выступали против «построения С.-Петербурга» и участвовали в стрелецком бунте. Как раз в эпоху написания «Медного всадника» составляются планы повести о московском восстании 1682 года, где выводится и «полковник стрелецкий», очевидно известный Циклер, казненный 4 марта 1697 года вместе с Федором Матвеевичем Пушкиным («С Петром мой пращур не поладил —
И был за то повешен им...»). В первоначальной редакции «Медного всадника» — в рукописи «Родословная моего героя» — судьба Езерских при Петре изображалась в тех же тонах:

Один из них был четвертован
За бунт стрелецкий.

Сбоку приписано: «За связь с Циклером».
В другом варианте:

Один из них был четвертован
За староверов и стрельцов.

Традицию этого предка и должен был продолжать герой поэмы. Новый враг Петра изображен в «Медном всаднике» обнищалым потомком исторических родов, блиставших некогда «под пером Карамзина», то-есть в средневековой Руси, но ныне совершенно забытых.

Но с ростом замысла тема реакционного сопротивле-

ния отступила перед более глубокой философско-политической проблемой, широко и обобщенно раскрывающей трагедию человека с его частным миром, безжалостно растоптанного неумолимым ходом истории, воплощенной в образе непреклонного и стремительного медного всадника.

Нет сомнения, что в этом осмысливании исторического пути Пушкиным глубоко была пережита и драма современного ему передового поколения, сраженного в безнадежной борьбе. От «буйного стрельца», хорошо знакомого поэту по родословным преданиям, он обращается к новейшим «пустынным сеятелям свободы», с которыми был так близко связан личными отношениями.

Из декабристов к образу Евгения наиболее близок Кюхельбекер, которого Пушкин высоко ценил за его мужество и бесконечно жалел за страдания, но о котором все же писал в 1826 году, что он «охмелел в чужом пиру». В лицейские годы Кюхельбекера считали безумным [1]; не лишено интереса, что в первоначальных набросках поэмы герой ее был «сочинителем». Его жест перед памятником Петра имеет аналогии с поведением Кюхельбекера на Сенатской площади 14 декабря, где он действовал в каком-то самозабвении, целился в великого князя Михаила Павловича, распоряжался невпопад людьми и «скрылся побегом», а на следствии проявил большую растерянность и замешательство. Евгений в «Медном всаднике» — менее всего исторический портрет, но черты живого современника могли отразиться на его типовом образе, как на ранних героях Пушкина отразились черты Чаадаева или братьев Раевских.

---

[1] В архиве лицея хранилось дело «Об умопомешательстве Кюхельбекера» (1817 г., № 462). В первом официальном сообщении о 14 декабря Кюхельбекер был назван «безумным злодеем, без вести пропавшим».

Как одиноких борцов эпохи своей молодости, Пушкин жалеет и своего Евгения; но в 1833 году он уже не усматривает в его жесте «урок царям». Как и в 1821 году, он глубоко сочувствует своему «мученику», но если в то время могила Карла Занда представлялась ему вечной угрозой «преступной силе», — теперь его раздавленный мятежник гибнет бесславно, без отзвука и ответа, не имея даже надгробья, похороненный «ради бога» на пустынном острове чужими и безвестными руками.

Ему противопоставлен образ героя, увековеченного в бронзе, победоносно осуществившего свой революционный замысел и воздвигнувшего на берегах европейского моря цитадель новой Российской государственности. Слабосильному мятежнику, кончившему безумием, противостоит в «Медном всаднике» государственный зодчий, полный «великих дум»; ветхому домишке, заброшенному наводнением на пустынный остров, — торжественный Петербург с его «дворцами и башнями»; угрозе Евгения: «Ужо тебе!..» — пролог поэмы «Красуйся, град Петров, и стой — Неколебимо, как Россия...»

Никогда еще Пушкин не выражал с такой неотразимой энергией свое преклонение перед Петром-преобразователем, выражающим поступательный ход исторического процесса.

Стих «петербургской повести» остался в русской поэзии непревзойденным по мощи своих ритмов и пластической энергии выражения. Даже бред помешанного принимает в этой поэме скульптурные очертания монументального ваяния:

И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

В «Медном всаднике» свою мысль о Петре Пушкин, как Фальконет, высекает резцом и отливает в бронзе.

20 ноября, после трехмесячного путешествия, поэт вернулся в Петербург с богатейшей творческой жатвой, снова собранной в осеннем Болдине.

XI

«В ЗЛАТОМ КРУГУ ВЕЛЬМОЖ»

В воскресенье, 25 марта 1834 года, Пушкин был приглашен на обед к члену государственного совета Сперанскому, в ведении которого находилась та типография, куда поступала для печати «История Пугачева». За столом говорили об александровской эпохе.

«Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага», сказал государственному деятелю поэт.

Поклонник французских идей, Сперанский ценил Пушкина и рад был его приветствию. Еще в момент появления «Руслана и Людмилы» ссыльный министр писал из Тобольска о юном поэте: «Он имеет замашку и крылья гения». Теперь знаменитый законовед мог обстоятельно обосновать свое восхищение талантом Пушкина, не только поэта, но и прозаика, ученого, биографа. «Пишите историю своего времени», закончил он свою лестную реплику поэту.

Это был один из заветных замыслов самого Пушкина: «Должно описывать современные происшествия, — говорил он в 1827 году Вульфу, — теперь уже можно писать и о царствовании Николая, и о 14 декабря».

С 1834 года Пушкин был поставлен в новые условия для наблюдения за текущей государственностью.

«Пожалованный» 31 декабря 1833 года в камер-юнкеры («что довольно неприлично моим летам», записал Пушкин в своем дневнике), поэт решил воспользоваться своим приближением ко двору для правдивых и острых зарисовок его представителей: «сделаюсь русским Данжо».

Так назывался один из «мемуаристов» Людовика XIV, изображавший в своих протокольных записях пустой и бездушный быт королевского двора. Возможно, что Пушкин, называя это имя, имел в виду и другого знаменитого мемуариста той же эпохи — гениального дворцового памфлетиста XVII века герцога де-Сен-Симона, впервые издавшего «Дневник маркиза Данжо». По крайней мере в записях Пушкина о Николае I и его дворе чувствуется не столько протокольный наблюдатель, сколько негодующий сатирик.

Сопровождая жену на балы в Аничков дворец, к Бобринским, Шуваловым, Уваровым, Салтыковым, Трубецким, Фикельмонам, Пушкин мог собрать богатейшие материалы для сатирических изображений современного Петербурга. Получив возможность постоянно наблюдать Николая I, он заносит в свой дневник и в свои письма ряд заметок, свидетельствующих о его действительном «возвращении в оппозицию» (как он открыто заявил Вульфу). Он осуждает царя за огромные суммы, цинически и бессмысленно расточаемые придворным фаворитам в годину народного голода; он критикует назначение на высшие посты людей с сомнительной репутацией, произвольные нарушения главой правительства общих порядков судопроизводства и правил приема в гвардию, его деспотические запреты русским проживать за границей, его бесцеремонное вмешательство в семейные дела своих подданных. Особенно возмущает Пушкина правительственная перлюстрация интимной семейной переписки: «Царь не стыдится... давать ход интриге, достойной Ви-

дока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным».

Пушкин клеймит царя и за его распущенность. Поэту ясны особые виды державного волокиты на его красавицу-жену. «Двору хотелось, что б N. N. танцовала в Аничкове», отмечает он в своем дневнике, применяя термин *двор* в качестве синонима *императора*. Сейчас же после назначения Пушкина камер-юнкером, в январе 1834 года, Николай I приступает к открытому ухаживанию за Натальей Николаевной. «На бале у Бобринских император танцовал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее», сообщает Надежда Осиповна Пушкина своей дочери 26 января 1834 года. Николай I начинает изображать из себя поклонника, кавалера и «рыцаря» Натальи Николаевны.

В письмах поэта к жене явственно звучит его ревнивая тревога («Не кокетничай с царем», «твои кокетственные отношения с соседом» и пр.). Если Александр I был заклеймен Пушкиным в эпиграммах, Николай I получил позорящее клеймо в дневниках и письмах поэта.

Таковы же впечатления Пушкина от одного из первых сподвижников Николая I — его вице-канцлера Нессельроде. Это был сухой и бездарный чиновник, приверженец Меттерниха в международных делах, получивший меткое прозвище «австрийского министра русских иностранных дел». Воинствующий легитимист, он подготовил в 1815 году реставрацию Бурбонов, отнесся враждебно к греческому восстанию, проявлял неизменную ненависть к «очагу революции» — Франции, неуклонно отстаивал теснейший союз России с реакционнейшей Австрией.

В течение почти всего двадцатилетия своей общественной жизни Пушкин был по службе связан с этим «карликом и трусом» (по определению Тютчева), бесталанным царским наемником по руководству внешней политикой,

угождавшим превыше всего реакционной Европе, презиравшим Россию, ненавидевшим всякое проявление независимой мысли. Именно ему приходилось делать доклады Александру I о Пушкине и весьма серьезно влиять своими заключениями на печальную судьбу опального поэта. Когда в начале 30-х годов Пушкин был допущен к работе в архивах, Нессельроде добился ограничения неблагонадежного сочинителя в пользовании государственными документами: по его представлению дела Петровской тайной канцелярии выдавались Пушкину лишь с особого разрешения министра внутренних дел. Вице-канцлер настороженно наблюдает за работой поэта-историка. Это был враг, тщательно законспирированный, далекий и недосягаемый, безукоризненный в непосредственных отношениях, крепко забронированный от недовольства своего подчиненного расположением государей, громким титулом, огромным состоянием, международной известностью и высшими знаками политических отличий. Это расстояние делало его почти неуязвимым для поэта и представляло влиятельному министру неограниченные возможности в скрытой борьбе правительственной партии с фрондирующим «сочинителем».

Но Пушкин прекрасно понимал характер Нессельроде и заклеймил его мимоходом в своем дневнике. Вице-канцлер славился своим непомерным корыстолюбием. Правительство в некоторых случаях играло на этой склонности своего «европейского» представителя. Так, по случаю своей коронации Николай I пожаловал в «вечное и потомственное владение» Нессельроде, «не в пример другим», обширное поместье в Тамбовской губернии, размером в четыре тысячи семьсот сорок две десятины, представляющее особенные выгоды. Заграничная печать отметила неуместность награждения крепостными «в двадцать шестой год XIX века, когда во всем мире перестали считать людей предметами дарения». Но Нессельроде был

далек от таких соображений и нес легко свою репутацию одного из богатейших русских «душевладельцев». Стяжательные инстинкты вице-канцлера заслужили соответствующую оценку Пушкина. 14 декабря 1833 года поэт записал в своем дневнике: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян, — эти четыреста тысяч останутся в их карманах... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубея будут балы — (что также есть способ льстить двору)».

Но особенную вражду питала к Пушкину жена вице-канцлера, одна из виднейших представительниц общеевропейской монархической партии и руководительница первого политического салона в николаевском Петербурге. По определению ее поклонника, французского роялиста Фаллу, это была женщина «упрямая и жестокая». Она представляла в Петербурге воинствующую контрреволюцию, свившую себе гнездо в Сен Жерменском предместье Парижа и в салоне Меттернихов в Вене. Живя во Франции в эпоху Реставрации, она вращается исключительно в среде «ультра-роялистов». «Все, что я здесь вижу и слышу, — пишет она своему мужу из Парижа, — внушает мне величайшее отвращение к слову «свобода», и, если бы я была русским императором, я не отказывалась бы от клички «деспот».

В последней фразе слышится активный политик, каким в действительности и была М. Д. Нессельроде. В европейском обществе она неофициально представляла русское министерство иностранных дел, возглавляемое ее сановным супругом. Политическая деятельность, всецело направленная на службу реакции, была ее призванием. Живя в Париже, она встречается в салонах с Талейраном, Шатобрианом и будущим Луи-Филиппом, но предпочитает знаменитым гостиным палату депутатов, где слушает Бенжамена Констана, Кювье, Гизо, Ройе-Коллара, чрезвычайно интересуясь проблемой парламентского

красноречия. Она, несомненно, отличалась умом и широким политическим опытом, обогащенным личным общением с крупнейшими государственными деятелями Запада. Пушкин не любил, чтоб его врагов считали дураками [1]; он боролся обычно с людьми сильными и умными.

Непримиримая вражда графини Нессельроде ко всякому «либерализму» определила характер ее взаимоотношений с первым историком Пугачева. Впротивовес всевозможным анекдотическим преданиям о причинах их взаимной ненависти следует считать, что Пушкин ненавидел вице-канцлершу, как представительницу «олигархического ареопага», как оплот всеевропейской реакции, как политического врага.

Одну из представительниц этой знати Пушкин изобразил в своей лучшей новелле. Это была самая знатная придворная дама — гофмейстерина Наталья Петровна Голицына, возглавлявшая в XVIII веке русскую феодальную аристократию. Этой «усатой княгине» было за девяносто, она помнила шесть царствований, дружила с Екатериной и представлялась Марии-Антуанетте. После французской революции она решила создать в Петербурге новый оплот европейскому дворянству. Она считалась родоначальницей и главой российского легитимизма. Царь являлся к ней в день ее именин на поклон. Ей представляли иностранных послов, как высочайшим особам.

Внук Голицыной рассказал Пушкину, как однажды после крупного проигрыша он пришел к своей бабке просить

---

1 О смертельном враге своей молодости — Федоре Толстом — Пушкин писал в 1821 г. Гречу: «там напечатано г л у п ц а-ф и л о с о ф а; зачем глупца? Стихи относятся к Американцу Толстому, который вовсе не глупец...»

денег. Скупая старуха отказала ему, но зато сообщила три верные карты, названные ей когда-то в Париже знаменитым авантюристом Сен-Жерменом. Голицын сыграл по указанию своей бабки и в тот же вечер отыгрался.

Пушкин сразу почувствовал в этом эпизоде ядро замечательного рассказа с увлекательными бытовыми контрастами дореволюционного Парижа и современного Петербурга, с заманчивой темой денег, азарта, проигрыша, с характерной фигурой старой графини в центре сюжета. В мартовской книжке «Библиотеки для чтения» 1834 года появилась «Пиковая дама» — одна из самых совершенных новелл мировой литературы. Кумир петербургской знати, княгиня Голицына изображена здесь деспотической и взбалмошной старухой, заедающей жизнь своей бедной воспитанницы. Проигравшегося князя Пушкин заменил в своей повести бедным инженером, всецело захваченным мыслью о выходе из нужды с помощью крупного выигрыша. Благополучный исход «голицынского» эпизода заменяется в повести трагическим срывом плана и безумием героя. Сжатость рассказа, острая четкость композиционной линии, смелость и новизна центрального героя при быстрой смене событий, ведущих к неминуемой катастрофе, — все это развертывает на нескольких страницах драму одаренного бедняка, требующего себе места под солнцем, и раскрывает новый образ бестрепетного завоевателя с решимостью и маской Бонапарта.

Повесть оценили в самых разнообразных кругах — в первый момент даже в игорных домах и великосветских гостиных. «Моя Пиковая дама в большой моде, — записал в своем дневнике Пушкин. — Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной [Голицыной] и, кажется, не сердятся...»

Но понемногу повесть завоевала признание в иных кругах и стала образцом для классиков европейской новел-

лы. Такие тонкие мастера жанра, как Проспер Мериме и Анри де-Ренье, учились искусству сжатого трагического рассказа по «Пиковой даме».

Но выполняя поставленное задание, «русский Данжо» постоянно испытывал на себе давление мелочного придворного этикета, за соблюдением которого сын Павла I следил всегда с чрезвычайной строгостью. Общественная организованность была неразрывно связана в его глазах с детальнейшей регламентацией быта. Отсюда исключительное значение, придаваемое им форме и внешней обрядности, приказ всем «кавалерам» являться ко двору «всегда в придворных мундирах». Пушкин, как известно, чрезвычайно не любил свой «полосатый кафтан» — камер-юнкерский мундир с золотым шитьем и «бранденбурами» на груди. Чуждый дворцовым правилам, он постоянно допускает ошибки, то являясь в полной форме на придворный раут, то упуская из виду, что в Аничков ездят не в треуголках с плюмажем, а в круглых шляпах, и пр. Отсюда ряд недоразумений, выговоров, «недовольств» царя, о которых Пушкин заносит записи в свой «Дневник».

Несоответствие всероссийской славы поэта с полученным камер-юнкерским званием, разительный контраст его «народного имени» с казенной театральщиной дворцовых ритуалов — все это, естественно, становилось предметом широких толков. В петербургских гостиных стали распространять сатирический рисунок: поэт подносит к устам и как бы целует ключ — атрибут придворного звания камергера. Смысл политической карикатуры ясен — вольнолюбивый поэт лелеет мечту о высших придворных почестях.

Об этом же твердили и словесные памфлеты, распространявшиеся в свете. «На сей случай вышел мерзкий пасквиль, — сообщал Н. М. Смирнов, — в котором гово-

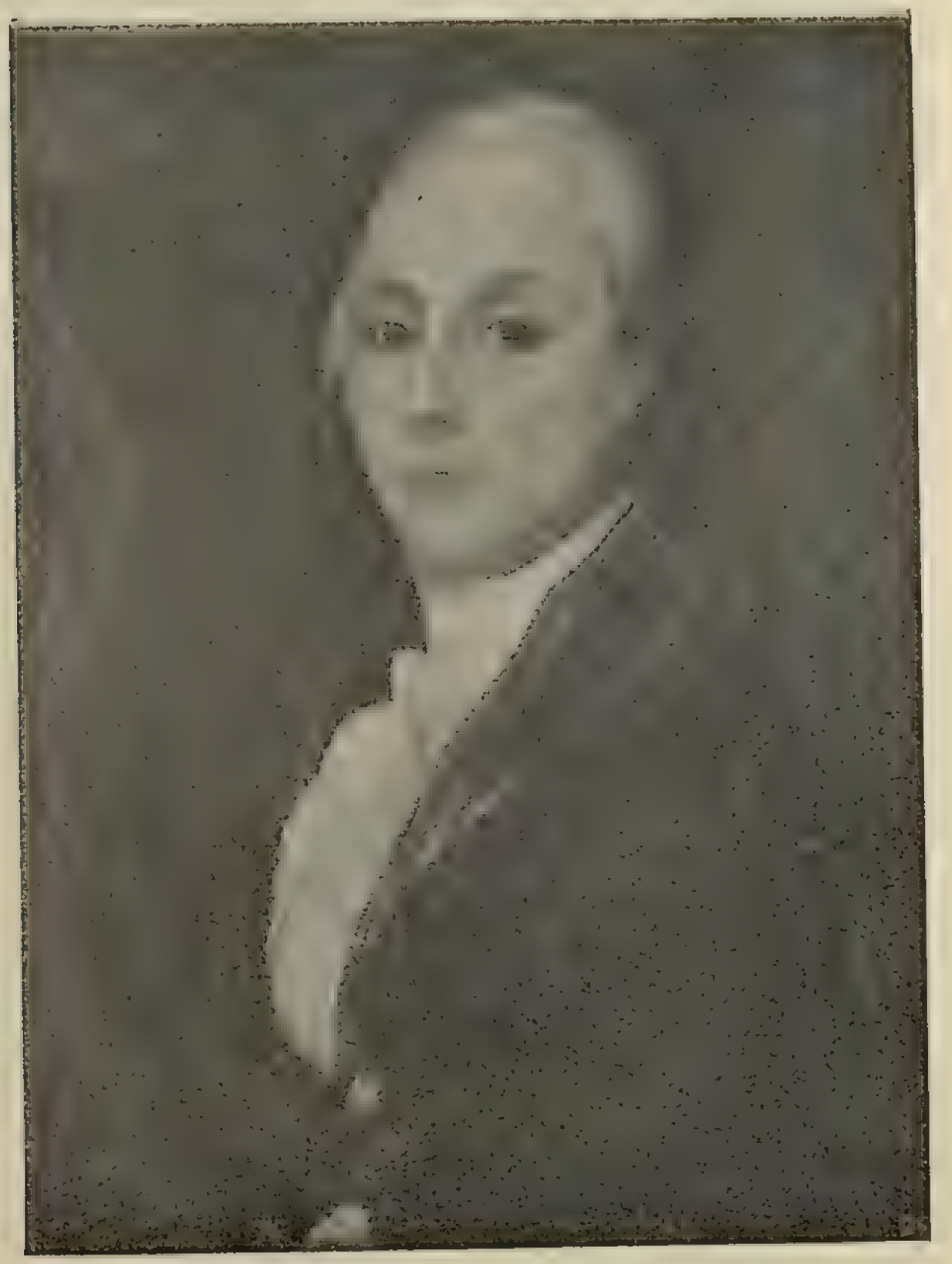
Лестница Аничкова дворца.
С картины маслом С. Зарянко (1854).

рили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности».

Все эти выпады совершенно не соответствовали подлинному умонастроению Пушкина. Готовивший в то время ряд больших трудов художественного и ученого значения, поэт мечтал совершенно отойти от двора, оставить «свинский Петербург», бежать в деревню, в уединение, в работу. Письма его этого периода полны тоски по деревенской жизни и отвращением к быту императорской столицы.

25 июня 1834 года поэт предпринимает решительный шаг. «Поскольку дела семейные требуют моего присутствия частью в Москве, частью во внутренних губерниях, — пишет он Бенкендорфу, — вижу себя вынужденным оставить службу...» Но сухой ответ Бенкендорфа, запрет царя посещать архивы в случае отставки и сокрушительная отповедь Жуковского заставляют Пушкина взять обратно свою отставку. Придворную цепь не удалось ни порвать, ни хотя бы удлинить.

Поэт вынужден попрежнему бывать в чуждом и враждебном ему кругу, где он так мучительно ощущал свое политическое и сословное одиночество. Историк Пугачева, политический сатирик, Пушкин под конец жизни все более ощущал себя представителем той формирующейся русской литературной интеллигенции, в среде которой его атрибут «шестисотлетнего дворянства» отступал перед личными свойствами его гениального дарования. Классовая отчужденность этих «бедных правнуков» от сиятельных и полновластных представителей столбовой и новой знати и обращает Пушкина при дворе к незаметному накоплению материалов для его будущей негодующей сатиры. Один из сильнейших памфлетов на представителей этой «международной аристократии» и



А. И. РАДИЩЕВ (1749—1802).

По копии с портрета маслом неизвестного художника XVIII века.

...Вслед Радищеву восславил я свободу. (1836)

Военная галлерея Зимнего дворца.
С картины маслом С. Алексеева (1833).

Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года. (1835)

политической реакции был написан Пушкиным уже накануне смерти. Он был направлен против голландского посланника Геккерна, слывшего одним из остроумнейших петербургских дипломатов и аморальнейшим из людей.

В своих записках Нессельроде, начинавший дипломатическую деятельность в Голландии, называет среди виднейших представителей нидерландской аристократии и род Геккернов. Они принадлежали к консервативной партии «оранжистов» — сторонников Оранской династии, относившихся с презрением и ненавистью к народной партии республиканцев.

Посланник был известен своими извращенными инстинктами и распутной жизнью, требовавшей постоянных трат. Недостаток в наследственных рентах и крупных окладах «больших» послов рано заставил фан-Геккерна обратиться к одной из традиционно-национальных добродетелей — к торговле. Сохранившиеся в архивах внешней политики документы красноречиво повествуют о широких деловых оборотах нидерландского посланника и о его выдающейся коммерческой сноровке, переходившей подчас в настоящую контрабанду.

С 1834 года Геккерн стал появляться в обществе с молодым красавцем — французом Жоржем д'Антесом, преданным сторонником Бурбонов. Он эмигрировал из Франции после Июльской революции и искал по свету фортуны. Его испытанный легитимизм обеспечил ему блестящую карьеру в Петербурге: «В 1834 г. император Николай собрал однажды офицеров кавалергардского полка, — сообщает один из очевидцев этой сцены, — и, подведя к ним за руку юношу, сказал: «Вот ваш товарищ. Примите его в свою семью, он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу». Это и был д'Антес...»

Такая рекомендация обеспечила безвестному французу выдающееся положение в придворном Петербурге, хотя

чрезвычайный способ его производства в офицеры вызвал некоторое возбуждение в войсках: «Барон д'Антес и маркиз де-Пина, два шуана, — будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет», отметил Пушкин в своем дневнике 26 января 1834 года. Очевидно, его симпатии не на стороне «шуанов», то-есть французской контрреволюции и всех ее петербургских представителей.

В конце 1834 года отношения Пушкина с одним из представителей этого круга резко обострились. Когда вышла в свет «История пугачевского бунта» (так Николай I переименовал пушкинскую «Историю Пугачева»), министр народного просвещения Уваров, автор знаменитой формулы о синтезе самодержавия, православия и крепостничества, поторопился объявить книгу Пушкина зажигательной и опасной.

«Уваров большой подлец, — отмечает Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 года. — Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении... Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках... — Он крал дрова и до сих пор на нем есть счеты — (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу...»

Свое мнение об Уварове, с такой четкостью занесенное в дневник, Пушкин вскоре отлил в убийственные строки стихотворного памфлета. Случай представился осенью 1835 года.

Жена министра Е. А. Уварова приходилась двоюродной сестрой Д. Н. Шереметеву, одному из богатейших людей в России. Единственный сын обер-камергера Н. П. Шереметева и знаменитой крепостной актрисы Параши Жемчуговой, он владел состоянием в сто пятьдесят тысяч душ и в несколько сот тысяч десятин земли.

С. С. УВАРОВ (1786—1855).
С гравюры по акварели Дица (1840).

В 1835 году «богач младой» заболел скарлатиной — болезнью, с которой тогдашняя медицина не умела бороться. Так как больной не имел детей, имущество его должно было распределяться по боковым линиям рода, в состав которого входила и Е. А. Уварова. Из огромного состояния Шереметева на долю его кузины пришлись бы миллионы. К подобным суммам министр был весьма неравнодушен. И вот, опасаясь незаконных действий со стороны других наследников, неразборчивый в средствах Уваров прибегает к официальным мерам охраны шереметевского имущества.

Но вопреки предсказаниям врачей, молодой организм осилил страшную болезнь. Шереметев выздоровел. Уваров, попавший в скандальное положение, стал сразу предметом самых язвительных толков. Пушкин решил заклеймить сатирическими стихами жалкое положение, в которое поставил себя видный член императорского правительства. В сентябрьской книжке «Московского наблюдателя» за 1835 год появилось за полной подписью Пушкина стихотворение «На выздоровление Лукулла».

Из шести строф этого «подражания латинскому» только две центральные относятся к Уварову. Но их совершенно достаточно мастеру лаконической эпиграммы, чтобы заклеймить беззастенчивого стяжателя.

«Общество в образе низкого скряги, — писал вскоре Пушкин, — в образе негодяя, который крадет казенные дрова, который представляет своей жене неверные счета, подхалима, который делается нянькой у детей знатных вельмож, узнало, говорят, высокопоставленное лицо, человека богатого, человека удостоенного важной должности. Тем хуже для общества».

Латинская ода оказалась по существу возвратом к тем политическим стихам, которые доставили Пушкину раннюю славу и долголетнее изгнание. Сатира на Уварова, как и эпиграмма на его нежного друга Дондукова-Корса-

кова, вице-президента Академии наук, непосредственно примыкала к его ранним стихотворным памфлетам на министров и царя. Снова один из виднейших представителей верховной власти подпал под сокрушительные удары пушкинской сатиры. Можно легко представить себе, какое впечатление клеймящие строфы Пушкина произвели на императора, шефа жандармов и особенно на самого министра народного просвещения.

Искуснейший интриган и лукавейший из царедворцев не мог, конечно, оставить подобную атаку без отражения и возмездия. Совершенно очевидно, что ему принадлежала закулисная инициатива строгих выговоров, полученных Пушкиным по высочайшему повелению от Бенкендорфа. Но этим, разумеется, не могла насытиться мстительность Уварова. Глухие свидетельства современников явственно указывают на его весьма активную роль и в последующем опорочении поэта перед лицом всего Петербурга.

Пушкин снова — и не в последний раз — мог сказать об окружающей его среде:

Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шопот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

Бичуя придворных, поэт не оставляет в стороне и сановников церкви; уже в феврале 1835 года он обвиняет митрополита Серафима в доносах и покровительстве «плутам и сплетникам»; он возмущается Шишковым, который «набил академию попами». До конца Пушкин сохраняет антицерковные настроения своей молодости; библейские же тексты попрежнему служат ему материалом для художественной переработки. В 1835 году Пушкин с великолепной энергией образов и стиха начинает разрабатывать сказание о Юдифи и Олоферне:

Когда владыка ассприйский
Народы казнию казнил...

Но историческая поэма о борьбе иудейского народа с «сатрапом горделивым» осталась недописанной.

Неудивительно, что во все время пребывания поэта при дворе мысль о «побеге» не оставляет его. Но ему удается лишь на краткие сроки покидать Петербург. Летом 1834 года он побывал на Полотняном заводе и в Болдине, где была написана «Сказка о золотом петушке». Эта маленькая волшебная поэма представляет собою подлинную русскую сказку, чудесную по своим узорам, расцветке и лукавому стиху. В сатирическое изображение нелепого царя, лживого и сластолюбивого труса, Пушкин внес многое из личных впечатлений от общения с петербургскими самодержцами.

Летом 1835 года поэт добивается четырехмесячного отпуска и уезжает в Михайловское. Здесь было написано знаменитое стихотворение «Вновь я посетил...», проникнутое бодрой приветливостью к юному поколению: «Здравствуй, племя — Младое, незнакомое!..» Здесь же Пушкин обработал свой давнишний замысел «Египетских ночей», уже породивший целый ряд художественных опытов. Октябрьский набросок 1824 года о вызове Клеопатры впоследствии перерабатывался. Около 1833 года поэт думал включить его в повесть из римской жизни с главным героем Петронием, утонченным философом и поэтом, насильственно прикрепленным Нероном ко двору, а затем приговоренным им к смерти. Как Овидий в молодости, так теперь Петроний, а отчасти и Гораций кажутся Пушкину родными и близкими «не славой — участью». Следует признать этот замысел самым удачным в ряду опытов Пушкина по сочетанию поэмы о Клеопатре с прозаическим обрамлением; избранный здесь латинский жанр, сочетающий прозу со стихами, лучше всего отвечал задаче автора.

В начале 1835 года поэт пробует переложить «египетский анекдот» на современные нравы, но только осенью, в михайловском уединении, Пушкин находит окончательную форму — повесть об итальянце-импровизаторе, произносящем с эстрады фрагмент о Клеопатре. Прозаический отрывок замечателен «автопортретом» Пушкина (поэт Чарский), размышлениями о поэзии в современном обществе и описанием импровизации, в котором могли отразиться воспоминания автора о вдохновенных выступлениях Мицкевича. Поэма о Клеопатре сочетает в окончательной редакции пластическую законченность и декоративность описаний с глубоким психологическим трагизмом.

Клянусь, о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу —

восклицает Клеопатра, пораженная своим преступным замыслом. Строки эти вызвали восторженный отзыв такого психолога трагических страстей, как Достоевский: «Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса...»

Но над такими «случаями совести» в замыслах Пушкина середины тридцатых годов заметно преобладают темы социального порядка, мотивы борьбы, политические драмы русского XVIII века, образы средневековья и Возрождения.

Его увлекает героиня исторических хроник и атеистических трактатов раннего Ренессанса — женщина на папском престоле. В плане трехактной драмы Пушкин намечает образ папессы Иоанны как новой женщины, одержимой страстью к науке. Она бежит из семьи ремесленника-отца в Англию учиться в университете. Она защищает диссертацию и становится доктором. В Риме, скрывая свой пол, она достигает кардинальского сана и возводится на папский престол. Но во время религиозной

процессии, между Колизеем и монастырем, она разрешается от бремени. Этот скандальный эпизод широко разрабатывался в антицерковных памфлетах эпохи Реформации и служил благодарным материалом для безбожников XIV столетия. Образ женщины-папы привлек внимание скептиков и атеистов эпохи Просвещения, а отсюда, вероятно, перешел и в замыслы Пушкина.

Еще сильнее бунтарский дух раннего гуманизма сказывается в неоконченной пьесе Пушкина, озаглавленной издателями «Сцены из рыцарских времен». Сын «старого суконщика», представитель молодого сословия горожан, смельчак и поэт, поднимает крестьян на феодальных рыцарей. Друг суконщика, представитель передовой научной мысли Бертольд Шварц, который «не видит границ творчеству человеческому», занимается своими изобретениями, призванными также сокрушить феодальный строй. Пьеса полна раздумий Пушкина о бессмысленности дворцовой жизни, об обреченности «рыцарского сословия», о могучих силах эпохи в лице поэта-миннезингера Франца и ученых — Бертольда Шварца и доктора Фауста. Снова звучит любимый лейтмотив Пушкина-затворника: «Вот наш домик... Зачем было мне оставлять его для гордого замка? Здесь я был хозяин, а там — слуга...» С глубоким сочувствием к бунтующим вассалам изображена картина крестьянского восстания и ужас сраженных феодалов: «Это бунт — подлый народ бьет рыцарей...» Поэта Франца спасает от виселицы его гениальная баллада о «рыцаре бедном». Согласно плану, пьеса заканчивалась полным поражением обитателей замков, разгромленных силами новой всепобеждающей мысли.

«Бертольд в тюрьме занимается алхимией — он изобретает порох. Восстание крестьян, возбужденное молодым поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь (воплощенная посредственность) убит пулею. Пьеса кон-

чается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

К этому неизменному и верному своему оружию обращается и Пушкин. Всем «воплощенным посредственностям» и «златым вельможам» российского двора он противопоставляет печатный станок. В начале 1836 года поэт становится редактором журнала; от пустоты и пошлости великосветского Петербурга он уходит в сосредоточенный труд над своим «Современником».

XII

«СОВРЕМЕННИК»

У Жуковского по субботам собирались литературные друзья. Здесь как-то Вяземский прочел вслух письмо к нему Александра Тургенева из Парижа о крупнейших культурных и политических событиях дня. Пушкин был в восхищении: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения» увлекли его. Таково же было впечатление других гостей: Крылова, Одоевского, Плетнева. По свидетельству Вяземского, все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток».

Некоторые образцы европейской журналистики давно уже привлекали внимание пушкинского кружка. В 1809 году Вальтер Скотт основал журнал «Quarterly Review» (то-есть обозрение, выходившее четырьмя книжками в год). Новый тип журнала имел необычайный успех благодаря участию в нем крупнейших литературных, научных и политических сил Англии.

Пушкин и его литературные друзья исходили в своих журнальных планах преимущественно из этого опыта. По мысли Вяземского, следовало ввести в русскую журналистику тип английского «трехмесячника» и французского «исторического ежегодника», то-есть компактных изданий с редкой периодичностью, дающих исчерпывающие обзоры культурной и политической жизни Европы.

31 декабря 1835 года Пушкин направляет Бенкендорфу заявление о своем намерении выпустить в 1836 году четыре тома литературных статей «наподобие английских трехмесячных Review».

Через две недели последовало разрешение литературного журнала без политического отдела. Пушкин приступил к подготовке своих сборников при ближайшем участии Гоголя, Вяземского, Одоевского, П. Б. Козловского, барона Е. Ф. Розена (поместившего в своем альманахе «Альциона» «Пир во время чумы» и недавно лишь закончившего либретто к «Сусанину» Глинки). К работе в журнале были привлечены Жуковский, Боратынский, Языков и другие. Зима 1836 года ушла на организацию первого тома издания.

Работа эта протекала в тревожных и трудных условиях. Враждебное поэту петербургское общество не переставало мелкими выпадами раздражать его самолюбие и вызывать на конфликты. Племянник Толстого-Американца, некий Хлюстин, позволяет себе в присутствии Пушкина повторять журнальные пересуды, якобы поэт «обманул публику», издав чей-то плохой перевод Виланда. Родственник Уварова, генерал-адъютант Репнин, высказывает оскорбительное для поэта мнение по поводу его блестящего памфлета «На выздоровление Лукулла» и позволяет себе прочесть поэту нотацию насчет недопу-

стимости пасквилей. Утомленность от этой глухой и безнадежной борьбы с обступившей его враждебной кликой сказывается на развивающейся мнительности поэта. Своему царскосельскому знакомому, графу Сологубу, Пушкин посылает вызов за неловкую реплику в разговоре с Натальей Николаевной. Дело кончилось извинением, которое Сологуб выразил в чрезвычайно лестной форме, назвав жену поэта «царицей общества».

Успехи Натальи Николаевны в свете приносили Пушкину все больше горечи. К этому времени поклонение влюбленного в нее д'Антеса принимает совершенно открытый характер и становится предметом оживленных светских толков и сплетен. 5 февраля 1836 года на балу у посланника Обеих Сицилий князя ди-Бутера гости обратили внимание на неумеренные ухаживания «модного кавалергарда» за женою поэта. «Уже год, — писал 30 января 1837 года посланник Геккерн своему министру, — как мой сын отличает в свете одну молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину». Наталья Николаевна не осталась безразличной к этому поклонению: «Мне с ним весело, он мне просто нравится», говорила она Вяземской. Все это глубоко ранит впечатлительного поэта.

Личные огорчения усугубляются ростом материальных трудностей.

Пушкин в своей житейской обстановке был настоящим стоиком; комната его была рабочей мастерской: никаких ненужных украшений, простой рабочий стол, скромные книжные полки. Но после женитьбы, поселившись в Петербурге, он оказался вынужденным поддерживать в своем быту принятую в высшем дворянском кругу «роскошь». Он снимал квартиру в десять комнат, с конюшней, каретным сараем, сеновалом, винным погребом. Семью обслуживал многолюдный штат прислуги не меньше чем в двадцать душ. Необходимо было постоянно

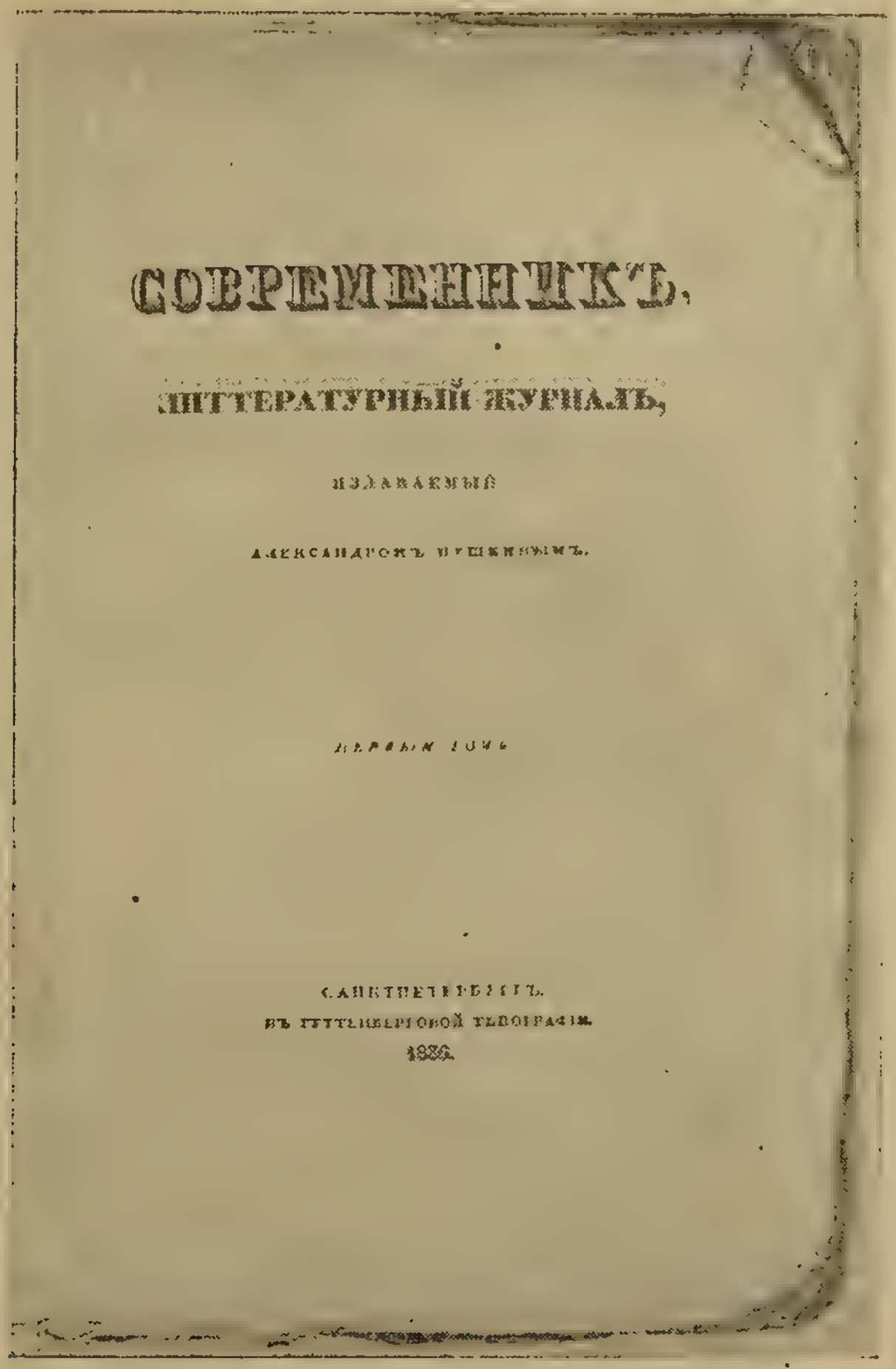
делать займы и искать средств. Характерно письмо Натальи Николаевны к министру двора Волконскому о медной Екатерине с Полотняных заводов: «Нельзя ли было бы выдать нам по крайней мере материальную стоимость статуи, т. е. цену бронзы, и остальное уплатить когда и как вам будет угодно?» Рассыпаясь в любезностях, министр ответил отказом, сославшись на «крайне стесненные средства императорского кабинета».

Несоответствие петербургского бюджета Пушкиных с фактической цифрой их доходов неуклонно вело семью к материальной катастрофе, что сказалось в 1836 году в небывалом наплыве бесчисленных счетов от мебельщиков, портных, каретных мастеров, книгопродавцев, из модных лавок, английского магазина и пр.

С начала 1836 года Пушкину приходится обращаться к ростовщикам: 1 февраля закладывается белая турецкая шаль Натальи Николаевны за 1 250 рублей, 13 марта — брегет и кофейник, что свидетельствует уже об остром дефиците. «Деньги! Деньги! нужно их до зареза», писал Пушкин 27 мая Нащокину. В таких тяжелых условиях создавался «Современник» и заканчивалась «Капитанская дочка».

Безотрадность всей окружающей обстановки подчас угнетает поэта. «Жизнь таит в себе горечь, от которой она становится отвратительной, — писал Пушкин в конце 1835 года Осиповой, — а общество это мерзкая куча грязи». И все же поэт не теряет своей основной жизнеустойчивости и готовности бороться. Но его душевное состояние делается все более печальным, все чаще возникает воспоминание об ушедшем друге Дельвиге — ощущение, выраженное еще в стихах 1831 года («И мнится, очередь за мной,— Зовет меня мой Дельвиг милый...»).

В конце марта Пушкин посещает мастерскую скульптора Орловского, бывшего крепостного, обратившего на себя внимание Оленина и ставшего учеником Торвальдсе-



СОВРЕМЕННИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ.

1836.

Титульный лист «Современника» 1836 года.

на. Поэт осматривает его собрание статуй и любуется мощными фигурами современных полководцев, вызывающих его сжатую и выразительную характеристику:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...

Но в этом собрании изваянных богов и героев его охватывает тоска по исчезнувшему другу:

... меж тем в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Печальный колорит этой зимы сгущался и от тяжелой болезни матери поэта. Надежда Осиповна умирала. «Раух и Спасский (известные петербургские врачи) не имеют никакой надежды», сообщает Пушкин в письме к Осиповой в октябре 1835 года. Долголетняя болезнь печени, упорный кашель, боли в груди и боку прочно привязывают ее к постели. Письма из Тифлиса любимого сына Льва, проигрывавшего по тридцать тысяч и не переставшего сообщать родителям о своей тяжелой нужде, вызывали у умирающей сильнейшие припадки. Всю зиму она медленно агонизировала в маленьком деревянном доме на углу Шестилавочной и Графского переулка, где поселились теперь старики Пушкины. Поэт постоянно бывал у них. Надежда Осиповна словно возмещала теперь своему первенцу недостаток нежности к нему в его детские годы. Когда 29 марта мать скончалась, Пушкин был, видимо, сильно огорчен этой потерей. Он уехал вслед за телом в Михайловское — родовую ганнибаловскую вотчину, где решено было похоронить умершую рядом с могилами ее родителей, Осипа Абрамовича и Марьи Алексеевны, — у самых стен Святогорского монастыря.

Место это нравилось Пушкину. Вокруг холмы Тригор-

ского, михайловские рощи, стены древних сооружений эпохи Грозного, плиты с именами Ганнибалов. Пушкин говорил вскоре Нащокину, что подыскал ему в деревне «могилку сухую, песчаную», где сам ляжет рядом с ним. Впечатление это отразится вскоре в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...» Общему виду убогого загородного погоста с мавзолеями купцов и чиновников здесь противопоставляется деревенское «кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое...»

От встреч с друзьями весной 1836 года в Михайловском, Пскове и Москве у поэта создается горестное впечатление, что молодость ушла безвозвратно, что вчерашние беспечные юноши превратились в людей зрелых, уже отягощенных пережитыми годами. 14 апреля он писал Языкову: «Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне — дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой...»

В Москве Пушкин встречается с Михаилом Орловым — арзамасским «Рейном», некогда вождем республиканцев и кандидатом в диктаторы, теперь тревожно ищущим путей к примирению с властью.

Александр Раевский женат и уже не кажется в московских гостиных таким неотразимым и властным «демоном», как на декоративном фоне Эльбруса и Черного моря. Выразитель вольнолюбивых надежд, Чаадаев, пройдя через годы болезней и мрачного затворничества, ищет спасения в католической философии. «Нащокин здесь одна моя отрада», пишет Пушкин из Москвы, ценя теперь непосредственную жизненную одаренность своего приятеля выше эрудиции и декламации всех теоретиков, «демонов» и ораторов.

Такое же впечатление самобытного таланта производит на него выдающийся актер, вышедший из крепост-

ных, — М. С. Щепкин. В тридцатые годы Пушкин не раз убеждал даровитых русских людей писать свои записки, оставлять потомству живые летописи об уходящем быте и ярких образах родного прошлого. От России официальной, неизменно внушавшей ему мысли о побеге, Пушкин с горячей любовью и подлинным творческим вниманием отличал страну ярких самородков. В Москве в 1836 году он собственноручно начинает записывать мемуары Щепкина; из этих начальных строк Пушкина выросла впоследствии живая и волнующая книга о жизненном и творческом пути великого русского актера.

Пушкин не засиживается в Москве, и 23 мая в полночь приезжает к себе на дачу на Каменный остров. «На пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда».

В отсутствие Пушкина 11 апреля 1836 года вышел первый выпуск «Современника». По блестящему качеству литературных материалов он стоял на исключительной высоте не только среди тогдашней периодики, но и всей русской журналистики. В этой книжке-сокровищнице находились: «Скупой рыцарь», «Пир Петра Первого», «Путешествие в Арзрум», «Покров, упитанный язвительною кровью» и критическая статья Пушкина о Георгии Конисском; три вещи Гоголя: «Коляска», «Утро делового человека» и статья его «О движеньи журнальной литературы».

В «Пире Петра Первого» Пушкин снова проявляет себя замечательным мастером исторической гравюры. Праздничная картина «Петербурга-городка» дает ощущение всей петровской эпохи. В ритме стиха, бодром и радостном, как бы звучит гул оркестров эскадры, флотских хоров и приветственных салютов. Это бьется самый пульс

времени, когда мощное строительство новой культуры сочеталось с военными триумфами:

И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром...

Великолепные описательные строфы невидимо ведут к большой политической теме — «милости» («Нет! он с подданным мирится...»). Смысл стихотворения, напоминавшего о судьбе декабристов, раскрывается из заметки Пушкина к его историческому труду: «Петр простил многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними свое примирение».

Особый актуальный интерес представляло «Путешествие в Арзрум». В 1834 году вышла в Париже книга В. Фонтанье — «Путешествия на Восток, предпринятые по приказу французского правительства с 1830 по 1833 гг.». Это был резкий памфлет, вернее — грозная обвинительная речь, против России, ее армии и полководцев.

Пушкин решил опровергнуть это разнузданное дискредитирование русского войска, в рядах которого он совершил поход в ставку сераскира, и одновременно ответить на развязное утверждение политиканствующего путешественника, якобы «один поэт, известный своим воображением», нашел в Арзрумском походе сюжет для сатиры. Пушкин с искренним возмущением отвел нападки Фонтанье на действия русской армии высоко хвалебною оценкою Арзрумского похода, а его личный выпад — решительным опровержением: «Может быть, смелый переход через Саганлу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму — все это, увенчанное полным успехом, может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фон-

тайье, автор путешествия на Восток): но я устыдился бы написать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание». Поэт до конца оставался на страже интересов и достоинства своей родины. В нападках Фонтанье Пушкин расслышал отзвуки антирусской кампании французских политиков 1831 года и в своем «Путешествии в Арзрум» дал новую отповедь «клеветникам России».

Одновременно Пушкин выдвигает новые силы — представителей тогда еще совершенно безвестных в России национальных литератур. В первой же книжке «Современника» был напечатан рассказ Султана Казы Гирея «Долина Ажитугай». «Вот явление, неожиданное в нашей литературе, — писал Пушкин, — сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей. Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно...».

О первой книжке «Современника» дал отзыв в майском номере московской «Молвы» молодой критик Белинский. Он признал новый журнал «явлением важным и любопытным» как по знаменитому имени его издателя, так и по оригинальности помещенных в нем статей. Но ряд материалов, в том числе и «Путешествие в Арзрум», вызывает отрицательный отзыв критика, который вообще отказывает новому журналу в «нравственном влиянии на публику».

Вторая книжка «Современника» вызвала более отрицательную и во многом верную рецензию Белинского (хотя его характеристика нового обозрения, как органа «светского», не отвечала направлению издания). Эти обстоятельные разборы, видимо, заинтересовали Пушкина, который и до этого знал Белинского по его страстным статьям, возбуждавшим такое негодование Погодина и Шевырева. Поэту были известны и отзывы критика

«Молвы» о его творчестве. Белинский неоднократно высказывался о его деятельности, в основном настаивая на своем «глубоком уважении к первому русскому поэту», но при этом подвергая его последние произведения довольно суровой критике. Уже в «Литературных мечтаниях» 1834 года говорится о целом «пушкинском периоде нашей словесности», который «был ознаменован движением жизни в высочайшей степени»; но этот замечательный период Белинский признает завершенным к концу двадцатых годов. Из художественной прозы Пушкина он отозвался хвалебно о «Выстреле» и двух опубликованных главах «Арапа Петра Великого»; «Историю Пугачева» он признал «примечательным явлением нашей ученой литературы». Из поздней лирики Пушкина Белинский с восхищением выделил лишь «Безумных лет угасшее веселье». «Пиковая Дама», «Станционный смотритель», «Сказка о золотом петушке», «Песни западных славян» не встречают сочувствия критика. Свойственное тогдашней журналистике воззрение на творчество Пушкина тридцатых годов, как на закат блестящего таланта, разделяется и Белинским [1]. Со свойственной ему широтою взгляда Пушкин стал выше личного авторского самолюбия и высоко оценил критическое дарование молодого сотрудника «Молвы». В Москве поэт собирался лично увидеться и переговорить с Белинским, видимо, намереваясь привлечь его к сотрудничеству в «Современнике». Пушкин ценил «независимость мнений и остроумие» Белинского, обличающие «талант, подающий большую надежду». Поэту хотелось только повысить общую куль-

[1] Напомним, однако, что Белинскому при жизни Пушкина оставались неизвестными «Медный всадник», «Русалка», «Дубровский», «Каменный гость», «Египетские ночи», «Летопись села Горюхина» и такие лирические создания Пушкина, как «Памятник», «Для берегов отчизны дальной», «Вновь я посетил», «Осень», «Рыцарь бедный» и ряд других.

туру даровитого журналиста, столь необходимую для разработки критического жанра; при этом условии «мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Все лето 1836 года Пушкин прожил на Каменном острове, в модном дачном месте на Черной речке. Поблизости, в Новой деревне, стояли лагерем кавалергарды. В помещении Минеральных вод устраивались балы, в каменноостровском театре шли французские спектакли. Наталья Николаевна и сестры Гончаровы были окружены привычным петербургским обществом. Д'Антес продолжал первенствовать в летних развлечениях и своей преданностью красавице Пушкиной занимать внимание праздных сплетников и настороженных врагов поэта.

Но, чуждый этой среде, редактор «Современника» готовил новые выпуски своего журнала. Вторая книжка со статьей Пушкина о российской и французской академиях, критикой Вяземского на «Ревизора», записками Дуровой и «Урожаем» Кольцова прошла через цензуру в июне. Готовился осенний выпуск со стихами Тютчева (между ними такие первоклассные произведения, как «Весенние воды», «Цицерон», «Фонтан», «Silentium», «О чем ты воешь, ветр ночной?»), с повестью Гоголя «Нос» и обширным вкладом самого Пушкина — рядом его статей, отрывков из «Рославлева», «Родословной моего героя», «Джоном Теннером».

Последняя статья представляла собою обзор записок цивилизованного американца, прожившего тридцать лет среди индейцев. Занимавшая некогда Пушкина романтическая тема о культурном герое в среде горных черкесов или кочующих цыган приобретала теперь черты политического реализма: конституция Соединенных Штатов, быт «нового народа», противоречия комфорта и наживы с идеями просвещения и демократии, «рабство нег-

ров среди образованности и свободы», «бесчеловечье Американского конгресса» к индейским племенам — эти острые вопросы новейшего социального строя сменяют теперь в писаниях Пушкина ранние байронические или шатобриановские мотивы о бегстве «мировых скорбников» от лжи цивилизации к чистоте первобытных нравов.

Один из друзей, посетив Пушкина в воскресенье, застал его за статьей «Джон Теннер». Поэт работал над ней уже целое утро и, встречая приятеля, сказал ему, потягиваясь, полушутливо и полугрустно: «Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста никогда».

В результате напряженного труда вырабатывался новый тип русского журнала. Поэт стремится придать своему «Современнику» характерные черты лучших европейских изданий, преимущественно английских. «Журнал Александра будет вроде английского «Quarterly Review», сообщала сестра поэта О. С. Павлищева. Пушкина, видимо, привлекало и другое издание — «Британское обозрение» («Revue Britannique»); оно имелось за 1830 год в его библиотеке. Журнал этот был посвящен новейшим культурным явлениям в Англии и Америке — «литературе, искусствам, художественным ремеслам, агрономии, географии, коммерции, политической экономии, финансам, юриспруденции и проч.». Особенное внимание уделялось жанру путешествий и роману; широко освещались вопросы представительного строя, организации фабричного труда, новых рынков, мореплавания, тщательно разрабатывался отдел литературной критики.

С первых же своих книжек «Современник» выдвигает мемуарный жанр, как живой отдел исторических источников, в частности воспоминания военных деятелей, записки «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой, дневник Дениса Давыдова в эпоху занятия Дрездена в 1813 году, «Прогулку за Балканом». Систематически разрабатывает-

ся отдел научных статей на актуальные темы: «Статистическое описание Нахичеванской провинции», «Государственная внешняя торговля 1835 г.», «О парижском математическом ежегоднике». Незадолго до смерти Пушкин предлагал П. Н. Козловскому написать серьезную статью по животрепещущему вопросу о паровых машинах. Автор вскоре сообщил в печати о своих редакционных переговорах с поэтом, стремившимся развить самостоятельную научную журналистику в России.

«Когда незабвенный издатель «Современника» убеждал меня быть сотрудником в этом журнале, я представил ему, без всякой лицемерной скромности, сколько сухие статьи мои долженствовали казаться неуместными в периодических листах, одной легкой литературе посвященных. Не так думал Пушкин: он говорил, что иногда случалось ему читать в некоторых из наших журналов полезные статьи о науках естественных, переведенные из иностранных журналов или книг; но что переводы в таком государстве, где люди образованные, которым «Современник» особенно посвящен, сами могут прибегать к оригиналам, всегда казались ему какой-то бедною заплатою, не заменяющей недостатка собственного упражнения в науках... Он считал необходимым поместить в «Современнике» статью о теории паровых машин».

Пушкин имел в виду и в дальнейшем развивать этот «культурный» отдел своего журнала, основанный на истории, критике, мемуарах, путешествиях; ввести сюда записки Казановы, описание Сибири аббата Шапп д'Отроша, в свое время возмутившее Екатерину; дать образцы народного творчества — русские песни, сказки, пословицы; напомнить незаслуженно забытых старинных авторов.

В «Современнике» получает свое окончательное развитие деятельность Пушкина-критика, начатая еще в середине двадцатых годов случайными заметками и приняв-

шая систематический характер в «Литературной газете». В плане критики Пушкин испробовал самые разнообразные жанры — от литературного портрета (Боратынский, Дельвиг), фельетона и рецензии до литературного письма, диалога, драматической сцены («Альманашник»). Эти тонко разработанные формы свидетельствуют, что и в критике Пушкин выступал как мастер-художник. Несмотря на необходимость непрерывно бороться с журнальными противниками и полемически обороняться от нападок, Пушкин, как и лучшие классики европейской критики, признавал подлинной задачей этого жанра — раскрытие творческих ценностей, сочувственную характеристику дарований. «Где нет любви к искусству, там нет и критики, — пишет Пушкин, цитируя Винкельмана, — хотите ли быть знакомым с художеством? — старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях».

Пушкин охотно принимает у себя на даче видного парижского журналиста Леве-Веймара. Остроумный политический обозреватель и театральный критик, знаток англо-саксонских народных баллад, переводчик Гофмана и Гейне, он прославился портретами крупнейших современных деятелей — Бенжамена Констана, Тьера, Гизо. Вскоре он зарисовал в живом очерке и русского поэта, каким он наблюдал его летом 1836 года, когда Пушкин переводил для гостя-иностранца русские народные песни.

«Его беседа на исторические темы доставляла наслаждение слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта», отмечает Леве-Веймар. Но и современность не переставала привлекать Пушкина: «Какою грустью проникался его взор, когда он говорил о Лондоне и в особенности о Париже. С каким жаром он мечтал об удовольствии посещать знаменитых людей, великих ораторов и великих писателей. Это была его мечта». От наблюдательного иностранца не ускользнула и основная драма Пушкина-писателя, обреченного на пре-

бывание в равнодушном обществе с отсталой и косной журналистикой: «Я более непопулярен», говорил он часто. Обаяние молодой славы миновало, приходилось все глубже уходить в свое творческое одиночество.

В таком состоянии происходит некоторый пересмотр идейных и поэтических ценностей. Еще весною 1836 года был написан для «Современника» специальный очерк о Радищеве, представляющий исключительный интерес по новому выражению той внутренней борьбы, которая не раз сказывалась в писаниях Пушкина тридцатых годов. Это был, несомненно, период его мучительных исканий. Сложившаяся обстановка нового царствования настоятельно требовала пересмотра ряда политических положений 1817 или 1821 года. Убежденный в том, что только «глупец один не изменяется», Пушкин стремится уловить развитие исторической мысли и опыты новой эпохи, чтобы на реальной почве строить свои государственные воззрения, неизменно сохраняя при этом верность основным устремлениям своей «декабристской» молодости. Но возникшая еще на юге мысль о бесполезности «неравной борьбы» укрепляется теперь непреложной силою новых политических фактов. В двух статьях о Радищеве (1833—1835 и 1836 гг.) Пушкин высказывается за изменение общественного состояния лишь «от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических». Ранний вольтерьянец склонен теперь расценивать критически «холодный скептицизм французской философии». Но, как и в ряде других страниц этой поры, его основное прогрессивное миросозерцание выдерживает до конца испытание от столкновения с обратными течениями «жестокого века». Сколько бы поэт ни осуждал Радищева за химеричность его революционных выступлений, он преклоняется перед ним, как перед благородной личностью и замечательным поэтом: возражая против ряда положений автора «Путешествия», Пушкин открыто высказывает

свое подлинное уважение к этому мужественному писателю «с духом необыкновенным». Замечательно, что единственное имя, которое Пушкин высекает на цоколе своего символического памятника, — это имя Радищева.

Автор «Путешествия» представлялся ему выдающимся поэтом-новатором. Немногие писатели XVIII века вызвали у Пушкина такой хвалебный отзыв: «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение. Его изучения Телемахиды замечательны. Он первый писал у нас древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. Прочтите его: Осьмнадцатое столетье, Сафические строфы, басню или вернее элегию Журавли[1], все это имеет достоинство. [В оде - на вольность] много сильных стихов».

Статьи Пушкина об этом крупнейшем русском представителе «века просвещения» свидетельствуют о том, что политические искания поэта в тридцатые годы еще не нашли своего завершения. Пушкин относится критически к наследию Радищева, но не отходит и не отрекается от него. Одним из наиболее ярких проявлений этого сложного противоборства идей, впервые сказавшегося в «Записке о народном воспитании» 1826 года, и была одна из последних статей Пушкина о смелом «враге рабства», которого он неизменно признает писателем «с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью».

Этого было, конечно, достаточно для того, чтобы Уваров запретил статью. Отношения «Современника» с цензурным ведомством складывались вообще тяжело; мате-

---

1 Элегия эта, как известно, отразилась на эпилоге «Цыган», где образ раненого журавля навеян соответственным описанием у Радищева:

Ногу стрелой перешиб ему ловчий,
Радостный крик журавлей он не множит...

риалы журнала задерживались, урезывались, запрещались, прохождение статей по различным цензурным инстанциям тормозило выход книжек; длилась изнурительная и бесплодная борьба с правительственными органами.

В четвертой книжке «Современника» было напечатано стихотворение «Полководец» (написанное в апреле 1835 г.). Оно вдохновлено замечательным портретом Барклая-де-Толли кисти Доу из «военной галлереи» Зимнего дворца, а отчасти навеяно небольшой статьей, в которой впервые раскрывался трагизм судьбы этого замечательного военачальника.

В очередном томе словаря Плюшара была дана хвалебная оценка Барклая, сочетавшего «с глубокими познаниями военного искусства храбрость и необыкновенное хладнокровие в делах с неприятелем». «Но несправедливость современников часто бывает уделом людей великих: не многие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай-де-Толли. В тяжком 1812 году, когда он, следуя искусно соображенному плану, отступал без потери перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им верную гибель, многие, весьма многие, не понимая цели его действий, обвиняли его в бедствиях отечества. Только внутреннее убеждение в правоте своих поступков поддерживало тогда Барклая-де-Толли»[1]. Размышления Пушкина о трагической роли героя в отсталом мелочном обществе в сочетании с новыми сведениями о замечательном военном деятеле, оклеветанном современниками, выросли под пером поэта в исторический портрет исключительной выразительности и драматизма:

-И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;

---

[1] Словарь Плюшара, IV, стр. 359. К этому тому приложен список подписчиков на словарь, среди которых на странице 31 списка значится: «Его высокобл. А. С. Пушкин».

И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти.
Вотще!

1836 год, столь продуктивный в литературной деятельности Пушкина,— год «Капитанской дочки» и «Современника» — дал ряд высоких достижений и в области лирики. Новый тон слышится теперь в стихах Пушкина: признания и жалобу сменяет раздумье. Над элегиком господствует поэт-мыслитель. Характерна запись в одном из его прозаических отрывков тридцатых годов: «Он любил игру мыслей, как и гармонию слов, охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла». Поздняя пушкинская лирика замечательно соответствует этой характеристике. 5 июля написано «Из Пиндемонте», где «буржуазной демократии», с ее парламентскими прениями о государственном бюджете и видимостью «свободы печати» под угрозой всевозможных штрафов и заточений, противопоставляются «иные права», «иная свобода»: великий принцип независимости поэта от палат и придворных «ливрей» во имя его вольных скитаний, творческого созерцания природы и жизни для искусства. Тогда же написана «Мирская власть» с горячим протестом против «грозных часовых», стоящих «с ружьем и в кивере» перед распятием для охраны его от черни:

И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ.

Здесь резко выражены социальные запросы поэта в последний год жизни, когда мысль его все решительнее

обращается к народу, его жизни, его судьбе, его запросам и будущему. Как и в молодости, Пушкин перед концом своего поприща придает огромное значение сатирической силе поэзии. Он сочувственно приветствует французского писателя, который в одной своей речи «представляет песню во всегдашнем борении с господствующею силою: он припоминает, как она воевала во времена Лиги и фронды, как осаждала палаты кардиналов Ришелье и Мазарини, как дерзала порицать важного Людовика XIV, как осмеивала его престарелую любовницу, бесталанных министров, несчастных генералов» и пр. Под знаком социальной идеи написан 21 августа 1836 года и знаменитый «Памятник».

Если трудно установить с окончательной точностью истоки философской лирики, то остается несомненным, что этот завет Пушкина является в ряде его дум о призвании поэта провозглашением общественной миссии художника в согласии с новейшим направлением европейской поэтики, увлекшим Гейне, Беранже, Гюго, Мицкевича. Движение, захватившее европейскую мысль тридцатых годов, не могло пройти мимо Пушкина.

Отзвуки новой социальной эстетики слышатся и в его стихотворении о своем творческом призвании. Памятник поэта не одинок, не пустынен, не удален от больших дорог человеческой жизни: «К нему не зарастет народная тропа». Поэт дорог разноплеменным массам, близок толпам, «любезен народу», не отдельным гениям, не одиноким мечтателям, не избранникам духа, нет — степным кочевникам, бедным северным племенам, темным, убогим, отверженным, загнанным историей и цивилизацией, отброшенным в темноту, в нужду и безвестность. К этим иноязычным народностям, в бескрайние восточные степи, с их кибитками и шатрами, или к бесплодным северным скалам несет он слова, напоминающие среди борьбы, гнета и тьмы настоящего о великой цели буду-

щего, действенно облегчающие судьбы поверженных и гонимых, призывающие «милость к падшим».

Трудно переоценить или преувеличить этот глубоко социальный характер пушкинского завещания — именно им определяется смысл всего бессмертного стихотворения. И недаром в первом наброске этого поэтического исповедания Пушкин назвал писателя, который всегда был для него выразителем освободительного и революционного устремления русской мысли:

...Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

В начале октября Пушкин переехал с каменноостровской дачи в Петербург на новую квартиру, в большой дом Волконского на Мойке, у Певческого моста. Кабинет Пушкина выходил в просторный двор, замыкавшийся старинной постройкой эпохи Анны Иоанновны—«конюшнями Бирона». Здесь Пушкин написал ряд статей и заметок для «Современника», послесловие к «Капитанской дочке», последнюю лицейскую годовщину. Отсюда Пушкин написал Чаадаеву свое ответное «философическое письмо», в котором отметил глубокое различие их исторических воззрений на Россию. Пессимистической концепции Чаадаева противопоставляются Пушкиным сильные личности русского исторического прошлого: Олег и Святослав, «оба Ивана» и особенно «Петр Великий», который один — «целая всемирная история». Но Пушкин соглашается с другом своей молодости в том, что общественная жизнь в николаевской империи безотрадна и беспросветна: «Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циническое презрение к мысли, к человеческому достоинству поистине приводят в отчаяние».

В день написания этого письма, 19 октября 1836 го-

дд, в половине пятого у лицеиста Яковлева праздновали двадцатипятилетие лицея. Собралось одиннадцать человек, в том числе поэт Илличевский, Модест Корф и К. Данзас, к которому через три месяца Пушкин обратится за трудной дружеской услугой. За обедом провозглашали заздравные тосты, читали письма изгнанника Кюхельбекера, пели лицейские песни. Пушкин, согласно протоколу собрания, начал читать стихи на двадцатипятилетие лицея, но всех стихов не припомнил. Известная легенда о рыдании Пушкина, якобы прервавшем его декламацию, остается только «трогательным анекдотом» (по выражению Анненкова). Он характерен для дружественной оценки безотрадного настроения поэта осенью 1836 года, но мало вяжется с неизменной сдержанностью и замкнутостью Пушкина в обществе. Яковлев, описавший празднование годовщины в письме к Вальховскому, ни словом не упомянул о таком драматическом моменте, как плач Пушкина среди чтения стихов. Да и весь эпизод этот не может усилить той безнадежной печали, которой проникнуто стихотворение «Была пора...» Уход молодости, спад жизненной энергии, неумолимый закон разложения прекрасной юношеской цельности в жестоком ходе действительности, особенно в эпоху напряженной борьбы, когда «кровь людей то славы, то свободы,— То гордости багрила алтари»,— все это выражено с такой глубиной и ясностью, что раскрывает в нескольких строфах трагизм истории и драму личной судьбы. Слезы Пушкина не могли бы взволновать нас сильнее его последних стихов.

XIII

НОЯБРЬСКАЯ ДРАМА

1 ноября 1836 года Пушкин читал у Вяземского свой новый роман «Капитанская дочка». «Много интереса,

движений и простоты», сообщал на другой день Александру Тургеневу Вяземский. Сын его, Павел Петрович, в то время шестнадцатилетний юноша, никогда не мог забыть того «неизгладимого впечатления», какое произвела на него «Капитанская дочка» в чтении самого автора.

Это было действительно крупнейшее литературное событие. Народился первый русский роман европейского значения. Пушкин со свойственной ему чуткостью к большим течениям современной литературы дает в своей хронике опыт художественного воссоздания русского прошлого на основе романической поэтики Вальтера Скотта, но с учетом национальных особенностей своей темы. Для создания большого эпоса о народной революции в России XVIII века он воспринимает основные конструктивные черты новейшего западного романа и сразу достигает высоты его лучших образцов. Помимо самого основателя жанра, Пушкин прекрасно знал и его обширную «школу», хотя и не во всем признавал ее достижения. «Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей, — писал Пушкин в 1836 году, — но как они все далеки от шотландского чародея». И все же некоторые исторические романы двадцатых годов, как «Обрученные» Манцони и «Хроника времен Карла IX» Проспера Мериме, заслужили его хвалебную оценку.

Превосходный роман Мериме наиболее отвечал повествовательной манере Пушкина. В нем не было избытка декоративной живописи, столь характерной для «Собора парижской богоматери», ни изысканности «Сен-Мара» Виньи, ни археологической перегруженности Вальтера Скотта. Но зато с замечательной силой здесь было развернуто на материале событий Варфоломеевской ночи искусство концентрировать изображение, очерчивать сложную ситуацию в нескольких строках и выражать целый характер в одном слове.

Опыт новейшего европейского романа вел Пушкина к углубленному раскрытию родной старины в сжатых и четких зарисовках. Принцип предельного лаконизма и высшей выразительности лег в основу «Капитанской дочки».

Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных средств и большей эмоциональной насыщенностью. Как и в отношении Байрона или Шекспира, здесь имело место глубокое преображение образца. В «Капитанской дочке» интимно-исторический рассказ сочетается с русской политической хроникой и дает широкую картину эпохи в ее домашних нравах и государственном быту: вымышленные образы, герои фамильных записок, неизвестные представители провинциальных семейств соприкасаются с такими фигурами, как Пугачев, Екатерина II, оренбургский губернатор Рейнсдорп, пугачевцы Хлопуша и Белобородов (по планам в состав персонажей вводились еще Орлов и Дидро).

Мастерски взят основной тон повествования, с первых же строк увлекающий читателя. Пушкин высоко ценил Вальтера Скотта за его дар раскрывать прошлое без малейшей торжественности — «домашним образом». Именно к этому он стремился в своем изображении русского XVIII века, ставя себе задачей показать его не на высоких подмостках классической трагедии или официальной истории, а сквозь черты патриархальной семейственности с ее теплотой и наивностью. Отсюда ряд исполненных прелестного юмора черт старинного быта (гувернера Бопре выписывают из Москвы «вместе с годовым запасом вина и прованского масла») и благодушно комических сцен в гостиной Гриневых и в столовой Мироновых (где офицеров берет под арест комендантша с помощью Палашки, относящей шпаги в чулан). Жанровые изображения «внутренних помещений» с деталями русских лу-

ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771 — 1832).

«Действие В. Скотта ощутительно во всех отраслях современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста». (1830)

бочных картинок здесь предшествуют широкому историческому полотну. Медовое варенье Авдотьи Васильевны и мотки оренбургской шерсти Василисы Егоровны подчеркивают тот характер «семейственных записок», на который неоднократно указывает читателю автор. В этом духе выдержано и спокойное заглавие повести, заимствованное из офицерского романса и нисколько не возвещающее основную трагическую тему и грозный рост развертывающихся событий. Эта же нота звучит и в эпилоге («потомство их благоденствует в Симбирской губернии...»).

Из такого идиллического обрамления фамильной группы бурно выступает картина крестьянской революции XVIII века. Отдельные эпизоды — приступ, мятежная слобода, пловучая виселица, казнь Пугачева — дают в резких фрагментах ощущение политического события в его грандиозном целом. Пушкин снова проявляет себя замечательным историческим портретистом, с исключительной экспрессией и сжатостью рисующим героев прошлого. Незабываемый внешний облик Пугачева выступает в двух-трех штрихах: «Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза». Длинные седые волосы и полинялый мундир времен Анны Иоанновны дают полное представление о наружности генерала Рейнсдорпа. Та же выразительность в портретах Хлопуши, изувеченного башкирца, Екатерины, та же характерная сжатость в «жанровом» изображении яицкого войска и кочевых наездников. Пейзаж здесь намеренно снижен и упрощен: «печальные пустыни, пересеченные холмами», крутой берег Яика, киргизские степи, овраги Бердской слободы, «бедные мордовские и чувашские деревушки». Точные этнографические описания воссоздают скудные черты унылой и бедной природы восточных окраин России.

Тщательное изучение материала и темы сообщает ис-

ключительную убедительность главным характеристикам. Несмотря на критическое отношение Пушкина к крестьянской революции (в этом вопросе он не мог преодолеть в себе писателя-дворянина и подняться над воззрениями своего класса на пугачевщину, как на «бунт бессмысленный и беспощадный»), он дает все же верную и глубоко сочувственную характеристику самого Пугачева, изображая его одаренным, смелым, умным и великодушным вождем народного движения; личность его вызывает в Гриневе сильнейшее влечение и «пламенное желание» спасти его. Пушкин-художник здесь явно преодолевает политика и публициста. Чувствуется, что поэт сжился в своих долголетних раздумьях с этим мощным народным образом, к изучению которого он обратился еще в годы своей ссылки и о котором тогда уже творчески мыслил (еще в декабре 1826 г. он говорил М. Н. Волконской, что задумал сочинение о Пугачеве). Долгий труд вызвал прочную симпатию к герою. Невозможно переоценить то глубокое сочувствие, с каким написан Пушкиным великолепный исторический портрет предводителя народной вольницы, обреченного дворянской Россией на смертную казнь, церковную анафему и моральное ошельмование.

С таким же мастерством обрисован представитель другого слоя старой России — капитан Миронов. Незаметный и чуть смешной в обычном быту, он вырастает перед лицом военной опасности в героя долга и присяги: он выполняет свои обязанности не только честно и беззаветно, но умело и искусно. Все комические черты образа сразу отпадают, когда на валу осажденной крепости перед нами выступает во весь рост старый вояка, ясно понимающий стоящую перед ним задачу и безошибочно разрешающий ее. «Докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!..» Он проявляет подлинный героизм в критический момент сражения, когда идет на

вылазку и верную смерть во главе гарнизона, готового бросить ружья. Пушкин в его лице воздает высокую хвалу тем скромным армейцам, которые, по замечательной характеристике В. О. Ключевского, «не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века» и вместе с русскими солдатами самоотверженно вынесли на своих плечах дорогие лавры знаменитых полководцев.

В образах молодых офицеров, вовлеченных ходом событий в крестьянскую революцию — Гринева и Швабрина,—Пушкин стремится разрешить издавна привлекавшую его проблему деклассированного и мятежного дворянина — декабриста Якубовича, Дубровского и, наконец, ряда исторических лиц, замешанных в пугачевском движении, — Шванвича, Башарина, Буланина, исторического подпоручика Гринева. Если в художественных образах и романическом действии эта сложная проблема, вызывавшая к себе и в самом Пушкине противоречивое отношение, не нашла окончательного разрешения и четкой формулы, то в «Капитанской дочке» она поставлена с замечательной широтой и проведена с глубоким жизненным драматизмом.

На всем протяжении романа эта основная тема окрашивается обычным для Пушкина восприятием родной истории сквозь события и образы собственной родословной. Отставка в 1762 году старика Гринева, служившего при Минихе, соответствует хронике рода Пушкиных, как и общая оппозиция к авантюристам и фаворитам эпохи императриц. В этом разрезе молодые поручики Белогорской крепости—Гринев и Швабрин—являют два типа русского дворянства — преуспевающий и приниженный, беспринципный и морально стойкий, «гвардию» и «армию» (как возвещает эпиграф к первой главе). У Гриневых незначительное поместье и бедное симбирское дворянство в прошлом, Швабрин — петербуржец, человек «хорошей

Вид Невского проспекта с Полицейского моста.
Старинная литография.

фамилии и имеет состояние». Недоросля Петрушу обучают стремянный Савельич и парикмахер Бопре, его будущего соперника — профессор элоквенции и придворный поэт Тредьяковский. Гриневу милы простодушные мещанские романсы, Швабрин распевает арии французских опер. Но Гринев остается верен присяге и непоколебим в своем отказе служить мнимому Петру III, бывший

же гвардеец служит только успеху и переходит с мгновенной поспешностью на сторону победившего Пугачева. «Проворен, нечего сказать!» заключает о нем попадья.

Таково новое противопоставление Пушкиных Орловым. Благородные и просвещенные Гриневы, способные оставить потомству увлекательные мемуары, обречены силою исторических судеб на материальную деградацию. Небольшое симбирское поместье елизаветинского премьер-майора в третьем поколении принадлежит уже «десятерым помещикам». Это последний иронический штрих, внесенный Пушкиным в столь волновавшую его картину упадка старинных исторических родов. На их долю еще остается преданность старых дядек («Савельич — чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести», писал Пушкину Одоевский в конце 1836 г.), их еще предпочитает ловким гвардейцам скромная Марья Ивановна. Блестящую галлерею пушкинских героинь завершает эта солдатская внучка и капитанская дочка, отражая в своем глубоко народном облике живые черты привлекательной и смиренной девушки Маши Борисовой, пленившей Пушкина осенью 1828 года в глухих Малинниках.

Для раскрытия подлинно народных истоков изображаемых событий и придания им соответственного освещения Пушкин обращается к излюбленному своему материалу — русскому народному творчеству. Высоко ценя фольклорную окраску вальтер-скоттовских сюжетов, он вводит в эпиграфику и в текст романа отрывки из солдатских и свадебных песен, сентиментальные романсы, калмыцкую сказку и, наконец, бурлацкую хоровую в знаменитой сцене, где зловеще звучит «простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице».

Одна из главных идей «Капитанской дочки», выраженная в словах Андрея Гринева—«пращур мой умер на лоб-

ном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести», открывает путь от романа к жизни его автора; она глубоко вводит в последнюю жизненную драму Пушкина. С каждым годом все сильнее сказывалась потребность поэта «бежать из Петербурга». Двор, царь, III отделение, цензура, церковь, министерства — нерасторжимым кольцом сомкнулись вокруг рабочего стола писателя, на котором не переставали расти рукописи о Вольтере, Радищеве, Пугачеве, вызывающие столько настороженности и вражды в официальных кругах. Тяжелым стоном звучит одно из последних стихотворений Пушкина: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит!..» Лейтмотив долголетних переживаний поэта приобретает здесь исключительную силу:

Давно, усталый раб, замыслил я побег...

Но осуществить его было нелегко. Пушкин был скован сложными отношениями с кредиторами и ростовщиками, своим придворным званием, государственной службой, великосветским бытом, «вниманием» Бенкендорфа и «ласками» Николая. Эта цепь оказалась нерасторжимой.

В каменной пустыне Петербурга, среди сплотившихся и тщательно замаскированных врагов только неутомимый творческий труд еще поддерживал Пушкина. Закончив «Капитанскую дочку», он продолжает усиленно работать, подготовляя к печати новые выпуски своего журнала. Предстоял выход четвертого тома «Современника». Незаметно и без шума Пушкин строил большое культурное дело и находил некоторую отраду от житейских невзгод в сочувствии его планам друзей-писателей и наиболее просвещенного круга читательской аудитории.

4 ноября 1836 года этот углубленный труд поэта-редактора был грубо прерван подлым ударом из-за угла.

Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. В тот же день несколько знакомых передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же гнусные дипломы на имя Пушкина.

Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды...

Но это оскорбление, нанесенное не только ему, но и его жене, необходимо было во что бы то ни стало отразить. Ему сразу стали ясны намеки, расшифрованные его биографами лишь через девяносто лет: скрытое указание на благосклонное внимание к его жене Николая I, заключенное в наименовании «достопочтенного гроссмейстера ордена Д. Л. Нарышкина», то-есть мужа известной любовницы Александра I [1].

О такой безошибочной расшифровке поэтом политических намеков пасквиля свидетельствует письмо, написанное им через день после получения дипломов, 6 ноября 1836 года, министру финансов Канкрину. В нем Пушкин заявляет о своем твердом решении вернуть царю «сполна и немедленно» полученные от него сорок пять тысяч. При этом он просит министра не доводить дела до сведения Николая, который может простить ему весь его долг, что поставило бы Пушкина «в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости».

Через несколько дней Пушкин поделился со школьными друзьями — Яковлевым и Матюшкиным — своими последними неприятностями. Он показал им полученную анонимку: «Посмотрите, какая мерзость...»

Яковлев, около пяти лет управлявший типографией

---

[1] П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина. М. — Л., 1928, стр. 435—515.

П. А. ПЛЕТНЕВ (1792—1862).

С портрета акварелью Градовского.

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты,.. (1827)

императорской канцелярии и разбиравшийся в сортах бумаги, тщательно рассмотрел подметный пасквиль, написанный на добротном и плотном листке без водяных знаков, и дал заключение: «Бумага иностранной выделки, а по высокой пошлине, наложенной на такой сорт, она должна принадлежать какому-нибудь посольству».

Вывод этот был целым откровением для Пушкина. Экспертиза Яковлева сыграла огромную роль в развитии дальнейших событий. Опираясь на нее, Пушкин сделал все неизбежные умозаключения: оскорбительный диплом исходил из голландского посольства, автор его — барон Геккерн. Этого мнения поэта уже ничто не могло поколебать. «Вид бумаги» фигурирует первым аргументом в официальном обвинении Пушкиным нидерландского представителя.

Но если материальный анализ оскорбительного патента указывал на голландского посланника, общественная молва связывала имена д'Антеса и Натальи Николаевны. Восстановить задетую честь мужа можно было, по тогдашним дворянским представлениям, лишь дуэлью. Пушкин послал вызов д'Антесу.

Повод для поединка оказался недостаточным. В тесном кругу заинтересованных лиц решено было добиться отказа Пушкина от вызова. Старый Геккерн, Жуковский, Загряжская, наконец, и приглашенный Пушкиным в секунданты Сологуб напрягают все усилия для предотвращения кровавой встречи. Д'Антес заявляет, что его ухаживания относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине, действительно без памяти влюбленной в него и даже, по слухам, ставшей с начала осени 1836 года его невестой. Под давлением окружающих поэт соглашается, наконец, взять обратно свой вызов.

Во время этих переговоров подлинным другом поэта показал себя Жуковский, действовавший с большим

умом, сердечностью и тактом: «Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления...» На одно из таких устных заявлений последовал ответ, замечательно выражавший отношение историка Пугачева к современному обществу и народу: «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то о невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, это мнение того низшего класса, в наши дни единственного подлинно-русского, который осудил бы жену Пушкина» [1].

Но поэт не мог не реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшедшего он считал посланника Геккерна, по его мнению, автора анонимного пасквиля. Поскольку конфликт с д'Антесом был ликвидирован, Пушкин решает получить сатисфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля: «представитель коронованной главы», он был заклеймен прозвищем «сводника» и уподоблялся развратной старухе.

Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь: обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. «Тем временем, — заключал он, — я удостоверился, что анонимное письмо исходило от г. Геккерна, о чем полагаю своим долгом довести до сведения правительства и общества».

Столь важное обвинение иностранного дипломата вы-

---

[1] Из сообщения нидерландского поверенного в делах Геверса министру иностранных дел Ферстольку от 20 апреля (2 мая) 1837 года. Оно было опубликовано только через сто лет после своего написания.

звало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя.

Это был второй прием Пушкина Николаем I. С памятной беседы в сентябре 1826 года прошло десять лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики — всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как «первый дворянин» своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической реакции, он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Государево око — III отделение — твердо считало Пушкина «великим либералом, ненавистником всякой власти». «Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах, — констатировал вскоре один жандармский документ, — а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных». Отзыв, не лишенный проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту.

В беседе 23 ноября Пушкин вне всякого сомнения повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безыменных писем для его собственной и для жены его чести и настаивал на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и в случае подтверждения подозрений Пушкина обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не предпринимать новых шагов без «высочайшей» санкции. Об этом

можно судить по тому, что после беседы в Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Геккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным.

В эти тревожные месяцы Пушкина ожидала радость встречи со старинным другом—Александром Тургеневым. Он вернулся в Петербург 25 ноября «из Парижа через Симбирск» и 27-го присутствовал на премьере «Ивана Сусанина».

«Я был вчера на открытии театра, — писал 28 ноября Тургенев своему брату Николаю, — ставили новую русскую оперу «Семейство Сусаниных» композитора Глинки, и все было превосходно: постановка, костюмы, публика, музыка и балеты. Двор присутствовал почти в полном составе. Ложи были украшены нарядными женщинами. Я нашел Жуковского в добром здоровье... Вяземский менее грустен. Пушкин озабочен одним семейным делом...»

Но эта мучительная озабоченность не мешала все же поэту живо интересоваться художественными событиями, продолжать обычную для него творческую жизнь. Личная драма не в состоянии была поколебать внутренний строй гениальной натуры. Разговор Пушкина в то время поражал замечательными прозрениями и высокой образностью. Встречавшаяся с ним в конце 1836 года графиня де-Сиркур (урожденная А. С. Хлюстина) писала через год Жуковскому: «Его дар угадывать все, что он только мысленно мог себе представить, так же поразил меня, как и то поэтическое направление, какое бессознательно принимала обо всем его мысль; разговор его обнаруживал ту зрелость, которую я не находила даже в его самых лучших стихах; я покинула его, пред-

сказывая ему безграничное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца...»

В эти последние недели своей жизни Пушкин отдается культурным впечатлениям, интенсивно живет художественной современностью. Выдающееся событие — народжение русской национальной оперы — привлекает его пристальное внимание. Он подробно беседует с бароном Розеном [1], автором либретто «Иван Сусанин», о драматической стороне композиции и даже берет у него текст оперы для детального изучения и анализа. Он посещает в университете лекции о русской литературе, восхищая своим присутствием студентов и профессора. Плетнев поднялся на кафедру «в воодушевленном состоянии», по свидетельству одного слушателя. «В дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавою головою, огненными глазами и желтоватым нервным лицом». Пушкин сел на задней скамье и внимательно прослушал лекцию. В заключение, говоря о будущности русской литературы, Плетнев назвал Пушкина. «Возбуждение было сильное и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя». Петербургское студенчество гордилось великим поэтом и было в восхищении от личного знакомства с ним.

Особенно ценны были для Пушкина встречи с «европейцем» Александром Тургеневым. «Он как-то особенно

---

1 В 1845 году Розен поместил в «Литературной газете» стихотворение «Эврипид», которое в некоторых списках имело подзаголовок: «Памяти Пушкина»:

Он эллин был — счастливый гражданин,
Краса и честь блистательных Афин.
Великий царь, изящного любитель,
Позвал поэта в царскую обитель.
Но там затмились светлые часы,
И горшее из зол судьба наслала:
Певца заели Архелая псы,
И молния на гроб его упала.

полюбил меня, — сообщал вскоре Тургенев о поэте, — а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные...» Пушкину был приятен этот старый друг его семьи, которого он знал с малых лет. Они посещают вместе театр, Академию наук, общих друзей, бывают друг у друга, поднимают и решают в своих беседах интереснейшие проблемы исторического и общекультурного значения. 15 декабря Тургенев до полуночи засиделся у Пушкина. Обсуждали «Слово о полку Игореве»; Пушкин «в словах песнотворца» чувствовал тот «дух древности», который неопровержимо утверждал в его глазах подлинность памятника.

«Он хочет сделать критическое издание сей песни, вроде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей, — пишет Тургенев брату о своих беседах с Пушкиным, — но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом...» Замечательна эта стойкость литературной позиции Пушкина: накануне смерти он продолжает борьбу с реакционными литературными течениями в лице Шишкова, против которого стал вооружаться еще на школьной скамье. Через четверть века словно продолжаются речи и споры, прозвучавшие летом 1811 года в петербургском кружке Дмитриева.

Вступивший в литературу в самом разгаре битв за обновляющийся русский язык, Пушкин остается до конца его организатором и хранителем. «Есть у нас свой язык; смелее!..» писал поэт в годы своей южной ссылки. Незадолго до смерти он высказывает тревогу за дальнейшую судьбу родной речи: «Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется». Восхищаясь богатством «прекрасного нашего языка», Пушкин

признавал, что извлек из него небывалую силу и перековал поэтическое слово: «Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо».

Тургенев заинтересовался новыми, еще не напечатанными стихами своего друга. Пушкин раскрыл тетрадь и прочел одно из своих последних произведений — «Памятник». Слушателю запомнилась строфа:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Новый год Тургенев встречал вместе с Пушкиным у общих друзей Вяземских. Здесь собрались Карамзины, Мещерские, Строгановы, Пушкины, сестры Гончаровы, Жорж Геккерн. Торжество было облечено в обычную форму тогдашних петербургских вечеров, которую Пушкин так любил и которую не раз запечатлел в своих строфах, — много цветов, много света, нарядных уборов, красивых женских лиц. «Картина светской жизни тоже входит в область поэзии», говорил Пушкин. Графиня Строганова была та самая Наталья Кочубей, которой он увлекался в беспечные лицейские годы, — его «первая любовь», напоминавшая о прекрасной заре жизни, о робких встречах у синего мраморного обелиска в честь Кагульской победы; этот памятник был им воспет некогда в его царскосельских «Воспоминаниях» и недавно снова бегло зачерчен в «Капитанской дочке». Портрет самой Натальи Строгановой был дан в знаменитом описании Татьяны на петербургском балу:

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою...

На этот раз Пушкин мало беседовал с вдохновительницей своих ранних элегий и поздних онегинских строф.

Он был озабочен и грустен. «Вот наступает новый год, — писал Пушкин в конце декабря своему отцу, — дай бог, чтоб он был для нас счастливее предыдущего». Еще не миновал годовой траур по скончавшейся матери. «Семейная история», о которой говорил весь город, становилась непереносимо мучительной. Наталья Николаевна ускользала от него и впервые сама переживала драму. Чтобы рассеять мрачность друга, внимательный и чуткий Тургенев читал письмо, только что полученное от брата Николая; это напоминало первую петербургскую молодость, «Арзамас», «Вольность», «Деревню», «Зеленую лампу». Но семейная драма омрачала все и придавала воспоминаниям неизбывную горечь. С Пушкиным чокались, старались рассеять его задумчивость, желали счастливого года.

Ему оставалось жить меньше месяца.

XIV

СМЕРТЬ ПОЭТА

«Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? — писал Пушкин за два-три года до смерти. — Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда».

После французской революции такое новое соотношение сил чрезвычайно тревожило «аристократов породы и богатства» во всей Европе. Оно вызывало их беспрестанную борьбу с представителями передовой литературы. Одной из причин падения Карла X были изданные им ордонансы о печати. В январе 1837 года российское крыло легитимизма в союзе с петербургской властью вы-

ступило против высшего представителя русской мысли, поэтического таланта и печатного слова. Это выступление было подготовлено длительными попытками медленно деморализовать противника, обессилить его личными огорчениями и нравственно изнурить постоянным раздражением его взыскательного самолюбия. Вызванная этим глубокая интимная драма подготовила исход акта политической мести.

Пушкин сам кратко и выразительно рассказал о своем отношении к Наталье Николаевне и ее поклоннику в критический 1836 год. Поведение д'Антеса «не могло быть для меня безразличным»: «муж, если он не глупец, вполне естественно становится поверенным своей жены и хозяином ее поведения. Признаюсь, я не мог не испытать некоторого беспокойства». Получив анонимные письма, поэт заставил своего соперника «играть роль столь плачевную, что жена моя, изумленная такой подлой трусостью и пошлостью, не могла воздержаться от смеха, и сердечное волнение, которое, быть может, она ощущала при виде этой великой и возвышенной страсти, угасло в самом спокойном и вполне заслуженном отвращении».

Такое «резюме», которое в конце концов Пушкин направил своим врагам Геккернам, дает достаточное представление о его тревогах и муках в последний год жизни; оно свидетельствует также и о несомненном чувстве Натальи Николаевны, вызванном страстью д'Антеса. «Он смутил ее», говорил Пушкин своим друзьям.

Все это произвело полный психологический переворот в семейной жизни поэта. Уже не Наталья Николаевна вспоминала «измен печальные предания» и корила мужа его прошлыми увлечениями, — Пушкин чувствовал необходимость стать ее «поверенным» и по возможности руководителем в той драме чувства, которую переживала молодая женщина. Слова о ее «отвращении» к д'Антесу

ЖОРЖ Д'АНТЕС-ГЕККЕРН (1812—1895).
Литография Бенара.

после его ноябрьского сватовства к Екатерине Гончаровой носят чисто внешний характер. В обществе продолжались встречи, обращавшие на себя всеобщее внимание неприкрытой нежностью обоих участников этого громкого романа. Но любовная драма Натальи Николаевны, несомненно, углубилась после ноябрьской интриги, в результате которой любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Об этом свидетельствуют фамильные воспоминания, рисующие картину чрезвычайно осложнившихся взаимоотношений членов семьи Пушкина зимой 1836—1837 годов.

«Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно и потому, как в чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою [Е. И. Загряжской], боясь поверить выпавшему ей на долю счастью. Тщетно пыталась сестра [Н. Н. Пушкина] открыть ей глаза, поверяя все хитросплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений. На все доводы она твердила одно: «Сила моего чувства к нему так велика, что рано или поздно оно покорит его сердце». Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна, в свою очередь, не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека. «Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить!», запальчиво бросила она ей в лицо».

Такова была сложная и мучительная психологическая борьба в доме Пушкина, еле прикрытая внешне праздничными приготовлениями к свадьбе; вид квартиры, напоминавшей модную и бельевую лавку (по выражению самого поэта), приводил его «в неистовство». В начале января ему показали широкий золотой браслет с тремя

одинаковыми сердоликами и гравированной надписью: «В знак вечной привязанности от Александрины и Натальи». Это изделие петербургского ювелира возвещало о переезде Екатерины Николаевны из квартиры Пушкиных в голландское посольство, где она в качестве баронессы Геккерн становилась хозяйкой нидерландской миссии.

10 января 1837 года Екатерину Гончарову обвенчали с д'Антесом при официальных свидетелях: бароне Геккерне, графе Г. А. Строганове, виконте д'Аршиаке и кавалергарде Бетанкуре. Наталья Николаевна присутствовала на венчании, но уехала сейчас же после службы. Дом Пушкиных оставался закрытым для молодых Геккернов (д'Антес, официально усыновленный голландским посланником в мае 1836 года, носил с этого времени его фамилию).

«Но они встречались в свете, — рассказывала впоследствии средняя из сестер Гончаровых — Александра Николаевна [1], — и там Жорж Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой: он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого. Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтоб вспыхнуть и написать старому Геккерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью».

---

[1] Это отрывок из письма барона Фризенгофа, мужа Александры Николаевны Гончаровой, написанного им 14 (26) марта 1887 года под диктовку жены. Опубликовано в моей книге «Цех пера», стр. 266—270. М., 1930.

С этим знаменитым письмом, одной из самых сильных и поразительных страниц эпистолярного наследия Пушкина, Александра Николаевна познакомилась перед самой его отправкой. Пушкин в то время не имел от нее тайн. Некоторое утешение от всех тяжелых переживаний этой зимы он неизменно находил в обществе своей младшей свояченицы. Это была та бледная девушка, которая задолго до сватовства поэта за ее сестру знала наизусть его стихи и тайно мечтала о нем. Пушкин рано оценил отношение новой родственницы и заметно выделил ее своей симпатией из общей, довольно чуждой ему, гончаровской семьи. Еще летом 1834 года, упоминая в письме к жене ее сестер, он называет Александру Николаевну «моя любимая». Когда с осени этого года сестры Гончаровы поселились в доме Пушкиных, обнаружились новые привлекательные черты ее характера: она не проявила особой склонности к придворной и великосветской жизни, не стремилась стать фрейлиной, была равнодушна к нарядам и отдалась почти всецело заботам о своих маленьких племянниках. Это усилило расположение к ней поэта и укрепило их близость: по свидетельству Вяземских, «Пушкин подружился с нею...»

В ряду женских обликов пушкинской биографии Александра Николаевна заслуживает, быть может, самого почтительного упоминания; ее «утаенная любовь» к поэту была по-настоящему жизненной и действенной. Она не ждала от любимого человека мадригалов или посвящений, но старалась всячески облегчить ему жизнь. Именно с ней Пушкин совещался о тайных своих горестях и притом в самую трагическую пору. Она всячески облегчала материальные затруднения своего шурина, предоставляя в его распоряжение свои деньги и ценности. Александра Николаевна, несомненно, внесла много тепла и участия в бурные переживания 1837 года, которые причинили и ей столько тяжелых страданий. Можно

представить себе состояние несчастной девушки, когда, читая пушкинское письмо, она поняла, что поединок неотвратим. Не ее слабым, девическим рукам было удержать стихийный ход событий.

Пушкин мучительно переживал свою семейную трагедию.

«Одному богу известно, — писал впоследствии Сологуб, — что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице д'Антеса искал или смерти или расправы с целым светским обществом».

Но, несмотря на вспышки гнева и глубочайшее возмущение врагами, поэт не переставал воспитывать в себе «качество благоволения ко всем» даже в этот критический предсмертный период. Полной зрелости его дарования соответствовала ясная успокоенность общего мировоззрения, запечатленная самим Пушкиным в его поздних страницах. «Нет истины, где нет любви», записал он 3 апреля 1836 года. Тогда же в «Современнике» появилось стихотворение, в котором Пушкин приветствовал «прощение», «как победу над врагом». В двадцатых числах января, за несколько дней до смерти, он беседовал об этом с Плетневым, которого высоко ценил как носителя «души прекрасной, — Святой исполненной мечты, — Поэзии живой и ясной, — Высоких дум и простоты...» С этим другом, которому он посвятил свое любимое создание — «Евгения Онегина», он говорил в минуты тяжелого душевного страдания — уже в предвидении смерти — о смысле и красоте жизни. Пушкин убеждал Плетнева писать свои записки. «Он выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем», записал Плетнев свое общее впечатление от этой последней беседы.

Но события шли своим неумолимым ходом. 25 января Пушкин получил новое безыменное письмо. В нем сообщалось о тайном свидании д'Антеса с Натальей Николаевной. Поэт показал письмо жене, которая тут же объяснила ему с обычной своей откровенностью смысл новой анонимки: Жорж Геккерн написал ей перед этим письмо, в котором под угрозой самоубийства требовал свиданья, чтобы переговорить о некоторых вопросах, одинаково важных для обеих семей, заверяя честью, что ничем не оскорбит ее достоинства и чистоты. Свидание состоялось на квартире общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. Оно оказалось хитростью влюбленного человека. Наталья Николаевна (согласно позднейшему рассказу ее дочери), тотчас же прервав беседу, «твердо заявила Геккерну, что останется навек глуха к его мольбам...»

Это признание, видимо, убедило Пушкина в невинности жены. Он оставил ее на этот раз без обычных гневных вспышек, но со словами: «Всему этому надо положить конец».

В ночь с 25 на 26 января (судя по ходу событий) или же утром 26 января Пушкин написал предельно резкое письмо Геккерну, воспользовавшись ноябрьским черновиком и попутно бросив ряд оскорблений по адресу приемного сына посланника. Днем 26 января письмо уже было у Геккернов. Перед вечером к Пушкину явился атташе французского посольства д'Аршиак с вызовом от д'Антеса. Ввиду тяжести оскорбления, «встреча не допускала ни малейшей отсрочки» (так писал Пушкину старший Геккерн в своем ответе) и должна была произойти «в кратчайший срок» (по выражению д'Аршиака в его записке 27 января). Она действительно состоялась в пределах суток с момента нанесения тяжкой обиды (как это требовалось дуэльными обычаями). Сам Пушкин на другой день категорически

заявил д'Аршиаку, что дело должно закончиться «сегодня же». Между первым совещанием секундантов и поединком едва прошло два часа.

В день 27 января 1837 года среди переговоров и переписки о предстоящем поединке, в непрерывных заботах о секунданте, о пистолетах, об условиях дуэли Пушкин, как всегда, провел утро за литературной работой. В последний раз сидел он за своим письменным столом, опускал перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра, подходил к своим длинным книжным полкам за нужным томом.

Дуэльные события неумолимым ходом уже врывались в литературные занятия. Секундант д'Антеса настойчивыми записками требовал подчинения дуэльному кодексу.

Но с обычной закономерностью своей творческой воли, быть может, еще более проясненной мыслью о смертельной опасности, Пушкин спокойно и уверенно продолжал свою текущую кабинетную работу.

Он читал, выбирал материалы для «Современника», вел письменные переговоры с новым сотрудником. «После чаю много писал», отмечено в заметках Жуковского. В номере «Северной пчелы» от 27 января была напечатана статья Павла Свиньина «Жизнь Петра Великого в новой своей столице». В отрывке говорилось о смутных событиях 1706 года на Волге, Дону и Яике и о подавлении стрелецкого бунта в Астрахани фельдмаршалом Шереметевым. Если Пушкин успел прочесть эту статью, она явилась последним изученным им источником к истории Петра.

Нужно было закончить и одно дело по «Современнику». Писательница Ишимова соглашалась перевести для его журнала любимого поэтом Барри Корнуоля.

Отмечая 27 января пьесы, особенно близкие ему, Пуш-

кин выделил среди них два «драматических изучения»— опыт о ревности и о мщении — «Амелию Уентуорт» и «Людовико Сфорца».

Пушкин завертывает книгу в плотную серую бумагу, надписывает адрес и быстро набрасывает сопроводительную записку. Это его знаменитое последнее письмо Александре Осиповне Ишимовой.

«...Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашем, переведите их как умеете — уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать».

Такова последняя запись Пушкина. Уходя из жизни, он посылает безвестному малому товарищу по их общему делу — служению русской литературе — свою озаряющую похвалу, бодрящую ласку и прощальный привет.

Писать более было некогда. Предстояло спешно сговориться с Данзасом, отправиться во французское посольство к д'Аршиаку, послать за пистолетами к оружейнику Куракину, условиться о месте и часе встречи, переодеться, как для вечернего выхода, в свежее белье и до наступления сумерек обменяться огнем с противником. Сколько дел и как мало времени!

Редактор «Современника» отодвинул книги, положил перо и отошел от письменного стола.

Последний литературный день поэта Пушкина был окончен. Двадцатилетний творческий труд его обрывался навсегда.

Это было в среду 27 января 1837 года в одиннадцать часов утра.

Последние совещания о своей дуэли Пушкин имел с лицейским товарищем Данзасом, который никогда не был его другом. Когда в 1820 году Пушкин был близок

к самоубийству, рядом с ним были такие друзья, как Чаадаев и Николай Раевский. Он мог с ними обсудить вопрос о жизни и смерти. Теперь ему пришлось обратиться к школьному соученику, внутренне совершенно чуждому. Пушкин один только раз упомянул имя Данзаса в лицейских годовщинах и лишь для того, чтобы отметить, что он был «последним» в их классе; последним он оказался и в рядах друзей. Он не пытался, как в свое время Либранди, Соболевский, Нащокин и Сологуб, расстроить поединок или по крайней мере смягчить его условия. Вместе с д'Аршиаком он занялся организацией дуэли à outrance, то-есть до смертельного исхода. Расстояние между барьерами всего десять шагов, что само по себе делало смерть почти неминуемой. Но ее неизбежность гарантировал жестокий четвертый пункт составленных секундантами правил: в случае безрезультатности первого обмена выстрелами дуэль возобновлялась, «как бы в первый раз», на тех же суровых условиях.

Приведем неизвестный рассказ о дуэли Пушкина из крупнейшего европейского журнала сороковых годов. Это вообще п е р в о е печатное описание знаменитого поединка (о котором в николаевской России запрещено было писать) [1].

«Все это происходило в январе. Снег, затверделый от мороза, сверкал вдалеке за городом под холодными лучами зловеще багрового солнца. Двое саней, сопровождаемые каретой, одновременно выехали из города и остановились за Новой Деревней, отстоящей в трех или четырех километрах от Петербурга. Оба противника вошли в небольшую березовую рощу. Их секунданты — оба весьма достойные люди — выбрали площадку, среди про-

---

1 Даем перевод этого отрывка, опуская или выправляя некоторые неточности. Полный текст опубликован нами во «Временнике» пушкинской комиссии, IV—V, 1939, стр. 417—434.

секи, образованной деревьями... Пушкин наблюдал за их действиями нетерпеливым и пасмурным взглядом. Как только печальные приготовления были закончены, соперники стали друг против друга. Предоставленные им на продвижение пять шагов были также отмерены, и два плаща отмечали границы расстояния, которые им запрещено было переступать. Был подан знак. Г. д'Антес сделал несколько шагов, медленно поднял свое оружие, и в тот же миг раздался выстрел. Пушкин упал; его противник бросился к нему. «Стой!» крикнул раненый, пытаясь приподняться. И, опираясь одной рукой о снежный наст, он повторил этот возглас, сопроводив его резким выражением: «Я еще могу выстрелить и имею на это право». Г. д'Антес вернулся на свое место, приблизившиеся было секунданты отошли в сторону. Поэт, перенеся с трудом тяжесть своего корпуса на левую руку, стал долго целиться. Но вдруг, заметив, что его оружие покрыто снегом, он потребовал другое. Его желание было немедленно выполнено. Несчастный невероятно страдал, но его воля господствовала над физической болью. Он взял другой пистолет, взглянул на него и выстрелил. Г. д'Антес пошатнулся и в свою очередь упал. Поэт испустил ликующий крик: «Он убит!»... Но эта радость длилась недолго. Г. д'Антес приподнялся; он был ранен в плечо; рана не представляла никакой опасности. Пушкин потерял сознание. Его перенесли в карету, и все с грустью направились в город» [1].

Место это напоминает соответственное описание, сделанное пушкинским секундантом Данзасом: «Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Д'Антес упал. На вопрос Пушкина, куда он ранен, д'Антес отвечал: «Кажется, пуля у меня в груди».—

[1] Charles de Saint-Julien. Pouchkine et le mouvement littéraire en Russie depuis quarante ans. «Revue des deux Mondes», 1847, 1 octobre, t. XX, p. 69—71.

«Браво!» воскликнул Пушкин и бросил пистолет в сторону».

Непростительная беспечность Данзаса начала сказываться в полной мере с первого же момента мучительного и грозного поражения Пушкина: ни врача, ни кареты для спокойной доставки тяжело раненного, ни хотя бы бинта и тампона для первой помощи ему (такая забота входила в круг обязанностей секунданта). Данзасу пришлось пойти на компромисс, не свободный от некоторого унижения, и, скрыв это обстоятельство от Пушкина, принять «любезность» его противников, предложивших карету Геккерна для перевозки истекающего кровью поэта.

Уже совсем стемнело, когда они подкатили к дому на Мойке. Быстрый, стремительный Пушкин, любивший взлетать одним духом по лестницам, впервые не мог пошевельнуться. Данзас вызвал его камердинера. Старый, поседевший Никита, некогда сопровождавший Пушкина в прогулках по Москве, деливший с ним невзгоды южной ссылки, взял его в охапку, как ребенка, и понес по ступеням. Час назад, на снегу, перед врагами и даже наедине с Данзасом, раненый сохранял неприступную замкнутость, маскируя в карете оживленным разговором боль и тревогу. Но в старом Никите было нечто родное, сердечное, почти материнское; от него можно было желать и ждать участия. И Пушкин обратился к нему за последним словом утешения: «Грустно тебе нести меня?..» И Никита, как мать больного ребенка, покрепче обнял его, осторожно пронес по передней и бережно опустил в кабинете среди книжных полок на диван, с которого Пушкину уже не суждено было подняться.

Началось медленное умирание поэта, длившееся почти двое суток [1]. «Что вы думаете о моей ране?» спросил

---

[1] С момента нанесения раны до смерти Пушкина прошло около 46 часов.

Пушкин доктора Шольца, первого из врачей, привезенных к нему. «Не могу скрывать, она опасная». — «Скажите мне, смертельная?» — «Считаю долгом не скрывать и того». — «Благодарю вас, вы поступили, как честный человек; мне нужно устроить семейные дела». Приехавший вскоре лейб-хирург Арендт подтвердил безнадежность положения.

Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта (помимо Шольца и Арендта, здесь были также доктора Задлер, Саломон, Спасский и Даль). «Врачи поступили безусловно неправильно, сказав самому Пушкину правду о смертельности ранения. Акушер Шольц должен был решительно воздержаться от прогноза в первом разговоре с поэтом... И дело не в одной грубой ошибке первоначального смертельного приговора. Тяжело раненному Пушкину должны были обеспечить максимальный покой в последние часы его жизни. Если врачам того времени рискованно было протестовать против исповеди и причастия, если им трудно было предотвратить волнения, неизбежные при прощании поэта с детьми и женой, то врачи могли уберечь Пушкина от лишних волнений и не устраивать процессии прощающихся друзей, как это сделал д-р Спасский. Точно так же «примирение» с царем Жуковский и Арендт могли одинаково успешно инсценировать без участия умирающего Пушкина» [1].

---

[1] Из статьи главного хирурга Института им. Склифасовского С. С. Юдина — «Ранение и смерть Пушкина», «Правда», № 7004. «В наше время, — говорится в той же статье, — в Ленинграде подобный раненый имел бы 50—60 процентов шансов на спасение его операцией. В те годы об операции не приходилось и думать. Лишь через 10 лет после смерти Пушкина появился эфирный наркоз, а необходимая для брюшных операций асептика — лишь через полвека».

4 февраля 1937 года на ту же тему сделал доклад в Академии наук проф. Н. Н. Бурденко, признавший, что меры, предпринятые

Дом на Мойке, где скончался Пушкин. Окна квартиры Пушкина в первом этаже, между воротами и парадным подъездом.

Неудивительно, что больной не переставал спрашивать у друзей: «Долго ли мне так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей». На смертном одре он вспомнил Пущина и Малиновского, просил выхлопотать прощение Данзасу, пожелал проститься с Карамзиной. Он обменялся последними рукопожатиями с Жуковским, Вяземским, Александром Тургеневым. Простился Пушкин и с верными спутниками своего труда — он бросил взгляд на свои книжные полки: «Прощайте, друзья!»

Освобождение от всех испытаний и мук, выпавших на долю величайшего гения мировой поэзии, наступило 29 января 1837 года незадолго до трех часов пополудни.

Смерть Пушкина не разоружила его врагов. Преданный по распоряжению Николая I военному суду на другой же день после дуэли, Пушкин и после смерти оставался подсудимым чрезвычайного трибунала; только приговор 17 марта прекратил рассмотрение «преступного поступка камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккерном наказанию» (то-есть по букве закона смертной казни).

Полиция предпринимала энергичные меры для срыва общественного поклонения поэту в связи с его трагической смертью. Лучшие представители литературных и научных кругов, учащейся молодежи, широких слоев учительства, среднего офицерства, мелких служащих, то-есть той формирующейся «интеллигенции», которая чтила память о декабристах (а через десять лет объединится в кружках Петрашевского и Спешнева), переживали смерть Пушкина, как тяжелый удар и крупнейшее политическое событие. К телу поэта двинулись широкие толпы «просто-

---

врачами Пушкина, были бесполезны, и что в наши дни «даже хирурги средней руки вылечили бы Пушкина». («Известия», № 6194.)

народья», о чем сохранилось замечательное свидетельство дочери Карамзина: «Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта». Так уже в момент смерти Пушкина его оплакивала городская беднота, словно представляя перед гробом сраженного писателя всю огромную бесправную массу русского народа.

Боязнь политических демонстраций на похоронах вызвала распоряжение властей о переносе тела поэта в Конюшенную церковь (вместо адмиралтейской, где было назначено отпевание) и приказ об отправке гроба ночью в Святогорский монастырь для погребения. Одновременно Уваров предпринял ряд энергичных шагов для усмирения возбужденного общественного мнения. Чиновники выносили выговоры авторам хвалебных некрологов и рассылали распоряжения по цензурному ведомству о соблюдении «надлежащей умеренности» в оценках умершего поэта.

«Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, — сообщал Вяземский в марте 1837 года своим парижским друзьям, — с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению». Накануне похорон Никитенко записал в свой дневник: «Уваров и мертвому Пушкину не может простить. Объявленный в афишах для бенефиса Каратыгина «Скупой рыцарь» снят с постановки. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма...»

Борьбу с убитым поэтом продолжала и церковь. Инициатор процесса о «Гавриилиаде», петербургский митрополит Серафим, считавший, что сам дьявол вдохновил Пушкина на его поэму, воспротивился отдать ему погребальные почести. Тело Пушкина запрещено было вынести для отпевания в Исакиевский собор и выполнить торжественное служение под тем предлогом, что смерть

от раны на поединке следует приравнивать к самоубийству. Обер-прокурор святейшего синода Протасов сообщает псковскому архиепископу Нафанаилу, на которого возлагалась ответственность за погребальную церемонию, «чтобы при сем случае не было никакого особенного заявления, никакой встречи, словом, никакой церемонии».

Из всех современников наилучшую оценку петербургской трагедии дал сын историка, Андрей Карамзин. Узнав в Париже о смерти Пушкина, он писал своей матери:«Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, оно сработало славное дело. Пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке; поздравьте его, оно стоит того. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря, на востоке темно... То, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (чорт знает, как эту сволочь назвать), меня ни мало не удивило; оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву—и это должно быть так, это в порядке вещей. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только la haute société[1]. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ней? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, — его гению стало душно, он замолк... Méconnu et déprécié, il a végété sur ce sol arride, et il est tombé victime de la médisance et de la calomnie[2]. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше».

Так определял социальную среду, окружавшую поэта в

---

[1] Высшее общество.

[2] Непризнанный и обесцененный, он прозябал на этой бесплодной почве и пал жертвою злословия и клеветы.

момент его смерти близкий по воззрениям наблюдатель, во многом выражая собственные ощущения Пушкина перед обществом, ставшим его палачом.

«4 февраля, в первом часу утра или ночи, я отправился за гробом Пушкина в Псков, — записал в своем дневнике Тургенев. — Перед гробом и мною скакал жандармский капитан». На санных дрогах с телом поэта находился дядька умершего, Никита Козлов, пожелавший проводить его до могилы; он был глубоко опечален. «Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеевича. Я на руках его нашивал...» В Пскове губернатор прочел Тургеневу только что полученное «высочайшее» распоряжение воспретить при следовании тела Пушкина «всякое особенное изъявление, всякую встречу». Этим объясняется и необычайная, поистине фельдъегерская, быстрота переезда — в 35—40 часов от Петербурга до Тригорского; мертвого Пушкина мчали вскачь и без передышки, как важнейшего государственного преступника, лошадей загоняли — Тургеневу пришлось заплатить «за упадшую под гробом лошадь».

Прасковья Александровна, недавно лишь пославшая в Петербург «своему дорогому Александру» банку крыжовенного варенья, должна была в последний раз позаботиться о Пушкине. Ровно месяц тому назад, 6 января, она получила письмо поэта: «Испытываю сильнейшее желание навестить этой зимой Тригорское». Желание печально исполнилось. Ей оставалось только распорядиться о доставке тела в Святые Горы вместе с крестьянами, которых отрядили копать могилу.

Рано утром 6 февраля в монастырь приехали из Тригорского Тургенев с Никитой Козловым и две дочери Осиповой — восемнадцатилетняя Мария, с которой поэт приготовлял в прежние годы французские уроки и кото-

рой посвятил в 1835 году набросок «Я думал сердце позабыло — Способность легкую страдать...», а с нею и самая младшая, тринадцатилетняя Екатерина. Сама Прасковья Александровна была больна, все прочие члены ее семьи были в разъезде. Жандармский капитан Ракеев представлял петербургскую власть, архимандрит Геннадий — государственную церковь. От местной полиции присутствовал сельский заседатель Петров, представлявший земского опочецкого исправника (который сам счел неудобным явиться на эти «крамольные» похороны), и от исправника города Острова повытчик земского суда Филиппович.

В стороне, обнажив головы, стояли крестьяне Тригорского и Михайловского, потрудившиеся над рытьем могилы, пока еще временной: земля так промерзла, что пришлось пробивать ломом лед и засыпать гроб снегом до весенней оттепели.

Такова была горсточка людей, провожавшая Пушкина в могилу: почти никого из столичных властей, но зато верный «Савельич» — Никита Козлов, сопровождавший его по жизненным дорогам от колыбели на Немецкой улице до Святогорского погоста; старый культурный друг, определявший его в лицей, хлопотавший за него в годы ссылки, посылавший ему из чужих краев античные вазы и современную хронику Парижа; две девушки из Тригорского, для которых со временем этот снеговой холм будет связан с любимыми в их семье стихами: «Владимир Ленский здесь лежит, — Погибший рано смертью смелых...»; и, наконец, — несколько псковских крепостных, словно посланных к могиле убитого поэта тем подневольным народом, который своими сказаниями обогатил его творчество и навсегда принимал теперь в свою память имя Пушкина, чтоб донести его до далекой, но неизбежной эпохи своего освобождения.

ЭПИЛОГ

1837 — 1937

А вокруг уже поднималось «племя младое, незнакомое...» Над раскрытым гробом Пушкина Россия услышала голос нового гениального лирика Лермонтова, словно продолжавшего заветы погибшего поэта в своих разящих стихах и в смелом вызове палачам «свободы, гения и славы». Телу Пушкина пришел поклониться студент-филолог Петербургского университета Иван Тургенев. «Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога», вспоминал он впоследствии. Маленький чиновник департамента внешней торговли И. А. Гончаров, услышав на службе о смерти поэта, вышел из канцелярии и разрыдался: «Я не мог понять, чтоб тот, пред кем я склонял мысленно колена, лежал бездыханным...». Сын московского штаб-лекаря Достоевского, пятнадцатилетний Федор, не переставал повторять, что, если бы в семье не было траура по матери, он просил бы позволения у отца носить траур по Пушкину. В далеком Мюнхене молодой служащий русского посольства Тютчев, чьи стихи Пушкин перед смертью успел напечатать в своем «Современнике», писал свое знаменитое обращение к убитому поэту: «Тебя,

как первую любовь, — России сердце не забудет...» Другой начинающий лирик, также уже представленный в стихотворном отделе пушкинского «Современника», воронежский песенник Кольцов, замечательно выразил в двух словах впечатление русских поэтов от постигшей их утраты: «Простреле́но со́лнце!..»

Мысль и слово Пушкина уже владели целым литературным поколением и невидимо формировали его. Через десять-пятнадцать лет эти юноши и подростки выступят могучими строителями великой русской реалистической литературы, воспринимающей у Пушкина глубокую правду его живописи, безошибочную верность его рисунка, неотразимую подлинность образов, высокую социальную чуткость замыслов, широту и смелость композиций.

Представители старшего поколения уже утверждали эту великую «пушкинскую» традицию русской литературы. Гоголь в сороковые годы продолжает свою работу над замыслом, подаренным ему Пушкиным, — над «Мертвыми душами». Белинский, уже оцененный редактором «Современника» и намеченный им в сотрудники своего журнала, дает первую полную и цельную монографию о творчестве Пушкина; ряд положений этой замечательной книги ляжет в основу всей позднейшей критической мысли о поэте и отразится на отзывах о нем крупнейших представителей демократической критики шестидесятых годов — Чернышевского и Добролюбова. «Он был первым поэтом,—писал Чернышевский,—который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель».

Белинским вдохновляется и критик другого лагеря — славянофилов, или «почвенников», — Аполлон Григорьев, автор формулы «Пушкин — наше все», впервые выдвинувший в русской критике вопрос о значении пушкинской прозы и категорически провозгласивший в 1861 году мировое значение пушкинского творчества: «И вот

вслед за ними [Карамзиным и Жуковским] явился «поэт», явилась великая творческая сила, равная по задаткам всему, что в мире являлось не только великого, но даже величайшего: Гомеру, Данту, Шекспиру, — явился Пушкин».

Критик выдвигает «значение Пушкина, как нашего величайшего народного поэта, величайшего представителя нашей народной физиономии».

Русский реалистический роман, утвердивший мировое значение русской литературы, восходил своими основными художественными методами к «Онегину», «Пиковой даме», «Капитанской дочке». Тургенев, высоко ценя глубокую психологическую правдивость романических героев Пушкина, даст в своем творчестве ряд самобытных вариаций типа умного и культурного русского человека, обреченного эпохой на бездействие и прозябание. Незадолго до смерти в речи 1880 года он произнес хвалу «великолепному русскому художнику», свойства поэзии которого «совпадают со свойствами, сущностью нашего народа: он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь, по своему богатству, силе, логике и красоте формы, признается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образцами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни».

Глубокое своеобразие мысли и художественной системы Толстого не освободило его от воспитательного воздействия Пушкина. Толстой вдохновляется «Цыганами» в своей кавказской повести «Казаки», а в «Войне и мире» принимает композиционный закон «Капитанской дочки»: перерастание семейной хроники в историческую трагедию эпохи. В поисках повествовательного зачина он выбирает образцом для «Анны Карениной» начало одного из прозаических отрывков к «Египетским ночам», а в стихотворении Пушкина «Когда для смертного...»

ощущает тему, близкую к своим драмам совести и случаям внутреннего перерождения и роста личности.

В первой же своей повести — в «Бедных людях» — Достоевский устами Макара Девушкина указывает, как на образец, на «Станционного смотрителя», где так живо отражена подлинная жизнь и действительные человеческие страдания. В этой повести Пушкина Достоевский нашел ключ для целой вереницы своих героев от Макара Девушкина до капитана Мочалки. Образы Сальери (проблема «гения и злодейства») и Германа отражаются на идейной структуре Раскольникова, тема «Скупого рыцаря» разрабатывается в «Подростке», в «Идиоте» господствует мотив «Рыцаря бедного», который сближается здесь с Дон-Кихотом, а некоторые персонажи последних романов Достоевского восходят к тому пушкинскому летописцу, о котором, по слову самого романиста, «можно написать целую книгу».

Гончаров навсегда запомнил появление Пушкина в аудитории Московского университета (будущий автор «Обломова» был в то время студентом словесного факультета): «Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий. Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование». Пушкин вошел в аудиторию, когда Давыдов заканчивал лекцию о «Слове о полку Игореве», в присутствии другого профессора — Каченовского. Завязался спор о гениальной поэме. Гончаров запомнил, что «Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса». В своем собственном творчестве, в своих больших романах о русской жизни студент-словесник, слышавший Пушкина, замечательно воспринял

прозрачность и точность его рисунка, отражающего с зеркальной отчетливостью картины природы, быта, черты современных характеров.

Блестящий мастер публицистической и мемуарной прозы, Герцен высоко ценил Пушкина и с подлинной зоркостью включил оценку его личности и деятельности в свою книгу «О развитии революционных идей в России». Он отметил здоровый и полнокровный реализм Пушкина, полное отсутствие в нем модного в эпоху романтизма «абстрактного христианского спиритуализма», безысходный трагизм великого поэта в условиях николаевского времени, когда «ужасная, черная судьба» выпадала на долю всякого, кто смел «поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром».

Великий русский сатирик Салтыков — кстати сказать, воспитанник лицея, где установился культ Пушкина, — высказывался о нем в 1882 году, как о «величайшем из русских художников». Поэт, вероятно, был близок ему как первый создатель в русской поэзии политического обличения. Пушкин, беспощадно хлеставший «Ювеналовым бичом» царей и министров, подвергавший их мучительной «казни стыдом», писавший Вяземскому: «куда не досягает меч законов, туда достает бич сатиры», является несомненным родоначальником последующих классиков этого жанра. А эпиграммы на Александра I и Аракчеева, беспощадная характеристика «Тартюфа в юбке и короне» Екатерины II и «увенчанного злодея» Павла I словно возвещают знаменитые маски Эраста Грустилова, Угрюм-Бурчеева, Амалии Штокфирш или «гатчинского истопника Негодяева». Салтыков, как памфлетист Романовых, продолжает путь, начатый Пушкиным.

Школа поэта неизменно ощущается у великих представителей русского художественного слова второй поло-

вины XIX века. Ближайший наследник основоположников русского романа Чехов считал, что «Тамань» Лермонтова и «Капитанская дочка» прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой». И в своих прозрачных рассказах-элегиях он замечательно показал, как русская проза, насыщенная насквозь лирическим восприятием мира, может звучать пушкинским стихом, не обращаясь к искусственным приемам метрики и оставаясь до конца художественной прозой.

Младшее поколение поэтов, выступившее еще в сороковые годы, ставит своей прямой задачей творчески длить традиции Пушкина. «Серебряный век» русской поэзии живет его отраженным светом. Майков обращается к нему, как к одному из образов «всемирного Пантеона», Фет склоняется перед «бронзовым ликом», чьи черты как бы рассеивают «старый стыд» окружавшего его быта, Полонский отмечает высшую чуткость поэта, гениально воссоздавшего

Песню Грузии печальной,
Бред цыганки кочевой...

В другом жанре — исторические трагедии Островского и Алексея Толстого воскрешают традиции «Бориса Годунова». А лучший биографический портрет Пушкина дает Некрасов в своих «Русских женщинах».

Следующее поэтическое поколение — на рубеже двух столетий — уже не только учится у Пушкина, но углубленно изучает его. Брюсов, как поэт, дал ряд творческих вариаций на темы «Египетских ночей», «Медного всадника», набросков комедии об «Игроке». Он был редактором первого советского собрания сочинений Пушкина, дал ряд статей о поэте, среди которых особенно ценны его стиховедческие этюды; крупный интерес представляют его изучения политических воззрений великого поэта.

Особенно ценен ответ Брюсова на раздавшиеся обвинения, якобы в своих статьях он стремится «выставить Пушкина революционером и почти коммунистом»: «Считаю все такие обвинения глубоко ошибочными. Представлять Пушкина «коммунистом», конечно, нелепо, но что Пушкин был р е в о л ю ц и о н е р, что его общественно-политические взгляды были р е в о л ю ц и о н н ы е как в юности, так и в зрелую пору жизни и в самые ее последние годы, — это мое решительное убеждение. Притом я настаиваю, что революционером Пушкин был не только бессознательно, в глубинах своего творческого миропонимания..., но и сознательно, в своих логически обдуманных суждениях». Это глубоко верное истолкование, высказанное Брюсовым еще в 1923 году, незыблемо сохраняет свою истинность, несмотря на ряд позднейших попыток дать противоположные оценки великого поэта.

Вариации на темы Пушкина дал и другой крупнейший представитель поэзии символистов — Блок. Комментатор лицейских стихов, впервые обогативший этот жанр изучением поэтического стиля, автор «Снежной маски» разработал мотивы «Медного всадника» («В руке протянутой Петра — Запляшет факельное пламя...»), а несколько позже и «Каменного гостя» в своих «Шагах командора». В этом небольшом стихотворении Блок замечательно вскрывает глубокий трагизм темы о «Дон-Жуане», обращая нас к таким же напряженным ее трактовкам у Моцарта и Пушкина. К последнему периоду жизни Блока относятся ямбы его «Возмездия» — поэмы, наиболее близкой к классической традиции, речь о Пушкине в восемьдесят четвертую годовщину смерти поэта и строфы, посвященные Пушкинскому дому. В этом последнем стихотворении Блока образ Пушкина дан как великий стимул бодрости духа и новых устремлений русской поэтической культуры.

Первый классик пролетарской литературы, Горький рассказал нам о впечатлении от своего раннего знакомства с Пушкиным: «Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни». Пушкин, по словам Горького, «выходит из рамок классовой психики: уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интеллектуальную нищету своего класса, его культурную слабость и отразил все это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью. В примере Пушкина мы имеем писателя, который, будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихе и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом, чего и достигал с гениальным умением».

Пушкиным отмечена веха в развитии крупнейшего представителя советской поэзии Маяковского. Бунтовавший в молодости против классических авторитетов, он на диспуте в Малом театре 26 мая 1924 года говорил об «обаянии» письма Онегина: «Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею. Тысячи раз учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли». И в широко известном «Юбилейном» звучит его глубоко искреннее признание: «Может, я один действительно жалею, — Что сегодня нету вас в живых...»

Другой рано ушедший советский поэт, Эдуард Багрицкий, создал цикл стихов о Пушкине («Когда в крылатке, смуглый и кудлатый...», «Горячий месяц тлеет на востоке...», «И Пушкин падает...»). Голос целого поколения,

рожденного для гроз и бурь, слышится в его страстных ямбах, словно выкованных на пушкинской наковальне:

Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
И сердце колотилось безотчетно,
В глазах светлело, ветер налетал,
И в плеске пуль, сквозь голос пулеметный,
Я вдохновенно Пушкина читал...

Это господство бессмертных и прекрасных традиций Пушкина в поэзии всех народностей Советского Союза с исключительной силой сказалось в столетнюю годовщину смерти поэта. По слову передовой статьи «Правды» от 17 декабря 1935 года, «Великая пролетарская революция впервые по-настоящему создает Пушкину подлинную народную славу национального русского поэта, славу великого поэта народов Советской страны». Журналы и газеты всех республик Союза на разнообразнейших языках печатали строфы «Памятника» о близости поэта ко всем народам его родины. «Я о тебе пою, родник моих — Простонародных песнопений, Пушкин», возглашает в своей песне азербайджанский ашуг Авак:

Ты прав, певец... Она пришла, пришла
Заря пленительного счастья, Пушкин.
О, если бы найти из склепа дверцу, —
Ты смог бы вмиг пожаром ласк согреться.
В дожде цветов великий Сталин сам
Тебя за всех прижал бы к сердцу, Пушкин.

Только через сто лет после смерти поэта образ его встал перед нами во весь свой исполинский рост, раскрывая в гениальном лирике могучего выразителя передовой мысли Европы и России, преемника великих гуманистов Возрождения и «отцов революции» — мыслителей эпохи Просвещения. Таков смысл глубокого и мудрого опреде-

ления Горького: «Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо для европейского искусства».

Короткая и трагическая жизнь Пушкина отметила еще невиданный перевал в истории мысли и слова его родины. По-новому зазвучал русский язык, не знавший у предшественников Пушкина такого сочетания воздушности и энергии, напевности и мощи. Небывалой гибкости и силы достиг русский стих, получивший под его пером высшую выразительность и стройность в обширнейшем репертуаре новых лирических жанров и строф. Впервые в России поэзия стала политической трибуной, грозящей «неправедной власти» и ограждающей своим огненным словом бесправных и «падших». Живой и впечатлительный ко всем проявлениям современности, поэт оставил в своих записях картину целого общества, приведенного в движение идеями французской революции и непримиримо разъединенного декабрьским вихрем. Как художник-мыслитель он искал в прошлом истоков протекавшей на его глазах политической драмы и не переставал развертывать на страницах своих произведений предания русского былого в его победоносной борьбе и героических образах. Но как подлинно великий поэт он отстаивал в истории те ценности будущего, за которые борются народные массы.

ИСТОЧНИКИ

Биограф Пушкина пользуется до известной степени всей «Пушкинианой». Она зарегистрирована в библиографических указателях В. И. Межова, В. В. Каллаша, А. Г. Фомина, П. А. Дилакторского и Л. К. Ильинского, в обзорах С. С. Трубачева и В. В. Сиповского, в систематических указателях Н. К. Пиксанова и едва ли требует здесь извлечений. Мы ограничимся указаниями на основные первоисточники и те большие разделы литературной историографии, с которыми была наиболее связана наша работа.

Первоисточниками для жизнеописания Пушкина являются прежде всего автобиографические записи самого поэта, его дневники, записные книжки, программы записок, заметки о предках, переписка, «Путешествие в Арзрум». Особенно ценны для биографа два комментированных издания дневника Пушкина (Ленинград и Москва) и дающее богатейшую сводку биографических материалов издание писем Пушкина под редакцией Б. Л. и Л. Б. Модзалевских (доведенное до 1834 года).

Этот последний источник восполняется письмами корреспондентов Пушкина, впервые собранными В. И. Саитовым в академическом издании переписки поэта и включенными в новое собрание его сочинений издания Академии наук СССР (т. XIII и след.).

История жизни Пушкина неразрывно связана с его творчеством; биографу поэта приходится со всей пристальностью изучать его тексты в свете накопившихся за столетие комментариев к ним. Мы пользовались в нашей работе преимущественно изданиями Пушкина под редакцией Л. И. Поливанова, П. О. Морозова, П. А. Ефремова, С. А. Венгерова, Академии наук (1899—1929 годы), Академии наук СССР (1937 год и след.), Б. В. Томашевского (однотомник, 1938 год), М. А. Цявловского («Academia», 6 томов in 8°).

Наряду с пушкинскими текстами нами изучены все официальные

документы о Пушкине или о его ближайшем окружении, опубликованные А. А. Гастфрайндом, И. А. Шляпкиным, П. Е. Щеголевым, Б. Л. и Л. Б. Модзалевскими, М. А. Цявловским и другими, а также напечатанные в «Старине и новизне», «Делах III Отделения об А. С. Пушкине», издании военно-судного дела 1837 года «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном», в пушкинском выпуске «Литературного наследства», сборнике Литературного музея «Пушкин», в издании Академии наук СССР «Литературный архив», в книге «Рукою Пушкина» журналах «Красный архив», «Литературный современник», «Revue des études slaves» и др.

Важным фондом источников для биографии Пушкина являются, при соответственной критической проверке, и воспоминания о Пушкине, прежде всего его ближайших родственников: отца, брата, сестры; его друзей-лицеистов: Пущина, Комовского, Корфа, Горчакова; писателей-современников: Вяземского, Жуковского, Катенина, Гоголя, Сологуба, Даля, Ксенофонта Полевого, Мицкевича, Шевырева, Вельтмана, Лажечникова, Федора Глинки; приятелей и знакомых: Вигеля, Якушкина, Липранди, В. Ф. Раевского, Вульфа, Керн, Осиповой, Смирновой [1], Каратыгиной, Олениной, Нащокиных, М. И. Глинки, Данзаса, Дуровой, Юзефовича, М. И. Пущина и др.

Нам служили также первые опыты биографии Пушкина, написанные лицами, знавшими поэта или ближайших его современников: очерки Д. Н. Бантыш-Каменского, В. П. Гаевского и П. А. Плетнева, книги П. И. Бартенева, статьи и материалы Я. К. Грота и Н. М. Лонгинова и особенно классические работы П. В. Анненкова.

Особую рубрику составляют сочинения и письма современников Пушкина в лице старшего поколения: Державина, Радищева, Карамзина, Дмитриева, Крылова, Василия Пушкина, Дениса Давыдова, братьев Тургеневых, Батюшкова, Жуковского, Гнедича и писателей-сверстников, или представителей младшего поколения: Вяземского, Грибоедова, Рылеева, Бестужева-Марлинского, Кюхельбекера, Веневитинова, Языкова, Дельвига, Боратынского, Гоголя, Лермонтова, Козлова, З. А. Волконской, Туманского, Я. Толстого, В. Ф. и А. И. Одоевских.

Для школьных лет поэта изучены исследования, книги и статьи лицейских профессоров Пушкина: Куницына, Кошанского, Галича и Кайданова; для его журнальной деятельности — издания, выходившие при ближайшем участии или под редакцией Пушкина: «Московский вестник» (1821—1830 годы), «Литературная газета» (1830—

---

[1] «Записки» и «Автобиография» под ред. Л. В. Крестовой (1929, 1931 гг.).

1831 годы), «Современник» (1836 и отчасти 1837 год), а также периодика и альманахи пушкинского времени.

Особому обследованию подлежали собрания писем и документов из личных архивов знакомых и друзей Пушкина. Таковы: «Остафьевский архив князей Вяземских», «Архив Раевских», «Архив Разумовских», «Архив Воронцовых», «Архив братьев Тургеневых», «Языковский Архив», «Lettres et papiers du chancellier comte Nesselrode», «Жизнь и труды Погодина», «Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников», «Генерал-фельдмаршал Паскевич», «Lettres du comte et de la comtesse de Fiquelmont à la omtesse Tiesenhausen», «Souvenirs du baron de Barante», «Арзамас и Арзамасские протоколы» и др.

Ряд полезных материалов и указаний для биографа имеется в словарных сводках о Пушкине и его современниках: в «Материалах для словаря лицеистов» Н. Гастфрайнда, в «Материалах для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» М. П. Алексеева, в «Спутниках Пушкина» В. В. Вересаева, в «Путеводителе по Пушкину» (М., 1931 год). Сюда же следует отнести соответствующие статьи в «Русском биографическом словаре» и в современном Пушкину «Алфавите декабристов».

Несмотря на разработанность архивных источников о Пушкине, мы обращались в отдельных случаях и к неизданным материалам. В этом плане мы изучили: 1) дело о покупке сельца Захарова (Музей Пушкина); 2) ряд дел бывш. министерства иностранных дел (Архив внешней политики). Отметим в последнем два денежных обязательства Пушкина, не появлявшиеся в печати, от 22 марта 1834 года и от 22 ноября 1835 года.

Приведем также сохранившееся в архивах сообщение о смерти Пушкина его непосредственного начальника Нессельроде:

«Министру финансов. Милостивый государь граф Егор Францович!

Состоящий в ведомстве вверенного мне министерства в звании камер-юнкера титулярный советник Александр Пушкин скончался 29 генваря.

А как чиновнику сему по высочайшему е. и. в. повелению сделана министерством денежная ссуда, то я считаю непременным довести вышеизложенное до сведения в[ашего] с[иятельства].

Честь имею быть в[ашего] с[иятельства] (Подп.) Граф Нессельрод.

3 февраля 1837».

Особую группу составляют «неперподические» собрания материалов, исследований и статей: «Пушкин и его современники», (I—XXXIX), «Временник пушкинского дома» (1913, 1914, 1922 годы), «Пушкин. Временник пушкинской комиссии Академии наук СССР»

(I—V), «Пушкинист» (I—III), «Московский пушкинист» (I—II). «Пушкин в 1833—1834 годах», «Звенья», «Пушкин. Статьи и материалы Одесского дома ученых» (I—III) и др.

Необходимые для изучения жизни Пушкина материалы имеются в ряде сборников, ему посвященных; таковы юбилейные сборники 1899 года, сборник журнала «Русский библиофил», Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова, сборник Пушкинского дома на 1923 год, сборники Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности (I—II), «Литературные портфели — Время Пушкина», сборник Общества изучения Московской области «А. С. Пушкин в Москве», сборник Академии наук СССР «Сто лет со дня смерти Пушкина», сборник Академии наук УССР «Пушкин, статі та матеріали».

Наконец, нам служили сборники отзывов и статей о Пушкине: В. И. Зелинского «Русская критическая литература о произведениях Пушкина», В. Покровского «Пушкин, его жизнь и сочинения», А. Г. Цейтлина «Пушкин, сборник критических статей», А. С. Долинина «Русские писатели XIX в. о Пушкине»; по истории публикации пушкинских произведений — библиографические работы М. А. Цявловского и К Богаевской о «Пушкине в печати».

Особым отделом источников для настоящей биографии Пушкина был обширный иллюстративный материал, иконография поэта и его современников, историческая графика эпохи, столь богато представленные в новооткрытом Пушкинском музее в Москве.

Автор объездил почти все места пребываний Пушкина от Черной речки до Черного моря и от Инзовой горы до Бердской слободы. Сохранившиеся «пушкинские» дома, дающие нередко такое конкретное представление о его эпохе, были осмотрены почти всюду, где они сохранились, — в Москве, Петербурге, Одессе, Гурзуфе, гор. Пушкине и пр.

Еще показательнее книжные собрания эпохи как самого поэта, так и некоторых его современников, например, М. С. Воронцова (в библиотеке одесской высшей школы и в алупкинском дворце-музее) и И. П. Липранди (в ташкентской публичной библиотеке); они de visu изучены нами.

Автор считал своим долгом ознакомиться также с исследованиями и очерками жизни Пушкина, помимо вышеназванных первых биографий поэта, с этюдами Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, с работами В. Я. Стоюнина, А. И. Незеленова, А. А. Венкстерна, И. И. Иванова, П. О. Морозова, П. Кудрявцева, А. М. Скабичевского, А. И. Кирпичникова, Л. Н. Майкова, Н. А. Котляревского, В. В. Сиповского, В. Я Брюсова, Н. О. Лернера, В. В. Вересаева, Эмиля Омана, Эрнеста Симмонса, Пушкинского дома, В. Я. Кирпотина, Б. В. Томашевского, Н. Л. Бродско-

го, К. Н. Берковой, Н. С. Ашукина, Б. С. Мейлаха и А. Эпштейна, И. А. Оксенова, И. И. Замотина, Н. С. Державина, Е. Старова, Л. Фина, Г. И. Чулкова, И. В. Сергиевского, А. Сенявина.

Изучены были и новейшие монографические работы по отдельным вопросам и периодам биографии Пушкина. Укажем основное и главное: по общей теме «Пушкин и наша эпоха» — работа А. М. Горького «О Пушкине», А. В. Луначарского «А. С. Пушкин», В. А. Десницкого «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», П. И. Лебедева-Полянского «Пушкин в истории русской общественной мысли», Е. Ярославского «Атеизм Пушкина», В. Я. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм», А. Г. Цейтлина «Наследство Пушкина», Д. Д. Благого «Социология Пушкина», «Творческий путь Пушкина»; о роде поэта: «Пушкины, родословная роспись» Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева, «Предки Пушкина» М. Вегнера, «Из семейного прошлого предков Пушкина» П. И. Люблинского; о раннем периоде: «Детские годы Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в Огородниках» Льва Виноградова; о лицее: «Пушкин и Кюхельбекер» Ю. Н. Тынянова, «Лицейские лекции» Б. Мейлаха; о первом пребывании в Петербурге: «Зеленая лампа» П. Е. Щеголева, «Пушкин в 1817 году» Д. Д. Благого, «Пушкин в литературных объединениях декабристов» Б. Мейлаха (ср. его книгу «Пушкин и русский романтизм»), «Первая поэма Пушкина» А. Л. Слонимского; о годах ссылки: книги о Крыме Б. Л. Недзельского и С. Д. Кощюбинского, «Пушкин на Украине» Д. Косарика, «Пушкин и Украина» А. И. Белецкого, «Пушкин в Каменке» С. Я. Гессена, «Пушкин и Байрон» В. М. Жирмунского, «Крымская поэма Пушкина» Г. О. Винокура; о кишиневском дневнике П. И. Долгорукова статьи М. А. Цявловского и В. Д. Бонч-Бруевича; о «Братьях-разбойниках» статьи Н. К. Гудзия и В. А. Закруткина; комментарий к «Гавриилиаде» Б. В. Томашевского; книги Л. П. Семенова и И. К. Ениколопова о Пушкине на Кавказе; о михайловском периоде: статьи Д. П. Якубовича «Михайловское и Тригорское», Г. О. Винокура «Борис Годунов»; о занятиях Пушкина народной поэзией: «Пушкин и народное творчество» Ю. М. Соколова, «Сказки Арины Родионовны» М. К. Азадовского, «Пушкин и фольклор» его же; о «Евгении Онегине» комментарий Н. Л. Бродского; о социально-политических взглядах поэта: «Пушкин и крепостное право» В. Я. Брюсова, «Пушкин и декабристы» М. В. Нечкиной, «Сеятель и Чернь» В. Александрова; о борьбе с поэтом правительства: «Пушкин под тайным надзором» Б. Л. Модзалевского, «Пушкин и Николай I» П. Е. Щеголева, «Николай I — редактор Пушкина» Т. Г. Зенгер; о культурно-художественном окружении Пушкина: «Архаисты и новаторы» Ю. Н. Тынянова, «Пушкинская плеяда» И. Н. Розанова, «Пушкин и актеры»

Б. В. Варнеке, «Музыка в жизни и творчестве Пушкина» И. Р. Эйгеса; о книгах и чтениях Пушкина: «Библиотека Пушкина» Б. Л. Модзалевского, «Пушкин в библиотеке Вольтера» Д. П. Якубовича, «Пушкин и библиотека Воронцова» М. П. Алексеева, «Коллекция книг из собрания И. П. Липранди» Е. К. Беттера; о периоде после ссылки: «Пушкин-москвич» Н. П. Чулкова, статьи Б. В. Томашевского, Н. В. Измайлова, М. Д. Беляева в «Письмах Пушкина к Хитровой», «Пушкинский Петербург» А. Яцевича; «Конрад Валленрод и Полтава» М. Аронсона; о путешествии в Арзрум: статьи Ю. Н. Тынянова, В. Л. Комаровича и Б. С. Вальбе; о Болдине: «Пушкин и мужики» П. Е. Щеголева, сборник Н. С. Ашукина «Пушкин в Болдине», статьи Б. В. Томашевского и С. Я. Гессена о десятой главе «Евгения Онегина», «Пушкин и образы мировой литературы» И. М. Нусинова; о языке и стиле Пушкина: работы А. С. Орлова, В. В. Виноградова, «Мастерство Пушкина» А. Г. Цейтлина; о стихе Пушкина: статьи В. Я. Брюсова и Б. В. Томашевского; о тридцатых годах: «Пушкин-издатель» С. Я. Гессена, «Друг Пушкина Нащокин» М. О. Гершензона, «Записка Пушкина о народном воспитании» А. Г. Цейтлина, «Литературное общение Гоголя с Пушкиным» В. В. Гиппиуса, «Пушкин и Китай» М. П. Алексеева, «К истории создания «Египетских ночей» С. М. Бонди (и другие статьи из его книги «Новые страницы Пушкина»), «Пушкин в работе над историей Петра I» П. С. Попова; статьи о пушкинской прозе Б. М. Эйхенбаума, Г. О. Винокура и В. Б. Шкловского; «Пушкин и Радищев» П. Н. Сакулина, «Пушкин и Данте» М. Н. Розанова, «Несостоявшаяся газета Пушкина» Н. К. Пиксанова, «Пушкин и Гнедич» Н. Ф. Бельчикова; «Последняя сказка Пушкина» А. Ахматовой, «Пушкин в Оренбурге» Прянишникова; статьи Д. П. Якубовича о «Пиковой даме», И. Н. Кубикова о «Дубровском», В. Я. Брюсова о «Медном всаднике», А. С. Орлова, Б. В. Неймана и Б. С. Вальбе о «Капитанской дочке»; «Пушкин в 1836 г.» М. Гуса, «Дневник Пушкина» Д. П. Якубовича, «Памятник» И. Файнберга; о гибели поэта: «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголева, «О смерти Пушкина» А. С. Полякова, «Гибель Пушкина» и «Письмо Пушкина к Геккерну» Б. В. Казанского, «Ранение и смерть Пушкина» С. С. Юдина.

Автор считался со всеми своими предшественниками, но старался итти своим путем, строя жизнеописание Пушкина в плане биографической хроники на основе политической летописи и литературной истории его времени.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Исторические Пушкины 5
II. Братья стихотворцы 13
III. Инженеры и мореходы 21
IV. Рождение поэта 31
V. У Меншиковой башни 36
VI. «В начале жизни...» 46
VII. Первые строфы 55
VIII. Открытие лицея 65
IX. Дружные музы 75
X. «Гроза двенадцатого года» 87
XI. Шутливые поэмы 96
XII. Державин 111
XIII. На старшем курсе 121
XIV. Арзамасский «Сверчок» 135

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Переводчик иностранной коллегии 151
II. «Молодые якобинцы» 171
III. Первое следствие 191
IV. Начало скитаний 202
V. Полуденный берег 215
VI. Кочевая жизнь 230
VII. В пустынной Молдавии 245
VIII. «Пестрый дом Варфоломея» 258
IX. Вольная гавань 267
X. Меценат и афей 281
XI. Гнев Тиверия 299
XII. Северный уезд 311
XIII. Летопись о многих мятежах 328
XIV. «В Петербурге бунт» 340

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Верховный цензор 359
II. Поэты и любомудры 372
III. Политические процессы. 392
IV. Поэма о Петре 412
V. «Арзрум нагорный» 435
VI. «Литературная газета» 455
VII. Болдинский карантин 478
VIII. Плен Варшавы 498
IX. На перепутье 514
X. По следам Пугачева 531
XI. «В златом кругу вельмож» 551
XII. «Современник» 569
XIII. Ноябрьская драма 590
XIV. Смерть поэта. 609

Эпилог 1837—1937. 629

Источники 639

Редакторы *Н. Козюра* и *К. Бучинская*.
Технический редактор
М. Лойтеритейн.
Корректоры *В. Песковская* и
Б. Шагалова.
Сдано в производство 21/IV 1939 г.
Подписано к печати 2/II 1940 г.
М. Г. 54. Индекс ЖЗЛ.
Формат бумаги 70×105$^{1}/_{32}$. 20$^{1}/_{4}$ печ. л.
+ 14 вклеек. 29,21 уч.-авт. л.
Уполномоч. Главлита А-21985.
Тираж 50 000 Нар. 377.
Фабрика юношеской книги изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
ул. Фридриха Энгельса, 46.
Цена 8 руб.
Переплет 1 руб.

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

Редакция «ЖЗЛ» просит Вас, прочтя эту книгу, прислать краткий отзыв о ней (тема, содержание, язык, оформление) и Ваши пожелания по дальнейшему улучшению книг нашей серии.

Пишите по адресу: Москва, Центр, Новая площадь, д. 6/8, редакция «Жизнь замечательных людей».

РЕДАКЦИЯ.

Просм.
Упол.

200-00

w158

Новосибирск НБ НГПУ
LIBRARY 1201228621

3 руб.